

Н О В Ы Й  
М И Р

Н О В Ы Й М И Р

1968

9



1968

# НОВОЫЙ И МИР

ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XLIV

№ 9

Сентябрь, 1968 г.

О Р Г А Н С О Ю З А П И С А Т Е Л Е Й С С С Р

## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
В. ОВЕЧКИН — Невыдуманные очерки; «Аблакат»; Из газеты «Сын отечества»; Из записной книжки.— С. Залыгин и Г. Троепольский — О Валентине Овечкине	3
МАРГАРИТА АЛИГЕР — Стихи разных лет	36
КОНСТАНТИН ПАВЛОВ — Пасторальное, стихотворение. Вольный перевод с болгарского Константина Симонова	39
ВЛАДИМИР СОКОЛОВ — Два стихотворения	40
ВИКТОР НЕКРАСОВ — Дедушка и внучек	42
РОБЕРТ ПЕНН УОРРЕН — Вся королевская рать, роман. Перевел с английского В. Голышев. Продолжение	66
Дважды Герой Советского Союза, Маршал Советского Союза Н. И. КРЫЛОВ — В боях за Одессу. Окончание. Послесловие А. Твардовского	121
<b>ПУБЛИЦИСТИКА</b>	
Г. ЛИСИЧКИН — Смелые решения (Заметки о сельскохозяйственной экономике)	148
<b>ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ</b>	
С. МАРШАК — Дом, увенчанный глобусом	157
<b>В МИРЕ ИСКУССТВА</b>	
В. ЛАКШИН — Посев и жатва (Трилогия о революции в театре «Современник»)	182
<b>ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА</b>	
Э. СОЛОВЬЕВ — Цвет трагедии (О творчестве Э Хемингуэя)	206
В. ОГНЕВ — Мерани — вблизи и вдали	236

(См. на обороте)

---

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»  
Москва

## СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	Стр.
<b>КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ</b>	
<i>Литература и искусство</i>	
<b>З. Крахмальникова.</b> Отцу и отечеству — <b>Э. Елигулашвили.</b> Дорога к вершинам Грузии.— <b>М. Злобина.</b> О пользе и неудобствах пешего хождения.— <b>В. Кардин.</b> Коварство жанра.— <b>А. Наркевич.</b> Классик английской литературы.	245
<i>Политика и наука</i>	
<b>А. Грунт.</b> Октябрь в Петрограде.— <b>В. Разумовский.</b> Путь трудный и славный.— <b>Э. Рабинович.</b> История мысли — история мужества.— <b>А. Таланов.</b> Искусство популяризации.— <b>О. Знаменский, В. Старцев.</b> Накануне краха.	262
<b>КОРОТКО О КНИГАХ</b> — <b>И. Т. Леонов, Г. Н. Каминский.</b> Александра Ложечко. Григорий Каминский.— <b>Степан Бугорков.</b> Лесная девушка.— <b>Ирина Кнорринг.</b> Новые стихи.— <b>О. Н. Вилков.</b> Ремесло и торговля Западной Сибири в XVII веке.— «Литературное наследство». Том 79. Песни, собранные писателями. Новые материалы из архива П. В. Киреевского — <b>А. П. Денисов.</b> Леонтий Филиппович Магницкий. 1669—1739.— <b>Ф. Джинджихашвили.</b> Антимоз Ивериели (Антим Ивериану). Жизнь и творчество.— <b>Н. И. Леонов</b> Александр Федорович Миддендорф.— <b>Н. Н. Померанцев.</b> Русская деревянная скульптура.— <b>Юрий Рюриков.</b> Три влечения.— <b>Ефим Добин.</b> «Гамлет» — фильм Козинцева.— <b>Карл Штейнбух.</b> Автомат и человек.— <b>Матильда Юфит.</b> Старая тетрадь в клетку	276
<b>ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ</b>	285
<b>КНИЖНЫЕ НОВИНКИ</b>	287

---

---

*Пока не все еще оставшееся после Валентина Овечкина литературное наследство собрано и изучено. Сейчас мы предлагаем читателю лишь немного из представленного редакции его сыном Валентином Валентиновичем. Это — не опубликованные при жизни писателя очерки, рассказы, отрывки из незаконченных произведений, автобиографические наброски, выдержки из записных книжек — дорогие свидетельства о замыслах покойного писателя, многолетнего члена редколлегии нашего журнала, замечательного человека, чей талант и вся жизнь были безраздельно отданы своему партийному и литературному долгу.*

В. ОВЕЧКИН

★

## НЕВЫДУМАННЫЕ ОЧЕРКИ

**П**ринимаясь за эту книгу, я опять, как и всегда, не знаю, в какую окончательную форму выльется все. Это будет и нечто автобиографическое, воспоминания. Но не вязанье чулок перед уютно горящей печкой в долгие зимние вечера. Отдаться целиком воспоминаниям о прошлом, не связывая их с нынешними днями, — так я не смогу, не вытерплю. Повесть о том, как и почему я стал писателем? Да, и об этом хочется рассказать, ответить разом на вопросы многих читателей. Но — не только об этом.

Порою я чувствую себя больше практиком колхозного строительства, нежели писателем, и не боюсь сказать это вслух. Не боюсь, что это может быть подхвачено остроумными критиками: ну и продолжал бы, мол, пахать, косить, это тебе сподручнее, чем романы писать. За романы то я и не берусь. Не очень люблю я «сочинять», больше мне нравится и читать и писать о невыдуманном. В этих очерках я расскажу и о первых шагах первых колхозов в тех краях, где я вырос.

Только прошу читателей не требовать от меня в этой книге особой стройности повествования. Это не мемуары в обычном понятии. Я не могу еще сосредоточить свои мысли только на прошлом. Да и воспоминания приходят ведь к тебе не по заказу. Свою жизнь перебирать в памяти — это не то, что читать уже готовую, кем-то написанную книгу — последовательно, главу за главой. Сегодня почему-то вдруг ярко встанет перед глазами то, что было двадцать лет назад, а завтра — то, чему уже тридцать лет. Я постараюсь связать эти очерки между собою не хронологической последовательностью воспоминаний, а другими нитями.

### *Елисей Булка*

Этот человек сделал меня писателем.

В 1920 году голодуха выжила меня из города в деревню. До этого я знал деревню только по картинкам и в поле дальше зарослей бурьяна на пустыре за кладбищем, где мы, мальчишки, ловили осенью сеткой щеглят, не бывая.



Сорок верст от Таганрога по Мариупольскому шляху — село Ефремовка. Здесь учительствовала моя сестра. У нее я и поселился, стал сапожничать.

Учителям платили в те годы натурой, по договору с обществом — по кувшину молока с ученика, по столько-то фунтов муки, по столько-то штук кизяков для отопления школы и учительской квартиры. Я нахлебником у сестры не был. Хоть и медленно шил в ту пору сапоги, но на харчи себе зарабатывал.

Сестру любили в селе, учила она ребят хорошо, не отказывала никому написать заявление в суд или комбед, и однажды на сходке мужики решили принять ее в земельное общество и наделить паем. Больше всех хлопотал за сестру, за наделение ее землею, один мужик, наш сосед и приятель Елисей Булка.

Я в юности был болезненно привязчив к хорошим людям и этого Елисея, при первом моем знакомстве с деревней и крестьянством, очень полюбил. Едва лишь я разложил на самодельном верстаке в каморке, которую занимала при школе сестра, свои сапожные инструменты и колодки, как тотчас же с первым заказом, с добродушными шутками и прибаутками явился Елисей Петрович, принес сапоги в починку, подбить подметки, и после с его легкой руки недостатка в заказах у меня никогда не было, хотя в небольшом селе, кроме меня, еще работали два сапожника.

Булка — это было прозвище «по-уличному», фамилии Елисея Петровича я не помню. Но видом своим он на булку не походил нисколько: узколлечий, тоший — живот к спине прирос, — горбоносый, с запавшими щеками, с реденькой козлиной бородкой. Мне нравились его глаза — умные, ласковые, голубые. Булкой прозвали когда-то много лет назад его отца, которого я уже в живых не застал, — за то, что украл в Таганроге в пекарне булку, и был за это бит городовым и хозяином пекарни на глазах у односельчан. Украл не по нужде — привез в город на ссыпку три воза пшеницы, деньги были, и свой печеный хлеб был из дому, — просто показалось ему, что хозяин, отвернувшийся, чтобы снять с гвоздя связку баранок, не видит, как он сует в мешок булку; а у хозяина для таких случаев было на стене зеркальце. Так и Елисей Петрович стал по отцу Булкой. В старой деревне прозвище прилепляли человеку накрепко — всему семейству, на много поколений.

Жил Елисей Петрович не бедно, имел пару волов, лошадь, три коровы, много овец и свиней — крепкое середняцкое хозяйство. Мужик был рассудительный, прислушивался к агрономам, грамотный, в зимнее время любил посидеть за книжкой, часто приходил к нам взять чего-нибудь почитать, особенно любил книжки про путешествия и про войну. Или сядет покурить под печку — сигарки он крутил из кукурузного листа и самосада, длиною в четверть, толщиной с собачью ногу — и часами занимательно рассказывает про старину, про крепостное право, про графиню Потоцкую, которой принадлежали когда-то все земли ефремовских мужиков. Иногда приносил нам сверт платы за двух своих школьников то кувшин молока, то десяток картошек, которые мы тут же за разговорами и пекли в кизячной золе в печке.

Этот добряк Елисей Петрович хлопотал и за меня перед обществом — о наделении земельным паем, — но я еще не успел зарекомендовать себя нужным человеком в селе. Сшил людям несколько пар сапог, а крепко ли сшил, долго ли проносятся — это было еще не проверено. Воздержались пока — до следующего земельного передела.

У нас с сестрой, конечно, не было никакого тягла, и мы, от веку городские люди, понятия не имели, что мы будем делать с землею. А ей, помню, отвели пай в разных полях около трех десятин.

Выручил нас Елисей Петрович. Предложил обработать нашу землю исполу: вспахать, засеять своими семенами, убрать хлеб, а урожай — пополам. Мы с радостью согласились.

В молотьбу я стал ходить к нему на ток, помогать крутить веялку или носить мешки в амбар. Возили хлеб с поля розвязью, арбами. прямо во дворы, и молотили его каменными катками. Дошел черед до нашей пшеницы. Елисей Петрович предупредил:

— Ну, хлопче, цэ вже ваш хлиб начався. Примечай. Считаю цыбарками, скильки выйде. Та ось бач, дождик заходэ. Давай, щоб швидче, в наш амбар перетаскаемо, а потим вже визьмешь свою долю.

Дня через три Елисей Петрович пришел зачем-то к нам. Сестра спросила его:

— Вы нам дадите, Елисей Петрович, волов перевезти от вас нашу пшеницу?

— Яку пшеницю? — удивился Елисей Петрович и посмотрел на сестру своими ясными голубыми открытыми глазами.— А то що? — Он указал на кучу пшеницы в углу нашей каморки.

— То мне за учеников снесли.

— Ну, ну! Роскажуй мени! То ж и есть та пшениця, що я вам вчера привиз.

Засмеялся и с тем пошел со двора.

Мы с сестрой переглянулись. Шутит старик? Хочет нас погугать немножко? Привезет нам зерно и скажет: «Эх вы, молодые люди, городские, неопытные! Учитесь жить с нами, мужиками. Ведь бумажки-то на землю никакой не составили. Это я вот по-честному отдаю вам вашу долю сполна, а другой, бессовестный, человек мог бы и отказаться».

Час спустя Елисей Петрович постучал кнутом в ворота:

— Эй, хлопче, пойдём со мною на бакшу, поможешь кавуны собирать, и вам десяток скину.

Поехали на бахчу. Нагрузили бричку арбузов. Мне почему-то стыдно было заводить с ним опять разговор о нашей пшенице, но все-таки спросил:

— Так как же, Елисей Петрович, насчет нашей доли?..

И опять он глазом не моргнул.

— Да вы что с сестрицей, с глузду съехали? Второй раз хотите получить? Я же вам гришьями заплатыв за вашу землю ще весной, як тильки начали сятья.

Я смотрел в его чистые голубые глаза, на его святую плешь (прямо как у его тезки Елисея — пасечника из народных рассказов Толстого) и начинал понимать, что он не шутит, и что ему нисколько не стыдно, и в глубине души он даже потешается над нами, беспомощными дураками.

Я в шестнадцать лет был крепким малым и мог бы изувечить его там, в поле, один на один. Но в ту минуту, когда мою правую руку уже повело назад, вдруг любопытство пересилило во мне злость...

## *Земля*

Машина поломалась — лопнул скат и села рессора. Ехать дальше нельзя и уйти от машины нельзя, да и некуда идти — село осталось сзади километрах в семи, и вперед по дороге до другого села не меньше. Надо ночевать, где захватила ночь, прямо на глухом проселке, в степи.

Ощупали поврежденное колесо. Покрышку так разорвало, что она уж ни на что не годна, только на костер. Порубили ее топором на куски и подожгли. Из старых покрышек получается хороший костер, если леса нет поблизости, резина горит жарко и долго, только дым от нее вонючий,

противный, не то что от сосновой или еловой хвои. И уж в этой химической золе картошки не испечешь.

Пламя осветило кусочек степи у дороги, из темноты выступили курстарники — кулижка нераскорчеванного дикого терна. Нашлись в голой степи и дрова. Нарубили веток, запаслись топливом на всю ночь. А ночь — уже с морозцем, хоть и без снега, ноябрьская безлунная звездная ночь.

Подбрасывая веток в огонь, мы лежали у костра на земле. На самом краю земли. Да, на самом краю... Нигде не чувствуешь так явственно этот край, как в степи в ярко звездную ночь, лежа на земле и глядя в черные провалы неба над головой. Это не то небо, что видишь днем. Днем голубой воздух, солнечное марево, облака как бы задергивают занавесом, прячут от жителей земли страшную бездну, ее не замечаешь, не думаешь о ней. На ночь занавес убирается. Лежи и смотри куда достанет глаз. Над головою — ничего, никакой больше перегородки. Вот это твердое, что ощущаешь под боком, это и есть конец, край земли. Дальше — бездонная, беспредельная пустота. Ты — на самом краю нашей милой, старой, обжитой, доброй земли...

Передернешь плечами от пронизавшего тебя вдруг до самых печенок холода и подумаешь с радостью: а хорошо, что есть закон всемирного тяготения, что все тела на земле притягиваются ею к себе плотно и надежно и что ученые в числе прочих великих открытий не додумались еще до того, как лишить тела их тяжести, освободить от земного притяжения.

Нет, спасибо за такое «освобождение»! Хоть и чувствуешь иной раз, что несколько отяжелел, труднее уже ходить по горкам и оврагам, сердце хуже «тянет», но все же от этого груза собственного тела — а он-то и привязывает тебя к земле — освобождаться неохота. Если специально полететь на луну — другое дело. В хорошо сконструированной машине, в теплом обмундировании, с запасом пищи да еще с надеждой вернуться обратно — это можно. Но чтобы вот так вдруг, внезапно, от неосторожного, резкого движения оторваться от земли и начать возноситься или проваливаться в пространстве, где нет ни верха, ни низа — это все одно — куда-то вот в ту черную бездну — нет, нет! Рука невольно ищет на земле какой-нибудь корень покрепче, чтобы ухватиться за него. Вечная слава и благодарность Исааку Ньютону!

...Костер уже несколько раз прогорал и снова разгорался. Поужинали. Можно ложиться спать. Перенесли огонь на другое место, а золу под погашенным костром разгребли и вымели ветками, чтобы не осталось жаринки. Застелили эту лежанку газетами. Теперь можно укрываться всей одеждой, что есть у нас в машине, под низ не требуется ничего. Ласковая, заботливая родная земля будет долго греть тебя. Она будет теплой до самого утра. На шапку и волосы на зорьке ляжет иней, а под тобой будет, как на печи, вряд ли даже вылежишь, не переворачиваясь, на одном боку.

Мне долго не спится. Начал думать о земле, и пошли мысли — о ней...

Вспомнилось, как один старик бахчевник — давно, еще когда я был мальчишкой и, бродяжничая по Деревням, часто ночевал там, где заставала ночь, — учил меня спать вот так в поле в обнимку с землею. Старик стерег на бахче последние арбузы, уже сентябрь был на исходе, ночи стояли холодные, а у него шалаш сожгли деревенские парни-озорники, и новый строить не к чему, не сегодня-завтра перебираться в село, — спали мы с ним у костра. Он меня учил: «Вот на тебе я вижу две рубахи. Сними верхнюю и накройся ею — теплее будет. Под боком тебе одеяла не нужно, там земля, она толстая, сквозь нее не продует, а рубаху

сложи вдвое и накройся с головою да еще надыши под нее, та ж рубашка, но вдвое — вот и тепло, не замерзнешь»... Часто мне потом в жизни приходилось складывать «рубашку вдвое».

Вспомнилась военная наука о земле. Вот кто первый друг и защитник солдата — земля. Не жалея сил, если хочешь жить, окапывайся, где лег, зарывайся в землю поглубже — и она спасет тебя, примет и погребет в себе те пули и осколки, что предназначались на твою голову.

Вспомнилось все хорошее, прекрасное, чарующее, что видел я на земле... С большой высоты, с самолета, земля показывается некрасивой. Любопытно рассматривать, как странно, совсем необычно выглядят с воздуха знакомые земные пейзажи, но красоты в этом нет. Все очень смешно мелькает. Дремучая сибирская тайга теряет свое величие, показывается жалким кустарником, реки — узенькими ручейками, горы с глубокими ущельями между ними — просто какой-то холмистой неровностью. Пасутся на лугах стада — будто вши ползают по зеленой одежде земли. Нет, чтобы почувствовать всю красоту земли, надо спуститься на нее, стать на нее твердо ногами, смотреть на великаны-деревья снизу, а на степь не свыше, как с какого-нибудь кургана, древнего скифского могильника.

На степном сыром рассвете  
Тихо выйди из кибитки  
И прислушайся, как шепчут  
И смеются ковыли...

Разве услышишь с высоты трех-четырёх тысяч метров, как шепчут ковыли?..

Помню, пошел я однажды поздней осенью в лес. Березы, осинник, дубы озимые, не теряющие листа, — покраснеет только лист от первых морозов, засохнет и так и остается на деревьях, постепенно опадает до самой весны от сильных ветров, дождей, тяжести снега.

Накануне весь день и всю ночь лил дождь. А перед рассветом вдруг так быстро и сильно подморозило, что вода не успела стечь с листьев и веток. Земля в лесу, еще не видевшая в ту осень снега, была усыпана осколками льда, как стеклом, и деревья стояли обледенелые снизу доверху, от стволов до кончиков самых тоненьких веток. Стеклообразная кора на деревьях, сказочный стеклянный лес... И вдруг рассеялся легкий туман, заволакивающий небо, солнце осветило эту неописуемую красоту, набежал ветерок, качнул деревья, и зазвенел весь лес. Каждое деревцо, каждая ветка, каждый листик на дубах звенели по-разному: тонкие веточки — как самые маленькие и нежные колокольчики, толстые — чуть поглуше. Долго сидел я на пне и слушал эту дивную музыку, думая о том, как хороша земля и как хорошо на ней жить. Ну где в заоблачных пустынных высотах или в море далеко от земли увидишь, услышишь такое?..

А летние теплые вечера на свежевыкошенных лугах, с перекличкой распуганных косарями перепелов, с радугой над рекой, с тихими всплесками рыбы, вышедшей на кормежку в речные заливы?

А мартовское неугомонное, с утра до ночи, хлопотанье грачей на новых гнездах в рощах?

А первая пороша, первый декабрьский снег, выпавший ночью так тихо и ровно и такой чистый поутру, что жалко стать на него сапогом?..



## «АБЛАКАТ»<sup>1</sup>

Коневодческая ферма колхоза «Октябрь» расположена на усадьбе бывшей Романа Харитоновича Обозова, когда-то первого богача в селе Липки.

Подворье Обозова удобно подошло для коневодческой фермы. У него в хозяйстве все было приспособлено под коневодство: просторные конюшни, отдельно для жеребцов, для молодняка и для жеребих маток, манеж, изолятор для больных лошадей. Был он большой любитель этого дела и далеко славился своими лошадьми. Разводил он коней только дорогих пород: золотисто-рыжих дончаков, чистокровных английских верховых, орловских рысистых.

Место для усадьбы он выбрал на окраине села, на отшибе. Сюда прямо ко двору примыкал когда-то участок Обозова — громадные ланы нераспаханных залежей, где все лето паслись его англо-дончаки. Теперь по залежам ходят колхозные табуны.

Коневодческой фермой колхоза «Октябрь» заведует обозовский батрак, красный партизан Егор Ильич — страстный любитель лошадей, большой знаток своего дела, непревзойденный мастер обьезживать диких неуков. Егор Ильич — смуглый, черноволосый красивый мужчина, ловкий и быстрый в движениях, как говорят — хватистый. Человек он уже пожилой, бывалый, лет ему под сорок пять.

Много повидал Егор Ильич на своем веку, всяких людей встречал и на фронтах в империалистическую и гражданскую войну, и в селах, в хуторах, когда батрачил и вел кочевую, бездомную жизнь. Много интересных историй рассказывает он из своей жизни. В числе этих историй есть у него одна — о бывшем его хозяине липкинском коннозаводчике Обозове...

Хитрый был мужичишка! С виду этакий невзрачный, плюгавый, сморщенный, горбатый, а башковатый, дьявол! Хитростью и разбогател. Хозяйство-то ему и от отца досталось немалое, а тут еще сам сумел обернуться — в один год помещиком стал. Пана Самбурского обьегорил всем на удивление. Тот ведь тоже не дурак был, в Петербурге в министерстве служил в каком-то высоком чине, вышел в отставку уже при старости лет.

Покупал Обозов у пана землю. Уплатил ему залог тыщу рублей, и было им назначено явиться к положенному сроку, к двенадцати часам дня, в город к ногариусу заключать сделку. А порядок был такой, по закону, что ли: если кто не явится к сроку — пропало его дело. Покупатель опоздает — залог пропал, продавец — земли лишается.

Ну, Роман Харитонович не пожалел лишней сотняги. Перед тем, как ехать им в город, смотался в село Алексеевку (это тут на полпути к городу), дал денег хозяину постоянного двора и сговорился с ним: как подъедет пан кормить лошадей, чтоб были в сборе все вдовы, солдатки, какие посмазливее да побойчее, чтоб песни, пляски, дым коромыслом, вино чтоб рекой лилось. (Пан был на водочку слабоват, да и насчет женского пола

<sup>1</sup> В конце двадцатых годов в газете «Беднота» был опубликован рассказ В. Овечкина «Савельев», подписанный псевдонимом Валентин Буровой. Сюжетным центром рассказа была кража лошадей, поимка вора и угроза похорон заживо. Ни в какие сборники В. Овечкин рассказ не включал, но в память первой своей публикации в центральной печати некоторые корреспонденции в красноармейской газете «Сын отечества» и в «Правде Украины» подписывал В. Савельев. Через восемь лет Овечкин использовал сюжет «Савельева» для написания рассказа «Аблакат». Но и этот рассказ ни в один из своих сборников писатель не включал.

тоже, хоть и в могилу глядел уже одним глазом.) И вроде бы все это невзначай, по какой-то своей причине, праздник, что ли, какой.

Так и сделали. Заехал пан Самбурский на постоянный двор, попал в эту кутерьму, бабы его как окружили — он и раскис. Налопался водки, как Мартын мыла, до бесчувствия, забыл, зачем и в город ехал. Подхватили его бабы, повезли в слободу Каменскую гулять, оттуда — в Даниловку, из Даниловки — на хутор Фролов. Прохмелился пан аж на третьи сутки, схватился за голову — что делать? Скорей — лошадей в тачанку! Кучера по спине палкой, кучер — по лошадям, аж до ушей кнутом достает. Помчался в город. Прискакал, а там уже все готово — на Обозова сделана купчая... А земли ни много, ни мало — пятьсот десятин. За тыщу рублией пошла. По два целковых за десятину!

Звали тут все Обозова за его хитроумие «аблакатом». Если кто задумал делиться, да не знает, как ему своих домочадцев надуть, чтоб самому побольше захватить, идет к Роману Харитоновичу за советом. Как сено прелое за первый сорт сбыть, как овец перед стрижкой по голым взлобкам пасти, чтоб пыли в шерсть набилось да чтоб тяжелее вышла на вес, — это все у него надо спросить, научит.

Хозяйство он тоже вел тонко, с умом. Черный пар пахал, люцерну сеял, книжки все читал. Детей в городе учил. Дочку в гимназию определил, меньшего сына Сергея — в техническое училище. При хозяйстве оставил только старшего сына Емельяна.

...Была у него тут в коннозаводстве пара серых жеребцов — чистокровные орловские рысаки. Дорожил он ими пуше всего на свете. Из всех лошадей самые его любимые были. Если куда выезжает — в церковь либо в гости, — только на них. Отправлял их однажды в Москву на бега, сам ездил с ними, взял приз десять тысяч. Так вот с этими рысаками у нас и вышла история.

Я в эти края забрел еще малышом, с отцом. Отец мой родом был костромской, голодуха его сюда загнала. Ходили мы с ним вместе по работникам, а помер он — сам уже мытарствовал. Свиной пас по хуторам, скотину пас, в строки нанимался. Так и попал к Обозову.

Было мне лет шестнадцать, когда я к нему нанялся. Возрос я рано, всю мужскую работу уже делал: сено косил, арбы накладал, мешки таскал. Вперемежку с полевой работой табуны пас. Прожил я у него четыре года, немножко недобой до призыва. И тут у нас получилось столкновение с его сыном Сергеем, с тем самым, что в городе на инженера учился. Из-за этого все и пошло...

Здесь на крайней улице жил тогда Пантелей Иванович Кондрашов. Была у него дочка Варька. С ней я гулял почти год. Славная была девчушка, веселая, певунья, голосок, как колокольчик серебряный. Думал уже, что это и судьба моя, хотел свататься, Кондрашов-то не дуже мудрящий хозяин был, мог и отдать либо в зятя принять. Да приехал как-то весной из города на каникулы Сергей Обозов, стал тут куролесить, девкам головы морочить. Не минула и Варька его рук, разбил нашу любовь. Да еще стал потом надо мною насмехаться. Ну, я тут не стерпел...

Вышло у нас так. Поехал я как-то утром на степь косить траву. И Сергей со мной увязался, поразмяться от безделья. Он веселый, довольный, видать — после ночной удачи, всю дорогу насвистывает, улыбается про себя. Остановились на участке. Я перепрягаю лошадей из брички в травянку, а Сергей стоит сбоку, ждет. Достал папироску, постукивает мундштуком о порсигар. «Ну и дурак же ты, Егор! — говорит. — Всю зиму с Варькой гулял, а что ж ты с ней делал? Песнями ее наслаждался?» Я прилаживаю дышло в травянку, а руки трясутся — не попаду шкворнем в гнездо. Сергей усмехается: «Этакий кусок проворонил! Ну,

ничего. Скоро я уеду на практику, тогда смело можешь действовать!» И осекся — видит, что со мной неладное творится. А у меня в глазах потемнело, лицо горит — как пьяный. Бросил я шкворень и пошел на него. Сергей — к жогаре, за вилы. Я вилы у него вырвал, взял его за пазуху. «Эх ты, — говорю, — сукин сын! Мало тебе было в городе девок? Тебе побаловаться, да и бросить, а мне это, может, на всю жизнь было бы счастье!»

Раз только я и съездил его, дал ему хорошую оплеуху, не поглядел, что хозяйский сын. Больше не успел. Подбежали тут мужики с соседского загона, разняли нас. Сергей надел фуражку, обтерся платочком и пошел домой. Отошел сажень двадцать, остановился. «Ну, говорит, погоди!»

Вечером приезжаю домой — зовет меня Роман Харитонович в конюшню... Чуть переступил я порог — он дверь на засов и ногой меня в живот. Емельян рядом стоял, подмогнул. А Серега уже на лежащего накинудся. Уж чем он меня только и не молотил! И плетью, и мешалкой, и сапогами под ребра. Избили меня, как собаку, таскали по конюшне, куда и сами запыхались. Потом старик распахнул двери. «Убирайся, — кричит, — поганец, чтоб и духу твоего здесь близко не было!» Добрался я до двери, ухватился за перемет, а встать не могу — повредили они мне ногу. Посидел немного на дверях, в чувство пришел, да так и пополз со двора — на четвереньках...

Отлежался недели две у одной знакомой вдовы, ногу мне костоправ подлечил, перестала болеть — поступил на молотьбу к другому хозяину.

Живу я там, на новом месте, работаю. А на сердце — как гадюка сосет. Как же, думаю, с ними расквитаться? Напала на меня бессонница. По ночам до света не сплю, ворочаюсь. Все у меня перед глазами: Варька, Серега, Роман Харитонович, Емельян — как они меня по конюшне таскали...

Перво-наперво надумал — поджечь подворье, чтобы ветром и пепел по степи разнесло, да, по совести сказать, только и пожалел лошадей. Люблю я эту скотину. А у него ж лошади были — красавицы. Представил я, как будут конюшни гореть, да не успеют лошадей выпустить, как они будут в станках биться, храпеть... Жалко стало. Узнал я, что собирает-ся Роман Харитонович Сергея в город отправлять после каникул, прождал их всю ночь в тернах возле переправы, люшню железную прихватил с собой, а они не той дорогой проехали, в объезд... Подвернулся подходящий случай на другой год...

Поехал я как-то с новым хозяином на Максимовский хутор, не помню уж по каким делам, и довелось мне там встретиться с двумя коновалами — так они сначала назвались, а потом разговорились, и чего-то я им в доверие вошел, признались они — коновалы, только по другой части. Узнали они, что жил я у Обозова, переглянулись. «Вот бы куда забраться! Серые рысаки у него есть, покою нам не дают, да взять их трудно. Сколько, говорят, ни ходило туда наших ребят — назад не ворочались. Что он там с ними делает, чертов аблакат? Как пойдет кто — как в воду канет!»

Серых-то я помнил. Меня как раз в той конюшне и били, где серые рысаки стояли. Для них Обозов отгородил денники вплотную к дому. Работники туда не ходили, сам он с Емельяном ухаживал за рысаками, ни на кого не доверял. Так мы и прозвали ту загородь — «хозяйская конюшня».

Послушал я коновалов и загорелся. «Трудно взять? — говорю. — Ерунда! Ваши не сумели, а я сделаю». Тут же мы и сладились: куда пригнать рысаков, сколько мне получить. Я не торговался, что предложили — на том и согласился. Я ж не из-за барыша вызвался. Хоть этим,

думаю, отплачу им, гадам! Снабдили они меня всякими воровскими припасами, советов надавали. Опытные!

...Ну, как только вернулся я домой, на другую же ночь и пошел. Темная ночь выдалась. Месяц с вечера закатился. К полуночи захмарилось, дождик начал моросить. Перелез я через забор в сад, сердце колотится, как не выскочит. Прошел потихоньку по-над забором. В одном месте калитка там была доской заколочена. Оторвал я доску, открыл калитку, чтоб вывести жеребцов через сад и прямо вброд через реку — на гору. Пошел во двор к конюшням. Собаки узнали меня, приласкались. Присел я под конюшней, сижу. Тихо. В курятнике петух горланул спросонку, крыльями захлопал, с насеста сорвался. Корова мыкнула...

Дверь «хозяйской конюшни» раскрывалась на две половины, изнутри железные засовы были — так я помнил. Попробовал верхнюю половину — двигается. Забыл, что ли, думаю, на засов припереть? Снаружи замок только легкий на кольцах... Эх, смеаю про себя, неладно что-то, непохожа на Романа Харитоновича такая простота! Ну, подумал-подумал — и страшно, и назад отступить неохота. Заложил ломик в кольцо, нажал раз, другой — выдернулось. Открыл дверь... Все в порядке. Прямо как раз против двери и серые в денниках стоят, поводками позвякивают...

Оставалось перемет отнять, чтоб вывести жеребцов из конюшни. Стмычек мне коновалы насовали в карманы целую дюжину. Выбрал я подходящую, перекинул ноги через перемет вовнутрь, спрыгнул — не чую земли под собой! И перемет уже выпустил из рук. Ударился об что-то головой, перекувырнулся в воздухе и упал на четвереньки. В яму!.. Ожгло меня, как огнем. Вот отчего ихние ребята не ворочались.

Вскочил я на ноги, подпрыгнул — куда там! Не достать краю. Стены гладкие — кошка не выберется. А из ямы еще, похоже, и сигнал был проведен. Что-то мне показалось — когда упал я, будто шворочку какую-то рукой задел и колокольчик зазвонил где-то глухо, должно быть в доме.

И минуты не прошло, слышу — открывается дверь, кашляет старик. Свет показался — фонарь. Прямо к яме направляется, шлепает опорками. Заглянул. «Ага! — говорит. — Еще один попался. Так вот как понравились людям мои рысаки!» Поставил он фонарь на землю возле ямы, вернулся в дом за подмогой. Обратно, слышу, идет уже не один. Поднял я голову вверх — стоят над ямой трое, старик и оба сына: Сергей опять дома был...

Бросили они мне лестницу: «Вылазь». Лезу я, а ноги будто чужие, не попадаю на перекладины. Сорвался раз, опять полез. Сергей первый узнал меня: «А-а, вот это кто! Старый приятель!» Да опять ухватил мешалку и — ко мне. Роман Харитонович придержал его: «Не к чему зараз. Давай, Емельян, бечеву». Кинулся я было к двери, загородили они мне дорогу, повалили на землю. Старик говорит: «Не бойсь, вешать не будем, только свяжем». Свел мне Емельян назад руки, скрутил бечевой повыше локтей, другим концом ноги захлестнул. «Каких запрягать?» — спрашивает. «Ну каких же, — усмеяется Роман Харитонович, — ясное дело, серых. Серых же хотел взять? А, Егорка?» Я молчу. Запрягли они серых, кинули меня, связанного, на линейку. Роман Харитонович лопаты вынес. Догадался я...

Выехали мы за село и — прямо в степь. Едем полчаса, едем час. Примечаю я — минули уже столбовой шлях, Сухую балку, повернули к Пасечному хутору. Верст пятнадцать отмахали. Остановились у Батыгина кургана. Емельян возле линейки остался, а Роман Харитонович с Сергеем взяли лопаты, отошли с дороги к кургану и стали копать. И молча все, дьяволы, делают, видать, не в первый раз... Лежу я на спи-

не связанный, гляжу в небо. Над краем степи зарницы полыхают. Не хочется помирать! Криком бы кричал, да кто ж услышит в глухой степи, ночью?.. Спрашиваю Емельяна: «А как у вас заведено: живьем или же как?» Молчит, собака. Не вижу у его, стоит где-то впереди, возле лошадей, курит, сплевывает. А те копают...

Долго они копали. Земля там жирная, клейкая, а тут еще дождик намочил. Налипает на лопаты, звякает железо об железо — очищают грязь. Наконец, слышу, бросили, должно быть, кончили. Роман Харитонович вздохнул. Бумага зашелестела — сигарки завернули. Окликнул старик Емельяна: «Не спишь, Омелько? Неси огонька прикурить». Емельян замотал вожжи за подножку, отошел к ним... Тут я и сообразил. Двум смертям не бывать! Поднял ноги, грохнул сапогами об линейку, свистнул что было духу. Рванулись жеребцы, понеслись, как на скачках. А вдогонку мне в три глотки: «Тпру!!! тпру!!! тпру!!!» Ну, думаю, что будет, а все же лучше, чем лежать на манер барана связанного, смерти ожидать. Лишь бы не в село повернули...

Несут жеребцы без дороги, по канавам, по межникам. Трещит что-то, не разберу — не то бурьян сухой под колесами, не то спицы в колесах. Вцепился я связанными руками под спиной за дрожину, бьюсь головой об железо, искры из глаз сыплются, на поворотах становится линейка боком — вот-вот сорвусь. Стали у меня уже пальцы разжиматься, как вдруг пошла линейка ровнее — на дорогу выбрались. Приподнялся я сколько мог, приглядываюсь, куда нас несет, промелькнул над дорогой колодезь с журавлем, чуть дальше — тополь. Ну, значит, не в село! Заготовал я от радости диким голосом.

Направились рысаки прямо на Пасечный хутор. Там сват Обозова жил, Мостовой, к нему Роман Харитонович часто ездил на рысаках, отметили они дорогу. К его двору и повернули. Будто ветром откинуло плетневые ворота — с разгону дышлом в саманный курятник въехали, так стена и рухнула. Рванулись было жеребцы в сторону, назад, я обозвался до них, успокоил. Кричу: «Выйди, хозяин!»

Выглянул Мостовой в окно: «Кто такой?» Вышел он, с крыльца не сходит, опасается. «Чего ж ты, спрашивает, лежишь?» — «И рад бы, говорю, встать, да не могу — связанный». Пригляделся он к жеребцам, руками всплеснул: «Ох, боже, твоя воля! Да это ж свата Романа кони! Либо со сватом чего приключилось?» — «А кто твой сват?» — спрашиваю, будто не знаю. «Да Обозов же. Роман Харитонович». — «Ну, так оно, говорю, и есть. Грабители напали. Из города ехали. Спасибо вот лошади унесли. А его пришибли, лежит возле Батыгина кургана». — «А ты ж, спрашивает, кто такой будешь?» — «Да работник, говорю, ихний. Вчера только поступил, и вот тебе какая история!»

Засуетился Мостовой, начал развязывать мне руки. «Ну что ж, надо ехать свата выручать?» — «Конечно, говорю. Одевайся, оружие бери, ежи есть. В волость заедем». Только скрылся Мостовой в дом, я вожжи подобрал, свистнул и — со двора. Еще заря не занялась — стал в условном месте возле Горькой Криницы. Передал рысаков и линейку вдобавок, получил свою долю. Хвалили меня коновалы: «Ловок, ловок, парень! Может, пристанешь до нас в компанию?» — «Нет, говорю, не было такой думки».

Пожил я в городе с месяц, поездил еще кое-где, работал на Маньчах у тамошних коннозаводчиков, а потом думаю — да чего мне бояться? Взял и вернулся в Липки. Живу открыто, хожу по улице. Емельяна видел — молчит, морду в сторону воротит. Живу неделю, другую, никто меня не тревожит. Так и вышло, как я предполагал, — Роман Харитонович сам опасался, чтоб я не разгласил.

Встретились мы с ним как-то вечером на огородах за речкой. Иду я по дорожке, голову опустил, глядь — Роман Харитонович передо мной, чуть лбами не стукнулись. Он тоже оторопел, отступил назад. Вечер, темно, на огородах ни души, а сам же он был старикашка тщедушный, плюгавый, я б его одной рукой задушил... Стоим мы. Закурил он, мне кисет протягивает. Он первый предложил: «Слышь, Егорка, ты об этом деле никому ни слова. И я буду молчать. Чтоб между нами и померло». Ну что ж, ладно, мне тоже невыгодно было разглашать.

А он почему так — насмешки боялся. За самосуд в то время ему бы, конечно, ничего не попало. Судьи знакомы, все свои — чего там. Был в Ключевской экономии случай — пан убил работника. Ну что ж, присудили его к церковному покаянию. Поездил год по монастырям, с монашками покутил — и все дело. Опасался он, что мужики засмеют, если узнают. Как же! Такой хитрец, «аблакат» и — в дураках остался.

Ну, так я и жил, не боялся ни суда, ни тюрьмы. Однако остерегался — как бы кто из них не снес мне башку колом где-нибудь темной ночью, без суда... С Варькой у меня с тех пор любовь так и кончилась. От Сереги у нее ребенок был. Засиделась в девках. Не скоро уже вышла замуж на Юрьевский хутор, за вдовца.

В четырнадцатом году меня отсюда и забрали по первому призыву на войну. Отслужил германскую, потом в Красной Армии остался, по всем фронтам прошел. Восемь лет здесь не был, вернулся в двадцать втором году. В Липках уже советская власть установилась, у Романа Харитоновича отрезали землю, оставили душевую норму. Подворье его опустело, скотины, лошадей поубавилось. Сергея не было дома. Он к тому времени уже выслужил поручика, эвакуировался с белыми в Румынию...

Вот тут-то Роман Харитонович и струсил, когда я пришел после гражданской войны. Новая власть, новые порядки... Он, может, думал, что меня и в живых уже нету... Ну, я, конечно, не дремал. Сейчас же заявил на него в Совет. Вызвали из волости следователя. Поехали мы на то место, к Батыгину кургану, раскопали — четыре скелета нашли. Это б я пятым был... Кто на боку изогнулся, кто сидя, колени под самую бороду. Похоже, живьем кидали... И мальчишку вырыли одного, еще не совсем сгнил. Захожалый чей-то. Забрался по голодухе к ним в погреб, бабы его там придушили. Роман Харитонович и его вывез туда же. Целое кладбище.

Перевернули мы тогда у него на усадьбе все вверх дном. Вспомнил я про яму в конюшне. «А ну-ка, говорю, давайте поглядим, что там сейчас». Пошли туда — новый пол, недавно настланный. Сорвали пол, стали копать на том месте, где была яма. Земля свежая, рыхлая. Прокopали с метр — ящик, другой, третий. Под ними еще. Три ящика патронов, пулемет и сотня новеньких винтовок... Вот как! Оказалось. Обозов передерживал у себя банду Охременко — была в те годы тут такая банда, налеты делала на хутора, Советы громила. Скрывались они по лесам, по речке в камышах, а у Обозова был ихний склад оружия. Наведывались к нему по ночам, через него с другими бандами связь держали... Отправили мы Романа Харитоновича с Емельяном в город. Постройки и все, что было тут у них, конфисковали, семью выслали. В коллективизацию отошло все колхозу. Неплохое подворье досталось для начала нашему коневодству — хорошо сделал, что не сжег тогда со зла под горячую руку... А старика с Емельяном тогда же, в том году, и расстреляли...

---

## ИЗ ГАЗЕТЫ «СЫН ОТЕЧЕСТВА»

### *Этого больше не будет*

Это было в прошлом году в конце лета в районе Верхнего Дона. Немцы уже выдыхались. Уже задержали их в предгорьях Кавказа, уже на пути к Сталинграду и под стенами этого города полегли десятки отборных гитлеровских дивизий. Огромный фронт остановился...

Часть, в которой служил рядовым стрелком бывший пружик ростовского порта Роман Нечитайло, задержалась в верхнедонских хуторах. Где-то здесь должен был лечь фронт. Реже и глуше стала артиллерийская перестрелка; «юнкерсы» пикировали уже без бомб, пугая лишь воем сирен; разведка доносила, что на дорогах стоит много немецких машин без горючего. Где-то здесь обе стороны должны были зарыться в окопы и держать оборону до нового поворотного этапа войны.

Пчелкин — небольшой зеленый хутор дворов в двадцать, бригада колхоза «Память Ленина». В этом хуторе в домике старика Михаила Федосовича Шекина Нечитайло с товарищами жил три дня. Семья у старика была — он, внук Колька да невестка Настя. Нечитайло, саженого роста парень, плечистый, с кулаками величиною с недозревшую тыкву, никак не мог привыкнуть к низеньким дверям в доме деда Шекина и часто стукался со всего размаху лбом о притолоку, так что стекла на веранде дрожали. Колька, веселый мальчишка лет восьми, в этих случаях озорно хохотал над ним, а молодница Настя, мать его, искренне сокрушалась: «Да что это вы, товарищ боец! Разве ж можно так! Вот, ей-богу, как вы не бережетесь. Немец не убил, так сами себя доконаете», мочила край полотенца в холодном квасе и прикладывала к вспухшему лбу Романа.

Старик и невестка принимали бойцов, как родных. Настя перестирала всем белье, дед угощал их яблоками из своего сада и медом. Но яблоки застревали в горле и мед казался не сладок, когда дед, понурив седую голову, спрашивал:

— Что ж, ребята, и нас покинете немцам? Докуда ж будете отступать? Вот навязалась напасть! Не придумаю, что и делать. Идти туда, — махнул рукой на восток, — бросать дом, хозяйство на поруху. Да и какой я ходок. Восьмой десяток уже. Остаться здесь — как жить будем?.. Отвыкли мы, ребята, от панщины. Двадцать годков работали на себя. Ведь вот дите, — указывал на Кольку, — а и то вольным духом напиталось так, что уже его не переделаешь. Давеча что говорит мне: «Я, деда, Гитлера в хату не пушу. Возьму мамкины ножницы и глаза ему выколю». Ну, что ты с ним? Вот ляпнет что-нибудь такое при них, и прибьют... Эх, беда, беда! Али, может, дальше не пойдете, здесь останетесь? А?

— Приказано, дед, здесь занять оборону, — отвечал старику Роман. — Не пойдем никуда. Будем здесь держаться.

Но — не удержались.

Ночью немцы бросили разведку на Пчелкин. И разведка-то была — всего с десятков автоматчиков, можно было их всех перебить в хуторе, однако два взвода стрелков с приданным отделением саперов, подавись панике, отошли огородами за балку, заняли чьи-то брошенные окопы перед хутором Кострикином и залегли там.

Так и закрепился фронт до зимы: в Кострикином — наши, в Пчелкином, за балкой на бугре, — немцы.

...Памятной ноябрьской морозной ночью к хутору Кострикину подошли колонны пехоты. Командир роты объявил бойцам о наступлении.

Загрохотала артиллерия, загудели танки. Пчелкин был взят после короткого, но горячего боя — ни один немец не ушел из хутора. Пока передовые части вели бой за хутором, у развилки шоссе на дороге, Роман с товарищами забежали к деду погреться.

— Здорово, хозяева! — крикнул радостно Роман, перешагнув порог, и, забывшись, стукнулся лбом о притолоку.

Но ни смеха Колькиного, ни сожалеющего возгласа Насти: «Да что это вы, товарищ боец!» — не услышал.

У стола, поправляя швейкой обгорелый фитилек каганца, сидел дед Щекин. Руки его дрожали, швейка цокала о край блюдечка, не попадая в фитиль.

— Здорово, ребята, — отозвался дед и встал навстречу бойцам. — А, это ты, Роман. Тот, что говорил — не отступим?.. Вот как пришлось! Опять к нам? Живой, здоровый?

Слова дед сказал приветливые, но в голосе его Роман почувствовал холодок и сам ответил упавшим голосом:

— Как видишь, дед. А вы?

Старик подставил бойцам скамейку, одному не хватило — выкатил из-под кровати тыкву.

— У нас, парень, здоровья не спрашивай. Вот, остались вдвоем с внуком, — указал на Кольку в темном углу. — Доживаем...

— Спит? И боя не слышал? — обернулся Роман к койке.

— Больной...

Что-то хотел еще сделать дед — не то подлить масла в каганец, не то смести со стола осыпавшуюся штукатурку — забыла старая голова, — махнул рукой, взял Романа за плечо, подвел его к койке внука.

— Вот, — сказал коротко, откинув одеяло.

«Что?» — хотел спросить Роман, но, присмотревшись, и сам понял. Сначала ему показалось, что одна нога разметавшегося в жару мальчика как-то неестественно поджата, но потом увидел — совсем нет ее, отнята выше колена.

Старик отошел к печке, загремел чугунами.

— Как же это? — спросил Роман. — При бомбежке?

— Нет... Ну что, ребята, вам бы чайку согреть, а? Ты, парень, повыше меня — открой-ка трубу.

...Затрещали дрова, заблестел в печке огонь. На шоссе бой не утихал. Тяжко били дальнобойные орудия. Старик, рассказывая, временами вздрагивал, прислушивался, потом опять продолжал:

— Это ж народ такой, пацаны, им война вроде игрушки. Сколько раз ему наказывали: «Ты смотри, внучек, если увидишь гранату какую али еще чего — не бери ее, будь она трижды распроклята»... Нашли где-то винтовку — наш, Феньки Корниенковой пацан и еще двое. такие ж сорванцы, — насобирали патронов и давай лягушек на болоте стрелять. Такую пальбу подняли — всех немцев исполошили. Партизаны. Зараз автоматчиков на машину — и туда. Оцепили болото, поймали их, ведут в хутор под конвоем. Привели на колхозный двор, посадили в сарай и охрану выставили, полицейского — одного тут из наших, пьянчужку. Ну, полицией заснул, ребята поскучали сидеть так, давай в «Опанаса» играть — «Опанас, Опанас, лови кошек, а не нас». Вот такие партизаны! Потом продрали крышу, вылезли из сарая и — тикача. И тут один негодяй, скотина — немец — увидел их и из автомата по ним. Фенькинова напавал, такой же был, как наш, восьмой годок, другого ранили разрывной в живот, к вечеру скончался, а нашему тремя пулями ножку прострочили... понес я его в Камышовку, есть там фершал, старичок, остался один, ну что ж, посмотрел он. «Залечить, говорит, нельзя, кость всю раскрошило, только отрезать». Отрезал, и все одно не заживает.



— А мать где? — глухо спросил Роман.

— Мать далеко,— махнул рукой дед.— Это уже без нее случилось. Угнали на окопы. Всех молодых баб угнали... Лучше б вы тогда дальше ушли,— после долгой паузы сказал дед,— а то видим, слышим — там свои, а у нас что делается? Разве ж только нам пришлось пострадать? Дуньку Петрову повесили за то, что раненого красноармейца подобрала,— пятеро детей осталось. Никиту Подлужного расстреляли — вспомнили, что в восемнадцатом году партизанил. Ограбили все дочиста, скотину перерезали... У меня офицер жил, заставлял сапоги ему чистить. Бывало, не угодишь, блеску не наведешь, зараз хватает за шиворот и носом в сапог тычет. Дожился!..

Роман встал, прошел по комнате, задержался на минуту у Колькиной кровати, вышел, сгорбившись, во двор. И на морозе лицо его пылало огнем. Ему было мучительно стыдно за себя, за свое большое, сильное тело, за свои богатырские руки, которыми он, бывало, швырял пятипудовые мешки с пшеницей в порту, точно мячики, но которыми не сумел защитить от черной напасти эту хорошую, приветливую семью, этого малого беспомощного ребенка.

Три дня часть Романа двигалась во втором эшелоне, три дня пекло и болело у него в груди, и нечем было задушить эту боль. Лишь в Новоселовке, где их ввели в бой и где Роман захватил в одной хате пятерых немцев в белье, не успевших даже надеть штаны, и всех заколол, отлегло у него немного от сердца. Здесь он впервые поспал после боя несколько часов спокойно...

...Это было в прошлом году на Дону. Но этого больше никогда не будет. Так поклялся тогда перед собой и народом своим ростовский грузчик, боец Красной Армии Роман Нечитайло.

10 июля 1943 года.

## *После боя*

День выдался тяжелый для солдат. Всю ночь долбили кирками хрящеватую землю на отбитой у немцев высоте, перед рассветом подремали всего с полчаса в новых окопах: немцы поднялись в контратаку, завязался бой и — до полудня. В сумерках, когда перестали бить немецкие минометы, командир роты отрядил трех бойцов со старшиною в батальонные тылы за ужином, водой и табаком.

Отделенный Максим Степаныч Ткачев, по возрасту своему — отец бойцам, потрепанный жизнью и тремя войнами седоусый сержант, и люди его — все устали до изнеможения. Бойцы, склоняясь на бруствер, курили в руку и спали, просыпаясь, когда огонек сигарки прижигал ладони, сложенные фонарем. Но все же бывалый сержант и в этот вечер нашел, о чем поговорить с солдатами, чтобы не прошел день бесследно, не оставив ничего в памяти, кроме треска мин, стонов раненых и одуряющего зноя.

— Давеча, когда рыли окопы,— сказал Ткачев, снимая ботинки, чтобы дать отдых натруженным ногам,— Гончаренко спрашивает меня: «Не надоело тебе, Степаныч, воевать? Третью войну ломаешь, восемь лет на фронте!» Спросил, а я и не знаю, что ему ответить. Николай! Ты не спишь?

— Не-ет,— отозвался не сразу Гончаренко.

— Всю ночь думал я, что ответить на его вопрос,— продолжал Ткачев.— Сказать «нет» — брехня, сказать «да» — надоело,— тоже, считаю, будет выражение недопустимое... Как цыган один говорил... Не спи, Озе-

ров, зараз ужин принесут, слухай!.. Провожали цыгане новобранца на военную службу, на проводах пили две недели всем табором, три бочки вина осушили, пьяного и на комиссию привезли. И когда вернулся — опять загуляли на целый месяц, а потом и спрашивают: «Ну, как же тебе, Данило, служилось, расскажи». — «Да служить, говорит, ничего, служить добре, кабы только то оставалось, что с краю, кабы только провожали да встречали, а середку хоть бы и дядя взял...» Как его скажешь — не надоело? По-моему, это все равно, как если бы спросили, к примеру, товарища Калинина в старое время, еще до революции: «Не надоело тебе, Михаил Иванович, по тюрьмам да по ссылкам скитаться?» Конечно, черт ей рад, этой войне, и не мы ее выдумали, но мы наметили себе построить такую жизнь, чтобы навеки забыть про бедность, кабалу кулацкую, про всякое надругательство над человеком, и сами строили ее двадцать лет, — так кто ж теперь ее защищать будет?

Возбуждаясь от собственных мыслей, сержант заговорил громко, оживленно:

— Я, ребята, вам еще не рассказывал — я ведь пошел на фронт добровольно. Мой год в наших краях только нынешней весной призван, но я в армии с августа сорок первого. Дважды в военкомат ездил, комиссар говорит: «Оставайся, отец, дома, бригадирствуй, в колхозах тоже люди нужны». Я ему говорю: «В четырнадцатом году немца били — Максим Ткач дома не сидел; революция началась — пошел с партизанами через астраханские пески на Царицын и до конца гражданской, аж покуда Врангеля в Черное море спихнули, воевал; зачали колхозы строить — и тут я немало труда приложил. Двенадцать лет бригадиром проработал. Теперь, — говорю комиссару, — немец хочет отнять у нас все завоевание. Как же я могу утерпеть? Никогда я за свою жизнь в задних рядах не плелся, а всегда вперед поспешал и сейчас не имею права отстать».

Однако все же вернул он меня, с позором. «Нету, говорит, разверстки на твой год рождения»... Иду я через хутор обратно с мешком, с котелком, бабы встречаются, спрашивают: «Что, Максим Степаныч, отвоевался?» Глаза на лоб лезут, так мне совестно им отвечать. «Забраковали? Не берут лысых? А ты бы им сказал — старый конь борозды не испортит. Или это только для девчат поговорка? Ну, ничего, Степаныч, не горюй, им не сгодился, зато у нас теперь по недостатку мужчин ты за первый сорт сойдешь. Мы твою старость приголубим». Сорел было от сраму, пока доплелся до хаты. Ну его, думаю, к чертовой матери, чтоб я остался тут с этими сороками! Заморочат, к дьяволу! Ежели на то пойдет — нагонят страху больше, чем десять бомбардировщиков.

На другой день еще партию мобилизованных от нас отправляли. Тут уж я не стал к военкомату заходить, а прямым сообщением на станцию, в эшелон, пристроился к одной команде за провожатого да аж под Киевом выгрузился. Пришел в часть, предъявил документы, партизанский билет — разжалобил полковника, зачислил. Так я и присох, остался в части. Сначала в хоззвезде был, потом отделенным назначили. Воевал под Киевом, на Воронежском фронте, под Сталинградом был...

— На хуторе Ткачевом в Ростовской области, где я жил до войны, — продолжал Максим Степаныч, — нас, однофамильцев, сорок пять дворов. По нас и хутор назван. Я подсчитал как-то — девяносто два Ткачевых сражаются сейчас против Гитлера. Есть по трое, даже по пятеро из семьи. Я тоже сам-третий служу, два сына моих еще где-то воюют с первого дня. Старший, Семен, в городе Шахтах проживал в мирное время, техник по холодной обработке металлов — так его должность называлась, а теперь по горячей пошел — на «катюшах» работает.

Меньший, Илья, во флоте служил, в Балтике, потом писал — в морскую пехоту перевели, в обороне Ленинграда участвовал. Есть Ткачевы летчики, танкисты, врачи, пулеметчики, много награжденных, орденосцев. Один снайпер есть, присылал газетку с фотокарточкой — семьдесят пять фрицев убил... Я так думаю, что мы, Ткачевы, если подсчитать, всем своим родом не меньше полка фашистов изничтожили.

Короче сказать, не совестно будет дать отчет за свою фамилию после войны не только на колхозном собрании, а даже на всероссийском съезде, если потребуют. А такой отчет нам держать придется и перед народом, и перед своей совестью. Спросят каждого человека: «Что ты делал в ту тяжелую годину, когда враг за горло нас брал и нож к сердцу приставлял?» Так вот и скажу: «Я, Максим Ткачев, с хутора Ткачева Ростовской области, бил немца с четырнадцатого году, бил его, паразита, в восемнадцатом и на Отечественную опять пошел. Пока глаза видят, пока ноги носят — бил и буду бить фашистских гадов». Вот. А надоело тебе воевать или не надоело — это, я считаю, вопрос второстепенный. Поменьше надо думать о том, когда война кончится, — скорее время пройдет. Верно говорю? Вы не спите, ребята?

— Нет, товарищ сержант, слушаем.

— Ну то-то. Слушать-то больше нечего. Кончил. Вон ужин несут. Готовьте котелки.

12 августа 1943 года.

## *На всю жизнь*

Старший сержант Максим Ткачев два раза участвовал в обороне Царицына — Сталинграда: в восемнадцатом году и в сорок втором. За первый раз он не претендовал получить отличие, в то время медалей еще и не выпускали, но за второй частенько спрашивал командира роты, узнав, что по Указу правительства учреждена медаль для всех защитников славного города:

— Когда же я, товарищ старший лейтенант, получу ее?

И вот настал день — командир роты сказал ему:

— Собирайся, Степаныч, пойдешь на капэ полка. Через час приедет генерал, будет вручать всем, кто еще не получил, медали «За оборону Сталинграда».

Максим Степаныч за пять минут побрился, перемотал обмотки и, откозыряв старшему лейтенанту, пошел ходом сообщения в балку.

Вернулся он поздно вечером. На груди его рядом с орденом Трудового Красного Знамени и медалью «За отвагу» поблескивала в лучах ушербленного месяца новая бронзовая медаль на светлой ленточке.

Бойцы, поздравляя Ткачева, заметили перемену в своем отделенном. И тот и не тот вернулся к ним Степаныч. Что-то новое, важно-задумчивое появилось в его осанке, в голосе, в жесте, каким он приглаживал свои длинные седеющие усы...

Поужинав и проверив посты на обороне, Ткачев уже в полной темноте прошел узкой траншеей к своей землянке. Бойцы второй смены не спали, сидели на ступеньках, ожидая отделенного. Ткачев подсел к бойцам и поделился с ними своими мыслями, взволновавшими его, навеявшими сегодня на старого сержанта празднично-торжественное настроение.

— Вот, ребята, не первый раз уже получаю я награду от правительства, — начал он, — а привыкнуть никак не могу. Очень это действует мне на нервы. Тревожно как-то становится, стоишь в строю и чувству-

ешь, как в грудях подпирает. Ежели бы Звездой Героя Советского Союза награждали, так и вовсе б не выдержал, сердце б лопнуло, ей-богу.

— От радости? — спросил боец Гончаренко.

— От страху,— сказал Ткачев.— Верно говорю. Может, я, ребята, и неправильно выражаюсь, но это очень серьезное дело — орден или медаль получать... Я и до сих пор помню, какие мне сны снились, когда вернулся я домой в тридцать пятом году из Москвы с этим вот знаком,— указал он на орден Трудового Красного Знамени.— Видал я уже в то время орденосцев, пострадавших от слабости характера, таких, что возгордились наградой и сами того не заметили, как у них постепенно головокружение получилось... Думаю себе: вот я, Максим Ткачев, колхозный бригадир, удостоился приглашения в Москву за высокую урожайность зерновых культур, сидел на совещании в Кремле. Михаил Иванович Калинин орден к пиджаку цеплял. Куда сколько почестей! В газетах пропечатали на весь Советский Союз, по книгам везде прошел как передовик и стахановец колхозных полей. А вдруг, думаю, невыдержка? Ослабнет дисциплина в бригаде, случится какое-нибудь упущение с моей стороны, чего-нибудь недогляжу, не управлюсь вовремя с прополкой, с уборкой — тогда что? Целый месяц мерещилось мне ночами, будто вызывают меня, раба божия, обратно в Кремль по этому же самому делу, прихожу я туда, а там уже вся партия, правительство в сборе, ждут меня. Только я на порог — зовут в президиум: «Ну-ка, Максим, выйди сюда». И так же торжественно, как вручали, отбирают орден. «Не достоин ты, говорят, носить его, не оправдал нашего доверия»... Позорище! Кричал во сне с перепугу. Раз так явственно привиделось, что схватился с кровати и кинулся к гардеробу, где пиджак мой выходной висел, шупаю его — цел ли орден. Жена встала, засветила лампу, глядит на меня, головой качает — пропал, дескать, мужик, хвалили, хвалили и сглазили. «Ты, Степаныч,— спрашивает меня ласково, как больного,— не рехнулся ли, часом? Может, бабку Авдотью позвать, нехай пошепчет?» — «И ты бы, говорю, рехнулась, кабы такое с тобою случилось. К чертям твою Авдотью! Тоже нашла мне лекарку. Тут не поможет ни бабка, ни профессор с высшим образованием. Моя болезнь — особенная... Такую болезнь может только второй орден вылечить».

А в это время в районе по случаю моей награды началось празднество. Каждый день банкеты — то в райисполкоме, то в земотделе, то в Птицетресте, то в Семеноводсоюзе, то в колхозе каком-нибудь, и меня, конечно, приглашают обязательно. Поездил я неделю, две, гляжу — жирная курятина получается. Чем больше выпью на банкете, тем страшнее ночью сны снятся. Думаю себе: выпить, закусить — дело, конечно, неплохое, но кто же за меня будет удобрения заготавливать, инвентарь ремонтировать? Прогулять этак до весны — в аккурат сон сбудется. И — отрезал, как ножом. Звонят мне — я жинке говорю: «Скажи им, что захворал, без памяти лежит», а сам — в бригаду. Собираю звеньевых, участки намечаю, даю им задания, сколько семян очистить, навозу вывезти. Открыли курсы для колхозников, агронома пригласили. Ничего, обошлось. На другой год взяли урожай уже не по тридцать два центнера с гектара, как было, а по сорок с половиной вкруговую. На третий год — по сорок пять.

— По-моему, ребята,— продолжал сержант,— настоящий орденосец не тот, который назад оглядывается и все вспоминает и хвалится, за что его наградили, а который только вперед глядит перед собою... Сегодня, когда выстроили нас на капэ, пришлось мне стать четвертым слева от нашего полкового разведчика Никиты Голубева. Подали команду: «Равняйся!» — повернул я голову, гляжу на Никиту, а у него

ордена и справа, и слева, и Красного Знамени, и Красной Звезды, и Отечественной войны, и медаль «За отвагу». Приятно на такую грудь равняться, которая вся в отличиях. Дошла очередь по списку до меня, вызвал меня генерал, вручил медаль, поздравил, я ему и сказал про Никиту: «Вот, говорю, на какую грудь буду равняться не только в строю, а и в бою. Правильно, говорю, правительство сделало, что выпустило специальный Указ — на какой стороне какие ордена носить. Некоторым героям нашим уже беда — на одной стороне все их знаки отличия не вмещаются. Ну, беда это небольшая, согласен и я такую перетерпеть. Обещаю вам, товарищ генерал, что до конца войны еще не раз заслужу награду». Генерал усмехнулся: «Крепко сказано. Так ли и действовать будешь в дальнейшем?» — «Точно так, говорю. Иначе не имею права. Сегодня вы вручили мне знак, с которым плохо воевать нельзя. Весь мир смотрел на нас, когда мы Сталинград обороняли. Нам Сталинград вошел в душу на всю жизнь. И не только нам, солдатам, — ребят малых спросить, и те объяснят: «Это то самое место, откуда нашим батькам стыдно стало отступать дальше». И больше ничего ему не сказал. А когда я уже шел обратно, то надумал: эх, надо было еще добавить: «Эту медаль, товарищ генерал, носят по Указу на левой стороне груди, на сердце, а в бою — только повернувшись лицом на запад. С нею либо наступают, либо помирают не сходя с места. Будьте спокойны за нас, не опозорим звания сталинградцев. Долго ли, коротко ли продлится еще война, что бы ни было впереди — никогда больше не сделаем назад ни шагу. Чтоб отобрали медали обратно? Боже упаси, такой почетной награды лишиться!.. Моряку, говорят, могила в море, солдату могила в поле, но если придется нам помереть не на войне, а дома — сыны сохраняют наши сталинградские медали для внуков, а внуки своим внукам передадут — на вечную память о прадедах, которые отстояли их от немецкой неволи на берегу реки Волги в самый тяжелый час Отечественной войны».

28 августа 1943 года.

## *Фронтвые встречи*

### 1. Бойцы шли усталые

В селе Н. одна женщина говорила нам чуть не плача:

— Товарищи, милые, уже уходите? Да дайте же хоть наглядеться на вас!

Не зная, как дороги в наступлении часы и минуты, она сокрушалась в простоте душевной:

— Или вам не понравилось у нас, что так скоро уходите? Может, обиделись за что-нибудь, может, плохо встретили мы вас? Ох, родные наши, мы сегодня и так уже горевали. Шли красноармейцы, мы с невесткой выскочили на улицу, помахали им платочками, а они не оглянулись, не поздоровались с нами. Утром проезжали бойцы на машинах — те веселые были, песни пели, а из этих никто и не улыбнулся. Мы аж заплакали. Думаем, сердятся на нас. Сердятся, родимые, за то, что у немцев оставались, не ушли с Красной Армией, когда отступала она. Так разве можно винить нас за это? Не все могли уйти. Вот у меня, к примеру, шестеро детей, меньшей дочке три месяца было, когда немцы вошли, — куда б я с ними делась? Может, просто устали люди с дороги или спешили очень и не до нас было в ту минуту?

Больших трудов стоило нам успокоить расстроенную женщину и убедить ее, что так, пожалуй, и было: прошли бойцы километров три-

дцать, устали, жара, пыль — могли и не обратить внимания на двух улыбающихся им женщин, тем более что их в этот день приветствовали уже тысячи.

## 2. Марина

...За селом на шоссе работают женщины и девушки, засыпают щебнем воронки от снарядов и бомб, чинят взорванные немцами мостки. Здороваемся с ними. В ответ нам цветут улыбки, выются по ветру сорванные с голов косынки. Как можно проехать, не остановившись? Тормозим. Женщины бегут к машине, обступают нас, говорят все разом, перебивая друг друга. Одна спрашивает, не встречали ли на фронте ее мужа, такого-то по имени-фамилии, другая справляется о брате, третью интересуется, далеко ли отогнали немца, четвертая, волнуясь и глотая слезы, спешит рассказать, как прятались они все эти дни в степи, в кукурузе, боясь, чтобы немцы не угнали их в Германию, пятая ошупывает наши шинели, словно не веря глазам своим, что перед нею действительно офицеры Красной Армии. Бурная, горячая, неподдельная радость.

Лишь одна молодлица, высокая, чернобровая, стоит в стороне и не вмешивается в нашу беседу. Кто-то обращает на нее внимание.

— А ты ж, Марина, почему не подходишь? Или не рада гостям?

Марина вскидывает на нас большие черные глаза, хочет что-то сказать, но вдруг отворачивается и, закрывшись платком, плачет навзрыд, сгорбив плечи. Что с нею? Одна женщина говорит:

— Обидел ее сегодня ваш командир. Задело бабу за живое.

Из рассказов женщин и самой Марины выясняется: какой-то интендант из трофейной команды, разыскивавший брошенное немцами военное имущество, действуя по поговорке «заставь дурака богу молиться, он и лоб расшибет», забрал у Марины пару банок немецких консервов и кулек сахару и укорил ее при этом: «Ишь, нахапала добра! Должно быть, офицера содержала на квартире. Все тут немецкие постельницы. Мы за вас кровь проливали, а вы с фрицами путались».

— Да как у него язык повернулся! — сотрясаясь от рыданий, выговаривала Марина. — У меня муж на фронте... с первого дня... Отца повесили полицейские... Мы вас ждали, как родных...

Женщины досказали про Марину:

— У нее стоял на квартире немецкий офицер, это верно. Понравилось ему, что в хате чисто, хозяйка молодая, красивая. Ну, приставал, конечно, до кого они не приставали, кобели рыжие. Так это еще не причина, чтоб обозвать так молодницу. Мы-то знаем, как они жили. Офицер на постели у нее спит, а она с детьми в сарае прячется либо к соседям убегает от него. Натерпелась, бедняжка, горя из-за своей же красоты. Старухам и то легче было переживать это время. И опять же, пришли наши, и такое оскорбление услышала. Всем праздник — Красная Армия пришла, а она слезами обливается...»

Жаль, что не застали мы этого интенданта. Поговорили бы с ним по душам. Дураки могут навредить нам сейчас в отношениях с жителями освобожденных районов не меньше, чем мародеры.

## ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ

Название цикла рассказов — «Ненаписанное». (А в самом деле оно будет *н а п и с а н н о е*.)

\* \* \*

Вероятно, никогда не засяду за роман. За автобиографический или какой-нибудь другой. Не в моем характере.

Много остается ненаписанного.

Но как-то жалко не сказать.

Бессистемные наброски, заметки.

Может быть, кто-то что-то разовьет в большой сюжет — пожалуйста.

Все наброски пересмотреть, все сюда! Потому что это, м. б., будет *п о с л е д н я я* и самая е м к а я вещь.

Всю «философию», все раздумье — сюда!

\* \* \*

### *Мои университеты*

Начать с того, что у меня не было ни матери, ни отца, ни даже бабушки, как у Горького. Не было такого счастья.

Детство — очень мрачное.

Отец... Драки братьев.

И кто же мне заменил горьковскую бабушку? Сначала — никто. А потом — партия. Комсомол.

И — прелесть борьбы, захватившей работы.

И как трудно было молодой голове, молодым мозгам.

Бессонные ночи. Страшные вещи. После и фронт — не труднее был.

\* \* \*

### *Мать*

Я не помню матери. Но старшие братья и сестры много рассказывали мне о ней — ласковой, доброй, тихой женщине. Нас, детей, у нее было восемь душ. Трудная семья.

Мне представляется, что мать в большой семье, хорошая, умная мать, — что сердце в живом организме. Что бы ни задумала голова (отец), что бы ни сделали путные и беспутные дети (руки, ноги), все ложится на сердце — горе ли, радость ли. И когда голова отдыхает, спит, руки раскинулись — отдыхают, сердце не забывает свое: тук-тук, тук-тук, тук-тук...

\* \* \*

Я всегда, с детства еще, тянулся душою к хорошим людям.

И не просто ждал, что они мне попадутся. Я искал их!..

Могут обвинить меня в том, что я идеализирую человека.

Да. Но почему, для чего? Надо же, чтобы люди были хорошими!..

\* \* \*

Смотрел на поросят от нашего хряка и думал — вот они, агитаторы за нашу коммуно! Проводники наших идей.

В этом получал *н а с л а ж д е н и е* *р а б о т о й* (наивно-мечтательные, но берущие за душу слова).

— Вот смотри, бегают.

— Кто?

— Это наши.

И на самом деле — вот этим постепенно и привлекли народ на свою сторону.

\* \* \*

Я способен был всегда подолгу любоваться тем, что сделал. Это иногда сводило на нет быстроту работы. Сошьешь пару сапог за день, а час потом тратишь на то, что вертишь их в руках и любишь — смотрика, сам сотворил!

\* \* \*

А все-таки это большое дело — мечтать!..

\* \* \*

Когда я думал только о своей коммуне — забот хватало, но все же спал спокойно, как сурок, наработаешься, набегаешься по полям...

Когда думал о районе — тоже бессонницей не страдал.

Стал писателем, жил на Кубани — тоже жил сравнительно спокойно. Хороший край! Там природа за тебя наполовину сработает. Надо быть полным дураком, чтобы на Кубани не получить урожая.

Переселился в среднюю полосу России — пропал сон.

\* \* \*

Есть характеры — не гнутся, а сразу ломаются. Человек не меняется, не приспособливается к жизни, не подличает, идет и идет напрямик своей дорогой, и это стоит большой борьбы, большой затраты сил. И вдруг остановится, оглядится — шел, шел, а все то же вокруг, — и сразу сломится. И это уже конец, и духовно и физически.

\* \* \*

А есть враги — что будешь лежать при смерти, и то надо шутить и улыбаться. Это надо делать и для врагов и для друзей. Чтобы друзьям не так жалко было тебя, а враги чтобы боялись до последней минуты.

\* \* \*

### *Шагреневая кожа*

С каждой новой вешью — большой кусок жизни долой.

И не просто — вот тот кусок жизни, который прошел, когда ты пишешь: три месяца писал — естественно, три месяца из жизни ушло.

Нет. Три месяца писал — год жизни долой! Год писал — на три года жизни убавилось.

Не шади себя! Хочешь светить — гори!

\* \* \*

Иногда приходит редкое, дорогое настроение, которого ждал неделями. Дрогнули, зазвенели какие-то струны в душе. Сам себя несешь осторожно, как переполненную чашу, боишься пролить каплю. И вдруг...

\* \* \*

У Чехова есть великолепный рефрен ко всему:

— Не знаю. Не знаю, что будет и как будет. Но очень хочется, чтобы было лучше.

Вот так мы, писатели, и должны работать — чтоб было лучше!..



\* \* \*

Противники того, о чем я пишу,— первейшие мои друзья и помощники. Споры с ними помогают мне находить в процессе работы над вещью более сильные образы, слова для подтверждения тех же с а м ы х м ы с л е й, против которых они выступают.

\* \* \*

С каждой новой своей вещью я чувствую себя начинающим писателем. Господи! Не покинуло бы меня это чувство до смерти.

\* \* \*

Литературу движет тоска по хорошему человеку.

\* \* \*

В тракторной бригаде сочетается и поэзия деревенской степной жизни, и красота разумного, организованного, поставленного на высокую ступень производительности человеческого труда. Главное в повести — раскрыть, отчего слезы выступают, когда слышишь мощный гул челябинцев.

\* \* \*

Столько было писателей, обманувших читателей, что народ наш сейчас очень жестоко, я бы сказал даже — злобно забывает писателей, не оправдавших надежд.

\* \* \*

Не пиши художественное произведение слишком подробно. Не комментируй собственных намеков, своего же подтекста. Не пиши одновременно с повестью и критическую статью на нее.

\* \* \*

### *Жизнь — движущаяся мишень*

Стрельба по движущейся мишени с выносом или упреждением (у охотников или военных).

Целься туда, где в данное мгновение мишени еще нет. Но она придет туда к моменту прилета дроби или снаряда. Иначе заряд пойдет куда-то далеко позади хвоста.

Так в литературе.

Так в конструкторском деле делают сверхмощный мотор, которого пока ни одна из существующих конструкций самолетов не выдержит. Но через четыре-пять лет такой самолет будет. К этому времени и мотор будет сделан.

Так и в ирригации. Строится огромное водохранилище, для которого пока еще потребителей нет. Но пока оно будет построено...

\* \* \*

Публицистика лишь тогда имеет смысл, когда она действительна. А сделать ее действительной недостаточно силы одной публицистики, журналистики.

А бездейственность публицистики — это хуже даже полного отсутствия публицистики.

Бездейственность публицистики подрывает в народе веру в силу печати. И у самих публицистов. У них руки опускаются.

Человек, о котором много писали, начинает жить по писаному, подлаживается под очерки о себе. Надо же их оправдать! И уже трудно найти в нем свое, самобытное.

\* \* \*

Не надо никому показывать черновики, незаконченные вещи. Не надо в балете садиться в первых рядах — видно напряжение мышц и даже пот на коже балерины.

\* \* \*

Талант писателя — от бога. Талант быть человеком — от него самого. Это — важнее.

\* \* \*

«Без «гнева» писать о вредном — значит скучно писать» (Ленин, т. 35, стр. 23).

\* \* \*

Трагедия великих пьес — некому их играть. Так ли? Примириться с этой трагедией?

А плохие пьесы портят актеров, делают их еще хуже.

Так как разорвать этот заколдованный круг?

Надо все-таки играть хорошие пьесы. Пусть неважно играют актеры в хороших пьесах. Сначала — неважно, потом лучше будет.

Все-таки здесь путь для актера — к лучшему.

В плохих пьесах — только к худшему, только к падению.

\* \* \*

Вот этим начать сцену с молодежью:

— У вас из райкома инструктора бывают?

— Бывают.

— А секретарь РК бывает?

— Тоже бывает.

— А из обкома?

— Да и оттуда бывают. Летом секретарь обкома сюда заглядывал.

— Ну и что ж они у вас делают?

— А то же, что и вы сейчас. Спрашивают: бывает ли кто или не бывает.

\* \* \*

Некоторые носители бюрократизма стали сейчас довольно упорно вдавливать в головы людей, что возмущение бюрократизмом у нас — это замаскированная борьба с советской властью, замаскированный подкуп против нее. Ох как хитры люди! Как многообразны формы сопротивления бюрократов!

\* \* \*

*Для пьесы*

— Смелость, смелость! Что вы говорите? А если этой смелостью воспользуется какая-то сволочь?

— А ты на его смелость — свою смелость!

\* \* \*

Когда идет речь о расширении демократии, то подразумевают именно расширение демократии, а не анархии. Чего нам бояться в самом деле?

В этом смысл интереса, полнота жизни людей!

В этом расцвет социализма!

Это то, что можно показать миру, чем действительно можно удивить мир!

\* \* \*

Бюрократы и демагоги нужны друг другу, они союзники.  
Демагоги позволяют бюрократам свертывать борьбу с бюрократизмом.

\* \* \*

Полярно противоположный взгляд на некоторые факты.  
Где-то не избрали рекомендованного обкомом секретаря.  
ЧП!  
А я смотрю — здоровый факт. Партийные массы поправили обком.  
Очень хорошо!  
Лишние заботы?  
Нет. Часть забот народ берет на себя.

\* \* \*

Выбивать у циников и маловеров их козырь, что все равно, мол, плетью обуха не перешибешь.

\* \* \*

Мы решили... Привыкли к этому так, как будто мы уже сделали.

\* \* \*

Усиление руководства. Много вбирают в себя эти слова.  
Усиление — не означает раздутие управленческих штатов, усиление администрирования.  
Усиление — это умнее, гибче, тактичнее.

\* \* \*

— Что вы думаете — все прошло? Нет. И начальство, которое любит, чтобы его ели глазами, еще не съедено, и...

\* \* \*

— Если бы мы имели только наши достижения и не имели наших пороков — что бы мы уже успели сделать!

\* \* \*

— Вот как работали! Приехал он через три дня из села (в 1929 г.), в каком виде! Входит в РК: «Вот, говорит, рук-к-кава оторвали (заика был), ч-ч-чуть штаны не стянули, а линию п-п-партии провел!»

\* \* \*

Коммунизм — не дом, который заселяется, когда все уже закончено и леса убраны. Не будет такой грани: готово, заходи!

\* \* \*

Напористый товарищ. Видно, что энергии куча, заботлив. Морщина на челе. А чем он озабочен? Может быть, упрочением собственного благополучия? Иногда главным образом по этому качеству, по «напористо-

сти», судим благоприятно о человеке: «Годится! Поведет!» А разве при Николае II не было энергичных людей?

\* \* \*

— Не знаю... А кто сказал: движение — все, цель — ничто? Лихо сказано? Но — страшно... Ну, давайте подумаем — правильно ли сказано.

\* \* \*

— А наше, собственно, ваше дело — меня критиковать? Еще чего недоставало! Хватит для меня страхов перед высшей инстанцией. Для меня — мой страх, для вас — ваш. В любом деле должна быть субординация.

— Да. Ты же, брат, не видел, каким он становится перед работником ЦК? Тогда он совсем другой. Действительно — хватит страхов.

\* \* \*

Относитесь с уважением к человеку. К любому человеку. Перед тобой — жизнь человека, человеческая судьба. Ведь социализм ради чего — ради человека!

\* \* \*

Самое страшное в человеке — двурушничество. С того дня, как его заставили первый раз, затаив в душе одно, сказать совсем другое, с этого дня начинается падение этого человека. Если вовремя не смоеет себя эту гадость...

С двурушничества начинается все: подлость, склонность к вероломству, предательству. Это гибель человеческой души.

Это страшная ошибка, когда начальнику больше нравится покорный двурушник, нежели строптивый вольнодумец.

\* \* \*

Выступает правильно.

Поступает неправильно.

Он совершенно искренне думает, что эти грехи — только в других, не в нем самом. Раз он все время говорит об искоренении этих грехов, то как же они могут быть в нем самом? Он давно уже выпустил их из себя — вместе с речами об их искоренении.

\* \* \*

— Это не типичное явление, писать об этом газета не должна. (Если таких случаев пока мало, гласности предавать не надо. Пусть это явление разрастется до размеров типического по количеству — тогда начнем с ним бороться.)

\* \* \*

Почему любит часто выступать? Голос красивый, любит себя своим голосом. Засыпался на экзамене. Но не смущается. Звучным, красивым, самовлюбленным голосом продолжает пороть чушь.

\* \* \*

— Сократ уж какой был мудрец, а с женой своей ни черта не со владал. Не перевоспитал!

\* \* \*

— Это полбеда, когда заранее пишут доклад. Вот то беда, когда сразу пишут и заключительное слово.

\* \* \*

Пошное, обывательское:

— Очень много на себя берете!

\* \* \*

— Товарищи! Не надо бояться быть смелыми!

\* \* \*

Критик:

— А теперь, господа, помощи, что будет, то будет! (Перекрестился, сошел с трибуны, кончив речь.)

\* \* \*

Стихия и агроном.

— А на то и агроном! Хороший агроном даже хочет трудной погоды! Тогда разница виднее.

Хороший агроном никогда не оправдывается стихией.

И хороший агроном даже в самый наилучший год чувствует себя должником (виноватым).

\* \* \*

Некоторые агрономы не горюют особенно о правах, потому что раз нет прав, то нет и ответственности.

\* \* \*

Бригадир тракторной бригады с женой грызутся.

— Я ей говорю: предплужников нет, и МТС не кует, не мелет, не покупает, счет у них в Госбанке закрыт. Говорю: надо бы самим трактористам сложиться да заплатить кузнецу, да пусть он нам поделает предплужники. А она мне: у нас пододеяльников нет. Платья у меня нет. Я ей — о предплужниках, а она мне — о пододеяльниках. С пол-оборота завелась и понесла!

\* \* \*

— Я был таким жалостливым, что, бывало, обыгрывал кого-нибудь в шашки, так и то жалко его становилось, будто обидел человека.

\* \* \*

— Перейдем от международного положения к внутреннему. Вот есть внутри нашей бригады колхозница...

\* \* \*

— Ты не Золушка уже по одному тому, что слишком много говоришь об этом. Настоящая Золушка никогда не называла себя Золушкой, она и не догадывалась, что она красавица.

\* \* \*

Бывший ученик кого-то стал его начальником. И как человек демократичный, он никак не может избавиться от уважения, чувства подчинения этому человеку. Никак не может привыкнуть приказывать ему.

Все время не покидает его какая-то застенчивость, неверие в то, что он по праву выше того.

Мы живем в такое время, когда прошлое нам, к сожалению, еще понятнее и ближе, чем будущее.

\* \* \*

Есть люди, у которых с их жизнью для них кончается все. Трусливо, жалко умирают.

Легче умирать тому, кто жил ради какого-то большого общего дела, которое и после его смерти продолжается.

\* \* \*

Ю. Фучик.

Герой — это человек, который в решительный момент делает то, что он должен сделать.

\* \* \*

«Буду ругать» — а сам не ругается, очень добрый.

\* \* \*

Человек осторожный, который сам это свое качество называет скромностью. «Я человек скромный».

\* \* \*

Он из тех людей, что умеют держать на ладони два арбуза сразу (азербайджанская поговорка).

\* \* \*

Сверчок под печкой — вдовый соловей.

\* \* \*

Храбрости у мужика всегда было достаточно (отчаянности), да инициативы не хватало. А как выберут ходок, то — хоть в Сибирь на каторгу за мир! Есть оправдание перед самим собою: должен погибать, мир выбрал.

\* \* \*

— Ефремовка — Федоровка. Два обоза. Остановили, набили морды, поехали дальше.

— А вы сами из Федоровки или из Ефремовки?

— Из Ефремовки. Я на возу сидел, когда моему отцу давали по шее. Запомнил на всю жизнь...

\* \* \*

— А кого-то надо и поскоблить. Своей рукой он этого сделать не может.

\* \* \*

Отставший боец. Заболел. Сел у обочины. В темноте не видели. Прошла рота — стал уже «не нашей роты», прошел батальон — стал уже «не нашего батальона».

\* \* \*

Обжегся на молоке и на корову дует.

\* \* \*

Талоны на прием к директору завода Абелеву. Были такие!

Выдавал на цех (лимит), и начальник цеха давал рабочим по своему усмотрению, кому дать, кому нет. Прием один раз в неделю, два часа.

\* \* \*

Двое пьяниц после трудной дороги добрались домой.

— Ну, Макар, до дому пришли. Теперь за нас жинка отвечает.

\* \* \*

Не лезь памятником на чужой пьедестал.

\* \* \*

— Вы меня не толкайте на скользкое место.

\* \* \*

Парень дурака валяет:

— Не прошел комиссии, ноги разные: одна правая, другая левая.

\* \* \*

— И петух кукурузы просит: ку-ку-ру-зы-ы! Вот какая культура нужная.

\* \* \*

Дружба — водой не разольешь, за хвосты не растянешь.

\* \* \*

Убивают инициативу крылатым словечком «отсебятина».

\* \* \*

Перевели с пасеки в малинник.

\* \* \*

Передовик — по принятым обязательствам.

\* \* \*

Старик:

— У меня не так много времени осталось жить, поэтому я не могу уже выносить ни одной глупости. Некогда.

---

## О ВАЛЕНТИНЕ ОВЕЧКИНЕ

**В**алентина Овечкина своя роль в советской литературе. Величина ее еще не выяснена, еще выясняется не столько литературой, сколько самой жизнью, в которой то или иное время будут жить его произведения, привлекать читательское внимание, исследовательский интерес.

Но что роль эта своя собственная, непохожая на другие роли, не ординарная — очевидно уже и сейчас, очевидно было и при жизни Овечкина.

Удивительно, отлично ото всех уже то, что с обычными мерками к творчеству Овечкина не подойдет.

Художественность? Занимательность? Сюжетность? Фабульность? Историчность? Повествовательность?

Ни одно из этих установившихся понятий к творчеству Овечкина или не подходит, или подходит только с какими-то существенными поправками, уточнениями, оговорками.

Измеряется и определяется сначала как бы не само произведение, а единицы измерений и определений.

А это уже и значит, что мы имеем перед собою нечто не ординарное, новое, незнакомое прежде.

И когда мы, проявляя естественный интерес к этому новому и незнакомому, попробуем определить качество новизны, ее свойства, так, вероятно, прежде всего найдем, что они заключаются в том материале, который осмысливал и исполнял писатель.

Правда, на первый взгляд материал этот отнюдь не нов. О деревне русская классическая, а затем советская литература всегда говорила много, интересно и глубоко, именно здесь она была наиболее социальна, касается ли это «Четверти лошади» или «Бежина луга», где за лирикой все равно прорисовывается социология.

Но нет, Овечкин — писатель традиционный лишь в самом общем смысле, лишь в том отношении, что и задолго до его времени, в его время и после него русская литература проявляла на редкость пристальное внимание к земледельцу, ко всем проблемам его существования, к сельской жизни в целом.

Вряд ли можно и нынче назвать другую область, к которой это внимание было бы столь же пристальным, участливостью — столь же неизменной.

Если спросить, почему это так, то ответ, вероятно, сойдется на том, что в крестьянине-колхознике уж очень сложно, очень необычно для человеческой истории переплелись всяческие интересы человека: личные, коллективные, государственные.

Его быт и его мораль тоже претерпели наибольшие перемены, совершенно новые создавались здесь и отношения между людьми. Колхозник — председатель, председатель — бригадир, председатель — директор МТС, председатель — райком, райком — МТС. колхозник — колхозник же — ведь это все совершенно новые зависимости, связи, новые обязанности одних по отношению к другим, а всех вместе к новому обществу.

Сколько здесь этих линий связи, еще не прочерченных житейски, не узаконенных до конца юридически, не подкрепленных исторической традицией?

И вот Овечкин, изучая эту сложную жизнь, прежде всего в плане общественном, участвуя в ней непосредственно, примериваясь к ней и определяясь в ней сам как писатель, подошел к некоему нерву всего сплетения, к фигурам, через которые наиболее полно эта сложность открывается, прочерчивается.

Фигурами этими оказались у него районные руководители. «Районное звено», как тогда говорили. После Овечкина кто только из «сельских» литераторов не писал о райкоме и райисполкоме. Теперь это кажется так естественно, все к



этому так привыкли, что кое-кто от этого успел уже серьезно отвыкнуть, но ведь такую возможность, такой нерв надо было открыть для художественной литературы, ввести в нее! Для этого нужны были «Районные будни».

Конечно, председателей райисполкомов, инструкторов и секретарей райкомов в литературе было немало и до Овечкина, но в какой мере и как?

Вот беседуют, беседуют долго, на редкость подробно и дотошно два секретаря — Мартынов и Борзов, кроме их беседы, в повествовании и нет почти ничего, а вдруг да и случилось что-то — случилось литературное произведение, и необычное, очень своеобразное.

Случилось, вернее всего, потому, что Овечкин ввел в литературный обиход такие отношения между людьми, которые никогда прежде в этот обиход не вводились, по крайней мере серьезно и как главное содержание литературного произведения.

Говоря формально, он ввел своего читателя в курс служебных отношений этих собеседников. И только.

Но не формально, а по существу, по правде, это было введением в литературу новых общественных отношений, новой общественной деятельности своих героев.

К этой деятельности читатель вслед за писателем относился так внимательно и заинтересованно, потому что она касалась его непосредственно, — это ведь о моем хлебе, который я сегодня же приму как пищу материальную, и о моих взглядах на реальное положение дел, которые мне необходимы уже как пища духовная, ведут беседу Мартынов и Борзов.

Это их я вспомню, когда завтра не просто ради познавательности, а по той или другой вполне практической необходимости сам явлюсь в пределы «районного звена», пройду по коридорам, в которые выходят покрашенные и обитые дерматином двери с дощечками: «Первый», «Второй», «Председатель», «Заместитель», «Зав. отделом», «Инструкторы».

Как для Чехова, положим, человек обозначался в быту, на бытовом фоне, так для Овечкина это обозначение происходило в повседневной службе, в исполнении обязанностей перед государством, перед партией, перед народом. Перед людьми.

Литература уже была близка к этому после появления в ней так называемого производственного очерка и романа, но Овечкин еще нашел свой чуть ли не жанр, злободневный; но — непреходящий в краткий срок, со своей оригинальной методой, со свойственной такому жанру — или полужанру, от этого дело не меняется, — со свойственной только ему интонацией и манерой.

Трудно все это уложить в рамки традиционного литературоведения, и, должно быть, от этого за очерком овечкинского покроя и характера, вообще за очерком тогда повелось было утверждение, будто он — примат над иными жанрами, если уж не во всех смыслах, так в смысле общественного значения несомненно.

Так это или не так — другое дело, однако же редко кому из писателей удавалось вдруг привить такой вкус, придать такое значение и звучание своему жанру.

Трудно было литературоведам и критикам, но — интересно. и многие из них, и не пытаясь применить уже известные понятия к новому явлению, обозначали его так: «Овечкин и др.». И не только литераторы, но и самый широкий читатель без дальнейших разъяснений понимал, о чем речь, о ком, какова речь.

Овечкина нет, а многие «др.» остались и пишут очерки, рассказы, повести и романы из сельской жизни.

Близки они были в свое время к Овечкину, эти другие. или уже и в овечкинский период сельской литературы занимали свое особое место — опять-таки дело не в этом: существенно, что мы пережили этот период не бесследно. что-то ему дали, но и что-то от него взяли, не считаться же с этим периодом с его собраниями «сельских» литераторов, с его поисками, а главное, с его произведениями — невозможно.

Невозможно. да и не нужно: интересный период, поучительный, напряженный в своем поиске.

Многие проблемы села того периода нынче уже успешно решены, возникли другие, они тоже решаются.

Но что-то грустно иногда вдруг становится оттого, что лично тебе при случае нельзя походить в «других», около кого-то.

Значит, тот — кто-то — был. И не просто так. А делал литературное дело значительно, весомо, боевито, порядочно.

С. ЗАЛЫГИН.

**В**шел Валентин Овечкин — человек с открытым для людей сердцем, писатель-коммунист, писатель-боец с большим талантом, смелый и честный, для которого правда в литературе была так же естественна и необходима, как воздух для легких, правда единая и неделимая.

И нет тех слов, какими можно бы выразить горечь потери. Так, стоя у гроба близкого и родного человека, ты безмолвен, потому что весь заполнен горем и недоумением перед лицом смерти, и ты еще не хочешь верить, что его нет... Но — что поделаешь! — граница его трудной жизни обозначена холмиком свежей земли. С этого часа о человеке говорят «был».

Да, был. Пришел человек в литературу, сделал все, что в его силах, надломился, занедужил и ушел.

Мне вдвойне горько, потому что ушел человек, с которым связан большой поворот в моей жизни. Отчетливо себе представляю: не появившись Валентин Овечкин с очерками «Районные будни» — не было бы, наверно, и меня как писателя.

Вспоминаю 1952 год. В благостно-сладчайшем тоне звучала так называемая «деревенская тема». Но в каком контрасте это было с действительностью.

...Осень. И без того изношенная земля все еще была бессильной от недавней четырехлетней послевоенной засухи и многолетних сорняков. Она просила отдыха... Четыре года войны да еще четыре — бесхлебья... И вот приехал уполномоченный и «вынес решение общего собрания»: вывезти в поставку и семенной материал. Полно, было ли это? Было.

...Горела керосиновая лампешка в конторе. На улице шел дождь, надежда-дождь. Сильный и непрерывный, он барабанил в окна без устали. Куда идти в такую благодать в стареньком плащишке за семь километров по благоденствующему, восторженно хлюпающему чернозему? Я остался ночевать в конторке — старой, ветхой избе, крытой камышом... Именно тогда, в тот вечер, под звуки труженика-дождя я раскрыл «Новый мир» и прочитал «Районные будни» Валентина Овечкина. И все осветилось другим светом. Казалось, и лампешка-моргушка загорелась ярче.

Как живой родник, бьющий из черноземной уставшей земли, был для меня Валентин Овечкин в 1952 году. Внутри задрожало. Это было что-то незнакомое и неудержимое...

На следующий вечер дома я достал заветные тетрадки. Все, что писал до этих тетрадок в клетку, показалось мелким. В ноябре 1952 года я послал в «Новый мир» несколько рассказов «Из записок агронома». В 1953 году они появились в журнале.

Так состоялось первое знакомство с Валентином Овечкиным.

Через два года я с грустью попрощался с избой, крытой камышом... Может быть, заблудившийся путник вот так же жалеет о покинутом шалаше, где он перенес много невзгод и горя, но где нашел и свое спасение. Да, Валентин Овечкин в той хате поднял меня за шиворот, поставил на ноги и сказал: «Иди! Ты — человек!»

Все последующие пятнадцать лет вместе с другими, услышавшими голос Валентина Овечкина, я старался идти в ногу с ним. Бывало, и покритикует, быва-

ло, и похвалит. Бывало, спорили. Через такое и пришли к дружбе — бывший председатель колхоза и бывший агроном.

Впрочем, как же иначе? Что бы вышло, если бы вдруг в оценке литературного произведения было полное и благое единомыслие? Только серость всегда едина в оценке, она ни в чем не сомневается. Овечкин же был полон веры и сомнений, какие он высказывал всегда прямо и честно. Но этого-то и не любила в нем серость, временами пряткая, дотошная и пробивная.

В 1965 году, живя уже в Ташкенте, он прочитал как член редколлегии рукопись моего очерка «О реках, почвах и прочем», прислал хороший отзыв, сделав, однако, и серьезные замечания. В те трудные для меня дни я выписал себе абзац из его известной речи. Вот он:

«В одном месте у нас решения пленумов ЦК выполняют люди творческого ума, инициативные, смелые, деятельные. В другом месте можно еще встретить пока закоренелых формалистов, нудных начетчиков, заводных манекенов... в любом деле они прежде всего бросаются на форму, внешне показную форму. В устах таких людей само слово «новаторство», как они повторяют его по обязанности сто раз в день, звучит как новый шаблон, а слово «инициатива» — как циркуляр. О таких украинцы говорят: «Як поведе очами по хате, то и молоко в глечиках кисне». Куда уж точнее!»

...Письмо Валентина Владимировича ко мне об очерке было бодрое, обнадеживающее после всего, что случилось с ним. Казалось, братская узбекская земля оживила нашего друга. Казалось, плечо его окрепло настолько, что на него можно опереться, и он сам зовет к этому.

А в апреле 1966 года — лежа в постели! — он просит прислать рукопись моего второго очерка на ту же тему, интересуется подробностями дела. В конце же письма прорывается:

«А дома у меня все по-старому. Продолжаю хворать, прикован к дому, никуда не могу выехать. И долго ли еще продлится такое состояние — не знаю. Осточертело! Напиши болящему! Буду рад твоему письму. Обнимаю!»

А через два месяца (9 июня 1966 года) в последних строках письма обрадовал: «Здоровье мое малость на поправку пошло. Рассчитываю в скором времени засесть за новую вещь. И ты не болей. Держись!» Валентин ожил!

«Держись!»

И главное: «...засесть за новую вещь»!

Спустя некоторое время он известил коротко:

«Не писал тебе все это время потому, что тяжело болею... Тебе такого не желаю... Порадовал бы письмишком».

Вот и все. Теперь мы знаем, что это было началом уже неизбежного конца...

Самое последнее письмо его ко мне было прощальным (теперь-то я это понимаю!). Кажется, он предчувствовал трагическую развязку. Оно написано незадолго до кончины:

«Проболел почти весь год. Не знаю, каким окажется 68-й. Лучшего не жду»... «Елка у нас была не российская, без снега и мороза. Тепло, солнечно, молодежь ходит без пальто»... И дальше: «...так хочется вернуться в Россию! Но осуществить переезд не смогу по причине отсутствия денег»... «Остается только тосковать по России, что я и делаю. Особенно зимою, когда знаю, что где-то у вас и родные сердцу заснеженные леса существуют, и морозы трещат, и вьюги воют. Эх!..»

Сколько боли в этих скупых строках! Только сын земли русской может так тяжело печалиться о «родных сердцу заснеженных лесах», морозах и вьюгах...

Что сказать?..

Да, он был родным сыном России, беспокойным и радетьельным, поднимающим людей против того, с чем борьба продолжается и сейчас: слово «борзовщина» стало точным определением явления в стиле работы, явления, меняющего иногда оттенки внешней окраски, но сохраняющего сущность, уже легко распознаваемую после Овечкина. Он будто распахнул дотолу закрытые массивные ворота, куда ринулась за ним целая плеяда новых писателей, каждый со своим голосом,

со своим стилем, плеяда непохожих друг на друга талантов. Ответственный пост передового, куда никто никогда никого не назначает и не может назначить, он занял в 1952 году, занял по праву таланта, как уже сложившийся писатель.

Знаю, какое сердце, волю, убежденность в правоте надо было иметь, чтобы сделать то, что сделал он.

В октябре 1955 года он сказал: «...надо долбить и долбить в одну и ту же точку... когда речь идет о борьбе средствами литературы с такими врагами советского общества, как бюрократизм, формализм, карьеризм»... И он не жалел себя, он не знал, что такое отдых, он сравнивал работу писателя с «машиной непрерывного действия» и сам был таким:

«Вообще профессия у нас вредная, жалеть себя не приходится. Чтобы взволновать читателя, надо самому очень переволноваться тем, что пишешь. Достается всему — и нервам и сердцу. И ничего тут нельзя порекомендовать писателю для сбережения здоровья. Чтобы писать, надо идти навстречу острейшим конфликтам, тяжелым драмам, запутанным противоречиям жизни. Будешь избегать их — станешь писать хуже».

В этом совете другим — все существо его самого: «Идти навстречу острейшим конфликтам!» И он шел, взвалив на плечи тяжелую ношу... Мы знаем, что борзовы не простили ему того, что он выставил их для всеобщего обозрения. Его или любили, или ненавидели. Иначе быть не могло: талант с яркой непримиримостью ко лжи другого отношения не встречает, кроме как «или — или».

Как человек чести сохранится он в памяти друзей, как писатель он остается живым — мысли его и сейчас на переднем крае. Он продолжает служить отечеству. И никем нельзя заменить Валентина Овечкина, как нельзя заменить один талант другим. Настоящий талант неповторим, ибо он не только выражение общественной мысли, но своеобразное и не всегда объяснимое явление. Естество таланта: впридачу самого себя — без остатка! Иной раз он не успевает отдать долг, ему почти всегда кажется, что он покидает землю неплатным должником перед своим народом, но... самого себя — без остатка. Никогда не надо забывать об этом всем, кто между художником и читателем.

Самого себя — без остатка. Так Валентин Владимирович отдал людям все, что мог. Жизнь его поучительна.

Но тяжело оттого, что он уже «не порадует письмишком», не напишет свое обычное «обнимаю тебя», и я уже никогда не смогу его услышать и обнять...

**Г. ТРОПОЛЬСКИЙ.**



---

МАРГАРИТА АЛИГЕР

★

## СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ

\*\*\*

Заслуг перед потомством не имея,  
верша свои нехитрые дела,  
романская провинция Помпея  
негромко под Везувием жила.  
Не мешкала Помпея, не спешила,  
и никаких обетов не брала,  
и никаких поступков не свершила  
во имя славы.

Только умерла.

Все кончено.

Навек.

Не ждите чуда.

Ни дня, ни ночи.

Ни добра, ни зла.

В столетьях остывающая гряда  
тяжелой лавы.

Пепел и зола.

Века летели, и земля летела  
во времени

на миллионах крыл.

Ах, боже мой!

Нет, я бы не хотела,  
чтоб кто-нибудь судьбу мою отрыл  
и людям бы открыл для обозренья,  
чтоб ехали они издалека.  
Я не хочу!

У них другое зренье.

Они меня моложе на века.

Им не понять, как было в самом деле,  
чем я жила,

что стоило почем.

Явились.

Побродили.

Поглядели.

Уедут, не жалея ни о чем.

Жалейте!

Стойте!

Погодите, люди!

Не так все просто, люди! Это я!



\*\*\*

Напряженное действие драмы  
достигает последних высот.  
Умирают последние мамы,  
и течение все шибче несет.  
Но еще управляются руки,  
и душа не боится зимы,  
и рождаются первые внуки,  
и опять продолжаемся мы.  
И становимся проще и шире.  
Что жалеть? Что беречь про запас?  
Ничего не кончается в мире.  
Ничего.  
Только каждый из нас.



---

---

КОНСТАНТИН ПАВЛОВ

★

## ПАСТОРАЛЬНОЕ

*С болгарского*

Больше не буду злобным —  
Буду добрым.  
Среди врагов — боже, спаси их!—  
Выберу только тех, что под силу.

Скажу «Прощай!» городу,  
Уйду на природу.

Починю старый забор,  
Буду жить без забот,  
Долго ли, коротко —  
Тихо и кротко.

Зимой кругом дома буду бродить.  
А летом — что-нибудь разводить.  
Вот только что — вопрос.  
Нет ни голубей, ни роз.  
Кругом, в бурьяне, — одни змеи.  
Ну что ж, имею то, что имею,  
Вместо голубей  
Разведу змей.  
Приручу их добрыми поучениями,  
А потом с мелкими поручениями  
Пошлю их в дома своих врагов...

*Вольный перевод*  
Константина Симонова.

2.VIII.68.





---

---

ВЛАДИМИР СОКОЛОВ

★

## ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ

*...Птица малая лесная.*

А. Пушкин.

Все чернила вышли, вся бумага,  
Все карандаши.

На краю бузинного оврага  
Стой и не дыши.  
Сквозь туман просвечивает зелень,  
Клейкая пока.  
Где-то здесь, среди ее расселин,  
Он наверняка.

Вот! Ни с чем, конечно, не сравнимый  
Сколок с пенья льдин...  
Первый, пробный, но неоспоримый.  
Вот еще один.

Вот опять! Раскатисто и тесно.

Тишь... В листьях куста  
Происходит перемена места —  
Веточка не та.

И куда тишь не раскололась  
Льдиною на льду,  
Есть во всем  
Извечный давний голос:  
«Что же ты, я жду».

Замиранье целого оврага,  
Листьев и души.

Все чернила вышли, вся бумага,  
Все карандаши...

\*~\*

На влажные планки ограды  
Упав, золотые шары  
Снопом намокают, не рады  
Началу осенней поры.

— Ты любишь ли эту погоду,  
Когда моросит, моросит...  
И желтое око на воду,  
Фонарь, из-за веток косит?

— Люблю, что, как в юности, бредим,  
Что дождиком пахнет пальто.  
Люблю. Но уедем, уедем  
Туда, где не знает никто...

И долго еще у забора,  
Где каплют секунды в ушат,  
Обрывки того разговора,  
Как листья, шуршат и шуршат.



---

---

ВИКТОР НЕКРАСОВ

★

## ДЕДУШКА И ВНУЧЕК

**В** один из жарких дней конца июля 1966 года я стоял на Крещатике у остановки и ждал троллейбуса, из которого должен был появиться некий незнакомец.

Приехать он должен был первым, одиннадцатым или тринадцатым от Голосеевского леса, из гостиницы «Мир». Езды оттуда минут тридцать—тридцать пять, так что по моим расчетам к двенадцати он должен был быть здесь.

В глаза этого человека я никогда не видал. По телефону он сказал на плохом русском языке, что будет в синем костюме.

Минут в пять или десять первого он появился. Никакого синего костюма на нем не было, одет он был в обычную голубую рубашу и мятые буро-коричневые штаны. Но я сразу понял, что это он. А он — что это я.

— Стив? — полувопросительно-полуутвердительно сказал я.

— Стив, — ответил он.

Стив оказался очень высоким, очень худым, узкоплечим, очкастым и ничем не похожим на американца, хотя, когда он вылезал из троллейбуса, сразу можно было понять, что это иностранец.

— А где же синий костюм? — спросил я.

— О, я говорил по телефону в синем костюме, а потом увидел, что жарко, и надел этот вот... Это не хорошо?

Сказал он это все с небольшими заминками, подыскивая слова, но, в общем, довольно бойко.

— Хорошо, — сказал я. — Пойдем.

И мы пошли в сторону Днепра.

Когда мы подошли к «Кукушке», я спросил:

— А как ты относишься к ста граммам?

— Ста граммам? Чего?

Ясно, за все это время он ни с кем толком и не познакомился.

Мы сели за столик под грибком. Кругом никого не было. Я взял по сто пятьдесят, по кружке пива и порции сосисок.

Стив улыбнулся — у него была очень приятная, чуть-чуть застенчивая улыбка — и сказал только:

— О-о...

— Не хочешь?

— Почему? Хочу.

И опять улыбнулся.

Против ожидания Стив не поперхнулся, даже не поморщился и по всем правилам понюхал корку хлеба.

— Научили уже? Где?

— Нигде. Просто знаю, что русские так делают. А зачем — не знаю. Я объяснил, зачем это делается.

— Ну, ладно, — сказал я. — Рассказывай...

## 1

Теперь, как принято было в романах двадцатых годов, а сейчас преимущественно в кино, перейдем от конца к началу. А началось это начало за сорок четыре года до конца — в последний день 1923 года.

Было мне тогда двенадцать лет. Учился, если не изменяет память, в пятой группе (классов тогда не было) 43-й трудовой школы. Занятиями нас не перегружали — это был период Дальтон-планов, психотехники и прочих педагогических новшеств, вполне нас устраивавших. Строго-настрога запрещалось готовить уроки дома, все должно было происходить в самой школе.

Да, нынешним школьникам, одолеваемым в школе учителями, а дома родителями, есть чему позавидовать. По «русскому языку» — по литературе — мы проходили, например, только Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву» и «Поэзию рабочего удара» Алексея Гастева. («Мы растем из железа...» — единственное, что я запомнил.) Все остальное — Пушкин, Гоголь, Тургенев, Толстой, Чехов — считалось тогда буржуазным и дворянским. Дома, правда, меня пытались приобщить к этой порочной литературе (тетка по профессии библиотекарь, по натуре — просветительница), но, в общем-то, без особого успеха. Тургеневским барышням мы определенно предпочитали овечьих солеными и жаркими ветрами пиратов и ковбоев, а поэтичным березкам — джунгли, пампасы и саванны... Если не ошибаюсь, именно тогда появился и знаменитый «Тарзан» Берроуза — небольшие, в блестящих пестрых обложках книжечки, зачитываемые до дыр, тот самый Тарзан, который тридцать лет спустя повторил свое победное турне, на этот раз уже по экранам мира. Кроме того, были «Вокруг света» (сначала один, потом два — московский и ленинградский), «Мир приключений» и великое множество Капитанов Мариэттов, Сальгари, Кервудов, Жакколио и Буссенаров. Куда уж тут Тургеневу...

Итак, занятиями нас не донимали. Свободного времени было много. Особенно после того, как были распущены скаутские отряды, а «юных ленинцев», «спартаковцев» еще не было. Кстати, о степени «несоответствия эпохе и новым задачам» скаутских организаций мы, мальчишки, ничего не знали. Нам просто было весело. Ходили в походы, упражнялись на трапециях и кольцах, занимались французской борьбой, штудировали азбуку Морзе, сигнализировали флажками, изучали историю скаутского движения. Эта, последняя, надо признаться, ставила нас в тупик. Дело в том, что «отцом» скаутизма был английский генерал Баден-Пауэль, организовавший первые отряды молодых разведчиков во время англо-бурской войны, настоящим же кумиром нашим в то же время был его заклятый враг отважный Питер Мариц, геройскими похождениями которого мы зачитывались в очень популярной тогда книге «Питер Мариц — юный бур из Трансвааля».

Но, в общем-то, история тоже нас не очень интересовала, ее с успехом заменяли костры, печеная картошка, хождение по азимуту, зазывание морских узлов и преклонение и влюбленность в нашего «начота» (начальника отряда) — могучего и прекрасного, как викинг, Колю Свенсена.

Но все это было до двадцать третьего года. В описываемое же мною время скаутов уже не было и времени свободного было предоста-

точно. И тратилось оно в основном на Жюль Верна и упомянутых выше писателей, на марки (Лабуан, Борнео, французские колонии, треуголки Ниассы...), на деньги (керенки, шаги, карбованцы, «колокольчики», советские миллионы — все это бережно хранилось в толстом словаре «Ларусс») и, конечно же, на кино — многосерийные американские фильмы с погонями и стрельбой.

Кроме того, мы издавали журнал «Зуав», «печатавший» романы с названиями, начинающимися преимущественно со слова «Тайна...», и в течение трех месяцев я вел дневник.

Думаю, что идею вести дневник внушил мне пример тетки (ее дневники охватывают период с 1897 года до последнего дня ее жизни, до 1966 года, и занимают сейчас у меня в шкафу целую полку) и полная уверенность в том, что всякий уважающий себя писатель обязательно должен вести дневник. А писателем я мечтал стать (впрочем, так же, как и художником, артистом и путешественником) лет с семи-восьми, если не раньше. Начат дневник был 9 февраля 1924 года и закончен 28 апреля того же года. Дальше не хватило пороху. И слава богу. По бездарности он может соперничать, пожалуй, только с дневниками Николая II.

Состоял он в основном из информации о том, рано или поздно я встал, опоздал ли в школу, спрашивала ли немка или физик, как прошла письменная по математике, что я видел сегодня в кино «у Шанцера» и как провел вечер на именинах у Вали или Шурки. Кончался, как правило, каждый день словами: «Больше сегодня ничего не было. Я лег спать».

Если говорить серьезно о дневнике, то я всегда задаю себе вопрос: с какой целью и для кого его пишут? Для себя, друзей, потомства, для истории или чтоб выгородить себя перед кем-то? Тетка моя — я это знаю — вела его преимущественно для себя. Человек экспрессивный и импульсивный, очень близко к сердцу принимавшая все события — от квартирных недоразумений до государственных переворотов, — она должна была перед кем-то излиться, и так как этот «кто-то» не всегда был, она изливалась самой себе. И очень любила перечитывать потом эти излияния — через пять, десять, двадцать лет. Кроме того, в дневнике было много вырезок из газет, фотографий и обязательный список расходов (в отдельной книжечке), — думаю, что более точных сведений о ценах в нашей стране за более чем полвека не найдешь ни в одном справочнике.

Еще один-единственный раз я попытался вести дневник — в Сталинграде. Но пороху хватило тоже не больше чем на неделю, к тому же и тетрадка не сохранилась, и ее, в общем-то, мне жаль.

Еженедельный журнал «Зуав» (потом он почему-то, вероятнее всего из патриотических чувств, переименован был в «Маяк») просуществовал тоже недолго. Вышло номеров пять, не больше. Судя по дневнику, в двадцать четвертом году мы с ребятами пытались его возродить, но из этого почему-то ничего не вышло.

«Зуав» — на обложке бородатый дядька в красной феске и шароварах, а над надписью перекрещенные винтовка, сабля, наше красное и французское трехцветное знамя, а сверху опять-таки феска — был журналом приключенческим. Сотрудников в нем было четыре: я, Валя Цупник, Шура Воловик и еще один Шура по фамилии Фарбер. Руководство коллегиальное. Содержание — начала и в лучшем случае по одному продолжению романов, которые до окончания так и не дошли даже в голове у авторов. К каждому роману — мои иллюстрации. В спасенном номере 2-3 от 5 апреля 1923 года напечатаны были: продолжение романа «В стране браминов», продолжение романа «Приклю-

чения Фрикэ Алегира», начало «Острова в огне», «Медузы», «Приключения трех моряков» и «Тайны бандитов».

Прекрасны были концовки: «...Он выхватил кинжал и занес его над Намиэтой со словами: «Теперь ты от меня не отделаешься!» или: «...Именем короля вы арестованы. Следуйте за мной» — и тому подобное.

Начала были похуже, но и в них было нечто, не уступавшее Жюлю Верну. Ну чем, например, уступает «Таинственному острову» начало «Медузы»?

«— Корабль на горизонте.

— В скольких милях?

— Приблизительно в трех.

— Национальность?

— Австрийский...

— Открыть огонь!» и т. д.

Да, не сохранился этот номер «Зуава», я никогда и не подозревал бы, что у Австро-Венгрии, не имевшей никогда ни одного морского порта, был свой собственный военный флот (сужу по картинке, где изображен то ли крейсер, то ли дредноут). Так же, только из этого номера журнала, я узнал, прочитав раздел «По белу свету», что «после землетрясения в Чили исчез вулканический остров Пасхи. Погибло около тысячи человек». Боюсь, что тут подвело снабжавшее нас последними сногшибательными известиями весьма солидное агентство — «Вечерний Киев». Впрочем, очевидно, оно же сообщило, а мы напечатали (вернее, написали от руки, журнал был рукописный) заметку, в которой говорилось, что «в Нью-Йорке до того усовершенствован радиотелеграфный приемник, что он имеется в автомобиле, и вы имеете возможность, едучи в автомобиле, слушать концерты очень хороших артистов».

Я так подробно пишу о всех своих дневниках, «Зуавах» и австрийских дредноутах вовсе не для того, чтобы вы всплеснули руками: «Ах, подумайте, так рано, а уже писал!», — просто мне кажется, что нынешнему читателю, особенно молодому, интересно будет узнать, чем мы жили, чем увлекались в те далекие счастливые дни, когда нам было по двенадцать лет.

А дни эти, хоть и счастливые, были далеко не легкие. Жизнь была примусная, ломбардная (серебряные ложки и единственная в доме драгоценность — прабабушкина бриллиантовая брошка), босоногая. В описываемое время этого уже не было, но за год, за два до этого не только я, но и мама — врач для посещений на дому — ходили летом только босиком, не боясь никаких битых стекол и гвоздей. Первый настоящий костюм я надел, когда мне было двадцать пять лет — ко дню защиты диплома, а до этого ходил в юнг-штурмовках, бархатных толстовках и перешитых из бабушкиных допотопных, но добротных юбок штанах и пуговках, вроде галифе. Вообще я не помню, чтоб покупались какие-нибудь вещи — все решивалось из старья приходящими на дом портнихами, именуемыми в Киеве почему-то «модистками». Стол тоже не изобиловал яствами, хотя на пасху все же делались куличи, а на рождество обязательная кутья с маковым молоком, медом, орехами, коржами и узваром — этой традиции никогда не изменяли.

С детства я познал прелесть коммунальной квартиры. Я сейчас уж не припомню всех постоянно сменявшихся соседей. Был немец, француз-врач (во время оккупации), осетин из Дикой дивизии, чета библиотекарей, молодожены медики, милиционер с семьей, чекист с красивой женой и еще один чекист с очаровательным пацаном Юрочкой, семья спекулянтов, самый младший член которой четырнадцатилетняя Бузька обкусывала котлеты с нашей сковородки, тут же, правда, придавая им

нарушенную остроконечную форму, и еще машинистка с мужем, и еще кто-то — всех не упомнишь. Принципиальных разногласий в этом Ноевом ковчеге, как нетрудно догадаться, было предостаточно, но меня, в общем-то, все эти дискуссии об электрических счетах, невымытых коридорах и кошачьих лужах мало задевали. Усевшись в глубокое кресло в гостиной (до самой войны она так и называлась, хотя давно превратилась в спальню, столовую, кабинет и чертежку одновременно), я рассматривал марки или строчил очередную «Тайну» в свой «Зуав».

На собственные средства я выпустил (мне было тогда лет девять-десять) свое «Полное собрание сочинений» в десяти томах. Тома, правда, были небольшие, страничек по шестнадцать (сложенные пополам и разрезанные тетрадные листочки), но на обложке все было по всем правилам, вплоть до указания издательства (то ли Девриэн, то ли Гранстрем). И внутри все до единой страницы перенумерованы, разбиты на главы и оставлены даже, обведенные карандашом, места для иллюстраций. Оставалась самая малость — заполнить все десять томов текстом, но времени на это уже не хватило — помешали какие-то неотложные и более серьезные дела, вероятнее всего, очередные «неуды» в четверти. А может, в этот момент захотелось вдруг стать знаменитым художником, и я принялся с азартом за «Мосты вздохов» и «Шильонские замки». Так или иначе, но «Собрание сочинений» не вышло — ни у Девриэна, ни у Гранстрема, ни даже у Сойкина.

Три слова еще о Киеве тех лет, и от реминисценций и милых авто-воспоминаний перейдем к событиям.

По сравнению с сегодняшним Киевом Киев двадцать третьего года был городом маленьким — тысяч четыреста жителей, не больше. И столицей он не был, столицей был Харьков, на наш взгляд, самозванной, не имевшей на это никакого права. Мы были и красивее, и больше, и древнее, и трамвай у нас был первый в России и чуть ли не в Европе, и Днепр со знаменитым («самым большим в Европе») пляжем, и днепровские откосы, и каштаны, и два километра пирамидальных тополей на Бибикивском бульваре, посаженных еще при Николае I... И Крещатик с лучшим (в России, Европе?) кинотеатром Шанцер, и базальтовые, выложенные веером мостовые на Николаевской улице, и панорама «Голгофа» на Владимирской горке (не уступающая Севастопольской), и Столыпина в конце концов все-таки в нашем Оперном театре убили, а не в Харьковском и даже не в Одесском — одним словом, мы тяжело переживали незаслуженную, как нам казалось, опалу родного города и непрестанно кипели от обуревавшего нас «киевского» патриотизма.

Сейчас я вспоминаю о старом Киеве с понятным умилением — и Крещатик-то был не хуже, а может быть, даже и лучше Невского или Дерибасовской, со своей кофейней Сомадени (перед названием стояло, правда, маленькое «б» — бывший), и кондитерской Фрудзинского (в прошлом «поставщика двора Его Императорского Величества», а сейчас тоже «б») с обязательными навесами — «маркизами» — над витринами, и Днепр шире, и уличные фонари красивее — высокие, тонкие, с изящной завитушкой наверху и какими-то бородатыми старцами на цоколях, и трамваи удобнее — прекрасные пульманы с широкими зеркальными окнами и открытыми площадками, на которые можно было вскакивать на ходу и висеть гроздьями, и на углу улиц Ленина и Воровского (бывшей Фундуклеевской и Крещатика) в деревянном и, на наш взгляд, очень красивом павильоне за 3000 рублей можно было посмотреть на вздымающуюся грудь спящей восковой Клеопатры с коварной змеей, а потом, в годы нэпа, там открыли рулетку, но туда уж нас не пускали. Одним словом, все было лучше, только вокзала мы слегка стыдились — длинного деревянного барака, построенного на

месте заложенного нового, из-за первой войны так и не выстроенного. А в остальном — лучше Киева города не...

На самом же деле был он тогда грязен, пылен, зимой завален горами снега, вырвавшими вдоль тротуаров, с нерасчищенными мостовыми, где вместо нынешних продольных автомобильных колея были поперечные от конских, извозчичьих копыт (да, нет больше этих толстозадых, с пуговицами на спине извозчиков, нет крохотных санок с медвежьей полостью...), и вода на пятый этаж, где мы жили, приходила только ночью, и целый день стояли наполненные ванны, и высокие, с изящной завитушкой фонари горели тускло, ничего почти не освещая, и улицы засыпаны семечковой шелухой (какие тогда были семечки — длинные, сухие, прожаренные — «конский зуб», на каждом углу не меньше пяти баб с корзинками), и «Правда» из Москвы приходила на третий день (я с детства почему-то наряду с жюльвернами любил газеты и старательно переписывал в отдельную тетрадку события на греко-турецком фронте и ход Вашингтонской конференции по разоружению, а до этого обязательно в каждой газете разделы «В стане белых» и «В черном лагере»), и телефоны были только в учреждениях и у богатых врачей, а автоматов совсем не было... И все же Киев был лучше всех. Лучше Москвы, Ленинграда (вернее Петрограда), Парижа, Нью-Йорка. Пятый в мире «по красоте» — это мы знали точно — после Неаполя, Сан-Франциско и еще каких-то двух, не помню уже каких.

И вот — наконец я приступаю к главному — в этот пятый по красоте город в самую его заснеженность, в мороз, в стужу приехал подтянутый пожилой господин в крахмальном стоячем воротничке (я видел их только на сцене у буржуев), с крохотной пишущей машинкой в футляре через плечо и двумя немислимой красоты кожаными чемоданами, сверкающими никелированными замками. Приехал корректный, выутюженный господин из Америки, из Соединенных Штатов, директор Нью-Йоркской публичной (самой большой в мире!) библиотеки мистер Гарри Миллер Лайденберг. Приехал и остановился у нас! Вот так вот — просто у нас, в нашей квартире, на пятом этаже (лифт, конечно, не работал) дома № 24 на Кузнецкой (тогда Пролетарской, а ныне Горького) улице и прожил у нас три дня...

Ну что я могу сказать? Подобного события я еще не переживал. Живой американец в нашем доме. В крахмальном воротничке, жилетке, в ботинках на толстенной, неснашиваемой подошве (я их внимательно изучил, пока гость купался в ванной, специально для него натопленной), в металлических, кажется золотых, круглых очках, очень сдержанный, вежливый, похожий на пастора, ушастый, с губами в ниточку и, по-моему, чуть-чуть всем своим путешествием ошарашенный.

Остановился у нас по той простой причине, что гостиниц в Киеве было всего, кажется, пять («Континенталь», «Прага», «Гранд-отель», «Марсель» и «Франсуа») и попасть туда было не легче, чем теперь, а тетка моя работала тогда в библиотеке Юго-Западных железных дорог, и ей поручено было ее московской приятельницей Л. Б. Хавкиной (к ней-то и приехал наш Лайденберг, она известна была за границей как крупный библиограф) встретить на вокзале и благоустроить за морского гостя.

Устроили его в гостиной на широкой, удобной, орехового дерева бабушкиной кровати, а сами расселись по другим комнатам — тогда у нас их было три. Все эти три дня до поздней ночи у нас толклись посетители. Часам к двенадцати почетный гость уже не в силах был говорить — за день тетка так его замучивала всякими библиотеками и учреждениями, что к вечеру он буквально валился с ног. И все же он был двужильным, этот маленький, похожий на пастора, пожилой (ему было



лет сорок, не больше, но мне казался он стариком) господин из Нью-Йорка,— выпив свой чай, он запирался в гостиной и долго еще стучал на машинке.

На меня особого внимания гость не обращал — мальчик как мальчик,— но теперь, кое-что узнав, я понимаю, что какие-то эмоции я у него вызывал: дома его ожидал сын Джон, мой ровесник.

Наутро четвертого дня Лайденберг уехал. Провожали его мать и тетка. Вернувшись, они обнаружили приколотыми английской булавкой к подушке два червонца. Все немного смутились, даже огорчились, но, в общем, были тронуты.

На этом мое знакомство с первым в моей жизни американцем кончилось.

## 2

Прошло сорок лет. За это время я успел кончить школу, институт, повоевать, поседеть и даже побывать в Америке. Проходя мимо Публичной библиотеки в Нью-Йорке на Пятой авеню, я невольно вспомнил нашего гостя в крахмальном воротничке и подумал даже, не зайти ли, не спросить ли о его судьбе, жив ли, работает ли, но то ли постеснялся, то ли не было времени — не зашел.

Вернувшись в Киев, написал путевые заметки о своей поездке. Назывались они «По обе стороны океана». Они были подвергнуты, как у нас говорят, резкой критике. Свое дело эта критика сделала. Заметки привлекли внимание, и во многих западных газетах, в том числе американских, появились отрывки из них. В одном из этих отрывков упоминался Гарри Миллер Лайденберг — первый живой американец, с которым я познакомился...

И вот сколько-то там времени спустя я вынул из ящика письмо с американскими марками. Обратный адрес — США, Дженева, Джон Лайденберг...

Разобрал письмо с трудом, со словарем, но все же понял, что оно от сына, что нашего Гарри Миллера нет уже в живых, но сохранились письма, которые он выстукивал жене и детям у нас в гостиной, и что, если они меня интересуют, он, Джон, может выслать фотокопии. Дальше в письме было сказано, что я очень точно и похоже изобразил его отца, он сразу его узнал, но что директором библиотеки он тогда не был (какое разочарование через сорок лет!), а только заведующим, по-английски директором, одного из отделов, но очень уважаемым и почтиаемым. Кроме того, сообщалось, что сам он, Джон, профессор литературы, в частности французской, читает лекции в университете и даже за границей (год или два прожил во Франции), что у него хорошая жена и двое отличных ребят — сын и дочь. Если я ему отвечу, он будет очень рад.

Я тут же ответил, а через месяц или полтора получил солидный пакет с обещанными фотокопиями. К ним приложена была фотография совсем, оказывается, не пожилого господина в крахмальном воротничке, ушастого, очкастого, аккуратно подстриженного, с пробором и губами в ниточку.

Такие же и письма его — точные, подробные, обстоятельные, аккуратно подстриженные, с ровным пробором. И в то же время непритязательные и очень искренние. Письма хорошего, доброго, чуть-чуть, как у нас говорят, занудного человека и трогательного семьянина<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Да не подумает читатель, что письма эти — некий литературный прием. Нет, они действительно существуют, были написаны сорок пять лет тому назад. Но привожу я их с некоторыми сокращениями, чтобы не утомлять читателя.

Начинается с его поездки из Москвы в Киев. Я ее опускаю. Приступаю прямо с Киева.

«Понедельник, 31 декабря, 1923.

Часов до двух снег валил не переставая, потом небо стало понемногу проясняться, и к нашему прибытию с двухчасовым опозданием в Киев солнце ярко засветило. Все пассажиры нашего вагона были из Киева, и я очень расстроился, когда один из них заявил, что он никогда не слышал ни названия гостиницы, куда я направлялся, ни той улицы, на которой она должна была быть. Перед моим отъездом г-жа Хавкина обещала позвонить своей подруге мисс Мотовиловой, библиотечкару управления железной дороги, и попросить, чтобы она встретила меня на вокзале и помогла получить билет до Львова. И все же у меня не было уверенности, что мисс Мотовилова встретит меня. Поэтому я зорко всматривался в лица встречающих и, признаюсь, был несказанно обрадован, увидев ее с сестрой на перроне,— до этого я встречал ее только раз, когда читал свою лекцию для мадам Хавкиной. Обс они с сестрой убедили меня, что лучше всего будет поехать сейчас прямо к ним и уже оттуда заказать номер в гостинице. Мы с мисс Мотовиловой втиснулись в санки, а сестра ее последовала за нами в трамвае.

Дома нас встретила добрейшая мать мисс Мотовиловой и сын ее сестры — мальчик примерно такого же возраста, как наш Джон. Часов в шесть мы сели обедать, а после обеда один за другим потянулись гости, библиотечные работники,— поговорить с человеком из далекой Америки. Разговор шел по-французски и только изредка кто-нибудь переходил на русский. Около десяти часов подали неизбежный ужин, хотя к тому времени я не успел еще опомниться от обеда. Из разговора я узнал, что семья Мотовиловых провела много лет в Швейцарии и в Париже, поэтому говорили они по-французски легко и свободно, как будто это был их родной язык. Все они настаивали на том, что сейчас уже поздно искать гостиницу, что нужно оставаться у них хотя бы до утра, когда можно будет узнать что-нибудь определенное относительно поездов на Львов. Я колебался, но приглашение было столь искренним и настойчивым, что я решил его принять. Хозяева были более чем гостеприимны. После ухода гостей сестра, практикующий врач, приготовила мне горячую ванну и, будто я был инвалидом, проверила градусником температуру воды. Можете себе представить, как крепко я спал, когда часов в 12 забрался в постель. Семья еще продолжала беседовать...»

Насколько я понял, мистера Лайденберга больше всего поражала любовь русских к ночным разговорам. А у нас это любили. Самовар давно уж остыл (кстати, наш гость очень им заинтересовался, но объяснить, где и как можно его приобрести, ни мы, ни гости не смогли), бабушка полоскала чайную посуду, я садился тут же на диване (в гостинной зимой всегда было холодно) читать «Миллионы индийской бегуньи», а гости все не расходились. В этот вечер сидели часов до двух, может даже и до трех.

Когда я на цыпочках зашел за книгой в гостиную, где спал мистер Лайденберг, я услышал легкий храп и увидел при свете непогашенной почему-то лампы, что гость наш спит в ночном колпаке (таким, как у бушевских бюргеров в «Максе и Морице»), что вещи его аккуратнейшим образом сложены на стуле, на коврике рядышком ботинки с вложенными в них носками и кожаные шлепанцы без задников, а на ноч-

ном столике маленькая, в сафьяновом переплете книжица — очевидно, молитвенник, подумал я, но проверить постеснялся. Спал гость на спине, очень ровненько, сложив симметрично руки на животе, что тоже напоминало какую-то картинку из Буша. Все было очень интересно и непривычно.

«Мы позавтракали около девяти утра остатками от вчерашнего ужина, после чего я наблюдал испытания матери, выпроваживающей своего сына в школу. Школьные занятия начинаются здесь в десять, но мальчишке надо было уходить в девять тридцать, и процедура отправки его сильно напомнила мне процедуру отправки другого мальчика, которого я с радостью хотел бы сейчас увидеть.

Наконец сына выпроводили, и мы с мисс Мотовиловой смогли поехать по делам. Так как до десяти утра здесь все учреждения закрыты, мы решили осмотреть какую-то церковь. Я уже не помню ее названия, но она не принадлежала к числу самых древних. (По-видимому, Владимирский собор.— *В. Н.*)

После церкви мы пошли на городскую железнодорожную станцию взять билет до границы. Накануне мы узнали, что на Львов поезд идет только раз в неделю — по четвергам утром, к тому же идет только до границы, а как оттуда добираться до Львова — пока было неясно.

Придя на городскую станцию, мы прежде всего увидели угнетающих размеров очередь к единственному окну, в котором, по-видимому, продавались билеты. Далее мы обнаружили полное отсутствие какого-либо интереса к нам со стороны работавших здесь людей, каких-то неопределенного назначения чиновников. Один из них выразил свое крайнее удивление по поводу того, что мисс Мотовилова требует у них сведений о согласованности движения поездов по ту сторону границы. С таким же успехом вы можете спрашивать расписание поездов в Америке, заявил он, забывая, что единственное, что мы хотели узнать,— это что делать человеку, который добрался до границы и хочет продолжать дальше свой путь. Я занял место в хвосте, пока мой ангел-хранитель допрашивал по очереди этих людей, получая чем дальше, тем меньше сведений. Прошло больше получаса, пока нам пришла счастливая мысль послушать, что нам может сказать по этому поводу польское консульство, выдающее визы на въезд в Польшу.

Консульство находилось довольно далеко, но я рад был случаю поразмять ноги и посмотреть город. Мисс Мотовилова уже не молодая, но она прекрасный ходок. Мы добрались до консульства, и там начались знакомые уже мне испытания. Провели мы там почти два часа и ушли оттуда, узнав не больше, чем знали до того. Заставив нас довольно долго ждать, консул в конце концов нас принял и заявил, что не видит никаких оснований, почему бы нам не поехать поездом завтра, но посоветовал убедиться раньше, не отменен ли он и пропустят ли меня русские через этот пункт границы. Это означало прогулку в другую часть города.

Ну-с, мы вскочили в санки и отправились в иностранный отдел паспортного стола выслушать очередной ответ, как переехать границу. И там — о счастье! — мы впервые встретили человека, который располагал по этому поводу определенной информацией. Он сообщил, что если я выеду завтра, во вторник (а оказывается, есть еще один поезд — во вторник), то буду иметь удовольствие вернуться обратно в Киев, так как поляки отказались поставить в этом погра-

ничном пункте правомочного офицера. Русские просили установить три контрольных пропускных пункта, но поляки согласились только на один, и чтобы через этот пункт переехать, нужно отправиться поездом в четверг. Я по-немецки сказал ему, что, хотя я и разочарован, все же готов тут же повесить ему медаль на грудь, как первому и единственному человеку, который дал мне вразумительный ответ. Конечно, хотелось бы выехать завтра, но теперь — раз так нужно — буду спокойно ждать четверга, невыносима только неопределенность. Человек усмехнулся — он был явно доволен, что кто-то с удовольствием ушел из его учреждения, — и дал мне требование на билет и плацкарту на поезд в четверг. Увы, придется быть на вокзале в несуразное время — в шесть часов утра! Что это для меня значит, вы поймете, если вспомните, что я обычно встаю в восемь и даже девять часов. Но я заметил, что у мисс Мотовиловой дома есть будильник, и если надо — я встану. Подумать только — если я просплю, придется ждать еще целую неделю!..»

Думаю, что славный наш Лайденберг не без ужаса должен был представить себе эту предполагаемую неделю. Дело в том, что тетка моя, Софья Николаевна, человек, готовый распластаться в лепешку, чтоб чем-нибудь кому-нибудь помочь, была при этом человеком властным и деспотичным. Думаю, что добрейший и деликатнейший гость наш понял это после первого же дня. Из дальнейшего читатель увидит, что у него были основания опасаться теткингого напора и желания показать все, что только можно и кого должно.

«...Из паспортного стола мы отправились в библиотеку, в которой работает один из наших вчерашних гостей. Живет он при библиотеке, которой и заведует, а библиотека принадлежит школе политического просвещения офицеров и солдат. Это убежденный коммунист, душой и телом преданный своему делу. Прошлой ночью он удивлялся, почему мы в США после войны сохранили старую систему классификации: ведь послевоенные события в корне изменили все отрасли науки, в особенности общественные, и все, что было правильно раньше, неправильно сейчас. Я ответил, что мы мало интересуемся абстрактными схемами классификации, что для нас важно найти удобный план расположения книг по данному предмету и что, насколько мне известно, ни одна библиотека в США не меняла и не собирается менять свою классификацию в связи с войной.

Мы без всяких трудностей нашли эту библиотеку, расположенную в здании старинного монастыря. Все монастыри тут используются под различные учреждения, и пока мы проходили по коридорам и сводчатым переходам, я развлекался тем, что старался себе представить, что думали бы бесчисленные монахи, проходившие когда-то под этими сводами, если б могли видеть толпы солдат, пробегающих взад и вперед по этим коридорам сейчас. Библиотека невелика, но недостаток книг возмещается их целесообразным подбором. Назначение школы — обеспечить книгами командиров и бойцов так, чтобы они правильно знакомились с основами коммунизма, Красной Армией, общественными науками. Вообще должен сказать, одобряем ли мы политику советского правительства или нет, нельзя не оценить проделанную им громадную работу по воспитанию подрастающих поколений в духе, как оно полагает, правильных принципов управления Россией. Наш библиотекарь показал нам свой каталог новых поступлений, карточный каталог и схему административ-

ной деятельности. Заведующий библиотекой жаждал критики и совета, где бы он мог получить нужные ему книги об американских библиотеках. Я честно сказал ему, что люди, которые смогли придумать и провести в жизнь все те методы пропаганды и организации, которые я тут увидел, могут сами писать книги на эти темы и не нуждаются в советах американцев; но все же дал ему адрес Милема в Чикаго.

Покинув библиотеку, мы с мисс Мотовиловой вскарабкались на вершину ближнего холма, где расположена одна из старинных церквей, чтобы посмотреть на окружающую местность и раскинувшийся под нами Днепр. Вид долины, купающейся в мягком свете заходящего солнца, с покровом снега на земле и скованным льдом Днепром производил глубокое впечатление.

Оттуда мы отправились домой, заглянув по дороге в государственную библиотеку Украины. Хотя ей всего только пять лет от роду, она вмещает свыше миллиона томов. Большинство из них все еще свалены, как дрова, в ожидании, когда их классифицируют и разнесут по каталогам. По большей части это книги из национализированных частных библиотек помещиков и буржуазии. Библиотека помещается в плохо приспособленном для этого здании бывшей гимназии и работает, преодолевая те же препятствия, с какими и нам приходилось сталкиваться в старых зданиях.

Читальный зал был полон, и обслуживающий персонал едва справляется с выполнением заказов. В зале я заметил выставку произведений Ленина и две выставки книг, посвященных революционному движению в Германии. Мы посетили заведующего библиотекой, и он настоял на том, чтобы мы с ним поели — какие-то мясные шарики, капусту, жареную картошку и черный хлеб. После обеда, а это, очевидно, и было обедом, он объяснил нам систему классификации в его библиотеке, а потом стал расспрашивать меня о положении дел в Нью-Йоркской библиотеке. С кем бы вы тут ни заговорили, трудно отвлечь их внимание от размеров нашего бюджета, заставить понять, что библиотекарю у нас немногим легче прожить на жалованье, которое им тут кажется «княжеским», чем им на свое...»

О жалованье, жалованье! К сожалению, тети Сонины дневники и расходные записи с 1917 по 1926 год погибли во время немецкой оккупации, а то я мог бы с точностью до копейки (вернее, тысячи) записать, что и сколько в те дни стоило и из чего состоял бюджет семьи среднего служащего. Могу только сказать, что до 1922 года все мы, даже босонogie мальчишки, были миллионерами, потом ворочали десятками тысяч и только в 1923 году узнали, что такое «один рубль» (на новых дензнаках было написано: «Один рубль 1923 г. равен одному миллиону рублей дензнаками, изъятыми из обращения, или ста рублям дензнаками 1922 г.»). Кроме прозаических «дензнаков», были, правда, еще и белоснежные, хрустящие «червонцы», банковые билеты (1,14234 грамма чистого золота на один червонец), но до них наши детские руки не дотягивались.

Ну, а жалованье? Что же было тогда жалованье? И как сравнить его с княжеским (в кавычках или без кавычек) жалованьем среднего американца? Из дальнейшего читатель увидит (я забыл, а мистер Лайденберг записал), что тетка зарабатывала 29 рублей в месяц, а мать — 40, что по лайденберговским расчетам равно 14,5 и 20 долларам... Ох, думаю, что американские врачи и библиотекари получали тогда чуть больше и покупка обуви или штанов не была для них проблемой — одним словом, я решительно убираю кавычки.

«...С библиотеками покончено... Домой, к обеду, поговорить немного с гостеприимным семейством и спать как можно скорей!

В прошлом году как раз в это время я сидел у камина, стараясь раскрыть крышку фотокамеры, которую заело, когда Мадлен сняла снегопад на рождество, а я был в Чикаго. Сколько раз я думал о вас сегодня, надеялся, что вы здоровы, мечтал хоть одним глазом взглянуть на вас и мысленно посылал свои наилучшие пожелания вам, моим любимым. Пусть счастливо закончится старый год и пусть новый принесет каждому только хорошее. Очень люблю вас всех!...»

«Вторник, 1 января 1924 года.

Прошлой ночью, после того как я закончил письмо и уже собирался ложиться, пришла мисс Мотовилова и настояла на том, чтобы я зашел в столовую на чашку чая. Я уже в тот вечер успел отклонить одно такое приглашение, но на этот раз должен был его принять. В столовой я нашел двух дам примерно такого же возраста, как мисс Мотовилова. Обе неплохо изъяснялись по-немецки, и весь вечер мы проговорили о моих впечатлениях от России, о положении в Европе, и Германии в частности, о мире в целом. За разговором мы с удивлением обнаружили, что не заметили, как перешли из одного года в другой, и по этому случаю выпили за новый год — чаю, к негодованию и неодобрению большинства присутствующих...»

Боюсь, что тут Лайденберг, при всей своей дотошности, что-то напутал. Не может быть, чтоб не было вина или хотя бы наливки. Водки у нас в доме не было (познакомился с нею впервые в девятнадцать лет и, мягко выражаясь, особого удовольствия от этого знакомства не получил, а мать еще меньше), и вино тоже не часто, но вишневая наливка, стоявшая в больших бутылках на подоконниках в гостиной, всегда была. Думаю, что именно ею в высоких хрустальных с мелодичным звоном бокалах мы и чокались в ту новогоднюю ночь.

О чем говорили — не помню, возможно, что действительно о Германии, Европе и всем вместе в целом. Помню только, что, когда гости ушли, бабушка, Алина Антоновна, самый добрый человек из всех, кого я знал за всю жизнь, несколько утомленная гостями и поздним часом, но довольная, что все «обошлось», принялась за посуду, а тетя Соня с увлечением стала вспоминать Париж.

И тут выяснилась забавная деталь. Очевидно, больше из вежливости мистер Лайденберг спросил, где мы жили тогда в Париже. «Рю Ролли, 11, возле парка Монсури», — хором ответили бабушка и тетя... Мистер Лайденберг тут же вынул из бокового кармана кожаную записную книжечку и, полистав ее, торжественно сообщил — бывает же такое! — что несколько месяцев тому назад он был именно в этом доме — рю Ролли, 11, да-да, у него там живет знакомый, очень приличный субъект, тоже библиотекарь... Тетя с бабушкой очень обрадовались этому совпадению, даже я, хотя о той квартире помнил только то, что как-то ночью проснулся от сильной стрельбы и меня поднесли к окну посмотреть на лучи прожекторов: над городом летел цеppelin...

«...Взглянув на часы, я с ужасом увидел, что уже почти два часа ночи. Вот видите, как я встречал Новый год! Старшая сестра, врач, мать Виктора, которому двенадцать лет, ушла на новогоднюю встречу врачей, и когда я спросил, не надо ли ее встретить, мать и сестра, улынувшись, посоветовали подождать до утра, а там будет видно.

Тогда я лег и проспал сном праведника и человека с чистой совестью до самого утра. Когда я пришел к завтраку, выяснилось, что мать Виктора вернулась только в восемь утра, так как между часом и восемью трамвай не ходят. Встречей Нового года она осталась очень довольна и сейчас была готова приступить к своей работе...»

Спасибо мистериу Лайденбергу! Не будь его писем, я не смог бы через сорок пять лет уличить свою мать в ветрености. А теперь могу... Попробуй я сейчас убежать на встречу Нового года в какой-нибудь компании без нее. А она вот убежала к каким-то своим врачам...

«...После завтрака нашел атлас и стал по нему проверять свой маршрут до Львова. В это время пришла мисс Мотовилова и сообщила, что только что говорила с человеком, который был во Львове на прошлой неделе. Ездил он туда на Волочиск и находит эту дорогу очень удобной. Я заявил ей, что ко всем этим новостям я глух, что я раз и навсегда принял решение ждать до четверга и не интересуюсь ничем, кроме поездов, отходящих в четверг. Документы мои в порядке. На паспорте отмечен пункт переезда Шепетовка, и на Шепетовку я и поеду. Я не собираюсь искать новых путей, в особенности здесь, на востоке.

Мисс Мотовилова согласилась и тут же заявила, что мы посетим сегодня монастырь Лавру...»

Дальше идет подробнейшее описание Лавры, затем Киева, которое я, чтоб не утомлять читателя, опускаю, тем более что все эти сведения с успехом можно почерпнуть в любом путеводителе. Кстати, лучший из них профессора Эрнста (издание тридцатых годов), ставший сейчас, правда, библиографической редкостью.

«Четверг, 3 января.

В поезде между Шепетовкой и Здолбуново. Шепетовка — последняя русская станция, Здолбуново — первая польская. Вчера я ничего не писал, так как при пересечении границы не хотел иметь при себе лишних бумаг. Оглядываясь назад, я вижу, что прошедшие дни были интересными, хотя по временам я спрашивал себя, где я нахожусь и что со мной будет. Видите ли, определенно известно было только одно, что на Львов идет всего один поезд в неделю, из Харькова, и билеты на него в Киеве начинают продавать только утром в день отъезда. Более того, отправляется он, по расписанию, в семь утра — удобнее не придумаешь. Предварительной продажи билетов нет: во-первых, до прибытия поезда неизвестно, сколько будет свободных мест, во-вторых, курс рубля меняется так быстро, что продавать билеты заранее по ценам прошедшего дня было бы убыточно. Однако мне хотелось бы спросить какое-нибудь ответственное лицо, почему нельзя прицепить в Киеве вагон, билет на него продавать заранее, а разницу в стоимости взимать в день отъезда. Но, наверно, это противоречило бы какому-нибудь предписанию и нарушило бы всю систему. Мне было любопытно видеть, как нечетко организована эта система.

Мисс Мотовилова заведует всей библиотечной сетью Киевской железной дороги (старик склонен был к преувеличениям, она была рядовым библиотекарем.— В. Н.) и в качестве таковой входит в железнодорожную администрацию. Я думал, что она может позвонить начальнику отдела пассажирских перевозок и узнать для меня время

отхода поезда и стоимость билета. Оказалось, однако, что даже она не может ничего узнать. А ведь она приняла во мне очень серьезное участие и считала себя ответственной за все, что со мной случится. Оглядываясь назад, я вижу, что обо мне здесь заботились каждую минуту. Это было более чем любезно с их стороны, хотя меня это крайне смущало и мне трудно было выразить свою признательность. Не знаю, что бы я делал без мисс Мотовиловой, и думаю, вы поймете, что значила для меня ее помощь, когда узнаете обо всех моих похождениях.

Как я уже писал, было решено ехать поездом в четверг. Во вторник вечером пришел один человек, который стал убеждать меня, что, по его мнению, крайне опасно выходить на улицу в пять часов утра, а надо отправиться на вокзал накануне поздно вечером и провести ночь там. Для убедительности он рассказал, как у его знакомых рано утром по дороге на вокзал отняли пальто, сумку и какие-то еще вещи. Рассказ его был так убедителен, что, казалось, ничего не оставалось, как последовать его совету. Я готов был это сделать, но когда узнал, что мисс Мотовилова намеревается сопровождать меня и здесь, я решительно воспротивился.

Наутро, в среду, сравнительно рано, мы отправились на вокзал в надежде получить какие-нибудь дополнительные сведения. Начальник вокзала, недовольно хмыкнув, взял у меня записку с распоряжением предоставить мне плацкартный билет. Никто, даже он, не мог добавить ничего нового к тому, что мы уже знали. Пока мы ждали у окошка, мисс Мотовилова разговорилась с одним из носильщиков, и мы условились, что он зайдет за нами домой в пять утра, чтобы нести чемодан и сопровождать нас на вокзал. Если бы все истории, которых мы наслушались, были правдой, то было бы далеко не безопасно доверять даже ему, но мы решили, что у него честное лицо, и я отказался рассматривать какие-либо другие предложения.

С вокзала мы пошли на почту, чтобы отправить фунтов десять книг, которые я получил накануне в монастыре. Увы, их не приняли — они превышали максимальный вес, установленный для бандероли. Но даже если бы мы вынули лишнее, все равно не удалось бы их отправить, так как еще требовалось специальное разрешение из Москвы на вывоз книг. Делать было нечего, и мы решили таскаться с ними по городу до возвращения домой, а там оставить их мисс Мотовиловой для отправки при удобном случае. Вторая постигшая нас неудача состояла в том, что на телеграфе у меня не приняли телеграмму Арктовскому о моем предстоящем выезде. Оказывается, международные телеграммы принимают только на центральном телеграфе, откуда их сперва передают в Москву на проверку. Пришлось пойти на центральный телеграф, но молодой человек, принимающий там телеграммы, куда-то ушел, и никто не мог сказать, где он и когда вернется. После долгих разговоров мы упросили другого служащего принять нашу телеграмму. Ну, что вы скажете о системе, нормальное функционирование которой зависит от присутствия на своем рабочем месте одного-единственного служащего?»

Бедный, бедный Лайденберг. Трудно было ему, конечно, воспитанному на американском сервисе, привыкать к нашим порядкам, особенно тех лет. Но он был деликатен — в разговорах ни на что не жаловался и позволял себе это разве что в письмах домой. Только один раз, помню, когда его чуть ли не силком вытащили на встречу Нового года, он сказал: «И как это вы, русские, не устаете? Целый день бегаете, це-



лый день на ногах, а к вечеру как ни в чем не бывало — можете полночи о политике еще говорить...» Сказал и смутился — не обидел ли? Но никто не обиделся, только рассмеялись, — знал бы он, что значит постоять часок-другой в очереди или сесть в трамвай в половине девятого утра...

«Только что я заметил, что допустил серьезную неточность в изложении, которую вы, надеюсь, простите. Со станции мы сперва пошли не на телеграф, а в библиотеку, где работает мисс Мотовилова. Насколько мне известно, ничего подобного по нашу сторону океана нет. Эта библиотека для служащих местного железнодорожного узла и членов их семей. Помимо абонементов, есть читальный зал, комната для детей, хорошая коллекция диапозитивов для просмотра с помощью проектора. Мы осмотрели разные отделы библиотеки, и мне пришлось отвечать на обычные вопросы. Я убедился, что, с кем бы из библиотечных работников мне ни приходилось встречаться, все они задают несколько одинаковых вопросов. Первый касается классификации, второй — интереса, проявляемого у нас к Эптону Синклеру, третий — моих впечатлений о России.

Вчера я сказал одному молодому человеку, задавшему мне два последних вопроса, что мои впечатления об административных способностях русских были бы лучше, если бы мне удалось найти хоть одного человека во всем железнодорожном ведомстве, который мог бы сказать мне, в какое время по расписанию завтрашний поезд должен прибыть на границу. Молодой человек только улыбнулся и, очевидно, чтобы переменить тему, тут же спросил, в каком углу карточки — правом или левом — принято в Америке ставить шифр. Я вынужден был сказать ему, что я самый несведущий человек в этом вопросе и что, по моему твердому убеждению, достаточно взять наугад пять любых библиотек в любых пяти городах, чтобы найти шифр и в левом углу, и в правом. Оказалось, что по этому вопросу, как и по многим другим вопросам такой же важности, Россия расколота на несколько лагерей.

В той же библиотеке я должен был высказаться и о том, как я оцениваю советскую систему торговли книгами. Я сказал, что, насколько мне известно, в нашей стране подобной работы не проводится и что эта работа заслуживает большой похвалы. Потом мисс Мотовилова с особым удовольствием показала мне детскую комнату, и я уверен, вам будет интересно послушать эту историю. Для оформления ее детям двенадцати — тринадцати лет поручено было самим сделать в виде плакатов иллюстрации к некоторым сказкам Пушкина, причем вся эта работа должна была быть выполнена в истинно русском стиле. Результат превзошел все ожидания — и взрослые и дети были очень довольны. Однако плакаты эти не долго провисели на стенах. В библиотеку был назначен новый комиссар, который, войдя в комнату, сразу же заявил, что все эти плакаты надо немедленно снять. Ему не понравилось, например, что крестьяне были представлены слишком идеалистично, им следовало бы выглядеть более материалистично, а на головах некоторых аистов были короны. То, что короны им положены по содержанию сказки, он считал несущественным. Не те были времена, чтобы рисовать короны. Я не помню, какие у него еще были возражения, но помню, что все они были приблизительно этого же рода. Вы можете представить себе, с каким интересом я осматривал стены этой комнаты и как я был рад, что часть старого оформления все-таки осталась: простые бордюры и греческие фризы, которые, очевидно, считались менее вредными для юных умов.

Из библиотеки мы пошли на центральный телеграф, послали Арктовскому телеграмму о моем приезде, а оттуда направились в университетскую библиотеку, где я нашел одну из лучших коллекций, которые мне когда-либо приходилось видеть. Она находилась в отличном порядке, и библиотекарь сказал мне, что все до единой книги были занесены в каталог. Я должен был признаться, что за всю мою практику я знал только одну библиотеку, о которой можно было бы сказать то же самое. Только когда мы уже заканчивали осмотр библиотеки, я понял, почему она находилась в таком образцовом порядке. Оказывается, студенты этой библиотекой не пользуются, а профессора всегда хорошо обращаются с книгами. Поскольку читателей было немного, жизнь этого библиотекаря можно было бы назвать идеальной, если бы только помещение библиотеки лучше отапливалось.

После осмотра библиотеки мы пошли купить немного хлеба и мяса на дорогу, а потом обедать. После обеда пришло несколько гостей. Я по возможности старался быть в своей комнате, побрился, уложил все, что мог, и часов в десять попробовал лечь спать. Однако здесь, в России, это оказалось невозможным. Пришли другие гости, потом мы пытались завести два будильника, потом был чай, потом еще гости... Когда я ушел к себе, было уже 11 часов, а разговоры все еще продолжались...»

Когда около двенадцати я зашел в гостиную за своими учебниками, я застал мистера Лайденберга уже мирно спящим все в том же бумажном колпаке и со сложенными симметрично на животе руками. Шлепанцы и ботинки с носками стояли точно на том же месте, что и прошлый раз, белье и брюки аккуратно сложены, а на ночном столике молитвенник и на этот раз еще будильник, который, как выяснилось потом, в нужный час так и не зазвонил — с ним это случалось довольно часто.

«...В пять я встал, оделся и за четверть часа был готов. Все остальные, кроме Виктора, тоже были на ногах. Здесь оказался также один из гостей, который пришел уже после того, как я лег спать, и проспал ночь на кушетке с тем, чтобы сопровождать сестер с вокзала домой. Это был известный географ, сын и внук университетских профессоров. Мисс Мотовилова приготовила для нас чай, и когда в полшестого, точно в срок (и это в России!), пришел носильщик, мы впятером отправились на вокзал. Утро было прекрасно: на востоке светился тонкий-тонкий месяц, звезды сияли всюду, было холодно, но мороз не обжигал. И на всем получасовом пути до вокзала никакого намека на воров, грабителей или каких-либо других злодеев.

По пути мы видели пожар. Горели верхние этажи железнодорожной почты. Здание горело всюду, но, поскольку никто из местных жителей не волновался, я решил, что нет необходимости поднимать панику. Как раз когда мы проходили мимо, подъехали пожарники, но, как и следовало ожидать, вода в трубах замерзла.

Мы пришли на вокзал ровно в шесть, и, если можно было полагаться на нашу информацию, поезд должен был прибыть в 6.25. В залах была масса народа, все толкались и куда-то спешили. Впрочем, нет, не все, некоторые пили чай у столов или жевали хлеб, но все же толпа в целом напоминала муравейник. Нам удалось устроиться возле стола, а носильщик отправился разузнать насчет поезда. Вернулся он с отрадной вестью, что поезд опаздывает всего

на два-три часа. В ожидании его прихода я выслушал не менее десятка историй о том, как у людей воровали вещи прямо из-под носа, как воры взрезали чемоданы и как мало в Киеве людей, у которых за последние несколько лет ничего не украли. Забавно, не правда ли?

В девять мы простились с той сестрой, что была замужем, и с географом. К этому времени уже совсем рассвело, и оба они пошли на работу. Носильщик объявил, что поезд будет минут через десять, и я попросил мисс Мотовилову обязательно, когда она вернется домой, взять то, что я оставил на своей подушке. Я все ломал себе голову, как бы отблагодарить этих добрых людей, и прошлой ночью решил, что лучше всего будет оставить два червонца (около десяти долларов), приложив записку с просьбой купить что-нибудь матери в знак моей признательности. Поскольку мисс Мотовилова получает только 29 рублей (14,5 доллара) в месяц, а сестра 40 рублей, я считал своим долгом как-то выразить свою благодарность и думал, что лучше будет, чтобы они сами что-нибудь купили себе.

Поезд прибыл в 9.25, опоздав ровно на три часа. Я погрузился в вагон, простился со всеми и проводил глазами мисс Мотовилову и носильщика, которые, я был уверен, расстались со мной с чувством большого облегчения. Мисс Мотовилова дала мне открытку, чтобы я послал ее им с пограничной станции, и конверт для письма, заверив меня, что, получив эти письма, она готова будет отслужить в церкви благодарственный молебен. Да, если бы не она, не знаю, что бы со мной было, ибо достать этот злополучный билет из Киева во Львов оказалось самым трудным делом во всей моей поездке.

Я прервал свои записки, так как поезд подходил к Здолбуново на польской стороне границы.

Сейчас я сижу уже в варшавском поезде, он, как мне кажется, простоят еще долго, так как из-за заносов опаздывает какой-то другой поезд, из-за которого мы не можем выехать.

Подводя итоги, могу сказать, что Россия — страна чрезвычайно интересная, и я сожалею только о том, что мне довелось ее увидеть уже после революции; если бы я увидел ее до революции, я был бы в состоянии сравнить сам и не должен был бы ждать, что скажут другие, и полагаться на их сообщения. Однако нет нужды добавлять что-либо к этому...»

На этом письма обрываются. Что было дальше, как гость наш пересек границу, был ли встречен в Варшаве неведомым мне Артковским и о чем, вернувшись наконец домой, у пылающего камина рассказывал он жене и детям, мне неизвестно. Из прочитанного же понял, что в двадцать третьем году библиотечное и музейное дело было поставлено куда лучше, чем железнодорожное и телеграфное, что служба информации, мягко выражаясь, находилась далеко не на высоте, и, наконец, что бедного Лайденберга у нас дома перекормили, заговорили, к тому же не давали возможности лечь спать, к чему он, по моему, стремился не меньше, чем к своей машинке.

Дней через десять—двенадцать после его отъезда, а может и больше, пришла от Лайденберга из Варшавы открытка. На ней над текстом, сообщавшим о том, что он благополучно прибыл в Польшу, нарисован был крест, очень аккуратненько, перышком, крест вроде кладбищенского. Мы долго ломали голову, не могли понять, что это значит, а потом вспомнили: кто-то из гостей на прощание сказал ему, что по русскому обычаю после удачно заверченного трудного дела крестятся, делают крест. Вот он и «сделал» крест. По-своему.

Как, очевидно, читатель уже догадался, двадцатилетний Стив, с которым мы уютно устроились под грибком возле «Кукушки», был не кем иным, как внуком нашего американского гостя и сыном того самого Джона, моего сверстника, которого, как и меня, кто-то по утрам снаряжал в школу и о котором так тосковал в Киеве мистер Гарри Миллер Лайденберг.

О своем приезде Стив сообщил мне письмом из Лейпцига: тогда-то, мол, буду в Киеве, очень хотел бы встретиться. И вот мы встретились.

К моменту знакомства со Стивом я уже имел кое-какое представление об американцах. Но именно кое-какое, весьма поверхностное, к тому же с молодежью его возраста, когда я был в Америке, сталкиваться мне почти не приходилось. А молодежь в Америке сейчас самое интересное. Пьер-Паоло Пазолини, известный итальянский писатель и режиссер, писал недавно в своих очерках после поездки в Соединенные Штаты, что студенчество там в подавляющем большинстве по-настоящему думающее, ищущее и весьма критически относящееся к государственной официальной политике США.

Стив мне показался именно таким.

Мы с ним провели почти полных два дня. Он оторвался от своей туристской группы (они, человек двадцать студентов, совершали в автобусах турне по Европе) и на эти два дня перешел в полное мое владение.

Сейчас я уже точно не помню, студентом какого курса Колумбийского университета он был. Специальность его — литература, преимущественно на английском языке. Русский язык и литературу изучает параллельно — просто интересуется Россией, Советским Союзом.

Американского, в том смысле, как иногда представляют себе молодого его соотечественника — спортивный, тренированный, веселый, общительный, а в общем-то, несколько инфантильный, — всего этого в нем нет ни на грош. Напротив, сдержанный, деликатный, отнюдь не болтливый, внимательно слушающий и толково, без всякой задней мысли отвечающий. Любознателен, искренен, интеллигентен.

В первый же вечер я свел его с одной компанией. В основном это были киевские газетчики и журналисты, разбавленные немного инженерией и литературоведением. Он, конечно, был центром и еле успевал отвечать на вопросы.

— Об одном прошу, — сказал он в самом начале, медленно, но, в общем, правильно подбирая русские слова, — не говорите со мной о политике. Я не госдепартамент, не Пентагон и не канцелярия президента — я не хочу за них отвечать.

Все рассмеялись, обещали не спрашивать, но к концу вечера все же не удержались, а он умоляюще посмотрел на меня: спасите...

На следующий день, гуляя по городу, а потом, после обеда, устроившись на диване, мы говорили уже обо всем. В общем, я понял, что он хочет учиться, работать и дружить...

Но как дружить?

И вот тут я услышал горечь в его голосе.

За неделю, а может, даже и за десять дней, что они ездят по Союзу (а побывали они уже в Минске, Москве, Ленинграде, Харькове, а после Киева еще Львов), он перевидал массу людей, их возили по музеям, на заводы («я даже подсчитать не могу, сколько их было»), в клубы, пионерские лагеря, на комсомольские вечеринки, но...

— Народу всегда много. Столы. На столах лимонад и яблоки. Ребята почему-то все в галстуках. Очень подтянутые, прямые, вежливые. Сначала один из них говорит, как они работают, как учатся, приводит какие-то цифры — план, так это у вас называется? Потом все поют. Разные песни, хором. Потом танцуют...

— Твист, что ли? — улыбнулся я.

— Что вы, то, что наши бабушки еще танцевали...

— Но, кроме песен и танцев,— перебил я его,— поговорить с кем-нибудь все же удалось?

— Удалось... За все время я только... — он на секунду задумался,— три раза по-настоящему поговорил...

— Поговорил-таки?

— Да. И это было самое интересное в Советском Союзе. Интереснее Эрмитажа, Оружейной палаты,— тут он хитро улыбнулся,— и даже метро...

— Где же?

— Один раз в Ленинграде. В студенческом общежитии. Вернее, в столовой общежития. Зашел туда на минутку перекусить и вышел через два часа. Кроме меня, было еще два иностранца, не из нашей группы. Студенты, американец и англичанин, остальные ваши ребята. Не было ни лимонада, ни яблок, все друг друга перебивали, и кончилось все тем, что мы с одним из парней, Николаем, протрепались до утра, шатаясь по ночному Ленинграду.

Слово «протрепались» у него не сразу получилось, но я сразу почувствовал, что ему приятно этак невзначай употребить это жаргонное словечко.

— О чем же вы трепались?

— Да обо всем. Живой парень, умный, злой и веселый. И на гитаре играет, и песенки поет. И не хвастун, и защищаться умеет, и в атаку ходить. Не в штыковую, без крика «ура», а как на ринге... Раза три в нокдауне я побывал-таки.

— А он?

— Ну, и он тоже раза два...

— Кто же победил?

— Кто?— Стив почесал свой круглый затылок.— Он считал — что он, я — что я. Ну, а потом, утром уже...

— Потом я знаю, что было.

Стив рассмеялся.

— Какой вы все-таки догадливый...

Я перебил его.

— Ясно. Это первый раз. Второй?

— Второй в Харькове. На каком-то заводе. Не помню уже каком — все в голове смешалось. Там оказался умный директор, сам послал какого-то парня в соседний магазин — «Гастроном», кажется, у вас это называется,— было весело, и устроили конкурс на твист, и представьте, ваши ребята победили. Потом, ночью уже, поехали куда-то в лес, жгли костры, пекли картошку, и я совсем забыл про «Спутник», и мне показалось, что я совсем свой среди них... Вот такими я русских и представлял и полюбил, как Николай и эти — как это они себя называли — хлопцы...

— Так. Николай — раз. Хлопцы — два. А третий раз?

— Третий? Третий — вчера, у ваших друзей. Кстати,— тут Стив хитро улыбувшись, посмотрел на меня,— а вы знаете, что вы первый в моей жизни коммунист, с которым я познакомился и вот так вот сижу на диване после сытного, вполне буржуазного обеда...

— Ну и как?

— Очень вкусно, но слишком много...

(Ганна Ивановна на этот раз действительно постаралась — украинский борщ, вареники со сметаной, а я еще подбавил горилки с перцем.)

— Но это обед, а коммунист?

Стив пожал плечами.

— Ваша мама и тетя дали приют моему дедушке, разве я могу что-нибудь дурное о вас сказать?

Вывернулся. И опять заговорил о своих встречах в Москве, Ленинграде, Харькове.

— А вот одна комсомолка в Ленинграде — ее звали Нинель, — очень красивая, со вкусом одетая, огорчила меня, сказала мне... Я ее спросил: «Так по-вашему, ничего в Америке хорошего нет?» — «Почему нет? Техника у вас хорошая, рабочий класс...» Я удивился. И это все? А литература, искусство, кино, наконец архитектура? Нет, сказала она, она против абстракционизма, против Голливуда с его фильмами ужасов, против полицейских, детективных романов, против небоскребов, превращающих улицы в ущелья без солнца... Ну, а Хемингуэй? «Мало социален, не ставит серьезных проблем, много пьют, излишне сексуален...» — «А у вас что — мало пьют?» — не выдержал я. «Бывает, что и пьют, но мы с этим боремся». — «А еще с чем вы боретесь?» — «С природой». Это меня доконало.

Мне досадно было это слушать. И обидно. Какая-то дуреха, знавшая, как выяснилось, из американской литературы только Тома Сойера и несколько рассказов Хемингуэя, развязно судила о том, о чем имела весьма приблизительное представление.

Мне обидно было это слышать, потому что Стив, приехав к нам, искал больше хорошего, чем дурного («я так много о вас читал, и так хотелось увидеть все собственными глазами»), а в Нинель он увидел как раз то, за что невольно всегда краснеешь, — развязную похвальбу, высокомерие и презрение ко всему «не своему» — понятия столь несвойственные настоящему русскому человеку.

Стив был тоже огорчен.

— Я приехал в страну, которую люблю. Может быть, это и слишком сильно сказано, но, в общем-то, в страну, к которой меня всегда тянуло. Пушкин, Толстой, Достоевский, Чехов... В двадцатом веке Блок, Есенин, Маяковский. Все это так непохоже на нас и так интересно... Потом война. О ней я, правда, только по книгам знаю. А эта Нинель, между прочим, сказала: «Вы считаете, что войну выиграли вы, а на самом деле — мы». А кто так считает? Я, например, не считаю. Я знаю, что вам было тяжелее всех, и со вторым фронтом мы тянули, а Сталинград был все-таки у вас, и Берлин взяли русские...

Тут Стив вдруг смутился.

— Простите, что я об этом заговорил. Я не хотел. Само как-то получилось. Возможно, у меня другое воспитание — хорошее или плохое, не знаю, другое, — но я не люблю, когда меня чрезмерно уговаривают. И всегда сопротивляюсь. И может, это мне кажется... Но дело не в этом. Дело в том... Я не знаю, как это объяснить... Вот когда я читаю у нас в газетах или смотрю в телевизор, как на Юге у нас негритянских детей в школу ведут полицейские. чтоб их не побили белые, — мне больно, стыдно, я даже выключаю телевизор. Да, выключаю. Но если я

встречусь с русским парнем или девушкой, я никогда не скажу — неправда, у нас нет дискриминации. Она у нас есть, и это позор, я знаю. И мы, молодежь, — я говорю о нас, студентах, — с этим позором боремся. Не скрываем его, а воюем с ним. Вот поэтому я и Николая полюбил — хорошим гордится, с плохим воюет.

Я слушал Стива, смотрел на него — горилка с перцем сделала все-таки свое, он говорил горячее и оживленнее обычного, — а думал о себе.

Вот и мне было когда-то двадцать лет. У Стива это середина шестидесятых годов — разгар войны во Вьетнаме, многие из его сверстников там, он очень это чувствует. У меня этот возраст совпал с началом тридцатых годов — период не самый легкий в стране, хотя войны и не было.

Чем я жил? Так случилось, что в этом возрасте я раздвоился — одной рукой чертил проект вокзала на тоненьких ножках (так полагалось!), другой гримировался Хлестаковым и Раскольниковым... А по ночам в полусвете, за черным круглым столом у Сережи Доманского мы читали друг другу сногшибательные гофманиады и считали себя не похожими ни на кого другого, гениями не гениями, но чем-то вроде этого...

Осуждаю я себя за это? Да нет. Молодости многое прощается.

Позднее, в конце тридцатых годов — самых сложных в XX веке, — я бросил архитектуру и лицедействовал на подмостках, в разных «Парижских нищих» и «Тайнах Нельской башни» (вернулся-таки к «Тайнам»...), посягнув даже на Вронского, в свободное же время писал идиотскую «под заграницу» повесть: «Так погибла «Конкордия»... Приди ко мне сейчас двадцатипятилетний балбес с подобной дребеденью, я б погнал его в шею, сам же я, ничтоже сумняшеся, отволоч свою «Конкордию» Новикову-Прибою, приехавшему с выступлениями в Ростов-на-Дону, где я тогда работал в театре. Слава богу, принят я не был: старик в тот вечер был не в форме, а на следующий день уехал. Какое счастье! К слову сказать, в это время уже всюю бушевала вторая мировая война и не за горами было 22 июня...

Стыжусь я всего этого? Ничуть. Молодости многое прощается.

В двенадцать лет, когда приезжал к нам «старик» Лайденберг, я мечтал стать знаменитым писателем. К двадцати годам мои аппетиты еще пуще разгорелись — кроме литературной деятельности, я искал славы в архитектуре и театре. Найти мне ее не удалось: началась война.

Теперь я понимаю, что был просто честолюбив, а может быть, даже и тщеславен. Хотел выделяться. Плохо ли это? Очевидно, да. И все же — молодости многое прощается.

Многое, но не все...

Неведомая мне ленинградка Нинель не представляет даже себе, какой вред нанесла она и себе и всем, думая, что говорит правильно. Она сделала все, что было в ее силах, чтоб оттолкнуть, разочаровать, разуверить в нас хорошего, честного, тянущегося к нам американского парня. И может, именно поэтому Стив так разгорячился, именно поэтому говорил больше о наших недостатках, чем о Достоевском и Маяковском, которые его так интересовали. А этого — я знаю! — не было бы, не встреться он с Нинелью. Спасибо неведомым мне Николаю и «хлопцам» — не будь их, несдобровать бы Стиву. Да и мне, ставшему его старшим товарищем, тоже.

Я столь близко принял все это к сердцу потому, что верю в силу

дружбы, скажу даже — в великую силу дружбы. В случае со Стивом я убедился, как легко ее наладить и как не менее легко разрушить.

Все услышанное очень огорчило меня. И заставило о многом задуматься после отъезда Стива.

Но было и радостное. И этим радостным был сам Стив...

Мне приятно было увидеть у Стива ту широту и глубину интересов (значительно большие, чем у меня в его возрасте) и значительно меньшее (во всяком случае, чем у меня в его возрасте) увлечение своей собственной персоной и ее успехами в жизни. Скажу по секрету, своей серьезностью Стив если не огорчил, то все же несколько озадачил меня — где же столь свойственная американцу веселость, грубоватость, шутка, любовь к проказам, забавная и в то же время трогательная инфантильность? Не слишком ли «взросел» мой Стив?

Мои опасения были опровергнуты несколькими строчками письма, полученного мною от него месяца три спустя после его отъезда. Сообщив вначале о дорожных злоключениях (по дороге в Вену поломался автобус) и о своей пятидневной жизни в Праге («даже красивее, чем Киев»), он писал дальше о Париже (текст не редактирую):

«...Там с 5 августа по 5 сентября я гулял, туриствовал и написал песу с рок-н-рольской (так сказать по-русский, не правда ли?) мусикой. Я не писал мусику для псы, только слова. Кажется, я совсем без мусикальной способности. Может быть, кому-то здесь, в Колумбическом университете, хотелось бы написать мусику...»

Ну вот, а я боялся излишней серьезности...

Дальше в письме говорилось, что он слушает сейчас курс английской литературы XVIII века («Это значит я читаю Свифт — великий как великий») и что недавно был на выступлении Евтушенко. («Его стихи мне не совсем понравились, но он очень хорошо прочитал их и очень остроумно отвечал на вопросах, почти слишком остроумно...») Кончалось же письмо словами благодарности, которые, само собой разумеется, не могу не привести, ни на минуту не забывая Нинели.

«...Я решил вам благодарить за всего, что вы сделали за меня, вам и всем вашим друзьям, женщине, которая мне отдала «Идиот» (несмотря на то, что я не прочитал его), женщине, которая сварила те отличные блюда, особенно холодный борщ. Как я вам сказал, я много учился о Советском Союзе и о русском народе благодаря за вас. Непохож на многие поучительные испытания — это очень приятно.

Хорошая здоровья вам и вашей матери.

Искренно

Стив Лайденберг».

В середине прошлого года от него пришло еще одно очень славное письмо, из которого приведу несколько выдержек, опять-таки не редактируя их:

«...Дедушка умер, когда у меня был 12—13 лет — и жил с сестрой в Охайо — далеко от нас в Нью-Зрке (Нью-Йорке. — В. Н.) — и я ему редко видел. Последние три лет его жизни он лежал в постелье, потому что получил удар в голове и парализованный был на



левом стороне. Тогда ему не удалось говорить, но его ума совсем сохранилась до конца. Случилось, что я ему читал из книгой о пионерах в Западе и не понимал смысла одного слова. Я ему спрашивал: это так значит? И он мне отвечал с руками: нет, это значит — и мне показал другую мысль. Очень он доброумный был. Ему 87 лет, когда умер.

Отец дедой был барабанчик в наш Внутренней войне (1860—65). Когда у дедой были три года, его отец на союзе солдат был убитый. Как убитый не могу написать по русский вот-по английски (далее английский текст)... Он бил самым маленький солдат в своем полку. На одном из праздники его качали, подбрасывали вверх и вниз на простыне. И вот он не попал на простыню, упал на землю и сломал себе позвоночник.

Деда беден был и без отца, когда он хотел поступить в Гарвард, ему надо было работать. Там он работал в библиотеке, когда учился и кончил университет во время трех летов (нормально надо 4). После университете он заработал для Нью-Зркской публичной библиотекой. Он там и работал до сих пор, как у него было 65 лет. Последние 5 или 6 лет он был там глава, как вы знаете. Когда он был к вам, он не был главом, а второй или третий человек.

Когда он пошел в уставку (65 лет — 1940 г. приблизительно), он уехал в Мексико, в столицу Максико-сити, и устроил часть Нью-Зркской публичной библиотекой и после этого в Охайо. Там, как везде, где он жил, у него был сад. Очень энергичный и активный человек и очень добрый...»

Дальше идет рассказ о его семье (отец — профессор маленького колледжа Хобарт, мать работает с черными и бедными и помогает им найти квартиры и службу — очень добрая женщина, сестра девятнадцати лет не хочет поступать в университет, а решила «заниматься как матери, только в большом городе»), потом о друзьях по школе и университету, и кончается все несколькими словами о его поездке:

«...Я не доволен был путешествовать со «Спутником», потому что все был много организованно и поэтому были границы на том, что мы видели и о том говорили. После того, что я был в Киеве, мои воспоминания Советского Союза больше лучше. Русский народ очень дружелюбный, и люди в Советском Союзе лучше воспитаны, по моему, чем в Америке — надо сказать, что они больше любопытнее о делах в Америке, чем американцы о делах в СССР. И все же я предпочитаю жить в Америке, — точнее — предпочитаю жить в Америке, чем путешествовать в СССР как турист. Что такое жить в СССР мне еще не совсем понятно, даже после встречей с вами. Другой раз больше узнаю... В этом лету не буду в СССР. Может быть, в 1968 — у отца свободный год — и возможно мы с семьей будем в Европе. Привет вам, матери и кухней — привет от меня и семей.

Стив».

Вот и вся история, растянувшаяся почти на полстолетия.

Насколько она поучительна? А я не знаю. Можно было бы, конечно, поиграть немного на параллелях — двадцать третий и шестьдесят шестой, — внуку, например, куда легче было добраться до Львова, чем сорок с лишним лет назад его деду, и появившись сейчас дед, он воулчил бы моментально в гостинице «Дніпро» прекрасный номер с

горячей и холодной водой, и билеты в Нью-Йорк доставала бы ему любезная гидесса, говорящая не меньше чем на трех языках,— одним словом, можно было бы поговорить о разительных переменах и растущем благосостоянии (мать моя не ходит уже босиком и брюки мне не перешивают из юбок прошлого века) — но вряд ли это здесь было нужно. Просто мне захотелось рассказать про дедушку и внука. И немножко (впрочем, может быть, несколько больше, чем нужно) о себе. Но тут, я надеюсь, читатель меня простит — так приятно вспоминать свое детство и юность.



---

РОБЕРТ ПЕНН УОРРЕН

★

## ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ\*

*Роман*

### ГЛАВА ПЯТАЯ

**Т**ак закончилось мое первое путешествие в волшебную страну прошлого, моя первая исследовательская работа по истории. Как я уже отметил, она не принесла мне успеха. Зато вторая моя работа имела сенсационный успех. Это было «Дело честного судьи», и я мог от души поздравить себя с прекрасными достижениями. Исследование было безупречным, и его технический блеск омрачался лишь одной деталью: оно затрагивало живых людей.

Все началось, как известно, ночью, в черном кадиллаке, когда Хозяин сказал мне (мне, который был тем, в кого превратился студент-историк Джек Бёрден): «Всегда что-то есть».

А я сказал: «У судьи может и не быть».

А он сказал: «Человек зачат в грехе и рожден в мерзости, путь его — от пеленки зловонной до смердящего савана. Всегда что-то есть».

Черный кадиллак, гудя, мчался сквозь ночь, пели шины, и черные поля в полосах тумана пробегали мимо. Рафинад почти лежал на баранке, чересчур большой для него. Хозяин, выпрямившись, сидел рядом с ним. Я видел массивные очертания его головы перед туннелем света, в который неслась машина. Потом я задремал.

Проснулся я оттого, что машина затормозила. Я понял, что мы вернулись к дому Старка. Я выбрался наружу. Хозяин уже стоял во дворе, за воротами, под светом звезд; Рафинад запирали машину.

Когда я вошел во двор, Хозяин сказал:

— Рафинад ляжет внизу на кушетке, а тебе постелили койку наверху, от лестницы вторая дверь налево. Советую вздремнуть, потому что завтра ты начнешь раскапывать, на чем поскользнулся судья.

— Раскопки будут долгие, — сказал я.

— Слушай, — сказал он, — если ты не хочешь этим заниматься, тебя никто не заставляет. Я всегда могу нанять другого. Может, ты хочешь прибавки?

— Нет, я не хочу прибавки, — ответил я.

— Хочешь ты или нет, я прибавляю тебе сотню в месяц.

— Пожертвуй ее церкви, — сказал я. — Если бы я нуждался в деньгах, я нашел бы себе заработок полегче.

— Значит, ты со мной работаешь из любви ко мне, — сказал Хозяин.

— Я не знаю, почему я у тебя работаю, но только не из любви к тебе. И не из-за денег.

---

\* Продолжение. Начало см. «Новый мир», №№ 7, 8 с. г.

— Да,— сказал он в темноте,— ты не знаешь, почему работаешь у меня. А я знаю.— И он засмеялся.

Во двор вошел Рафинад, пожелал нам спокойной ночи и скрылся в доме.

— Почему? — спросил я.

— Мальчик,— ответил он,— ты работаешь у меня потому, что я — это я, а ты — это ты. Это — сотрудничество, вытекающее из природы вещей.

— Очень вразумительное объяснение.

— А это не объяснение,— сказал он и опять засмеялся.— Никаких объяснений не бывает. Ни для чего. В лучшем случае ты можешь сослаться на природу вещей. Если у тебя хватает ума разглядеть ее.

— У меня не хватает,— сказал я.

— Хватит, чтобы найти, чем замарался судья.

— Может, и ничем.

— Ерунда,— сказал он,— ложись спать.

— А ты не ложишься?

— Нет,— сказал он, и когда я оставил его, он прохаживался по двору в темноте, сложив руки за спиной и опустив голову,— прохаживался не спеша, словно это был воскресный день и он вышел в парк на прогулку. Но это было не днем, а в тринадцать ночи.

Я лег на койку, но заснул не сразу. Я думал о судьбе Ирвине. О том, как он посмотрел на меня сегодня ночью, повернув свою длинную старую голову, как блеснули его желтые глаза и скривилась губа над крепкими старыми желтыми зубами, когда он сказал: «На этой неделе я обедаю с твоей матерью. Передать ей, что тебе по-прежнему нравится твоя работа?» Но это ушло, я увидел, как он сидит за шахматами напротив Ученого Прокурора в длинной комнате в белом доме у моря — он не старик, он молодой человек, и его длинное красное лицо с орлиным профилем склонилось над доской. Но и это ушло, и хмурым зимним утром лицо склонилось ко мне среди высокой седой осоки и сказала: «Ты веди за ней ствол, Джек. Надо вести ствол за уткой. Ну ничего, я сделаю из тебя охотника». И лицо улыбнулось. А я хотел заговорить, спросить: «Есть ли за вами что-нибудь, судья? Найду я что-нибудь?» Но я не успел заговорить и уснул — он еще улыбался.

Потом наступил новый день, и я начал откапывать дохлую кошку, выковыривать личинку из сыра, добывать червя из розы, искать запеченную муху среди изюмин в рисовом пудинге.

Я нашел ее.

Но не сразу. Ее не находишь сразу, если ищешь специально. Она погребена под печальными наносами времени; там ей и место. А ты и не хочешь найти ее сразу, если ты студент-историк. Если ты найдешь ее сразу, то не сможешь продемонстрировать свои методы. Но я смог их продемонстрировать.

Первый шаг я сделал к концу дня, сидя за баррикадой пустых пивных бутылок в столичном пивном зале. Я зажег сигарету от своего же окурка и задал себе следующий вопрос: «Что, помимо первородного греха, скорей всего толкнет человека на скользкую дорожку?»

Я ответил: «Честолюбие, любовь, страх, деньги».

Я спросил: «Честолюбив ли судья?»

Я ответил: «Нет. Честолюбивый человек — это такой человек, который хочет, чтобы другие верили в его величие. Судья уверен в своем величии, и ему все равно, что думают другие».

Я спросил: «А как насчет любви?»

Я был твердо убежден, что у судьи были свои маленькие радости, но так же твердо я был убежден в том, что в Бёрденс-Лендинге никто об этом не знает. Ибо если в маленьком городке кто-то что-то про кого-то знает, то не нужно много времени, чтобы об этом узнали все.

Я спросил: «Пуглив ли судья?»

Я ответил: «Судья не из пугливых».

Теперь оставались деньги.

И я спросил: «Любит ли судья деньги?»

«Судье нужно ровно столько денег, сколько нужно, чтобы судья мог жить беззаботно».

Я спросил: «Был ли в жизни судьи случай, когда судье не хватало денег для беззаботной жизни?» При том, что он не стал бы расстраиваться из-за мелочи.

Я закурил новую сигарету и стал обдумывать этот вопрос. Я не нашел ответа. Какой-то голос шептал мне из детства, но я не мог разобрать, что он шепчет.

Из глубины времени и моей памяти выплывало смутное впечатление: я ребенок, я вхожу в комнату к взрослым, я понимаю, что они оборвали разговор при моем появлении, мне не полагается знать, о чем они говорят. Поймал ли я конец их разговора? Я прислушивался к голосу, шептавшему мне из детства, но голос был слишком далек. Он не давал мне ответа. Поэтому я поднялся из-за стола и, оставив после себя окурки и пустые пивные бутылки, вышел на улицу. Был конец дня, улица дымилась после дождя, как турецкая баня, и пленка воды, лежавшая на асфальте, жарко шипела под шинами. Если нам повезет, к вечеру может подуть ветерок с залива. Если нам повезет.

Наконец я нашел такси, сказал шоферу: «Угол улицы Сент-Этьен и Южной пятой», развалился на сиденье и стал слушать, как шипит под колесами вода, словно сало на сковородке. Я ехал за ответом. Если человек, который знает ответ, захочет мне ответить.

Человек этот много лет был близким другом судьи, его вторым «я», его Дамоном, его Ионафаном<sup>1</sup>. Человек этот был когда-то Ученым Прокурором. Он должен знать.

Я вышел на тротуар возле мексиканского ресторанчика, где работал музыкальный автомат, отчего студенистый воздух вздрагивал. Заплатив шоферу, я вернулся и посмотрел на третий этаж дома, сотрясаемого музыкальной машиной. Вывески были на месте: подвешенные на проволоке к железному балкончику, прибитые к стене деревянные щиты — белые, красные, черные, зеленые — с надписями контрастных цветов. Большая вывеска под балконом гласила: С Богом не шутят. На другой было написано: День Спасения настал.

Ага, сказал я себе, он еще живет здесь. Он жил здесь, над чистеньким ресторанчиком, а в соседнем квартале среди голодающих кошек играли голые негрिता, и негритянки перед закатом сидели на ступеньках, томно обмахиваясь веерами из пальмовых листьев. Я приготовился войти в подъезд и уже полез за сигаретами, но обнаружил, что они кончились. Поэтому я зашел в ресторан, где затормаживал со скрипом музыкальный ящик.

За стойкой, пригнувшись, стояла приземистая, как бочонок, старуха с кустистыми и очень белыми по сравнению с коричневым мексиканским лицом и черной rebozo<sup>2</sup> бровями; я сказал ей:

— Cigarillos?<sup>3</sup>

— Que tipo?<sup>4</sup> — спросила она.

— «Лаки», — ответил я, и когда она выложила пачку, показал на потолок и спросил: — Esta arriba el viejo?<sup>5</sup> — гордясь, что сумел это выговорить.

— Quien sabe?<sup>6</sup> — ответила она. — Viene у va?<sup>7</sup>

Так, он приходит и уходит. По божьим делам.

— Старик вышел, — довольно чисто произнес голос в тени у конца стойки.

<sup>1</sup> Ионафан — сын царя Саула, друг Давида (*библ.*). Дамон — философ-пифагореец из Сиракуз. Когда его друг был приговорен к смертной казни и попросил отсрочки для устройства домашних дел, Дамон остался вместо него заложником.

<sup>2</sup> Шалью (*исп.*).

<sup>3</sup> Сигареты?

<sup>4</sup> Вам какие?

<sup>5</sup> Старик наверху?

<sup>6</sup> Кто его знает?

<sup>7</sup> То приходит, то уходит.

— Спасибо,— сказал я старому мексиканцу, который сидел в кресле. Потом повернулся к старухе и, показав на кран, попросил:— Дайте мне пива.

Отхлебнув пива, я поднял глаза и увидел над стойкой еще одну надпись, выведенную на большом листе фанеры, висевшем на гвозде. Доска была ярко-красная с завитушками из голубых цветов и черными буквами, оконтуренными белым. На ней было написано: По ка й т е с ь , и б о п р и б л и з и л о с ь Ц а р с т в о Н е б е с н о е . М а т ф . , 3,2.

Я показал на вывеску.

— De el? <sup>1</sup>— спросил я.— Старика, а?

— Si, señor <sup>2</sup>,— сказала старуха. И добавила без видимой связи:— Es como un santito <sup>3</sup>.

— Может, и святой,— согласился я,— но, кроме того, тронутый.

— Тронут?

— Es loco <sup>4</sup>,— объяснил я,— es тронутый.

На это она не ответила, и я продолжал пить пиво, пока старый мексиканец в кресле не сказал:

— Смотрите, вот идет старик.

Повернувшись, я увидел за мутным стеклом двери фигуру в черном; потом дверь открылась и вошел он, еще более старый, чем мне помнилось: белые слипшиеся патлы свисали из-под старой панамы, очки в стальной оправе едва держались на кончике носа, за ними мигали линияые глаза, а плечи были сведены и согнуты тяжестью самостоятельно существующего аккуратного животика, словно у лоточника с тяжелым подносом или ящиком. Черный пиджак на животе не сходил.

Он стоял, важно моргая, глядел на меня и не узнавал, потому что в ресторане было сумрачно, а он вошел с улицы, где еще светило солнце.

— Добрый вечер, señor,— сказал ему старый мексиканец.

— Buenas tardes <sup>5</sup>,— сказала старуха.

Ученый Прокурор снял панаму, повернулся к старухе и слегка поклонился, сделав головой движение, которое заставило меня вспомнить длинную комнату в белом доме у моря и в комнате — человека, этого, но другого, молодого, без седины.

— Добрый вечер,— сказал он мексиканке, а затем повернулся к старику мексиканцу и повторил:— Добрый вечер, сэр.

Мексиканец показал на меня и проговорил:

— Он ждет.

Тогда Ученый Прокурор впервые, должно быть, обратил внимание на меня. Но он меня не узнавал, глаза его напрасно мигали в сумерках. Вполне естественно, что он не ожидал встретить меня здесь.

— Здравствуй,— сказал я,— ты меня узнаешь?

— Да,— сказал он, глядя на меня по-прежнему. Он протянул мне руку, и я ее пожал. Она была холодная и влажная.

— Давай уйдем отсюда,— сказал я.

— Вам нужен хлеб? — спросил старый мексиканец.

Ученый Прокурор обернулся к нему:

— Да, пожалуйста. Если вас не затруднит.

Мексиканец поднялся, подошел к краю стойки, достал большой бумажный мешок, чем-то набитый, и отдал ему.

— Спасибо,— сказал Ученый Прокурор,— большое спасибо, сэр.

— De nada <sup>6</sup>,— поклонившись, сказал мексиканец.

<sup>1</sup> Это его?

<sup>2</sup> Да, сеньор.

<sup>3</sup> Он как блаженный.

<sup>4</sup> Он сумасшедший.

<sup>5</sup> Добрый вечер.

<sup>6</sup> Не за что.

— Я желаю вам всего хорошего,— сказал Ученый Прокурор и поклонился старику, потом старухе, сделав головой движение, которое снова напомнило мне комнату в белом доме у моря.

Потом я вышел за ним на улицу. На другой стороне был сквер с вытоптанной бурой травой, теперь блестящей после дождя, там на скамейках сидели бродяги, голуби ворковали нежно, как чистая совесть, и какали деликатными известково-белыми капельками на цемент вокруг фонтана. Я поглядел на голубей, потом на мешок, набитый, как выяснилось, хлебными корками.

— Будешь кормить голубей?— спросил я.

— Нет, это для Джорджа,— сказал он, делая шаг к своему подъезду.

— Завел собаку?

— Нет,— сказал он, ведя меня через вестибюль к деревянной лестнице.

— Кто же этот Джордж? Попугай?

— Нет,— сказал он с присвистом, потому что лестница была крутая,—

Джордж — это несчастный.

Что означало, насколько я помнил, бродягу. Несчастный — это бродяга, которому посчастливилось попасть в смиреннику в дом и пустить там корень. После чего его производят из бродяг в несчастные. Ученый Прокурор не раз давал приют несчастным. Один несчастный застрелил органиста в филантропическом обществе, где подвизался Ученый Прокурор. Другой свистнул его часы и ключ Фи-Бета-Каппа.

Значит, Джордж был очередной несчастный. Я посмотрел на хлеб и сказал:

— Да, похоже, что ему порядком не посчастливилось, если больше нечего есть.

— Он съедает только часть хлеба,— ответил Ученый Прокурор,— но это почти случайно. Он с ним работает. Но часть, очевидно, проглатывается, и поэтому он никогда не хочет есть. Только сладости,— добавил он.

— Господи, спаси, как это можно работать с корками, да еще чтобы часть их случайно проглатывалась?

— Не поминай имени господя всуе,— сказал он. И добавил:— Работа у Джорджа очень тонкая. И художественная. Ты увидишь.

Я увидел. Мы одолели второй пролет, свернули в узкий коридор с потрескавшейся стеклянной крышей и вошли в дверь. В углу большой, скудно обставленной комнаты сидел по-портняжьи на куске старого одеяла тот, кого, видимо, звали Джорджем; на полу перед ним были две большие миски и большой, примерно полметра на метр, кусок фанеры.

Когда мы вошли, Джордж поднял голову и сказал:

— У меня кончился хлеб.

— Вот возьми,— сказал Ученый Прокурор и протянул ему бумажный мешок.

Джордж высыпал корки в миску, потом взял одну в рот и стал жевать, тщательно и целеустремленно. Это был среднего роста человек, мускулистый, с бычьей шеей, и когда он стал жевать, жилы на шее плавно заходили. Он был блондин, почти лысый, с гладким плоским лицом и голубыми глазами. Разжевывая корку, он смотрел прямо перед собой в одну точку.

— Зачем он это делает?— спросил я.

— Он делает ангела.

— А-а,— сказал я.

В это время Джордж наклонился над миской и выпустил изо рта полностью пережеванную массу. Потом он положил в рот новую корку.

— Вот этого он уже кончил,— проговорил Ученый Прокурор, показав на другой угол комнаты, где стоял другой кусок фанеры. Я пошел осмотреть ее. Часть фанеры занимала крылатая фигура ангела в ниспадающих складками одеждах, выполненная в виде барельефа из материала, похожего на замазку.— Сейчас он сохнет,— объяснил Ученый Прокурор.— Когда он высохнет и затвердеет, Джордж его покрасит. Потом покроет шеллаком. Потом будет покрашена доска и написано изречение.

— Очень красиво, — сказал я.

— Он делает и статуи ангелов. Посмотри, — он подошел и открыл кухонный шкаф, где на одной полке стояли горшки и тарелки, а на другой — шеренга расписных ангелов.

Я стал рассматривать ангелов. Тем временем Ученый Прокурор вынул из шкафа банку супа, буханку хлеба, кусок подтаявшего масла, перенес все это на стол посреди комнаты и зажег горелку двухконфорочной плиты, стоявшей в углу.

— Ты поужинаешь со мной? — спросил он.

— Нет, спасибо, — сказал я и продолжал рассматривать ангелов.

— Иногда Джордж продает их на улицах, — сказал он, выливая суп в кастрюлю, — но с лучшими он не может расстаться.

— Это и есть лучшие, да? — спросил я.

— Да, — ответил Ученый Прокурор. И добавил: — Хорошо сделаны, правда?

Я сказал «да», потому что больше сказать было нечего. Потом, посмотрев на скульптора, спросил:

— А кроме ангелов, он ничего не делает? Собачек там или кукол?

— Он делает ангелов. Из-за того, что с ним случилось.

— А что случилось?

— Жена, — сказал Ученый Прокурор, мешая суп в кастрюле. — Из-за нее он и делает ангелов. Знаешь, они работали в цирке.

— Нет, я не знал.

— Да, воздушными гимнастами — так их называют. У нее был номер — полет ангела. Джордж говорит, что у нее были большие белые крылья.

— Белые крылья, — сказал Джордж, но из-за хлеба у него вышло бе-е-е кыя; он помахал своими большими руками, как крыльями, и улынулся.

— Она падала с большой высоты, и белые крылья трепетали, как будто она летела, — терпеливо объяснял Ученый Прокурор.

— И однажды веревка лопнула, — подсказал я.

— В аппарате что-то испортилось. Это очень тяжело подействовало на Джорджа.

— Интересно, как это подействовало на нее?

Старик, не оценив моей шутки, продолжал:

— Настолько, что он уже не мог выступать.

— А какой у него был номер?

— Он был человек, которого вешают.

— А-а, — сказал я и посмотрел на Джорджа. Мне стало понятно, почему у него такая шея. — У него тоже испортился аппарат — задушил его или что?

— Нет, — сказал Ученый Прокурор, — просто им овладело отвращение к его работе.

— К работе? — сказал я.

— Да, отвращение, — сказал Ученый Прокурор. — Дело приняло такой оборот, что он не получал никакой радости от своего ремесла. Каждый раз, когда он засыпал, ему снилось, что он падает. И он мочился в постель, как дитя.

— Падает, падает, — сказал Джордж, что прозвучало у него как па-а-а-а, и радостно заулыбался, не переставая жевать.

— Однажды, когда он поднялся на свою площадку с петлей на шее, он не мог прыгнуть. Он не мог даже пошевелиться. Он опустился на платформу и, плача, припал к доскам. Его сняли и вынесли на руках, — сказал Ученый Прокурор. — Потом он какое-то время был полностью парализован.

— Да, — сказал я, — кажется, ремесло висельника и в самом деле стало ему отвратительно. Как ты справедливо заметил.

— Он был полностью парализован, — повторил Ученый Прокурор, снова не оценив моего остроумия. — По причине отнюдь не физической, если... — он помолчал, — если вообще что-нибудь можно объяснить физическими причинами. Ибо физический мир — хотя он существует и отрицать его существование было



бы богохульством — никогда не бывает причиной, он — только результат, только симптом, глина под пальцами гончара, а мы... — Он замолчал, припадочный блеск, вспыхнувший было в его глазах, потух, и рука опустилась, не dokonчив жеста. Он наклонился над плитой и помешал суп. — Болезнь была здесь, — продолжал он, поднося палец ко лбу. — В его душе. Душа — всегда причина... по-верь... — Он остановился, покачал головой, испытующе посмотрел на меня и закончил с грустью: — Но ты меня не поймешь.

— Боюсь, что нет, — согласился я.

— Он оправился от паралича, — сказал старик. — Но Джорджа нельзя назвать здоровым. У него боязнь высоты. Он не может смотреть в окно. Когда он идет на улицу продавать свои работы и я свожу его по лестнице, он закрывает глаза руками. Теперь я вывожу его очень редко. Он не хочет сидеть на стуле и спать на кровати. Он всегда должен быть на полу. Он не любит стоять. У него просто подгибаются ноги, и он плачет. Счастье еще, что его всегда тянуло к искусству. Это помогает ему отвлечься. И он много молится. Я научил его молиться. Это помогает. Утром я встаю и молюсь, а он повторяет молитвы за мной. И ночью, когда он просыпается от страшных снов и не может уснуть.

— Он еще мочится в постели? — спросил я.

— Иногда, — серьезно ответил Ученый Прокурор.

Я оглянулся на Джорджа. Он беззвучно плакал, слезы бежали по его гладким плоским щекам, но челюсти не прекращали работы над коркой.

— Посмотри, — сказал я.

Ученый Прокурор посмотрел на него.

— Глупый, глупый, — всполошившись, забормотал он и затряс головой, отчего на черный воротник слетело еще несколько хлопьев перхоти. — Какой же я глупый — рассказывать при нем. Глупый старик — я все забываю... — И, кудахта, бормоча, сердито трясая головой, он налил в миску супа, взял ложку и подошел к Джорджу. — Смотри, смотри, — сказал он, наклонившись и подсовывая к лицу Джорджа ложку с супом, — вкусный, это вкусный суп... суп... поешь супа.

Но по лицу Джорджа катились слезы, и он не открывал рта. Челюсти, однако, перестали работать. Теперь они были крепко сжаты.

Старик поставил миску на пол и, не отнимая ложки ото рта Джорджа, другой рукой стал поглаживать его по спине, непрерывно издавая тихое встревоженное родительское кудахтанье. Вдруг он поднял глаза на меня — очки совсем сползли на кончик носа — и проговорил по-матерински сварливо:

— Просто не знаю, что с ним делать, — не хочет есть суп. Он вообще ничего не ест, кроме сладостей... шоколада... не знаю просто... — Голос его замер.

— Может, ты чересчур его балуешь? — сказал я.

Он положил ложку в миску, которая стояла рядом на полу, и принялся шарить в карманах. Наконец он вытащил плитку шоколада, довольно квелую от тепла, и стал сдирать с нее прилипшую фольгу. По щекам Джорджа сбегали последние слезы, раскрыв рот в радостном и нетерпеливом ожидании, он следил за движениями старика. Но толстых своих лапок не протягивал.

Потом, глядя Джорджу в лицо, старик отломил кусочек шоколада, вложил в его влажные губы — и вкусовые бугры жарко занялись в темной полости, и железы с усталым, сладким, счастливым вздохом дали сок, и на лице Джорджа изобразилось тихое глубокое блаженство, как у святого.

Ну, чуть не сказал я старику, ты говоришь, что физических причин не бывает, но кусок шоколада — физический, а посмотри, что он делает: глядя на это лицо, можно подумать, что Джордж причастился тела Христова, а не плитки Херши. И как ты отличишь одно от другого, а?

Но я не сказал этого, потому что смотрел на старика, который стоял, наклонившись, в сползших очках, в обвисшем костюме, с отвисшим брюшком, который держал в руке новую порцию шоколадки, который нежно кудахтал с вы-

ражением счастья на лице, ибо другим словом этого не назовешь, — и, глядя на него, я вдруг увидел человека в длинной комнате, в белом доме у моря — этого же человека, но другого, — и в ранней темноте по оконным стеклам хлещет шквальный дождь, налетевший с моря, но это мирный, уютный шум, потому что в камине пляшет огонь, и в дождевые струйки, сбегające по стеклу, ссучивается чернота ночи с серебром и серебро — с отблесками огня, и человек этот наклоняется, протягивает что-то, говорит: «Смотри, что тебе папа принес, но только кусочек, — он отламывает и дает кусочек, — только один, скоро будем ужинать, а после ужина...»

Я смотрел на старика, и в животе у меня стало тепло, а в груди растаял какой-то ком, словно я носил этот ком так долго и так привык к нему, что вспомнил о нем, только когда он исчез и дыхание стало свободным.

— Отец, — сказала я. — Отец...

Старик поднял голову и брюзгливо спросил:

— Что? Что ты сказал?

Отец, отец! — но его больше не было в длинной белой комнате у моря и никогда не будет, потому что он ушел оттуда — зачем? зачем ушел? — затем, что у него не хватило характера быть хозяином в своем доме, затем, что он был дурак, затем... — и он ушел далеко, на эту лестницу, в эту комнату, где старик протянул шоколадку, и счастье — если это было оно — мелькнуло на его лице. А сейчас уже и счастья не было. Было лишь раздражение старого человека, который не совсем понял, что ему сказали.

Но я и сам далеко ушел от длинной белой комнаты у моря — встав с коврика у камина, где я сидел со своим игрушечным цирковым фургонком и цветными карандашами, где я слушал стук дождя по стеклу и где папа наклонялся ко мне и говорил: «Смотри, что принес папа», — я ушел оттуда и очутился в этой комнате, где стоял, прислонясь к стене, с сигаретой в зубах, Джек Бёрден. И никто не предлагал ему шоколадки.

И вот, взглянув на лицо старика, я ответил на его брюзгливый вопрос:

— Так, ничего.

Я сказал правду. То, что было раньше, теперь было ничем. Ибо того, что было, нет, и того, что есть, не будет, и пена, такая солнечно-белая на гребнях волн, разрывааемых ветром, остается после отлива на твердом песке и похожа на сор воды, в которой мыли посуду.

Но что-то все-таки было: сор на твердом песке. И я сказал:

— Нет, подожди.

— Ну, что?

— Расскажи мне про судью Ирвина.

Он выпрямился, стал ко мне лицом, мигая линиями глазами из-за очков так же, как мигал, войдя с улицы в темный мексиканский ресторанчик.

— Про судью Ирвина, — повторил я, — помнишь, твой закадычный друг.

— То было другое время, — прокаркал он, глядя на меня и держа в руке разломанную шоколадку.

— Конечно, — сказала я и, глядя на него, подумал: будь я проклят, если не другое. И сказал: — Конечно, но ты ведь помнишь.

— Я похоронил то время, — сказал он.

— Да, но ты-то жив.

— Тот грешник, которым я был, искавший суеты и порока, — умер. Если я грешу теперь, то по слабости, а не по умыслу. Я отвратился от мерзости.

— Слушай, — сказал я. — Это очень простой вопрос. Всего один вопрос.

— Я похоронил то время, — сказал он, отталкивая что-то ладонями.

— Только один вопрос, — настаивал я.

Он смотрел на меня молча.

— Слушай, — сказал я. — Судья Ирвин когда-нибудь разорится? Было так, что он нуждался в деньгах? Сильно нуждался?

Он смотрел на меня откуда-то издалека, из-за миски с супом на полу, из-за шоколадки в руке, сквозь время. Потом он спросил:

— Зачем... зачем тебе это знать?

— Честно говоря, — вырвалось у меня против воли, — это не мне нужно. Одному человеку, который платит мне деньги первого числа каждого месяца. Губернатору Старку.

— Мерзость, — сказал он, глядя из-за чего-то, что лежало между нами, — мерзость.

— Разорялся когда-нибудь Ирвин?

— Мерзость, — заключил он.

— Слушай, — сказал я, — я не считаю, что губернатор Старк занят только богоугодными делами — если к этому относится бормотание насчет мерзости, — но хоть раз ты задумался о том, в какой кабак превратили штат твои чистоплюи-друзья вроде Стентона и Ирвина с их цилиндрами, цитатами из Горация и хождением в церковь? Хозяин хоть что-то делает, а они — они тут просиживали штаны, они...

— Все — мерзость! — воскликнул он, испуганно взмахнув рукой, в которой была стиснута, почти раздавлена шоколадка. Часть шоколадки упала на пол. Малютка подобрал ее.

— Если ты хочешь этим сказать, — ответил я, — что политика, включая политику твоих бывших друзей, непохожа на пасхальную неделю в женском монастыре, ты прав. Но на этот раз у нас с тобой будет мегафизическая ничья. Политика — это действие, а всякое действие — лишь изъян в совершенстве бездействия, которое есть покой, точно так же, как всякое бытие — лишь изъян в совершенстве небытия. Которое есть Бог. Ибо если Бог — это совершенство, а единственное совершенство — это небытие, то Бог есть небытие. Значит, Бог — ничто. А Ничто не может служить основанием для критики вещи в ее вечности. Кто же дал тебе право так говорить? Как ты из этого выкрутишься?

— Глупость, глупость, — сказал он, — глупость и мерзость!

— Пожалуй, ты прав, — сказал я. — Это глупость. Но не более глупая, чем все разговоры такого сорта. Слова, слова.

— Ты говоришь мерзости.

— Нет, просто слова, — сказал я, — а слова все одинаковы.

— С Богом не шутят, — сказал он, и я увидел, что голова у него трясется.

Я быстро шагнул к нему и стал вплотную.

— Ирвин был разорен?

Он как будто хотел ответить, шевельнул губами. Потом они сжались.

— Был или нет? — настаивал я.

— Никогда больше не прикоснусь я к миру мерзости, — сказал он, твердо глядя на меня снизу вверх, — дабы смрад его не остался на руке моей.

Мне захотелось схватить старика и встряхнуть так, чтобы застучали зубы. Мне захотелось вытрясти из него ответ. Но стариков нельзя хватать и трясти. Я повел все дело неправильно. Надо было подготовить его постепенно, взять его хитростью. Надо было к нему подольститься. Но каждая встреча с ним так меня взвинчивала и так раздражала, что я только об одном думал: как бы поскорее уйти. А оставив его, я чувствовал себя еще хуже, пока не удавалось выкинуть его из головы. Словом, я дал маху.

Вот и все, что я узнал. Выходя, я оглянулся и увидел, что малютка уже покончил с упавшей шоколадкой и задумчиво водит рукою по полу, собирая крошки. Старик снова наклонился к нему, медленно, с усилием.

Спускаясь по лестнице, я подумал, что если бы и попытался обвести старика, то едва ли бы что-нибудь узнал. Не в том дело, что я повел себя неправильно. Не в том дело, что я проболтался о Старке. Что ему до Старка, что он о нем знает? Все дело в том, что я спросил его о прошлом, о мире, из которого он ушел. Тот мир и весь мир мерзость, сказал он, и он не хочет к нему прикасаться. Он не хотел разговаривать о прошлом, и заставить его я не мог.

Но кое-что я выяснил. Я был уверен, что старик когда-то что-то знал. Значит, было что знать. И я это узнаю. Рано или поздно. И вот, оставив Ученого Прокурора и мир прошлого, я вернулся в мир настоящего.

Где:

Овальное поле с геометрической сеткой белых линий, расчертивших дерн, зеленеет, как купорос, под лучами прожекторов, установленных высоко над трибунами. Над полем — разбухший, пульсирующий клубок света, лохматый и редющий по краям, за которыми — душная темнота; но тридцать тысяч пар глаз, повисших над каменными скатами чаши, смотрят не в темноту, а на средоточие света, где люди в красных шелковисто-блестящих штанах и золотых шлемах сшибаются с людьми в голубых шелковисто-блестящих штанах и золотых шлемах и разлетаются брызгами, валятся на яркий купоросно-зеленый дерн. как куклы, и леденящий свисток рассекает ватный воздух, как ятаган — подушку.

Где:

Гвалт оркестра, рев, как в море, вопли, как в муках, тишина, потом женский крик, тонкий и серебряный, рассыпающийся в тишине, как крик погибшей души, и снова рев, от которого приподнимается жаркий воздух. Потому что из спутанного блестящего клубка на зелени вырвался красный осколок, вылетел по касательной и, вертясь, понесся, покатился по земле — почти неподвижный в этом миге застывшего времени, под страшным грузом ответственности, обрушенной людским ревом.

Где:

Человек колотит меня по спине и орет — человек с тяжелым лицом и жестким темным чубом на лбу орет: «Это мой сын! Это Том — Том — Том! Это он — он выиграл — они не успеют отыгаться — он выиграл — первую игру в университете — он выиграл — Том, мой мальчик!» Человек колотит меня по спине и стискивает в объятиях — в могучих объятиях, — он обнимает меня, как брата, как любимую, как сына, и на глазах у него слезы, пот и слезы текут по мясистым щекам, и он вопит: «Это мой сын — другого такого нет — он будет в сборной Америки — Люси хочет, чтоб я ему запретил, — жена хочет, чтобы он перестал играть, — говорит, это губит его — губит его, — ни черта, он будет в сборной Америки — ты видишь — быстрый — быстрый — быстрый, сукин сын! Ты видишь, видишь?»

— Да, — сказал я, и это было правдой.

Он был быстрый, и он был сукин сын. По крайней мере если он не был еще сукиным сыном, то продемонстрировал хорошие задатки в этой области. Трудно было винить Люси за то, что она восставала против футбола: его имя — на всех спортивных страницах газет — фотографии — Чудо первокурсников — Молния второкурсников — приветствия — большие жирные руки, вечно хлопающие по плечу — рука Крошки Дафи — да, Хозяин, у него папашина закваска, — придорожные кабаки — тонконогие, тугогрудые девочки, взвизги — ах, Том, ох, Том — бутылки — охотничьи домики — рев толпы, и обязательно — женский крик, рассыпающийся во внезапной тишине, как проклятье.

Но Люси была бессильна. Потому что его ожидала сборная Америки. Любая команда возьмет его куотербеком. Если бутылка и постель не расстроят прежде времени этот точный, как часы, и четкий, как курок, взрывчатый восьмидесятикилограммовый механизм, которым был сын Хозяина, Молния второкурсников, папина радость, Том Старк. В тот вечер он стоял посреди гостиничного номера с полоской пластыря на носу и самоуверенной улыбкой на чистом красивом мальчишеском лице — а оно было и чистым, и красивым, и мальчишеским, — и руки папиных друзей хватали его и колотили его по плечам, Крошка Дафи хлопал его по плечу, а Сэди Бёрк, сидевшая несколько в стороне от взволнованной группы в своем персональном облаке табачного дыма и спиртных паров, с недвусмысленным выражением на рябом ярком лице сказала:

— Да, верно, Том. кто-то мне говорил, что ты сегодня играл в футбол.

Но Том Старк едва ли мог услышать и оценить ее иронию — он был окру-

жен своим собственным, золотым облаком того, что он — Том Старк, который играл сегодня в футбол.

Наконец Хозяин сказал:

— А теперь иди спать, сынок. Тебе надо выспаться. Отдохни, чтобы накидать им как следует в будущую субботу. — Он положил руку на плечо Тому и сказал: — Мы очень гордимся тобой, мальчик.

А я сказал себе: если его глаза опять подернутся влагой, меня вырвет.

— Ложись спать, сынок, — сказал Хозяин.

Том Старк процедил «ага» и пошел к двери.

Меня окружал мир настоящего.

Но было еще и прошлое. Был вопрос. Была дохлая киска, закопанная в куче золы.

Поэтому немного погодя я стоял перед большим окном и смотрел туда, где с жестяных листьев магнолий соскальзывали последние отблески дневного света и в сгущавшихся сумерках тускнела пена прибоя. За спиной у меня была комната, немногим отличавшаяся от той длинной белой комнаты у моря, где, может быть, в эту самую минуту моя мать подносила помадочноволосому Молодому Администратору свое лицо, как дьявольски дорогой подарок, при виде которого было бы дьявольски неразумно сдерживать свое восхищение. Здесь же, в комнате, едва освещенной огарком свечи на каминной доске, мебель была закутана в саваны и дедушкины часы в углу безмолвствовали так же непоправимо, как и сам дедушка. Но я знал, что если обернусь, то, кроме погребальных чехлов и тишины остановившегося времени, здесь будет женщина, которая стоит на коленях перед холодной черной дырой камина и засовывает под поленья сосновые шишки и щепки. Она сказала мне:

— Нет, дай я сама. Ведь это мой дом — понимаешь, я сама должна растопить камин, когда возвращаюсь. Понимаешь — ритуал. Я сама хочу. Адам мне всегда разрешает. Когда мы приезжаем вместе.

Эта женщина была Анной Стентон, а дом — домом губернатора Стентона, чье лицо, мраморно-невозмутимое над квадратной черной бородой и черным фракком, смотрело при свете огарка из массивной золоченой рамы вниз, на камин, где, словно у его ног, сидела его дочь и чиркала спичкой. Я знал эту комнату с тех времен, когда губернатор был не мраморным ликом в массивной золоченой раме, а высоким мужчиной и сидел у камина, осторожно перебирая рукой распущенные шелковистые волосы маленькой девочки, которая смотрела в огонь, приклоняя головой к его колену. А сейчас я был здесь потому, что Анна Стентон — уже не маленькая девочка — сказала:

— Приезжай в Бёрденс-Лендинг, мы собираемся туда в субботу вечером на воскресенье — просто затопить камин, перекусить какими-нибудь консервами и переночевать под старой крышей. У Адама полтора дня свободных. Теперь это редко бывает.

И я приехал, вместе со своим вопросом.

Я услышал, как чиркнула спичка, и отвернулся от окна, за которым было темное море. Смолистые щепки занялись, огонь запрыгал по ним, выплевывая маленькие звездочки, теплый свет заплесал на лбу Анны, а потом, когда я подошел к камину и она, не вставая, повернулась ко мне, — на ее щеке и шее. Глаза ее заблестели, как у ребенка, которому принесли подарок, и она вдруг рассмеялась гортанным звенящим смехом. Так смеются женщины от счастья. Они никогда не смеются так из вежливости или над шуткой. Женщина смеется так всего несколько раз в жизни. Она смеется так только тогда, когда что-то затронет самые глубины ее души, и счастье, выплеснувшееся наружу, так же естественно, как дыхание, как первые нарциссы или горный ручей. Когда женщина так смеется, что-то происходит и с вами. И не важно, какое у нее лицо. Вы слышите этот смех и чувствуете, что постигли какую-то чистую и прекрасную истину. Чувствуете потому, что этот смех — откровение. Это — великая, не обращенная ни к кому искрен-

ность. Это — свежий цветок на побеге, отходящем от ствола всебытия, и имя женщины, ее адрес ни черта тут не значат. Вот почему такой смех нельзя подделывать. Если бы женщина научилась подделывать этот смех, то рядом с ней Нелл Гвин и мадам Помпадур были бы парой туристок-кашеварок в бифокальных очках, бусах и с шинами на челюстях. Из-за нее передрался бы весь свет. Ибо единственное, чего, в сущности, хочет мужчина — это услышать такой вот смех.

Анна обернулась ко мне, подставив щеку свету камина, и, блестя глазами, рассмеялась. Я тоже рассмеялся, глядя на нее сверху. Она протянула мне руку, чтобы я помог ей встать, поднялась легко и ловко — господи, до чего я ненавижу женщин, которые, вставая, собирают себя по частям, — и слегка качнулась, выпрямившись во весь рост. Она стояла очень близко ко мне, все еще смеясь, и ее смех отзывался эхом у меня внутри; я держал ее за руку — так, как держал давным-давно, пятнадцать лет назад, двадцать лет назад, когда помогал ей встать и ловил ее откачнувшуюся талию, чувствуя, как она поддается под моей рукой. Так было раньше. Теперь я тоже наклонился к ней, глядя на ее смеющееся лицо, и ее голова немного запрокинулась, как запрокидывается голова девушки, когда она знает, что сейчас вы ее обнимете, и не имеет ничего против.

Но вдруг ее смех оборвался. Словно кто-то опустил штору перед ее лицом. Я почувствовал себя так, как бывает, когда, проходя по темной улице, ты заглянешь в освещенное окно — там, в комнате, люди разговаривают, поют, смеются, по ним пробегают волнами отсветы камина, и сюда на улицу доносятся звуки музыки; а потом рука — ты никогда не узнаешь, чья она, — опускает штору. И ты остаешься один, снаружи.

И я остался один, снаружи.

Может, мне все равно надо было это сделать — обнять ее. Но я не обнял. Да, она обернулась ко мне и засмеялась. Но не мне. А потому, что была счастлива вернуться в комнату, где еще сохранилось прошлое, частью которого я был когда-то, но перестал быть, — и присесть возле камина, ощутить на лице его тепло, как ладонь.

Этот смех предназначался не мне. Поэтому я отпустил ее руку, сделал шаг назад и спросил:

— Судья Ирвин когда-нибудь разорился? По-настоящему?

Я спросил ее внезапно и резко, потому что, если вопрос ваш внезапен и резок, как гром среди ясного неба, вам, может быть, удастся получить ответ, которого вы никак иначе не получите. Если человек, которого вы спрашиваете, все забыл, то внезапный и резкий вопрос может пришпорить его память, вырвать ответ из трясины забвения, а если человек помнит, но не хочет вам рассказать, то внезапный и резкий вопрос может поймать его врасплох, и он ответит, не успев подумать.

Но ничего не вышло. Либо она не знала, либо ее нельзя было заставить врасплох. Мне следовало бы раньше догадаться, что такой человек, как она, — человек с глубокой внутренней уверенностью в себе, проистекающей из того, что он сделан целиком из одного куска, а не составлен из лоскутов, обрывков и старых шестеренок, скрепленных ржавой колючей проволокой, бечевками и слюнями, как большинство из нас, — мне следовало бы догадаться, что такого человека нельзя заставить врасплох и вырвать ответ против его воли. Это — если она знала ответ. Но, может, она и не знала.

Она удивилась.

— Что? — спросила она.

Я повторил.

Она отвернулась, подошла к кушетке, села, зажгла сигарету и спокойно на меня посмотрела.

— Почему тебя это интересует? — спросила она.

Глядя ей в глаза, я ответил:

— Это не меня интересует. Одного моего друга. Он мой лучший друг. Он платит мне по первым числам.

— Джек! — воскликнула она и, швырнув только что зажженную сигарету в камин, встала с кушетки. — Почему тебе надо все портить! Только-только мы вспомнили прошлое. А ты все портишь. У нас...

— У нас? — сказал я.

— ...тогда что-то было, а ты хочешь все испортить, помогаешь ему все испортить — этому человеку — он...

— У нас? — переспросил я.

— ...задумал что-то плохое...

— У нас! — сказал я. — Если у нас было такое замечательное, прекрасное прошлое, почему ты не вышла за меня замуж?

— При чем тут это? Я тебе говорю...

— Да, ты мне говоришь, что у нас было замечательное и прекрасное прошлое, а я тебе говорю: если у нас было такое замечательное, прекрасное прошлое, то откуда, черт подери, взялось это совсем не замечательное и не прекрасное настоящее — откуда, если этого не замечательного и не прекрасного не было у нас в прошлом? Объясни мне.

— Не надо, — сказала она, — не надо, Джек.

— Нет, ты объясни. Ведь не скажешь же ты, что у нас замечательное и прекрасное настоящее? Это настоящее вышло из прошлого, и теперь тебе почти тридцать пять лет, ты вырываешься сюда, как на праздник, чтобы посидеть среди этой пыльной, зашитой в тряпки мебели, в доме с отрезанными проводами, а Адам — о, у него тоже чертовски прекрасная жизнь — кромсает людей с утра до ночи, пока не свалится с ног, и внутри весь завязан узлами, а...

— Оставь Адама в покое, — сказала она и выбросила руки ладонями вперед, будто отталкивая меня, хотя до меня было больше пяти шагов, — он хоть что-то делает, хоть что-то...

— ...а Ирвин играет там со своими игрушками, а моя мать с этим Теодором, а я...

— Да, ты, — сказала она, — ты.

— Ладно, — сказал я. — Я.

— Да, ты. С этим человеком.

— Этим человеком, этим человеком, — передразнил я, — все здешние так его называют — разные Паттоны, люди, которых поперли с теплых местечек. А ведь он тоже кое-что делает. Делает не меньше Адама. Больше. Он строит медицинский центр, где будет лечиться весь штат. Он...

— Знаю, — сказала она устало, не глядя на меня, и опустила на кушетку, тоже накрытую чехлом.

— Знаешь, но тоже говоришь о нем свысока, как все прочие. Ты такая же, как они.

— Ладно, — сказала она, по-прежнему не глядя на меня. — Свысока. Так свысока, что я на прошлой неделе с ним завтракала.

Ну, если бы дедушкины часы не стояли, тут они стали бы наверняка. Лично я стоял, как в столбняке. Я слышал, как гудит огонь в камине, обглаживая дрова. Потом прекратилось и гудение, и не было вообще ничего.

Потом я сказал:

— Господи Иисусе.

И тишина впитала мои слова, как промокательная бумага.

— Ладно, — сказала она. — Господи Иисусе.

— Ну и ну, представляю себе, как подскочил бы редактор светского отдела «Кроникл», увидев дочь губернатора Стентона за завтраком с губернатором Старком. А платье, моя дорогая, в каком вы были платье? А цветы? Вы пили шампань-коктейли? А...

— Я пила кока-колу и ела бутерброд с сыром. В закускойной, в нижнем этаже Капитолия.

— Простите за любопытство, но...

— Ты хочешь спросить, как я туда попала? Скажу. Я пришла к губернатору Старку, чтобы добиться денег для детского дома. И я...

— Адам знает? — спросил я.

— ...и я их получу. Я должна составить подробную докладную записку и...

— Адам знает?

— Какая разница, знает Адам или нет, — и принести эту записку...

— Представляю себе, что скажет Адам, — угрюмо заметил я.

— Я сама как-нибудь справлюсь со своими делами, — сказала она с легкой досадой.

— Вон что, — сказал я и заметил, что щеки ее слегка порозовели. — А я думал, что вы с Адамом всегда так. — И, подняв правую руку, я сложил вместе указательный и средний пальцы.

— Да, так, — ответила она, — но меня не интересует...

— А что сказал бы об этом он, — я ткнул большим пальцем в сторону мраморно-невозмутимого лица, смотревшего из массивной золотой рамы, — тебя тоже не интересует?

— Джек, — сказала она и раздраженно, что было на нее непохоже, вскочила с кушетки. — Зачем ты это говоришь? Ты что, не понимаешь? Я добиваюсь денег для детского дома. Это деловая встреча. Чисто деловая. — Она вздернула подбородок с таким видом, будто вопрос исчерпан; но это еще больше меня взбудоражило.

— Слушай, — сказал я и почувствовал, что начинаю злиться. — Дело делом, а тебе это будет стоить репутации, если заметят, что ты шляешься с...

— Шляешься, шляешься! — воскликнула она. — Не будь дураком. Я с ним завтракала. По делу.

— По делу или без дела — ты рискуешь своей репутацией, и...

— Репутацией! — сказала она. — Я достаточно взрослая и как-нибудь сама позабочусь о своей репутации. Ты только что сказал, что я почти старуха.

— Я сказал, что тебе почти тридцать пять, — уточнил я.

— Джек, — сказала она, — тридцать пять, а я ничего не сделала. И не делаю. Ничего стоящего не делаю. — Она замолчала и рассеянно поправила волосы. — Ничего. Я не могу без конца играть в бридж. А те мелочи, которыми я занимаюсь, — детский дом, спортплощадка...

— Кто-то ведь должен поставлять материал для светской хроники, — сказал я.

Но она пропустила это мимо ушей.

— ...этого недостаточно. Почему я ничем не занялась, не выучилась чему-нибудь? Хоть на врача, на медсестру. Я могла бы стать ассистенткой Адама. Могла бы заняться декоративным садоводством. Могла бы...

— Ты могла бы делать абажуры, — сказал я.

— Хоть что-нибудь, все равно что.

— Ты могла бы выйти замуж, — сказал я. — Ты могла бы выйти за меня.

— Нет, я имею в виду не просто выйти замуж, я...

— Сама не знаешь, что ты имеешь в виду.

— Ах, Джек, — сказала она и, взяв мою руку, прижалась к ней, — наверно, ты прав. Сама не знаю, что сегодня со мной творится. Иногда я приезжаю сюда и чувствую себя так хорошо, я бываю просто счастлива, но потом...

Больше она об этом не говорила. Теперь голова ее лежала на моей груди, я успокоительно похлопывал ее по плечу, а она убеждала меня, что я должен быть ее другом, и я говорил «конечно», вдыхая между делом запах ее волос. Они пахли по-прежнему — как у маленькой девочки, которую ведут в гости, — свежим, хорошо промытым запахом. Но никаких гостей сегодня не было и в помине. И не было клубничного мороженого и шоколадного торта, игрушечных дудок и игры, где ты должен был петь про Вильяма, сына короля Якова, а потом становиться перед кем-то, как лист перед травой, на этот самый коврик и отвечать, кого ты любишь больше всех.



Минуту или две она стояла, прижав голову к моей груди. Если бы в доме было светлее, вы без труда различили бы просвет между ней и ее другом, и друг терапевтически и бескорыстно похлопывал ее по плечу. Потом она отошла от него и стала у камина, глядя в огонь, который уже окончательно разгорелся и создавал в комнате, как говорится, уютную атмосферу.

Потом входная дверь распахнулась, в комнату, как большая отряхивающаяся собака, влетел ветер с холодного моря, и огонь взвился в камине. В уютную атмосферу вернулся Адам Стентон. Он был нагружен пакетами, потому что ездил в город за провизией.

— Привет, — сказал он из-за пакетов и улыбнулся длинным, тонким, твердым ртом, который в обычном состоянии выглядел, как чистый, хорошо заживший хирургический надрез, но при улыбке — если улыбка была — удивлял вас и согревал.

— Слушай, — проговорил я быстро, — хоть раз на твоей памяти судья Ирвин разорялся? Вчистую?

— А? Нет, не знаю... — начал он, и лицо его затуманилось.

Анна круто повернулась к нему, потом ко мне. Мне показалось, будто она хочет что-то сказать. Но она молчала.

— Ну как же, — сказал Адам, все еще обнимая свои пакеты.

На этот раз у меня клюнуло.

— Как же, — повторил он с довольным и веселым видом, какой бывает у людей, извлекая какой-то забытый факт из прошлого. — Сейчас, дай вспомнить... Я был мальчишкой... году в тринадцатом или четырнадцатом... я помню, отец говорил что-то дяде Джону, он забыл, что я тут же, в комнате... и судья там был, и у них с отцом — мне показалось, что они ссорятся, они разговаривали так громко... что-то насчет денег.

— Спасибо, — сказал я.

— Не за что, — ответил он с несколько озадаченной улыбкой и подошел к кушетке, чтобы сбросить пакеты на мягкое.

— Так, — сказала Анна, глядя на меня, — ты хотя бы приличия ради объяснил ему, зачем тебе это нужно.

— Конечно, — ответил я. И повернулся к Адаму: — Мне надо выяснить это для губернатора Старка.

— Политика, — сказал он, и рот его захлопнулся, как капкан.

— Да, политика, — сказала Анна, улыбувшись довольно хмуро.

— Ну, мне, слава богу, не приходится иметь с ней дело, — сказал Адам. — По крайней мере теперь. — Но тон его был какой-то легкомысленный. Что меня удивило. Потом он добавил: — А на кой черт Старку знать, разорялся ли судья Ирвин? Больше двадцати лет прошло. И никакие законы не запрещают человеку разоряться. На кой ему черт?

— Да, на кой ему черт? — сказала Анна и посмотрела на меня все с той же хмурой улыбкой.

— А ты что тут делаешь? — смеясь спросил Адам и схватил ее за руку. — Ты тут стоишь и прохлаждаешься, а кто еду будет готовить? А ну, давай, кислая рожица, живее! — Он подтолкнул ее к кушетке, где были свалены пакеты.

Она наклонилась, чтобы собрать их, а он шлепнул ее по задку и сказал:

— Живее! — И расхохотался.

Анна тоже расхохоталась от души, и все было забыто, потому что Адам не часто оттаивал и смеялся, но когда на него находило, он становился человеком легким и жизнерадостным, и вы знали, что вам будет весело.

Нам было весело. Пока Анна готовила, а я накрывал на стол и ставил бутылки, Адам сорвал простыню с рояля (они держали его настроенным, рояль и сейчас был неплох) и начал наяривать так, что дом заходил ходуном. Он даже выпил до обеда три стаканчика виски вместо одного. Потом мы поели, и он опять стал играть — «В Пикардии розы цветут», «В три часа ночи» и тому подобное, — а мы с Анной танцевали; иногда он начинал играть что-нибудь сентиментальное — тогда

Анна напевала мне на ухо, и мы раскачивались тихо и плавно, как топольки на ветру. Потом он вскочил из-за рояля и, насвистывая «Прекрасную леди», выхватил сестру из моих рук и закружил в медвежьем залихватском вальсе. Она перегнулась из его руки, откинув голову, томно прикрыв глаза и придерживая оттопыренными пальчиками развевающуюся юбку.

Адам танцевал хорошо, даже когда паясничал. Это было врожденное, потому что он уже давно не практиковался. Да и раньше не взял всего, что ему полагалось. Ни в чем, кроме работы. А стоило ему захотеть, они бы сами ползли к нему и набивались. И только раз в пять лет, не чаще, на него нападала бешеная, безудержная веселость, словно прорвавший дамбу поток, который с корнем выворачивает кусты и деревья — а кустами и деревьями были вы. Вы и все окружающие. Глаза его загорались, и он размахивал руками, не в силах обуздать энергию, вырвавшуюся из его нутра. Вам приходила на ум огромная турбина или динамо-машина, раскрученная до миллиона оборотов в минуту, содрогаящаяся от собственной мощи, готовая сорваться с фундамента. Размахивая своими сильными длинными гибкими руками, он преображался в какую-то помесь Свенгали<sup>1</sup> с машиной для расщепления атомов. Вот-вот посыплется синие искры.

Тут уж они ни ползти не могли, ни набиваться. Тут они падали кверху лапками. Только и это не помогало.

Но Адам редко бывал таким. И недолго. Он остывал и скоро опять замыкался. В тот вечер он не бушевал. Он просто улыбался, хохотал, острил, колотил по клавишам и кружил в залихватском вальсе сестру. В камине прыгал огонь, на нас глядело благородное лицо из массивной золотой рамы, с моря дул ветер, и в темноте позвякивали листья магнолий.

Конечно, в комнате, за музыкой и потрескиванием камина мы не могли расслышать тихий шум листьев на ветру. Только позже, лежа наверху в темноте, я услышал через окно это слабое сухое позвякивание и подумал: мы были счастливы сегодня потому, что мы были счастливы, или потому, что были счастливы когда-то, давным-давно? Непохоже ли наше нынешнее счастье на свет луны, которая холодна и светит не своим светом, а чужим, пришедшим издалека? Я поворачивал эту мысль и так и эдак, пытаюсь сделать из нее маленькую складную метафору, но метафоры не получалось, ибо, выходит, ты должен быть и холодной, мертвой, бездомной луной, и вместе с тем, в далеком прошлом, — солнцем, а как ты ухитришься быть и тем и другим? Это несовместимо. Метафора была нескладной. Черт с ней, подумал я, прислушиваясь к шуму листьев.

Потом подумал: ладно, теперь я по крайней мере знаю, что Ирвин был разорен.

До этого я уже докопался, и назавтра мне предстояло оставить Бёрденс-Лендинг и прошлое и вернуться к настоящему. И я вернулся к настоящему.

Где:

Крошка Дафи сидел в большом мягком кресле, растекаясь большими мягкими ляжками по коже и большим мягким брюхом — по большим мягким ляжкам, изо рта его небрежно наискось торчал длинный мундштук с зажженной сигаретой (мундштук был последним новшеством, позаимствованным у одного джентльмена — наиболее выдающегося члена партии, служению которой посвятил себя Дафи), его большое мягкое лицо растекалось по воротнику, а на пальце сидел бриллиант величиной с грецкий орех — и вся эта неправдоподобная комбинация была Крошкой Дафи, который, видимо, сверялся с карикатурами из «Харперс уикли» девяностых годов на предмет того, как должен выглядеть, вести себя и одеваться преуспевающий политик.

Где:

Крошка Дафи говорил:

<sup>1</sup> Свенгали — персонаж из романа Д. Дюморье «Трля-бли», музыкант и гипнотизер.

— Господи, Хозяин хочет ухлопать шесть миллионов на больницу — шесть миллионов! — И, откинувшись в кресле, окутанный голубым табачным дымом, глядел на кессоны потолка и мечтательно шептал: — Шесть миллионов.

А Сэди Бёрк отвечала:

— Да, шесть миллионов, и вам из них ни цента не удастся захватить.

— Я мог бы устроить для него контракт в четвертом округе, где до сих пор хозяйничает Мак Мерфи. Он и Гумми Ларсон. Не если отдать подряд Ларсону...

— Он продаст Мак Мерфи. Верно?

— Ну, зачем же — я бы выразил это по-другому. Гумми урезонил бы Мак Мерфи, скажем так.

— И вам бы кое-что от него перепало. Верно?

— Я не о себе говорю. Я говорю о Гумми. Гумми обработал бы его для Хозяина.

— Хозяин справится с этим делом без помощников. Придет пора — он сам обработает Мак Мерфи, раз и навсегда. Господи, Крошка, вы столько лет знакомы с Хозяином и не смогли его изучить. Вы же знаете, он предпочитает расправиться с человеком, а не покупать его. Правильно, Джек?

— Почем я знаю, — сказал я. Но я знал.

По крайней мере знал, что Хозяин намерен расправиться с человеком по фамилии Ирвин. И раскопки доверены мне.

И я возобновил раскопки.

Но на следующий день, прежде чем я приступил к работе, позвонила Анна Стентон.

— Умник, — сказала она, — ты думал — ах какой ты умник!

Я услышал далекий смех на том конце провода, потом в трубке зажужжало, и я представил себе ее смеющееся лицо.

— Умник! Ты узнал у Адама, что судья Ирвин когда-то был разорен, но я тоже кое-что узнала!

— Да? — сказал я.

— Да, умник! Я пошла в гости к старой тете Магильде, которая все знает, что с кем было за последние сто лет. Я только завела разговор про судью, и она тут же начала рассказывать. С ней заговорить о чем-то — все равно что бросить монетку в музыкальный ящик. Да, судья Ирвин тогда разорился — или почти разорился, — но ты все равно в дураках, Джеки, все равно, умник! Вместе с твоим Хозяином! — И снова из черной трубки у меня в руке послышался далекий смех.

— Да? — сказал я.

— Он женился тогда! — сказала она.

— Кто? — спросил я.

— О ком мы говорим, умник? Судья Ирвин, вот кто.

— Конечно, женился. Всем известно, что он был женат, но при чем тут...

— Он женился на деньгах. Это говорит тетька Матильда, а она все знает.

Он разорился и женился на деньгах. Заруби это себе на носу, умник!

— Спасибо, — сказал я, но на полслово услышал щелчок — она повесила трубку.

Я закурил, развалился в кресле и закинул ноги на стол. Конечно, всем известно, что судья был женат. Более того, он был женат дважды. Первую жену, на которой он женился, когда я был маленьким, сбросила лошадь, и она провела остаток своих дней в кровати, глядя в потолок или, если чувствовала себя получше, — в окно. Она умерла, когда я был ребенком, и я ее почти не помнил. Но его вторую жену тоже почти забыли. Она была нездешняя — я попытался вспомнить, как она выглядела. Я видел ее несколько раз, что верно, то верно. Но мальчишка пятнадцати лет редко обращает внимание на взрослых женщин. Я вызвал в памяти облик женщины, темной, худой, с большими черными глазами, в длинном белом платье, с белым зонтиком. Возможно, это был совсем не ее облик. Возмож-

но, совсем не эта женщина вышла замуж за судью Ирвина и, приехав в Бёрденс-Лендинг, принимала любопытных улыбающихся дам в белом доме судьи и, двигаясь по проходу в церкви св. Матфея перед началом службы, ощущала на себе их взгляды во внезапной тишине и за спиной — взрывы свистящего шепота, а потом заболела и так долго жила на втором этаже с нянькой-негритянкой, что люди забыли о самом ее существовании и вспомнили с удивлением только на ее похоронах. А после похорон уже ничто не напоминало о ней, ибо тело отправилось назад, туда, откуда она приехала, и даже имени ее не осталось на кладбище у церкви св. Матфея, где у Ирвинов было свое место под дубами, и печальные гирлянды мха висели на сучьях, словно в преддверии карнавала теней.

Судье не везло с женами, и люди его жалели. Обе долго болели и умерли у него на руках. Ему очень сочувствовали.

Но, оказывается, его вторая жена была богата. Это объясняло, почему лицо, которое я вызвал в памяти, было не красивым, не таким, какое подобало бы жене Ирвина, а желтоватым, худым, немолодым даже, с одним только достоинством — большими черными глазами.

Итак, она была богата, а это опрокидывало мою догадку, что в 1913 или 1914 году судья очутился без денег и пошел по скользкой дорожке. И это обрадовало Анну. Обрадовало потому, что Адам даже нечаянно не послужил Хозяину осведомителем. Ну что же, что радует Анну, то радует и меня. Кроме того, ей, наверное, радостно сознавать, что судья невиновен. Ну что же, это и для меня радость. Единственное, чего я хочу — это доказать его невиновность. Рано или поздно я смогу прийти к Хозяину и заявить: «Пустой номер, Хозяин. Он чист, как стеклышко». — «Вот сукин сын», — скажет Хозяин. Но ему придется поверить мне на слово. Потому что он знает мою дотошность. Я очень дотошный и очень вышколенный историк. Лишь правду я ищу, не ведая ни жалости, ни гнева. А там — хоть трава не расти.

Словом, 1913 год в программе больше не значился. Это установила Анна Стентон.

Или?

Когда вы ищите завещание, спрятанное в старом особняке, вы простукиваете пядь за пядью превосходные, красного дерева стальные панели, надежную кладку подвалов и ждете глухого звка. Услышав его, вы нажимаете потайную кнопку или суετε фомку. Я постучал и обнаружил полость. Судья Ирвин был разорен. Но нет, сказала Анна Стентон, там нет никакого тайника, там просто проходит вытяжка.

Но я постучал снова. Просто чтобы послушать глухой звук, пусть там всего-навсего вытяжка.

Я спросил себя: «Если человеку нужны деньги, где он их достает?» Ответ был прост: он занимает. А если занимает, то под какое-нибудь обеспечение. А какое обеспечение мог предложить судья Ирвин? Скорее всего свой дом в Бёрденс-Лендинге или свою плантацию на реке.

Если нужны были большие деньги, он заложил бы плантацию. Поэтому я сел в машину и отправился вверх по реке, в Мортонвилл, центр округа Ла Салль, изрядный кусок которого приходится на старую плантацию Ирвинов, где хлопок растет белый, как взбитые сливки, и счастливые негры поют круглый день, как Ол Джолсон.

В Мортонвилле в управлении округа я получил дело на плантацию Ирвина. Всю ее историю — от пожалования испанской короной в XVIII веке до нынешнего дня. И в 1907 году была запись: «Закладная, Монтегю Ирвин, Мортонвиллскому коммерческому банку, 42000 дол. до 1 января 1910 года». В конце января 1910 года была выплачена часть долга, двенадцать тысяч долларов, и закладная продлена. В середине 1912 года выплачены проценты. В марте 1914 года начато дело о лишении права выкупа. Но судью спас гонг. В начале мая была запись о полном погашении долга. Больше никаких записей в инвентарном деле не было.

Я снова стал простукивать и услышал глухой звук. Когда человек разорен, звук всегда глухой, как в склепе.

Но он женился на богатой невесте.

А была ли она богата?

Никаких сведений об этом, кроме слов тети Матильды, у меня не было. И желтого лица миссис Ирвин. Я решил работать фомкой.

Я сопоставляю дату женитьбы с датами в инвентарном деле. Может быть, что-нибудь прояснится. Но что бы там ни выяснилось, фомку я всуну.

Я ничего не знал о миссис Ирвин — ни дня свадьбы, ни ее имени, ни прежнего места жительства. Но это было просто. Час среди газетных подшивок в публичной библиотеке (опять в столице) — час работы со страницами светской хроники, ломкими, пожелтевшими за двадцать с лишним лет и поутратившими прежний налет беспечной пышности. — и я вышел на свет божий с раскисшим воротником и грязными руками, но в кармане у меня лежал конверт, на обороте которого было нацарапано: «Мейбл Карудерс, единств. дочь Ле Мойна Карудерса, Саванна, Джорджия. Вступила в брак 12 янв. 1914».

Эта дата мало о чем говорила. Правильно, дело о лишении права выкупа заведено после свадьбы, но это еще не значит, что Мейбл была бедна: у судьи, может, ушел весь медовый месяц на то, чтобы подобраться к низменному вопросу о зелененьких. Судья не позволил бы себе нечуткости. Так что она вполне могла снести золотое яичко. Тем не менее вечером я ехал на поезде в Саванну.

Четверть века — малый срок в глазах Всевышнего, но попробуйте, не обладая его глазами, узнать что-либо о частной жизни человека, даже такого именитого, как Ле Мойн Карудерс, если человек этот мертв уже двадцать пять лет. Я не обладал глазами Всевышнего. Мне пришлось допытываться и разнохивать, ворошить старые газеты и устанавливать контакт с ветхим стариком, отставным редактором, наслаждаться обществом бывшего своего знакомого, ныне местного гения страхового дела, и водиться с его друзьями. Я ел утку, фаршированную устрицами и бататами, индийский соус, который так чудесно готовят в Саванне, что даже человеку вроде меня, ненавидящему всякую еду, он кажется вкусным; я пил ржаное виски, гулял по прекрасным улицам, проложенным генералом Оггторпом, любовался прекрасными строгими фасадами, особенно строгими в это время года, когда деревья, смыкающиеся сводом над улицами, стоят без листьев и комья серого неба, принесенные ветром с Атлантики, тащатся над самой землей, цепляясь пухом за мачты и дымоходы, словно поросые свиньи на стерне.

Я видел дом Ле Мойна Карудерса. Старикан жил богато, ничего не скажешь. Он умер в 1904 году, и если судить по копии завещания — тоже богатым. Но за девять лет, с 1904-го до 1913-го, многое могло случиться. Мейбл жила на широкую ногу. Так рассказывали. Но все говорили, что это было ей по средствам. И, насколько я мог выяснить, не было причин сомневаться, что ее нью-йоркский дядя-душеприказчик умело распорядился ее ценными бумагами.

Придраться как будто бы не к чему. Но есть одна вещь, о которой никогда нельзя забывать: книга судебных решений, которая хранится в суде.

Я о ней не забыл. И нашел в ней имя Мейбл Карудерс. Людям было трудно получать с нее деньги. Но это ничего не доказывало. Многие богатые девушки настолько богаты, что не снисходят до оплаты счетов, пока их не притянут к суду. Но я заметил одну деталь. Этой дурной привычки у Мейбл не было до 1911 года. Другими словами, она охотно оплачивала счета первые семь лет после получения наследства. Далее, рассуждал я, если эта милая слабость объясняется темпераментом, а не нуждой, то почему она возникла так внезапно? А возникла она внезапно и оптом. Не то чтобы от нее страдал один бакалейщик. Их была целая компания, потому что Мейбл забывала уплатить и Ле Клерку из Нью-Йорка за бриллиантовый кулон, и портнихе, и местному виноторговцу за вполне отборный товар. Да, Мейбл жила на широкую ногу.

Последний иск был подан банком «Сиборд» по поводу ссуды в семьсот пятьдесят долларов. Гроши для Мейбл. Теперь в Саванне не было банка «Сиборд».

Это я узнал из телефонной книги. Но в суде старик, сидевший на плетеном стуле, сказал мне, что году в двадцатом «Сиборд» был проглочен банком «Джорджия Фиделити». В «Джорджии Фиделити» мне сказали: да, в 1920 году. Кто был тогда председателем «Сиборда»? Одну минутку, они посмотрят. Вот — м-р Перси Пойндекстер. Он в Саванне? Ну, это они не могут сказать наверняка — ведь время идет так быстро. Но м-р Петис должен знать, м-р Чарльз Петис, его зять. О, не за что, сэр. Всегда рады помочь.

М-р Перси Пойндекстер пребывал теперь не в Саванне и едва ли на этом свете, потому что после каждого выдоха вы ждали и ждали, пока это хрупкое сооружение из лучинок и прозрачного пергамента с филигранью синих вен соберет силы для очередного слова. М-р Пойндекстер полулежал в каталке, сложив прозрачные руки на вишневом шелковом халате, глядя бледно-голубыми глазами в метафизическую даль, и, отработывая каждый вдох и выдох, говорил:

— Да, юноша, конечно, вы говорите неправду, но мне безразлично. Безразлично, зачем вы спрашиваете — теперь это не имеет значения — ни для кого — ведь все они умерли — Ле Мойн Карудерс умер — он был моим другом — моим лучшим другом — но это было так давно, и я не помню даже его лица — и его дочь Мейбл — я делал для нее все, что мог, — даже после всех ее денежных неудач она могла бы жить прилично — даже в умеренной роскоши — но нет, она швыряла деньги — не считая — я давал ей в банке большие ссуды — часть она вернула, когда я ее пристыдил, — по двум или трем векселям я заплатил сам — из уважения к памяти Ле Мойна — и послал ей погашенные векселя, чтобы пристыдить ее, образумить, но нет — нет, она забыла стыд и совесть, она приходила снова и смотрела на меня своими большими глазами — они были большие, недобрые и горели, как в лихорадке, — и говорила: мне нужны деньги — и в конце концов я опротестовал один вексель — чтобы ее пристыдить — напугать — для ее же блага — потому что деньги текли как вода — она давала бал за балом, обед за обедом, как в лихорадке, — чтобы привлечь к себе внимание — она была дурнушка — но мужа все-таки нашла — по слухам богатого человека, откуда-то с Запада — он женился быстро и увез ее — она умерла, и тело привезли сюда — похороны — погода была плохая, почти никто не пришел — даже из уважения к Ле Мойну — даже некоторые его друзья не пришли — умер двенадцать лет назад, они его забыли — люди забывают...

Воздух вышел, и несколько долгих секунд казалось, что дыхание не возобновится. Но он опять вдохнул и сказал:

— Но это — теперь не имеет — значения.

Я поблагодарил его, пожал руку, которая напоминала холодный воск и оставила холодок в моей ладони, вышел, сел в машину, взятую напрокат, вернулся в город и выпил — не по случаю успеха, но чтобы растопить ледок в костях, выстуженных стариком, а не ветром.

Я выяснил, что Мейбл Карудерс разорилась и вышла замуж за богатого человека с Запада. Вернее, из тех мест, которые зовутся «Западом» в Саванне. Какая ирония! Богатый человек с Запада сам женился на ней из-за денег. Веселые, наверно, были у них деньки, когда это выяснилось. Я уехал из Саванны на другой день, но не раньше, чем осмотрел фамильный склеп Карудерсов, где мох посягал на буквы славного имени и у ангела не хватало руки. Но это не имело значения, потому что все Карудерсы находились теперь внутри.

Я постукал — и звук был очень, очень глухой. Я всунул фомку глубже. В 1914 году судья расплатился по закладной не деньгами жены. Чем же он занимался в 1914 году, чтобы достать деньги? Он обрабатывал плантацию и служил при губернаторе Стентоне генеральным прокурором штата. На хлопковой плантации не заработаешь в сезон сорок четыре тысячи долларов (а внес он именно такую сумму, потому что, как выяснилось, двенадцать тысяч долларов, которые он выплатил в 1910 году, были получены под залог дома в Бёрденс-Лендинге, и теперь он рассчитался по обоим закладным сразу) А жалование генерального прокурора составляло три тысячи четыреста долларов в год. В южном штате вы

не разбогатеете, сделавшись генеральным прокурором. По крайней мере законом это не предусмотрено.

Но в марте 1915 года судья нашел хорошую работу, очень хорошую. Он ушел с поста генерального прокурора и стал адвокатом и вице-президентом компании «Американ Электрик Пауэр» с очень хорошей зарплатой двадцать тысяч долларов в год. Действительно, что им мешало нанять судью Ирвина — такого хорошего юриста? Но можно нанять сколько угодно хороших юристов за сумму гораздо меньшую, чем двадцать тысяч долларов в год. И деньгами, заработанными в 1915 году, нельзя расплатиться в 1914-м. Стук мой по-прежнему отдавался глухо.

И я впервые в жизни пустился в биржевую игру. Приобрел одну обыкновенную акцию компании «Американ Электрик Пауэр» — теперь, в разгар депрессии, она была дешевле грибов. Но кое-кому этот листок бумаги дорого обошелся. Многим людям.

Теперь я был держателем ценных бумаг, и я желал знать, как позаботится компания о моих капиталовложениях. Я воспользовался правом акционера. Я пошел и просмотрел учетные книги компании «Американ Электрик Пауэр». Буквально из пыли времен я извлек любопытные факты. В мае 1914 года Монтегю М. Ирвин продал по номинальной стоимости пятьсот обыкновенных акций Уилберу Сатерфилду и Алексу Кантору, которые, как я установил позднее, были служащими компании. Это означало, что в мае у Ирвина не только хватило денег расплатиться по закладной, но и кое-что осталось. Но когда он приобрел эти акции? Выяснить было просто. В марте 1914-го компания была реорганизована и выпустила большой пакет новых акций. Пакет Ирвина был частью этого нового пакета. Люди подарили (или продали?) его Ирвину, а другие люди купили его обратно. (Ирвин, наверно, локти себе кусал после продажи, потому что акции сразу поползли вверх и ползли довольно долго. Может, господа Сатерфилд и Кантор надули Ирвина? Старые сотрудники, они наверняка были в курсе всех дел. Но Ирвин должен был продавать, и спешно. Закладной лист не ждал.)

У Ирвина были акции, и он продал их господам Сатерфилду и Кантору. Прекрасно. Но как же он добыл эти акции? Может быть, ему подарили их за красивые глаза? Вряд ли. А за что люди дарят вам увесистую пачку новеньких красивых акций с золотыми печатями? Ответ прост: за то, что вы оказали им любезность.

Значит, задача состояла в том, чтобы выяснить, оказал ли судья Ирвин — в то время генеральный прокурор — любезность компании «Американ Электрик Пауэр». И это потребовало серьезных раскопок. На дне же ямы не оказалось ничего. Ибо в то время, когда Ирвин занимал пост генерального прокурора, компания «Американ Электрик Пауэр» была образцовым членом общества. Она могла смотреть народу в глаза, не краснея. В яме было пусто.

Хорошо, а чем ознаменовалось пребывание судьи Ирвина на посту генерального прокурора?

Как выяснилось, ничем особенным. Правда, один раз чуть было не получилось громкое дело. Из-за взыскания арендной платы с компании «Саузерн Бель Фьюил», которая разрабатывала на арендных началах угольные залежи штата. Иск сопровождался кое-каким шумом, кое-каким переполохом в Законодательном собрании, разными передовицами и речами; но теперь все это было лишь отзвуком шепота. Может быть, я один в целом штате знал об этой истории.

Разве что еще Ирвин знал, просыпался по ночам и лежал с открытыми глазами.

Речь шла об истолковании арендного договора между штатом и компанией. Это был очень расплывчатый договор. Возможно, что так его и задумали. Так или иначе, согласно одному толкованию компании надлежало выплатить сто пятьдесят тысяч долларов за истекший срок аренды и сколько-то там еще до конца действия договора. Но договор был очень расплывчатый. До того расплывчатый, что перед самым началом перестрелки генеральный прокурор решил:

для иска оснований нет. «Мы сознаем, однако,— сказал он в своем публичном заявлении,— что люди, ответственные за этот контракт, заслуживают всяческого порицания, ибо, приняв условия, согласно которым штат должен был отдать почти даром ценнейшее свое достояние, они проявили нетерпимую халатность в деле защиты общественных интересов. Но вместе с тем мы сознаем, что, поскольку контракт существует и допустимо лишь единственное разумное его истолкование, наш штат в своем желании способствовать развитию промышленности и частной инициативы не имеет иного выхода, как подчиниться этому соглашению, которое, при всей его очевидной несправедливости, скреплено законом. Даже в такой ситуации, как сейчас, мы не должны забывать, что сама справедливость обязана жизнью закону».

Это было напечатано в старой «Таймс-Кроникл» 26 февраля 1914 года — недели за две до того, как началось дело о лишении Ирвина права выкупа плагии. И примерно за три недели до реорганизации компании «Американ Электрик», когда появились новые акции. Эта связь была связью во времени.

Но всякая ли связь есть связь во времени и только во времени? Я ем хурму, а рот вяжет у медника в Тибете. Теория цветка в расселине стены. Мы вынуждены принимать ее, потому что рот наш так часто вяжет от хурмы, которой мы не ели. Поэтому я сорвал цветок и обнаружил поразительный ботанический факт. Я обнаружил, что нежный корешок его, петляя и извиваясь, тянется до самого Нью-Йорка и там уходит в роскошную навозную кучу, которая называется корпорацией Медисон. А цветком в расселине была компания «Саузерн Бель Фьюил». Тогда я сорвал другой цветок, под названием «Американ Электрик Пауэр», и обнаружил, что его нежный корешок берет начало в той же навозной куче.

Утверждать, будто я знаю, что такое Бог и человек, я еще не мог, но готов был высказать догадку об одном конкретном человеке. Пока лишь догадку.

И она долго оставалась догадкой. Ибо я достиг той стадии в своих поисках, когда остается только молиться. Вы делаете все, что в ваших силах, молитесь, пока хватает сил, а потом ложитесь спать в надежде, что найдете разгадку во сне, посредством озарения. «Кубла-Хан», бензольное кольцо, песня Кэдмона — все они явились во сне<sup>1</sup>.

Явился и мне. Однажды ночью, когда я только что заснул. Это было всего лишь имя. Смешное имя. Мортимер Л. Литлпо. Имя плавало в моем сознании, я думал, какое оно смешное, и потом уснул. Но когда я проснулся утром, моя первая мысль была: Мортимер Л. Литлпо. В тот день, проходя по улице, я купил газету и, заглянув в нее, увидел имя Мортимер Л. Литлпо. Только было оно не в той газете, которую я купил. Оно было на желтой, ломкой, пахнущей старым сыром странице, которая вдруг возникла перед моим мысленным взором. Мортимер Л. Литлпо — следствием установлена смерть от несчастного случая. Вот оно. Потом, колыхаясь, словно размокшая деревяшка со дна взбаламученного пруда, всплыла фраза: Адвокат компании «Американ Электрик Пауэр». Вот оно.

Я вернулся к подшивкам и узнал, как было дело. Мортимер выпал из окна гостиницы, вернее — за железные перила балкончика, проходящего под окном. Он упал с пятого этажа, и тут пришел конец Мортимеру. На следствии его сестра, жившая с ним, показала, что последнее время он был нездоров и жаловался на головокружения. Возникла версия о самоубийстве: как выяснилось, дела Мортимера были в запутанном состоянии, а перила слишком высоки, чтобы упасть случайно. И еще была непонятная история с письмом: коридорный показал под присягой, что вечером накануне смерти Мортимер дал ему письмо и полдоллара на чай с просьбой отправить письмо немедленно. Коридорный клял-

<sup>1</sup> «Кубла-Хан» — поэма английского поэта С. Т. Кольриджа (1772—1834); бензольное кольцо — структурная формула бензола; Кэдмон — английский поэт VII века.



ся, что письмо было адресовано мисс Литлпо. Мисс Литлпо клялась, что никакого письма не получала. Итак, Мортимер страдал головокружениями.

Кроме того, он был адвокатом в «Американ Электрик». Я узнал, что его освободили от работы незадолго до того, как взяли Ирвина. Ниточка была сомнительная и могла завести в тупик, но меня это уже не пугало. За шесть или восемь месяцев расследования я навидался этих тупиков.

Но тупика не было. Была мисс Лили Мей Литлпо, которую после пяти недель охоты я выследил в темной, грязной, пропахшей лисами берлоге — в меблированных комнатах на окраине трущоб Мемфиса. Худая опустившаяся старуха с выветренным лицом, в черном платье, запачканном пищей, сидела в полутемной комнате, источая этот лисий запах, который мешался с запахом ладана и восковых свечек, и, медленно мигая, смотрела на меня красными подслеповатыми глазами. Стены были сплошь увешаны картинками божественного содержания, а в углу на столике поменчалось подобие алтаря с пологом из выгоревшего вишневого бархата; внутри же — не Мадонна и не распятие, что отвечало бы духу остальных картинок, но идол из фетра, в котором я усмотрел сначала увеличенную до несообразных размеров подушечку для иглолок в виде подсолнуха, а потом, разобравшись, — изображение солнца с лучами. Дарующий Жизнь. И в такой-то комнате. Перед ним на столике свечка горела жирно, словно огонь питался не только воском, но и сальной материей этого воздуха.

Посреди комнаты стоял стол с вишневой бархатной скатертью, а на нем — стакан воды, тарелка с ядовито-яркими леденцами и пара длинных тонких труб или рожков, с виду оловянных. Я сел подальше от стола. Мисс Литлпо, которая сидела по другую его сторону и ощупывала меня своими красными глазами, произнесла неожиданно звучным голосом:

— Ну, можно начинать?

Она продолжила меня изучать и наконец заметила словно про себя:

— Если вас прислала миссис Далзел, я думаю...

— Да, она.

— Она меня прислала. Это обошлось мне в двадцать пять долларов.

— Тогда, я думаю, все в порядке.

— Все в порядке, — сказал я.

Она встала и пошла к свечке, по-прежнему не спуская с меня глаз, словно в последнюю секунду, перед тем как задуть огонек, она могла обнаружить, что со мной далеко не все в порядке. Затем она задула свечу и вернулась на свое место.

После этого были стоны, пыхтение, металлическое звяканье — видимо, одно из рожков, — не очень внятная и вразумительная беседа с Принцессой Пятнистой Ланью — духом, вещающим через мисс Литлпо, — а еще менее вразумительные высказывания обладателя хриплого гортанного голоса, который доказывалс Того Берега, что его зовут Джимми и что он друг моей юности. Радиатор у меня за спиной бурчал и ухал, а я вдыхал густую тьму и потел. Джимми говорил, что мне предстоит дорога.

Я наклонился в темноте к столу и сказал:

— Попросите Мортимера. Я хочу задать Мортимеру вопрос.

Один из рожков мягко звякнул, и Принцесса сделала замечание, которого я не расслышал.

— Мне нужен Мортимер Л., — сказал я.

В рожке захрипело совсем невнятно.

— Он пытается пройти, — произнес голос мисс Литлпо, — но вибрации слишком слабы.

— Я хочу задать ему вопрос, — сказал я. — Позовите Мортимера. Вы знаете Мортимера Л. Л. — это Лонзо.

Вибрации все еще были слабые.

— Я хочу спросить его про самоубийство.

Вибрации, видимо, совсем ослабли, потому что не раздавалось ни звука.

— Позовите Мортимера,— сказал я.— Я хочу спросить его о страховке. Я хочу спросить его о последнем письме.

Вибрации достигли страшной силы, потому что рожок хлопнулся о стол, слетел на пол, за столом зашуршало и загремело, и, когда зажегся свет, у двери, держа руку на выключателе и буравя меня красными глазами, стояла мисс Литлпо, и дыхание ее с явственным шипом прорывалось между остатками зубов.

— Вы обманули,— сказала она,— вы обманули меня!

— Нет, я вас не обманывал,— сказал я.— Меня зовут Джек Бёрден, и меня прислала миссис Далзел.

— Дура,— прошипела она,— дура прислала такого... такого...

— Она сочла, что я в порядке. И не такая уж она дура, чтобы отказаться от двадцати пяти долларов.

Я достал бумажник, вытащил деньги и показал ей.

— Может, я и нет, но эти штуки всегда в порядке,— сказал я.

— Что вам надо? — сказала она, и взгляд ее скакал с моего лица на зеленую пачку и обратно на лицо.

— Я же сказал,— ответил я.— Мне надо поговорить с Мортимером Лонзо Литлпо. Если вы можете нас соединить.

— Что вам от него надо?

— Я же сказал. Мне надо спросить его о самоубийстве.

— Это был несчастный случай,— тупо проговорила она.

Я вынул из пачки бумажку.

— Вот посмотрите,— сказал я.— Это сто долларов.— Я положил бумажку на стол и пододвинул к ней.— Посмотрите хорошенько,— сказал я,— они ваши. Возьмите.

Она с испугом смотрела на бумажку.

Я вытянул еще две бумажки.

— Еще две,— сказал я.— Такие же. Триста долларов. Если вы соедините меня с Мортимером, деньги будут ваши.

— Вибрации,— пробормотала она,— иногда вибрации...

— Да,— сказал я,— вибрации. Но сто долларов сильно улучшат вибрации. Берите. Они ваши.

— Нет,— проговорила она быстро и хрипло,— нет.

Я взял вторую сотенную и положил на стол поверх первой.

— Берите,— сказал я,— и к черту вибрации. Вы что — не любите денег? Вам не нужны деньги? Когда вы ели досыта в последний раз? Берите, и давайте поговорим.

— Нет,— прошептала она, глядя на деньги. Она прижималась к стене и держалась за дверную ручку, как будто хотела убежать. Потом перевела взгляд на меня и вдруг, вытянув шею, сказала: — Я знаю... знаю — вы хотите обмануть меня — вы из страховой компании.

— Ошибаетесь,— сказал я.— Но мне известно о страховке Мортимера. После самоубийства страховку не выдают. Вот почему вы...

— Он... — прошептала старуха, и лицо ее исказилось гримасой то ли горя, то ли ярости, то ли отчаяния — понять было невозможно.— Он занял под свою страховку — почти столько же — и мне не сказал — он ..

— Значит, вы солгали почти задаром,— сказал я.— Получили страховку, но оказалось, что получить почти нечего.

— Да,— ответила она,— нечего. Он бросил меня — одну — ничего не сказал — бросил без денег — и вот... вот... — Она обвела взглядом комнату, полуманную мебель, грязь и вздрогнула, съежилась, будто только что вошла и увидела все это впервые.— Вот... — сказала она,— вот.

— Три сотни будут очень кстати,— сказал я и кивнул на две бумажки на бархате.

— Вот... Вот... — сказала она.— Он бросил меня — он был трус — о, для него это было просто — ему только и надо было...

— Прыгнуть, — закончил я.

Это привело ее в чувство. Она уставилась на меня тяжелым взглядом и после долгой паузы произнесла:

— Он не прыгал.

— Дорогая моя мисс Литлпо, — произнес я голосом, который обычно называют «проникновенным», — почему вы это отрицаете? Брат ваш давно умер, и ему ничего не грозит. Страховая компания забыла об этом деле. Никто не осудит вас за ложь — вам надо было жить. А...

— Не из-за денег, — сказала она. — Я боялась позора. Я хотела, чтобы его похоронили, как христианина. Я хотела... — Она вдруг умолкла.

— А, — сказал я и посмотрел на стену, увешанную религиозными картинками.

— Тогда я была верующей, — сказала она и, помолчав, поправилась: — Я и сейчас верую, но это другое.

— Да, да, — успокоил я и взглянул на рожок, лежавший на столе. — И глупо, конечно, считать это позором. Если он и сделал это...

— Это был несчастный случай, — перебила она.

— Ну, мисс Литлпо, вы же только что сами сказали.

— Это был несчастный случай, — повторила она, прячась в свою раковину.

— Нет, — сказал я, — он покончил с собой, но это не его вина. Его вынудили. — Я следил за ее лицом. — Он отдал компании лучшие годы, и они его выкинули, чтобы взять человека, который совершил бесчестный поступок. Который довел вашего брата до гибели. Так ведь? — Я встал, шагнул к ней. — Так или нет?

Она пристально смотрела на меня, потом не выдержала:

— Да! Он довел его, он его убил, его наняли, потому что надо было дать ему взятку — брат это знал, — он сказал им, что знает, но они его выгнали — они сказали, что у него нет фактов, и выгнали его.

— Были у него факты? — спросил я.

— Да, он все знал. Он знал про это жульничество с шахтами — давно знал, но не думал, что с ним так поступят, — тогда они были с ним очень любезны, а сами только и ждали, чтобы его выгнать, — тогда он пошел к губернатору и рассказал...

— Что? Что вы сказали? — Я подошел к ней.

— К губернатору, он...

— К кому?

— К губернатору Стентону, а губернатор не стал слушать, он просто...

Я крепко схватил старуху за руку.

— Стойте, — сказал я. — Вы говорите, что ваш брат ходил к губернатору Стентону и рассказал ему?

— Да, а губернатор Стентон не стал его слушать. Не стал слушать. Он сказал, что у него нет фактов, он не будет расследовать и что...

— Вы говорите неправду! — сказал я и тряхнул ее тонкую, как щепка, руку.

— Нет, правду, правду, ей-богу! — крикнула она, задрожав. — И это его убило. Губернатор убил. Он вернулся в гостиницу и написал мне письмо, все написал — и в ту же ночь...

— Письмо, — перебил я, — что стало с письмом?

— ...в ту же ночь — перед рассветом, — но всю ночь он ждал у себя в комнате — и перед самым рассветом...

— Письмо, — оборвал я, — что стало с письмом?

Я снова тряхнул ее, но она продолжала шептать:

— Перед самым рассветом...

Наконец она вырвалась из-под гипноза этой мысли, подняла глаза и ответила:

— Оно — у меня.

Я отпустил ее руку, сунул сто долларов ей в ладонь и силой согнул ей пальцы.

— Тут сто долларов, — сказал я. — Дайте мне письмо, и вы получите остальные. Триста долларов!

— Нет, — проговорила она, — нет, вы хотите избавиться от письма. Потому что в нем написана правда. Тот человек — ваш друг. — Ее мигающие глаза смотрели мне в лицо и скреблись, как скребутся слабые старушечьи пальцы, пытаюсь открыть шкатулку. Наконец она оставила свои попытки и жалобно спросила: — Он ваш друг?

— Если бы он меня сейчас увидел, — сказал я, — ему вряд ли пришла бы такая мысль.

— Вы ему не друг?

— Нет, — сказал я. Она смотрела на меня подозрительно. — Нет, — повторил я. — Я не друг ему. Дайте мне письмо. Если его когда-нибудь используют, то используют против него. Клянусь вам.

— Я боюсь, — сказала она, но я почувствовал, что ее пальцы, согнутые в моей ладони, потихоньку щупают бумажку.

— Страховой компании не бойтесь. Это было слишком давно.

— Когда я пришла к губернатору... — начала она.

— Как, и вы ходили к губернатору?

— Когда это случилось — после всего — я хотела отплатить этому человеку — я пошла к губернатору...

— Боже мой, — сказал я.

— ...и просила наказать его — за взятку — за то, что он погубил моего брата, — но он сказал, что у меня нет фактов, что этот человек — его друг, и у меня нет фактов.

— А письмо — вы показали ему письмо?

— Да, я пошла с письмом.

— Вы показали письмо губернатору Стентону?

— Да... да... а он встал и говорит: «Мисс Литлпо, вы показали под присягой, что не получали письма, вы дали ложные показания, это лжесвидетельство, а за лжесвидетельство полагается суровое наказание, и, если об этом письме узнают, вы будете наказаны по всей строгости закона».

— И что вы сделали? — спросил я.

Седая, обтянутая желтой кожей голова, в которой не хранилось уже ничего, кроме старых воспоминаний, качнулась на тонком черенке шеи легко и сухо, словно под дуновением ветерка.

— Сделала, — повторила она, качая головой, — сделала... Я бедная, одинокая женщина. Мой брат умер. Что я могла сделать?

— Вы сохранили письмо, — сказал я, и она кивнула.

— Достаньте его, — сказал я, — достаньте. Теперь вас никто не потревожит. Клянусь вам.

Она достала его. Она долго разгребала ворох желтых, пропахших кислым бумажек, старых лент, слежавшейся одежды в сундуке, который стоял в углу, а я, изнывая, следил из-за ее плеча за копошением непослушных пальцев. Наконец она нашла.

Я выхватил конверт у нее из рук и вытряхнул письмо. Оно было написано на бланке гостиницы «Монкастело» и датировано 3 августа 1915 года. Я прочел: «Дорогая сестра,

Я ходил сегодня к губернатору Стентону и рассказал ему, как меня выгнали на улицу, словно собаку, после стольких лет службы, потому что Ирвин отвел обвинение от «Саузерн Бель Фьюил» и надо было дать ему взятку, как он занял мое место и получает жалование, о котором я и мечтать не мог, а я им отдавал все силы. И теперь они называют его вице-президентом. Они вралли мне и обманули меня и сделали его вице-президентом за то, что он взял взятку. Но губернатор Стентон не стал меня слушать. Он спросил, какие у меня факты, а я

рассказал ему то, что говорил мне несколько месяцев назад Сатерфилд — как было прекращено это дело и как наша компания хочет отблагодарить Ирвина. Теперь Сатерфилд от всего отказывается. Он отказывается, что говорил мне об этом, и смотрит мне в глаза. У меня нет доказательств, и губернатор Стентон не будет расследовать.

Я ничего не могу сделать. Как ты знаешь, я ходил к политическим противникам губернатора Стентона, но они не стали меня слушать. Потому что этот негодяй и безбожник Маккол, который всем у них заправляет, связан с «Саузерн Бель». Сначала они заинтересовались, а потом осмеяли меня. Что мне остается? Я стар и болен. Я никогда не оправлюсь. Я буду тебе обузой, а не подмогой. Что мне остается, сестра?

Ты была добра ко мне. Я благодарю тебя. Прости меня за то, что я собираюсь сделать, но я хочу уйти к нашей святой матери и к нашему дорогому отцу, которые были так добры к нам и встретят меня в лучшем мире и осушат мои слезы.

До свиданья и до встречи там, где мы все будем счастливы.

Мортимер.

P.S. Я довольно много занял под свою страховку. Из-за неудач на бирже. Но кое-что там остается, и, если узнают, что я сделал то, что я хочу сделать, тебе не заплатят.

P.S. Отдай мои часы, которые мне оставил отец, Джулиану. Он будет дорожить ими, хотя он только двоюродный брат.

P.S. Мне было бы легче сделать то, что я хочу, если бы не забота о страховке. Я выплатил ее, и ты должна ее получить».

Итак, проинструктивровав сестру, как обмануть страховую компанию, бедняга отправился в лучший мир, где мать и отец осушат его слезы. Он весь был тут, Мортимер Лонзо: растерянность, слабость, благочестие, жалость к себе, мелкое жульничество, мстительность — и все это в тонкой вязи старомодного бухгалтерского почерка, может быть, менее твердого, чем обычно, но со всеми точками над «и» и палочками над «т».

Я вложил письмо в конверт и опустил в карман.

— Я сниму с него фотокопию, — сказал я, — и отдам обратно. Фотокопию мне надо заверить. А вам придется сделать у нотариуса заявление о вашем визите к губернатору Стентону. — Я взял со стола двести долларов и вручил ей. — После заявления у нотариуса вы получите еще сто. Надевайте шляпу.

Так после многих месяцев я нашел. Ибо ничто не пропадает бесследно, ничто и никогда. Всегда есть ключ, оплаченный чек, пятно от губной помады, след на клумбе, презерватив на дорожке парка, ноющая боль в старой ране, первый детский башмачок, оставленный на память, негритянская примесь в крови. И все времена — одно время, и все умершие не жили до тех пор, пока мы не дали им жизнь своим определением, и глаза их из сумрака зывают к нам.

Вот во что верим мы, историки.

И мы любим истину.

## ГЛАВА ШЕСТАЯ

Когда я посетил провонявшую лисами берлогу мисс Литлло в Мемфисе и закончил свои изыскания, на исходе был март 1937 года. Работа отняла у меня почти семь месяцев. Но за это время произошло немало других событий. Второкурсник Том Старк стал куотербеком легендарной сборной Юга и на радостях загнал желтую спортивную машину в кювет на одном из многочисленных новых шоссе, носящих имя его папы. К счастью, его нашли не какие-нибудь сплетники-горожане, а патрульные дорожной полиции, и полупустая бутылка улик, выброшенная в ночь, утонула в черной воде болота. Рядом с бесчувственным телом Мол-

нии второкурсников лежало другое тело, хоть и не бездыханное, но покалеченное, ибо в дорогой желтой машине с Томом находился более дешевый предмет той же масти по имени Кейрес Джонс. Кейрес закончила прогулку не в болоте, а в операционной. Она не умерла, что было с ее стороны очень любезно, но в дальнейшем вряд ли могла служить украшением такого рода прогулок. Папа ее был менее любезен. Он топал ногами, требовал крови, грозил судом, тюрьмой и публичным скандалом. Однако пыл его остудили довольно быстро. Понятно, это стоило денег. Но в конце концов все уладилось мирно. М-р Джонс занимался грузовыми перевозками, и кто-то объяснил ему, что грузовики ездят по дорогам штата, а владельцы грузов дорожат дружбой некоторых ведомств штата.

Том не был ранен, но три часа пролежал без сознания в больнице, и Хозяин, белый, как накрахмаленная простыня, растрепанный, потный, с остановившимся взглядом, мерил шагами приемную, колотя кулаком о ладонь и дыша так же шумно, как его сын в соседней палате. Потом появилась Люси Старк — было часа четыре утра, — ошеломленная, с красными, но сухими глазами. Они всерьез поссорились. Но — уже после того, как им сказали, что Том вне опасности. Хозяин, тяжело дыша, расхаживал по приемной, а Люси сидела и смотрела в пустоту. Когда их успокоили, она поднялась, подошла к Хозяину и сказала:

— Ты должен положить этому конец. — Голос ее был едва слышен.

Он стоял, тупо глядя на нее, потом протянул руку, дотронулся до нее с опаской, словно медведь до улья, и проговорил пересохшими губами:

— Все... все обошлось, Люси. С ним все в порядке.

Она покачала головой:

— Нет, не все в порядке.

— Врач... — он неуверенно шагнул к ней, — врач говорит...

— Нет, не все в порядке, — повторила она. — И не будет в порядке, если ты не прекратишь этого.

Он вдруг налился кровью:

— Если ты опять насчет футбола, если...

Начинался старый спор.

— Не только футбола. И футбол плохо... возомнил себя героем, ничего больше на свете не существует... да и все, что связано с футболом... он распушенный, эгоист, лодырь...

— Слунтяем мой сын не будет. Этого ты добиваешься?

— Лучше бы он умер у меня на глазах, чем стал негодяем из-за твоего тщеславия.

— Не будь дурой!

— Ты его погубишь. — Ее голос был тих и ровен.

— Не мешай ему быть мужчиной. Я в детстве не видел никаких радостей. Пусть хоть он поживет в свое удовольствие. Я хочу, чтобы ему жилось весело. Я видел, как люди вокруг веселятся, а сам был лишен этого. Пусть хоть он...

— Ты его погубишь, — произнесла она голосом тихим и спокойным, как рок.

— Да ты поймешь или нет наконец... — начал он, но тут я выскользнул за дверь и осторожно прикрыл ее за собой.

Несчастный случай с Томом был не единственным событием той зимы.

Анна Стентон добивалась от штата денег для детского дома. Она получила солидную подачку и была ужасно довольна собой. Скоро она должна была получить субсидию еще на два года — крайне необходимую, утверждала она, и, наверно, не без оснований, потому что в 1929 году родники частной благотворительности почти иссякли и лет семь после этого цедили по капле.

В четвертом округе, где еще прочно сидел Мак Мерфи, было беспокойно. Его человек попал в конгресс в Вашингтоне, до которого, правда, было далеко, но не так, как до луны, и высказывал там свое мнение о Хозяине, поставляя заголовки для газет всей страны; поэтому Хозяин купил время в радиостанции и в нескольких передачах высказал свое мнение о конгрессмене Петите, ознако-

мив народ с подробностями биографии конгрессмена Петита, чьей корове, как выяснил исследовательский отдел Хозяина, лучше было не мычать. Хозяин не опровергал рассказов Петита, он занялся личностью самого рассказчика. Он знал, что *argumentum ad hominem*<sup>1</sup> ложен. «Может, он и ложный,— говорил Хозяин,— зато полезный. Если ты подобрал подходящий *argumentum*, всегда можно пугнуть *hominem*'а, и так, чтобы он лишний раз сбегал в прачечную».

Петиту это вышло боком, но надо отдать справедливость Мак Мерфи — он не отступался. Крошка Дафи тоже не отступался. Он во что бы то ни стало хотел уговорить Хозяина, чтобы тот отдал подряд на постройку больницы Гумми Ларсону, который пользуется влиянием в четвертом округе и переубедит, или, проще говоря, продаст, Мак Мерфи. Хозяин слушал Крошку так же внимательно, как вы — шелест дождя по крыше, и отвечал: «Ясно, Крошка, ясно, мы как-нибудь об этом потолкуем» или: «К черту, Крошка, смени пластинку». Или вообще не отвечал, а только смотрел на Дафи тяжелым, оценивающим взглядом, словно прикидывая его вес,— голос Крошки таял, и в тишине слышалось только их дыхание: Крошкино — свистящее, частое, короткое для такой туши, и Хозяина — ровное и глубокое.

А Хозяин грезил больницей и во сне и наяву. Он ездил на Север и осматривал самые лучшие и большие больницы: Центральную массачусетскую, Пресвигианскую в Нью-Йорке, Центральную филаделфийскую и многие другие.

— Ну и что ж, что они хорошие,— говорил он,— клянусь, чем хочешь, моя будет лучше, ну и что, что они большие — моя будет больше, и последний бедняк в штате сможет прийти туда и получить любое лечение задаром.

В этих поездках он проводил все время с врачами, архитекторами и директорами больниц, а не с букмекерами или эстрадными певицами. Когда он возвращался, его кабинет бывал завален синьками, блокнотами с его каракулями, справочниками по архитектуре, отоплению, диететике и организации больниц. Вы входили к нему, он поднимал глаза и начинал с места в карьер, как будто вы давно уже были тут: «Значит, в Центральной массачусетской устроены...»

Да, больница была его любимым детищем.

Но Крошка не сдавался.

Однажды вечером я пришел в резиденцию, увидел в высоком строгом холле Рафинада, который сидел с газетным листом на коленях, разобранным 9,65-миллиметровым в руке и банкой ружейного масла у ног, спросил его, где Хозяин, посмотрел, как брызжет слюна и кривятся его губы в попытке вытолкнуть слова, и, заключив из его кивка, что Хозяин в библиотеке, двинулся туда и постучал в большую дверь. Открыв ее, я наткнулся на его взгляд, словно на дуло десятизарядной двустволки, и стал.

— Полюбуйся,— приказал он, приподнявшись на большой кожаной кушетке,— полюбуйся!

И он наставил дуло на Крошку, который стоял перед ним на каминном козрике и превращался в шкварку быстрее, чем если бы его поджаривал огонь камина.

— Полюбуйся,— сказал он,— эта вошь хотела меня обдурить, хотела подсунуть мне Гумми Ларсона, чтобы я с ним поговорил,— везла его из самого Дюбуасвилла, думала, я буду вежливым. Черта с два.— Он опять повернулся к Крошке.— Что, был я вежливым?

Крошка не мог издать ни звука.

— Говори, был или нет? — потребовал Хозяин.

— Нет,— послышался голос Крошки как будто со дна колодца.

— Правильно,— сказал Хозяин.— Я его на порог не пустил.— Он показал на закрытую дверь за моей спиной.— Сказал, что если захочу его видеть, то пришло за ним, и выгнал к чертовой матери. Но ты,— он ткнул указательным пальцем в сторону Крошки,— ты...

<sup>1</sup> Довод к человеку (*лат.*) — основанный не на объективных данных, а рассчитанный на чувства убеждаемого.

— Я думал...

— Ты думал надуть меня, чтобы я его купил. А я его не покупаю. Я его раздавлю. Хватит с меня, накопил сволочей. Раздави его — и никаких забот, а купи — и не знаешь, сколько раз еще его придется покупать. Хватит, накопил я их. И тебя я зря не раздавил. Но я думал, что покупаю навсегда. Что ты побоишься перепродаться.

— Ну, Хозяин, — сказал Крошка, — это несправедливо, Хозяин. Вы же знаете, как к вам относятся ваши ребята. И вообще. Не потому, что мы боимся, мы...

— А зря ты не боишься, — сказал Хозяин неожиданно тихо и нежно. Как мать ребенку в люльке.

И Крошка опять покрылся испариной.

— Мотай отсюда, — произнес Хозяин более твердо.

Я посмотрел на дверь, которая закрылась за проворно отступившей фигурой, и заметил:

— Да, здорово ты обхаживаешь своих избирателей.

— Черт, — сказал он и развалился на кушетке, оттолкнув в сторону несколько синек. Он попробовал расстегнуть ворот, повозился с пуговицей, вырвал ее в сердцах и спустил узел галстука. Потом покрутил своей тяжелой головой, словно воротник душил его. — Черт, — повторил он ворчливо, — неужели не понятно: я не желаю, чтобы он лез в это дело. — И снова оттолкнул синьки.

— Чего ты хочешь? — сказал я. — Тут пахнет шестью миллионами. Ты видал когда-нибудь, чтобы мухи улетали от медогонки, когда качают мед?

— Пусть лучше не суется к этому меду.

— Он вполне последователен. Видимо, Ларсон готов продать Мак Мерфи. За контракт. Он опытный строитель. Он...

Хозяин рывком сел и уставился на меня:

— И ты туда же?

— Мое дело маленькое, — сказал я и пожал плечами. — По мне хоть ты сам ее строй. Я просто говорю, что если стать на точку зрения Крошки, то он ведет себя вполне разумно.

— Ты что, не понимаешь? Черт подери, неужели и ты не можешь понять?

— А чего тут понимать, когда все понятно.

— Ты что, не понимаешь? — Он вскочил с кушетки, и тут по легкому пошатыванию я догадался, что он пьян. Он подступил ко мне, схватил меня за лацкан, дернул, заглядывая мне в лицо, — теперь вблизи я видел, что глаза у него налиты кровью. — Неужели и тебе не понятно? Я строю больницу, лучшую в стране, лучшую в мире, я не позволю таким, как Крошка, пакостить это дело, я назову ее больницей Вилли Старка, и она будет стоять, когда от нас с тобой ничего не останется и от всей этой сволочи ничего не останется, и каждый, пусть у него ни гроша за душой, сможет прийти туда...

— И проголосовать за тебя, — сказал я.

— Я сдохну, и ты сдохнешь, и мне все равно, за кого он проголосует, — он придет туда и...

— И благословит твое имя, — сказал я.

— Ах ты... — Он смял мой лацкан в большом кулаке и сильно потрянул меня. — Чего скалишься — перестань, перестань, или я...

— Знаешь что, — сказал я, — ты меня не путай со своей шпаной — когда хочу, тогда улыбаюсь.

— Джек... черт, Джек — ты же знаешь, я не то хотел сказать — но зачем ты так улыбаешься? Черт, неужели ты не понимаешь? А? — Не отпуская лацкана и глядя мне в глаза, он придвинул ко мне свое большое лицо. — А? Неужели не ясно — я не желаю, чтобы эти сволочи пакостили мое дело. Больницу Вилли Старка. Неужели не ясно? И директора я поставлю самого лучшего. Будь спокоен. Лучше не найдешь. Будь спокоен. Я знаю кого, да, да, мне его советовали в Нью-Йорке. И ты, Джек...



— Да? — сказал я.

— Ты мне его приведешь.

Я вытащил из его руки свой лацкан, разгладил и упал в кресло.

— Кого его? — спросил я.

— Доктора Стентона, — ответил он. — Доктора Адама Стентона.

Я чуть не подпрыгнул в кресле. Пепел моей сигареты упал на грудь рубашки.

— Давно у тебя эти симптомы? — спросил я. — А розовых слонов ты не видишь?

— Давай мне Стентона, — сказал он.

— Ты болен, — сказал я.

— Давай его, — повторил он непреклонно.

— Хозяин, — сказал я. — Адам — мой старый друг. Я знаю его с пеленок. Он тебя на дух не переносит.

— Я не прошу, чтобы он меня любил. Я прошу его заведовать моей больницей. Я никому не предлагаю меня любить. Даже тебе.

— Мы все вас любим, — передразнил я Крошку, — вы же знаете, как к вам относятся ваши ребята.

— Давай мне Стентона.

Я встал, потянулся, зевнул и направился к двери.

— Я пошел, — объявил я. — Завтра, когда твое сознание прояснится, я тебя выслушаю.

И захлопнул за собой дверь.

Назавтра, когда его сознание прояснилось, я услышал то же самое: «Подай мне Стентона».

И я пошел в обшарпанную келью, где рояль глумливо скалился среди грязи и наваленных на кресла книг и бумаг, где в чашке, не убранной цветной служанкой, засохла кофейная гуща, и друг детства встретил меня так, будто он не был Знаменитостью, а я — Неудачником (оба слова — с большой буквы), положил руку мне на плечо, произнес мое имя и рассеянно поглядел льдисто-голубыми глазами, которые были укором всему двусмысленному, всему криводушному и нечистому на свете и, как совесть, не знали колебаний. Но улыбка, острожно снимавшая тугой шов с его рта, согревала тебя робким теплом, какое с удивлением чувствуешь, выйдя на солнце в конце февраля. Этой улыбкой он извинялся за то, что он — это он, за то, как он смотрит на тебя, за то, что он видит. Улыбка не столько прощала тебя и остальное человечество, сколько просила прощения за то, что он смотрит в упор на все, включая тебя. Но улыбался он редко. И мне улыбнулся не потому, что я был тем, кто я есть, а потому, что я был его Другом Детства.

Другу Детства суждено быть единственным вашим другом, ибо вас он, в сущности, не видит. Он мысленно видит лицо, давно не существующее, он произносит имя — Спайк, Бад, Снип, Ред, Расти, Джек, Дейв, — которое принадлежало тому ныне не существующему лицу, а сейчас из-за какой-то маразматической путаницы во вселенной досталось незваному и гягостному незнакомцу. Но, поддакивая вселенской околесице, он вежливо зовет этого скучного незнакомца именем, по праву принадлежащим мальчишескому лицу и тем временам, когда тонкий мальчишеский голос разносился над водой, шептал ночью у костра или днем на людной улице: «А ты знаешь это: «Стонет лес на краю Венлока, гнется чаща, Рикина руно...»<sup>1</sup>. Друг Детства потому остается вашим другом, что вас он уже не видит.

А может, и никогда не видел. Вы были для него лишь частью обстановки чудесного, впервые открывающегося мира. А дружба — неожиданной находкой, которую он должен подарить кому-нибудь в знак благодарности, в уплату за этот новый, захватывающий мир, распускающийся на глазах, как луноцвет. Кому

<sup>1</sup> Из стихотворения английского поэта А. Хаусмена (1852—1936).

подарить — неважно, важно только — подарить; и если рядом оказались вы, вас наделяют всеми атрибутами друга, а ваша личность отныне не имеет значения. Друг Детства навсегда становится единственным вашим другом, ибо ему нет дела ни до своей выгоды, ни до ваших достоинств. Ему плевать на Преуспеяние и на Преклонение перед Более Достойным — два стандартных критерия дружбы взрослых, — и он протягивает руку скучному незнакомцу, улыбается (не видя вашего настоящего лица), произносит имя (не относя его к вашему настоящему лицу) и говорит:

— Здорово, Джек, заходи, как я рад тебя видеть!

И я сидел в одном из его колченогих кресел, с которых он снял книги,пил его виски и ждал удобной минуты, чтобы вернуть:

— Послушай-ка, я скажу тебе одну вещь, но не начинай орать, пока я не кончу.

Он не заорал, пока я не кончил. Правда, мне не понадобилось много времени. Я сказал:

— Губернатор Старк хочет, чтобы ты был директором новой больницы и медицинского центра.

Строго говоря, он и тогда не заорал. Он не издал ни звука. Целую минуту он смотрел на меня сосредоточенным клиническим взглядом, словно симптомы заслуживали особого внимания; потом помотал головой.

— Подумай как следует, — сказал я, — может, это не так плохо, как кажется, может, тут есть свои выгоды...

Но я не закончил фразы — он опять помотал головой и улыбнулся мне улыбкой, которая не прощала, а смиренно просила простить его за то, что он не такой, как я, не такой, как другие, что он не от мира сего.

Если бы не эта улыбка. Если бы он улыбнулся, но улыбнулся нахальной иронической улыбкой «пошел-ты-знаешь-куда». Или даже улыбкой, прощавшей меня. Если бы его улыбка не просила — смиренно, но с достоинством — моего прощения, все могло бы повернуться иначе. Но улыбка его шла от полноты чего-то, чем он обладал, от цельности идеи, которой он жил, — не знаю уж, какая там была идея и какого черта он так жил, — и все повернулось туда, куда мы в конце концов пришли. С этой своей улыбкой он был похож на богача, который остановился, чтобы кинуть нищему доллар, и открыл бумажник с толстой пачкой денег. Если бы нищий не увидел пачки, он не стал бы провожать богача до темного закоулка. И не так нужна ему эта пачка, как ненавистен ее владелец, кинувший доллар.

Когда он улыбнулся и сказал: «Меня не интересует выгода», я впервые в жизни не почувствовал в его улыбке робкого тепла, как в зимнем солнце: то, что я почувствовал, было больше похоже на самую зиму, на сосульку, воткнувшуюся в сердце. И я подумал: «Ага, вон как мы улыбаемся — ладно, улыбайся...»

И тогда, хотя эта мысль уже исчезла — если вообще можно сказать, что она исчезает, ибо мысль выплывает на поверхность сознания и в нем же тонет, — тогда я сказал:

— Ты ведь не знаешь, какие выгоды. Например, Хозяин хочет, чтобы ты сам назначил себе жалование.

— Хозяин, — повторил он, причем его верхняя губа изогнулась больше обычного и открыла зубы, а звук «з» вышел свистящим, — напрасно рассчитывает меня купить. У меня есть, — он обвел глазами захлавленную, нечистую комнату, — все, что мне нужно.

— Хозяин не такой дурак. Ты правда думаешь, что он хочет тебя купить?

— Он все равно не смог бы, — сказал Адам.

— А чего он, по-твоему, хочет?

— Запугать меня. Это будет следующий ход.

— Нет, — помотал я головой, — не то. Он не может тебя запугать.

— На этом он стоит. На подкупе и угрозах.

— Подумай еще, — сказал я.

Он встал, нервно прошелся по вытертому зеленому ковру и обернулся ко мне.

— Лестью он тоже ничего не добьется, — сказал он со злобой.

— Не только он, — мягко ответил я, — тебя вообще нельзя взять лестью. И знаешь почему?

— Почему?

— Видишь ли, был такой поэт Данте, он говорил, что человек, знающий себе цену, истинно гордый человек не мог бы впасть в грех зависти, потому что не нашел бы людей, которым стоит завидовать. С таким же успехом Данте мог сказать, что человек, знающий себе цену, не доступен лести, потому что никто не откроет ему таких его достоинств, о которых он не знал бы сам. Нет, на лесть ты не клонешься.

— Во всяком случае на его лесть, — угрюмо сказал Адам.

— Ни на чью. И он это знает.

— На чем же он хочет сыграть? Уж не думает ли он, что я...

— Ну, догадайся.

Он стоял на вытертом зеленом ковре, смотрел на меня исподлобья, и на его чистых голубых глазах как будто лежала прозрачная тень — но не сомнения и не беспокойства. Это была тень вопроса, озадаченности.

Но и она кое-что значила. Не много, но кое-что. Это — не справа в челюсть, с ног не сбивает. От этого не перехватывает дыхания. Это — тычок в нос, скользящий удар грубой перчатки. Ничего смертельного — минутное замешательство. Но уже успех. Развивай его.

И я повторил:

— Ну, догадайся.

Он молча смотрел на меня, и тень в его глазах стала гуще, как от облачка на синей воде.

— Так и быть, объясню, — сказал я. — Он знает, что ты тут лучший врач и не наживаешься на этом. Значит, деньги тебя не интересуют — иначе ты брал бы, сколько другие берут, или хотя бы не разбазаривал того, что получаешь. Тебе не нужны развлечения — ты мог бы иметь их, потому что ты знаменит, сравнительно молод и не калека. Тебе не нужна роскошь — иначе ты не работал бы, как вол, и не жил в этой трущобе. Но он знает, что тебе нужно.

— От него мне ничего не нужно, — отрезал Адам.

— Ты уверен, Адам? — спросил я. — Ты уверен?

— Иди ты... — побагровев, начал он.

— Он знает, что тебе нужно, — перебил я. — Могу объяснить в двух словах.

— Что?

— Делать добро, — сказал я.

Он опешил. Рот у него открылся, как у рыбы, вытащенной из воды.

— Ну да, — сказал я. — Он знает твой секрет.

— Не понимаю, при чем тут... — начал он опять со злобой.

Но я перебил:

— Не сердись, тут нет ничего зазорного. Невинное чудачество. Ты не можешь спокойно видеть больного, чтобы тут же не наложить на него руки. Не можешь, старик, спокойно видеть переломанной конечности, чтобы тут же ее не вправить. Человека с болячкой внутри, чтобы тут же не взять нож в свои сильные белые ученые-переученные пальцы и не вырезать ее. Своего рода чудачество. Или сверхболезнь, которой ты сам болен.

— На свете полно больных, — хмуро ответил он, — но я не вижу...

— Боль есть зло, — весело сказал я.

— Боль — о д н о из зол, — поправил он, — но сама по себе... не порождает зла. — И он шагнул ко мне, глядя на меня, как на врага.

— Когда у меня зуб болит, я не вдаюсь в такие тонкости, — возразил я. — Но важно не это, важно, что ты так устроен. И Хозяин, — я деликатно подчерк-

нул последнее слово, — это знает. Он знает, чего ты хочешь. Ты хочешь делать добро, старик, и он даст тебе возможность пустить это дело на конвейер.

— Добро, — сказал он, по-волчьи вздернув тонкую длинную губу, — добро! Самое подходящее слово для его художеств.

— Правда? — уронил я.

— Всякому плоду нужен свой климат, а ты знаешь, какой климат создает этот человек. Должен знать.

Я пожал плечами:

— Вещь хороша сама по себе, если она хороша. Человек втрескался и написал сонет. Станет ли хуже сонет — если он хороший, в чем я сомневаюсь, — оттого, что дама, в которую он втрескался, замужем и страсть его, как говорится, незаконна? Перестает ли роза быть розой оттого...

— Это к делу не относится, — сказал он.

— Ах, не относится, — сказал я и встал с кресла. — Сто лет назад, когда мы были мальчишками и спорили целыми ночами и я припирал тебя к стенке, ты говорил то же самое. Кто сильнее — лучший борец или лучший боксер? Кто сильнее — лев или тигр? Кто лучше — Китс или Шелли? Добро, истина, красота. Есть ли Бог? Мы спорили целыми ночами, и я всегда побеждал, но ты, ты, негодяй, — и я хлопнул его по плечу, — ты всегда говорил, что я отклоняюсь. А Джеки никогда не отклоняется. И не ведет беспредметных разговоров. — Я оглянулся, подхватил свое пальто и шляпу. — Я уйду, а ты подумай хорошенько над этой мыслью.

— Ну и мысль, — сказал он, однако он уже улыбался — он снова был моим товарищем, моим Другом Детства.

Но я не обратил на это внимания.

— Ты не можешь сказать, что я не раскрыл своих карт, своих и Хозяина, но сейчас я убегаю — надо успеть на ночной в Мемфис, где мне предстоит интервью с медиумом.

— С медиумом? — удивился он.

— С профессиональным медиумом по имени мисс Литлпо, она передаст мне с того света весть, что директором новой больницы будет интересный брюнет и известный сукин сын по фамилии Стентон.

С этими словами я захлопнул за собой дверь и побежал по лестнице, спотыкаясь на каждом шагу, потому что в таких домах никто не меняет перегоревших лампочек, на площадке стоит детская коляска, коврик протерт до дыр и пахнет сыростью, собаками, пеленками, капустой, старухами. пригорелым салом и извечной судьбой человека.

Я вышел на темную улицу и оглянулся на дом. Штора на одном окне была поднята, и я увидел в нише, занятой под «кухню-столовую», грузного лысого мужчину в рубашке, который навис над своей тарелкой, как мешок, поставленный на попа; рядом стояла девочка и дергала его за рукав; женщина в застиранном платье, с прямыми небранными волосами сняла с плиты дымящуюся кастрюлю супа, потому что папа пришел, как всегда поздно, и у него болит косточка на ноге, и у квартиру не плачено, и у Джонни прохудились ботинки, а Сюзи принесла плохие отметки, и Сюзи теребила его, и глядела придурковатыми глазами, и не могла закрыть рта из-за полипов, и под потолком ослепительно горела голая лампочка, и на криво повешенной картинке Максфилда Парриша бушевали колера медного купороса. И где-то в доме лаяла собака, и еще где-то заходил младенец. И все это было — Жизнь, и Адам Стентон жил в ее гуще — или старался жить — он лепился к ней — дышал капустным чадом, спотыкался о детскую коляску, кланялся чете жующих резинку молодоженов, слышал за тонкой перегородкой звуки, издаваемые старухой, которая не доживет (рак, сказал он мне) до лета, расхаживал по вытертому ковру среди книг и колченогой мебели. Он жался к Жизни, чтобы согреться, потому что своей жизни у него не было — только скальпель и эта келья. А может, он вовсе не грелся возле нее. Может, он наклонялся к изголовью Жизни, щупал ей пульс, наблюдал ее глазами диагно-

ста — готовый сунуть таблетку, влить микстуру, взяться за скальпель. Может, он тянулся к ней, чтобы найти оправдание своей деятельности. Чтобы и его дела стали Жизнью. А не только испытанием сноровки, которая дается человеку потом, что из всех животных у него одного развит большой палец.

Впрочем, это ерунда, ибо, чем бы ты ни жил, все равно это — Жизнь. И надо помнить об этом, когда встречаешь бывшего одноклассника и он говорит: «Так вот, в нашей последней экспедиции на Конго...» — или другого, который говорит: «Что ты, у меня жена-красавица и трое ребятишек, такие...» Вы должны помнить об этом, когда сидите в вестибюле гостиницы или за стойкой, беседуя с барменом, или стоите на темной улице ночью в начале марта и заглядываете в чужое окошко. Помните, что у Сюзи полипы, что суп, наверно, подгорел, и ступайте своей дорогой — ибо вам надо успеть на ночной поезд в Мемфис, а грехи ваши вам простятся. Ибо чем бы ты ни был жив, это — Жизнь.

Только я двинулся дальше, как в доме загремела музыка; она заглушала крик младенца, крошила известь в швах старой кладки. Адам играл на рояле.

Я успел на поезд, пробыл в Мемфисе три дня, провел сеанс с мисс Литлпо и вернулся. С фотокопиями и письменными показаниями.

Вернувшись, я нашел в почтовом ящике телефонный вызов. Это был номер Анны, потом в трубке раздался голос Анны, и, как всегда, в груди у меня что-то подскочило и плюхнулось, будто лягушка нырнула в пруд с кувшинками. И побежали круги.

Анна сказала, что ей надо меня видеть. Я ответил, что нет ничего проще, она может видеть меня до конца своих дней. Она пропустила мимо ушей мою незамысловатую шутку (которая большего, разумеется, и не заслуживала) и сказала, что хочет встретиться сейчас же. «В «Бухте», — предложил я, и она согласилась. «Бухтой» назывался ресторан Слейда.

Я пришел раньше Анны и выпил со Слейдом. Нежно играла музыка, матово светили лампы, блеснул никель, и, глядя на круглый, цвета слоновой кости череп Слейда, на его дорогой костюм, на белокурую фаворитку за кассой, я с грустью вспоминал то далекое утро во времена сухого закона, когда в засиженной мухами пивной Слейд, еще при волосах и без гроша в кармане, отказался пособничать Крошке, пытавшемуся влить пиво в дядю Вилли из деревни, который хотел лимонаду и оказался впоследствии Вилли Старком. Это решило судьбу Слейда. И теперь я пил с ним и, глядя на него, дивился: от какой же малости зависит спасение и гибель человека.

Я посмотрел в зеркало за стойкой и увидел, что в дверь входит Анна. Вернее, что ее отражение входит в отражение двери. Я не сразу обернулся, чтобы взглянуть в лицо действительности. Вместо этого я смотрел на ее отражение в стекле, словно на образ прошлого, вмерзший в память, — вот так, бывает, зимой ты увидишь в чистом льду застывшего ручья багровый с золотом лист и вспомнишь дни, когда все эти багровые и золотые листья висели на ветвях и солнечный свет лился на них таким потоком, что казалось, конца ему не будет. Но тут было не прошлое — сама Анна Стентон стояла в прохладном пространстве зеркала над строем блестящих бутылок и сифонов, на краю синего ковра — девушка, ну, не совсем уже девушка — молодая женщина ростом в метр шестьдесят три, с тонкими крепкими лодыжками, узковатыми бедрами, но такими круглыми, словно их вытачивали на токарном станке, с талией, которую, казалось, можно обхватить пальцами, — все это в сером фланелевом костюме, скроенном якобы по-мужски строго, но на самом деле кричащем — иначе не скажешь — о некоторых отнюдь не мужских приспособлениях, спрятанных внутри.

Она стояла у входа и, правда, еще не постукивала от нетерпения носком по синему ковру, но уже оглядывала зал, медленно поворачивая из стороны в сторону гладкое свежее лицо (под голубой шляпой). В зеркале блеснули голубым ее глаза.

Потом она заметила мою спину возле бара и пошла ко мне. Я не оглянулся и не встретил ее взгляда в зеркале. Подойдя ко мне сзади, она позвала меня:

— Джек.

Я не обернулся.

— Слейд,— сказал я,— эта незнакомая женщина ходит за мной по пятам, а я думал, у вас приличное заведение. Примите же наконец меры.

Слейд повернулся к незнакомой женщине, чье лицо сразу побелело, а глаза вспыхнули, как пара дуговых ламп.

— Леди,— сказал Слейд,— послушайте-ка, леди...

Тут леди поборола внезапную немоту и густо покраснела.

— Джек Бёрден! — сказала она. — Если ты не...

— Она знает ваше имя,— сказал Слейд.

Я обернулся, чтобы взглянуть в лицо действительности — не заледенелому следу в памяти, но чему-то раскаленному, кошащему, смертоносному, электрическому, пережигающему пробки.

— Вот так штука,— обратился я к Слейду,— ведь это моя невеста! Познакомьтесь, Слейд,— Анна Стентон. Мы хотим пожениться.

— Вот что,— произнес Слейд с каменным лицом.— Очень...

— Мы поженимся в две тысячи пятидесятом году,— сказал я.— Это будет веселая весенняя свадьба...

— Не свадьба, а убийство,— сказала Анна,— и прямо сейчас.— Щеки ее приняли нормальный цвет, и она, улыбнувшись, протянула руку Слейду.

— Очень рад с вами познакомиться,— сказал Слейд, и, хотя лицо его было неподвижно, как у деревянного индейца на табачном киоске, глаза не упустили ни одной подробности под фланелевым жакетом.— Выпьете? — предложил он.

— Спасибо,— ответила Анна и попросила мартини.

Когда мы выпили, она сказала: «Надо идти, Джек» — и вывела меня в ночь, полную неоновых огней, бензиновых паров, автомобильных гудков и запаха жареного кофе.

— У тебя замечательное чувство юмора,— сказала она.

— Куда мы идем? — попробовал уклониться я.

— Хлыщ.

— Куда мы идем?

— Ты когда-нибудь повзрослеешь?

— Куда мы идем?

Мы шли бесцельно по переулку мимо пивных с дверями-вертушками, мимо устричных баров, газетных киосков и старух цветочниц. Я купил ей гардении и сказал:

— Наверно, я хлыщ, но это тоже способ убивать время.

Мы прошли еще полквартала в толпе, втекавшей и вытекавшей через стеклянные вертушки баров.

— Куда мы идем?

— Я бы никуда с тобой не пошла,— сказала Анна,— но надо поговорить.

Мы проходили мимо очередной цветочницы, поэтому я взял еще букет гардений, выложил сорок центов и сунул цветы Анне.

— Если ты не будешь вести себя вежливо,— сказал я,— я удуш тебя этими проклятыми растениями.

— Хорошо,— сказала она и засмеялась,— буду вести себя вежливо.— Она взяла меня под руку, приноровила свой шаг к моему, держа цветы в свободной руке, а сумку под мышкой.

Еще полквартала мы шли в ногу, не разговаривая. Я смотрел вниз, наблюдал, как мелькают ее ноги — раз-два, раз-два. Ее черные замшевые туфли, очень простые, очень строгие, отстукивали по тротуару властно, но они были маленькие, и тонкие цыколотки мелькали завораживающе — раз-два, раз-два.

Потом я спросил:

— Куда мы идем?

— Никуда,— сказала она,— гуляем. Не могу сидеть на месте, беспокойство какое-то.

Мы шли к реке.

— Я хочу с тобой поговорить,— сказала она.

— Так говори. Пой. Декламируй.

— Не сейчас,— серьезно сказала она, посмотрев на меня, и при свете уличного фонаря я увидел, что лицо у нее озабоченное. Кожа на лице была гладкая, как будто натянутая на безупречную лепку костяка. В этом лице не было ничего лишнего и всегда угадывалось напряжение, долгой тренировкой загнанное внутрь, спрятанное под невозмутимой гладкой оболочкой, как пламя под стеклом. Но я видел, что сегодня она напряжена сильнее обычного. Казалось, если вывернуть фитиль еще немного, стекло лопнет.

Я молчал. Мы сделали еще несколько шагов, и она сказала:

— Потом. Пройдемся немного.

Мы шли. Позади остались бары, бильярдные и рестораны, где за вращающимися дверьми гоготала и хныкала музыка. Мы шагали по грязной темной улочке, а в тени стен неслись двое мальчишек, перебрасываясь краткими, глухими, одиноко звучащими окликаками, как болотные птицы. Все ставни были заперты, кое-где сквозь них проникало тонкое лезвие света или слабый звук голосов. Ближе к лету, когда потеплеет, здесь на крылечках по вечерам будут сидеть и переговариваться люди, а изредка — если вы мужчина и проходите мимо — женщина позовет вас скучным голосом: «Эй, дорогой, хочешь?» Потому что здесь начинается район притонов, и некоторые из этих домов — притоны. Но в начале весны, ночью, всякая жизнь — и хорошая жизнь и плохая — прячется в скорлупки из мокрого щербатого кирпича и трухлявого дерева. А через месяц, в начале апреля, когда за городом водяные гиацинты покروют каждый вершок черной воды в старице, заводи, ручье и лагуне диким мясом всех оттенков от церковно-лилового до похабно-багрового, когда свежая зелень на старых кипарисах, туманная и томительная, как девичий сон, станет хвоей, а не черт знает чем, когда глянцевого, скользкие красно-бурые мокасиновые змеи толщиной в руку потянутся из болота, поползут через шоссе и передняя шина — кр-раш,— переехав одну из них, шваркнет ею по изнанке крыла, когда мошкара закипит над болотами, днем и ночью будоража воздух шумом электрического вентилятора, когда совы в болотах заукают и заплачут голосами любви, смерти и вечного проклятья, или одна из них вплывет из крошечной тьмы в луч вашей фары и взорвется на радиаторе, словно вспоротая перьяная подушка, когда поля утонут в буйной ворсистой или клейкой сочной траве, которую скотина жрет и жрет и не нагуливает мяса, потому что трава растет из чернозема, и куда бы ни шли ее корни, в какую бы ни забирались глубь, они не находят ничего, кроме жирной черной комковатой земли, ни камушка, чтобы отдал траве кальций,— так вот, через месяц, в начале апреля, когда все это будет твориться за городом,— треснут скорлупки старых домов на улице, где очутились мы с Анной Стентон, и выплеснется на ступеньки и тротуар закупоренная в скорлупках жизнь.

Но теперь улица была пуста и темна, в конце квартала стоял покосившийся фонарь, маслянисто блестел в его лучах булыжник, и все это — вместе с запертыми ставнями — напоминало декорацию. Сейчас ленивой походкой выйдет героиня, прислонится к фонарному столбу и закурит сигарету. Однако героиня не появилась, и мы с Анной продолжали идти среди декораций, которые только тогда переставали казаться картонными, когда ты трогал бархатистый влажный кирпич или шершавую штукатурку. Мы молчали. Может быть — потому, что любое слово, произнесенное в таком похожем на декорацию месте — и таком безумно коло-ри-итном,— прозвучит так, будто его написал патлатый, вихлявый молодой человек, ютящийся в мансарде одного из этих картонных домов (с окнами на внутренний дворик — о господи, непременно на внутренний дворик) и сочинивший пьесу для маленького театра, в начале которой героиня идет ленивой походкой по темной улочке между картонных домов и прислоняется к покосившемуся фонарю,

чтобы закурить сигарету. Но Анна Стентон не была героиней — она не прислонилась к столбу и не произнесла ни слова.

Наконец мы вышли к реке, где стояли склады, и доки выдавались в воду, точно пальцы. Их железные крыши тускло поблескивали в лучах фонарей. Над громадами доков плавал и клубился густой туман; в редких его разрывах то отливала бархатом, то мерцала, как железо, то лоснилась, как черный прили-занный мех котика, неподвижная поверхность воды. В темном небе за доками смутно виднелись куцые трубы грузовых пароходов. Где-то ниже по течению вскрикивал и жаловался гудок. Мы шли мимо доков и смотрели на черную реку, за-стланную ватным, клочковатым одеялом тумана. Туман висел над самой водой, и, глядя на него сверху, легко было вообразить, что ты стоишь ночью на горе, и под тобой — земля, затянутая облаками. На том берегу горело несколько огоньков.

Мы вышли к пристани, где летом в поту и суতোлке, с детьми на руках грузятся на ночную прогулку при луне толпы орущих, пьющих виски и лимонад экскурсантов. Но сейчас тут не было большого колесного парохода, белого, как свадебный торт, с золотыми и красными украшениями, вычурного и неправдоподобного; не слышалось ни свистков, ни каллиопы, играющей «Дикси». Тут было тихо, как в могиле, и пусто, как в Гоби безлунной ночью. Мы дошли до конца причала и прислонились к перилам.

— Ну так что? — сказал я.

Она не ответила.

— Ну так что? — повторил я. — Мы, кажется, хотели поговорить?

— Насчет Адама, — сказала она.

— Что насчет Адама? — спокойно спросил я.

— Сам знаешь... прекрасно знаешь — ты был у него и...

— Слушай, — сказал я, чувствуя, что голос мой стал резким, а в голову бросилась кровь, — да, я был у него и предложил ему работу. Он взрослый человек, и если работа ему не нравится, пусть не берет. Чем же я виноват...

— Я тебя не виню, — сказала она.

— Нечего на меня наскакивать, — сказал я, — если Адам не может ни на что решиться и ему нужна нянька, я не виноват.

— Я тебя не виню, Джек. Какой ты стал раздражительный и обидчивый. — Она накрыла ладонью мою руку на перилах, похлопала, и я почувствовал, что давление во мне упало на несколько атмосфер.

— Если он не может о себе позаботиться, ты... — начал я.

Но она резко оборвала меня:

— Не может. В том-то и беда.

— Да пойми, я просто предложил ему работу.

Рука, которая должна была успокоить меня и сбавить давление, внезапно сжалась и запустила пальцы дьявольски глубоко, чуть не до кости. Я вздрогнул, но даже вздрогнув, расслышал, как она произнесла тихо и напряженно, почти шепотом:

— Ты можешь его убедить.

— У него своя голова... — начал я.

Но она опять меня перебила:

— Ты должен его уговорить — должен.

— Что за чертовщина! — сказал я.

— Должен, — повторила она прежним голосом, и под ее пальцами на моей руке, наверно, выступила кровь.

— Минуту назад ты набросилась на меня за то, что я предложил ему работу, — сказал я, — а теперь, выходит, я же должен его уговаривать.

— Надо, чтобы он согласился, — сказала она, отпустив мою руку.

— Ничего не понимаю, — пробормотал я, обращаясь к черному межзвездному пространству, и посмотрел на нее. Было темно — я различал только ее неестественно белое, меловое лицо и темный блеск глаз, но видел, что ей не до



шуток. — Значит, ты хочешь, чтобы он согласился? — медленно проговорил я. — Ты, дочь губернатора Стентона и сестра Адама Стентона, хочешь, чтобы он пошел на эту работу?

— Ему это необходимо, — сказала она, и я увидел, как ее маленькие руки в перчатках сжали перила, — и пожалел перила. Она смотрела на клубящийся ковер тумана, словно с горы на ночной мир, скрытый облаками.

— Почему? — спросил я.

— Я пошла к нему, — сказала она, по-прежнему глядя на реку, — чтобы поговорить об этом. Когда я к нему шла, я еще не была уверена, что ему это нужно. Но когда я его увидела, я поняла.

Что-то в ее словах меня беспокоило, как шум за сценой, как соринка в углу глаза, как зуд, когда у тебя заняты руки и ты не можешь почесаться. Я прислушивался к ее словам, но дело было не в них. В чем-то другом. Я не мог понять, в чем. Тогда я на время отодвинул этот вопрос и стал слушать дальше.

— Сразу поняла, как только его увидела, — продолжала она. — Джек, он был такой взвинченный, это ненормально — я ведь только спросила его. Он отгородился от всего, от всех. Даже от меня. Ну, не совсем... но у нас все не так, как раньше.

— Он страшно занят, — вяло возразил я.

— Занят, — откликнулась она, — занят... да, он занят. Он со студенческих лет работает, как негр. Что-то подхлестывает его... подхлестывает. Не деньги, не репутация, не... Я не знаю что... — Голос ее затих.

— Все очень просто, — сказал я. — Он хочет творить добро.

— Добро, — повторила она. — Раньше я тоже так думала... Да, он делает много добра... Но...

— Но что?

— Ну, я не знаю... Нехорошо так говорить... Нехорошо... Но иногда мне кажется, что работа... желание приносить пользу... все это — для того, чтобы отгородиться. Даже от меня... Даже от меня...

Потом она сказала:

— Ох, Джек, мы так поссорились. Это было ужасно. Я пришла домой и проплакала всю ночь. Ты знаешь, как мы всегда дружили. И такая ссора. Ты знаешь, как мы относились друг к другу? Знаешь? — Она схватила меня за руку, словно принуждая меня признать, подтвердить, как они дружили.

— Да, — сказал я, — знаю. — Я посмотрел на нее и вдруг испугался, что она опять заплачет, но она не заплакала, — я зря испугался, потому что такие плачут только ночью, в подушку. Если вообще плачут.

— Я сказала ему... сказала, что если он хочет приносить пользу — действительно приносить пользу, — то это самое подходящее место. И самый подходящий случай. Взять в свои руки медицинский центр. И даже расширить его. Словом, понимаешь. А он сразу стал как чужой... сказал, что близко не подойдет к этому месту. Я упрекала его в эгоизме, в эгоизме и гордости — что он свою гордость ставит выше всего. Выше общей пользы, выше своего долга. А он посмотрел на меня с такой яростью... потом схватил меня за руку и сказал, что я ничего не понимаю, что у человека есть перед собой обязательства. Я сказала, что это гордыня, просто гордыня, а он сказал: «Я горжусь тем, что не пачкался в грязи, и, если тебе это не нравится, можешь...» — Она замолчала и вздохнула, по-видимому, набираясь духу, чтобы закончить фразу. — В общем, он хотел сказать, чтобы я убиралась. Но не сказал. Слава богу... — Она снова помолчала. — Слава богу, не сказал. Хоть этого не сказал.

— Да он и не хотел сказать.

— Не знаю... Не знаю. Ты бы видел, какие злые у него были глаза и какое белое, искаженное лицо. Джек, — она дернула меня за руку, словно я увиливал от ответа, — почему он не хочет? Почему он так ведет себя? Неужели он не понимает, что это его долг? Что лучше него никто с этим не справится? Почему, Джек? Почему?

— Если говорить грубо, — ответил я, — потому, что он Адам Стентон, сын губернатора Стентона, внук судьи Пейтона Стентона и правнук генерала Моргана Стентона и всю свою жизнь прожил с мыслью, что был такой век, когда всем распоряжались возвышенные, симпатичные люди в чулках и башмаках с серебряными пряжками, в мундирах континентальной армии или во фраках, а может, даже в енотовых и оленьих шапках — тоже ничего страшного, Адам Стентон не какой-нибудь сноб, — и они собирались за круглым столом и пеклись о народном благе. Потому что он романтик, он создал в своей голове картину мира, и когда мир непохож на эту картину, ему хочется послать мир к чертям. Даже если придется выплеснуть с водой ребенка. А этого, — добавил я, — не миновать.

Она слушала меня внимательно. Потом отвернулась, посмотрела на затянутую туманом реку и прошептала:

— Надо, чтобы он согласился.

— Ну, — сказал я, — если ты хочешь, чтобы он согласился, ты должна изменить картину мира в его голове. Насколько я знаю Адама Стентона.

А я знал Адама Стентона и в эту минуту мысленно видел его худое, жесткое лицо с сильным ртом, похожим на аккуратно зашитую рану, и глубоко посаженные глаза, сверкающие, как голубой лед.

Она не ответила.

— Другого способа нет, — сказал я, — и советую тебе примириться с этой мыслью.

— Надо, чтобы он согласился, — прошептала она, глядя на реку.

— Ты очень этого хочешь?

Она повернулась ко мне, и я внимательно посмотрел на ее лицо. Потом она сказала:

— Больше всего на свете.

— Ты серьезно говоришь? — сказал я.

— Серьезно. Он должен. Для своего же спасения. — Она опять схватила меня за руку. — Это нужно ему. Больше, чем кому бы то ни было. Ему.

— Ты уверена?

— Да, да, — сказала она с жаром.

— Значит, ты правда хочешь, чтобы он согласился? Больше всего на свете?

— Да, — ответила она.

Я вглядывался в ее лицо. Это было прекрасное лицо, а если не прекрасное, то лучше, чем прекрасное: гладкое, вылепленное экономно и безупречно, матово-белое в сумраке, с темными мерцающими глазами. Я вглядывался в ее лицо, забыв обо всем, отодвинув от себя все вопросы — и они послушно уплыли куда-то, словно их унесло в туман под нами масляное беззвучное течение.

— Да, — повторила она шепотом.

Но я продолжал вглядываться в ее лицо, теперь я видел его по-настоящему, впервые за все эти годы, ибо верно, вблизи можно увидеть предмет, только отшелушив его от времени и вопросов.

— Да, — прошептала она и мягко опустила руку на мой рукав.

Это прикосновение заставило меня очнуться.

— Хорошо, — сказал я, встряхнувшись, — но ты не знаешь, о чем просишь.

— Это неважно. Ты можешь его убедить?

— Могу.

— Почему же ты этого не сделал? Чего... чего ты ждал?

— Вряд ли... — медленно начал я, — вряд ли я бы взялся за это... взялся таким образом... если бы ты, ты сама меня не попросила.

— Как ты это сделаешь? — спросила она, сжав мою руку.

— Просто, — сказал я. — Я могу исправить картину мира, которую он себе нарисовал.

— Как?

— Я могу преподавать ему урок истории.

— Урок истории?

— Да, я же историк, разве ты забыла? А нам, историкам, полагается знать, что человек — очень сложная штука и что он не бывает ни плохим, ни хорошим, но и плохим и хорошим одновременно, и плохое выходит из хорошего, а хорошее — из плохого, и сам черт не разберет, где концы, а где начала. Но Адам — он ученый, и у него все разложено по полочкам: молекула кислорода всегда ведет себя одинаково, когда встретит две молекулы водорода, вещь всегда остается сама собой, — а поэтому, когда романтик Адам создает в своей голове картину мира, она получается точно такой же, как картина, с которой работает Адам-ученый. Все аккуратно. Все по полочкам. Молекула хорошего всегда ведет себя одинаково. Молекула плохого всегда ведет себя одинаково. Тут...

— Прекрати, — приказала она. — Скажи мне. Ты не хочешь отвечать. Ты нарочно морочишь мне голову. Говори.

— Ладно, — сказал я. — Помнишь, я спросил тебя, был ли судья Ирвин разорен? Так вот, он был разорен. Жена его тоже оказалась бедной. Он только думал, что она богата. И он взял взятку.

— Судья Ирвин? Взятку?

— Да, — сказал я. — И я могу это доказать.

— Он... Он был другом отца, он... — Она замолчала, выпрямилась, отвернулась от меня, посмотрела на реку и твердым голосом, словно обращаясь не ко мне, а ко всему свету, сказала: — Ну, это ничего не доказывает. Судья Ирвин. Я не ответил. Я тоже смотрел в темноту, в клубящийся туман.

Но хотя я не смотрел на нее, я почувствовал, что она опять ко мне повернулась.

— Ну, скажи что-нибудь, — попросила она, и я уловил в ее голосе тревогу.

Но я ничего не сказал. Я стоял и ждал; ждал. В тишине было слышно, как плещет о сваи скрытая туманом вода.

Потом она сказала:

— Джек... А отец?.. Отец... он...

Я не ответил.

— Трус! Боишься сказать?

— Почему? — отозвался я.

— И он тоже? Взятку? И он? — Она с силой дергала меня за руку.

— Не совсем, — сказал я.

— Не совсем, не совсем, — передразнила она и расхохоталась, не выпуская моей руки. Вдруг она отпустила меня, гадливо оттолкнула мою руку и отодвинулась. — Не верю, — объявила она.

— Это правда, — сказал я. — Он знал про Ирвина и покрывал его. Могу доказать. У меня есть документы. Очень жаль, но это правда.

— А-а, жаль! Тебе жаль. Ты раскопал... всю эту грязь — для него... для этого Старка... для него — и теперь тебе жаль. — Она опять расхохоталась и вдруг бросилась бежать по причалу, спотыкаясь и не переставая смеяться.

Я побежал за ней.

Я почти нагнал ее у конца пристани, но тут из тени складов появился полицейский и крикнул:

— Эй, друг!

В ту же секунду Анна споткнулась, и я схватил ее за руку. Она плохо держалась на ногах.

Полицейский подошел.

— В чем дело? — спросил он. — Вы зачем гоняетесь за дамой?

— У нее истерика, — быстро заговорил я, — я хочу ей помочь, она немного выпила, самую малость, и у нее истерика, у нее большое потрясение, горе...

Полисмен, грузный, приземистый, волосатый, неуклюже шагнул к нам, наклонился к ее рту и шумно втянул носом воздух.

— ...у нее потрясение, она расстроена, поэтому она немного выпила, и у нее истерика. Я хочу отвезти ее домой.

Его мясистое, в черной щетине лицо повернулось ко мне.

— Я вас отвезу домой,— протянул он,— в фургоне. Если будете нарушать.

Это была трепотня. Я понимал, что он просто треплется от нечего делать, от скуки,— время позднее и ему охота себя послушать. Я понимал это, и мне надо было сказать с почтением, что я больше не буду, или засмеяться, может, даже подмигнуть — мол, конечно, капитан, я отвезу ее домой. Но я не сказал ни того, ни другого. Я был взбудоражен, а она качалась у меня в руках, шумно дыша и всхлипывая, и эта одутловатая сизая рожа торчала у меня перед глазами. И я сказал:

— А ну, попробуй.

Глаза у него слегка выкатились, щеки налились черной кровью, и он подвинулся к нам вплотную, поигрывая дубинкой.

— И пробовать не буду, заберу вас обоих. А ну!

Потом он сказал: «Пройдемте», ткнул меня концом дубинки и повторил: «Пройдемте», подталкивая меня к концу пристани, где, наверно, был их телефон.

Я сделал два или три шага, чувствуя конец дубинки на пояснице и волоча Анну, которая не произносила ни слова. Потом я вспомнил:

— Вот что, если ты не хочешь завтра утром вылететь со службы, лучше послушай меня.

— Поговори,— отозвался он и ткнул меня в почку посильнее.

— Если бы не дама,— сказал я,— я бы тебе не мешал нарываться на неприятности. Я могу поехать в участок. Но пеняй на себя.

— Пеняй,— откликнулся он, сплюнув в сторону, и снова меня ткнул.

— Я полезу к себе в карман,— сказал я,— не за пистолетом, за бумажником и покажу тебе одну вещь. Ты когда-нибудь слышал про Вилли Старка?

— Ну,— сказал он. И ткнул.

— А про Джека Бёрдена слышал,— спросил я,— про газетчика, который вроде секретаря у Вилли?

Он задумался на секунду, не переставая меня подталкивать.

— Ну,— буркнул он.

— Тогда, может, посмотришь на мою визитную карточку? — сказал я и полез за бумажником.

— Не лезь,— сказал он, опустив дубинку на мою поднятую руку,— не лезь, сам достану.

Он залез ко мне в карман, вынул бумажник и начал его открывать. Из принципа.

— Открой,— сказал я,— и я тебя все равно уволю, заберешь ты меня или нет. Давай сюда.

Он отдал мне бумажник. Я вытащил карточку и сунул ему.

Он разглядывал ее в потемках.

— Щ-щерт,— прошипел он, как спущенный детский шарик,— откуда же я знал, что вы из Капитолия?

— В другой раз узнай,— сказал я,— раньше чем начнешь развлекаться. Ну-ка, вызови мне такси.

— Сейчас, сэр,— сказал он, с ненавистью глядя на меня заплывшими свинчячими глазками.— Сейчас, сэр,— сказал он и пошел к телефону.

Вдруг Анна вырвалась, и я подумал, что она хочет убежать. Я опять схватил ее.

— О, ты такой замечательный,— хрипло прошептала она,— такой замечательный... ты великолепен, перехаил хама... справился с полицейским... ты замечательный...

Я стоял и держал ее, стараясь не слушать и ощущая только тяжесть внутри, словно холодный камень.

— ...ты такой замечательный — и чистый, и все так замечательно... чисто...

Я не отвечал.

— ...до чего же ты замечательный... чистый, сильный... герой...

— Извини, я вел себя, как суккин сын, — сказал я.

— Не понимаю, что именно ты имеешь в виду? — прошептала она издевательски-ласково, с ударением на «именно», расчетливо всаживая это слово мне в бок, как бандерилью. Потом она отвернулась и больше на меня не смотрела; локоть, который я сжимал, вполне мог быть локтем манекена, а холодный камень у меня в животе был покрыт слизью, и свиначьи глазки на опухшем, сизом лице вернулись и ненавидели меня в промозглой темноте, и на реке завывал гудок, а в такси Анна Стентон сидела у двери очень прямо, как можно дальше от меня, и свет уличных фонарей проскальзывал по ее белому лицу. Со мной она не разговаривала. До тех пор, пока мы не выехали на улицу, где проходил трамвай. Тогда она сказала:

— Выходи. Отсюда доедешь на трамвае. Я не хочу, чтобы ты меня провожал.

И я вышел.

На шестой вечер я услышал голос Анны Стентон в трубке.

Он сказал: «Эти... эти бумаги, которые ты раздобыл... пришли их мне». Я сказал: «Я принесу». Голос сказал: «Нет, пришли их». Я сказал: «Ладно. У меня есть одна лишняя фотокопия. Завтра я сниму копии с остальных и пришлю все вместе». Голос сказал: «Фотокопия. Значит, ты мне не веришь». Я сказал: «Завтра пришлю».

В черной трубке щелкнуло, потом послышалось тонкое жалобное гудение — звук уносящихся от вас пространств, бесконечности, абсолютной пустоты.

Каждый вечер, вернувшись к себе в номер, я смотрел на телефон. Я говорил себе: о н з а з в о н и т. Однажды мне даже показалось, что он зазвонил, потому что этот звон жил в каждом моем нерве. Но телефон не звонил. Я просто задремал. Однажды я снял трубку и поднес ее к уху, чтобы послушать слабое гудение — звук тех разнообразных вещей, которые я перечислил выше.

Каждый вечер я спрашивал у портье, не звонили ли мне. Да, иногда мне звонили и оставляли свои номера. Но того номера не было.

Тогда я поднимался в свою комнату, где был телефон и портфель с фотокопией и письменным свидетельством из Мемфиса. Я до сих пор не отдал их Хозяину. Я даже не сказал ему, что они существуют. Я собирался отдать. Но не сейчас. Позже. После того, как зазвонит телефон.

А он не звонил.

Но примерно через неделю, вечером, пройдя поворот в своем коридоре, я увидел женщину, которая сидела на скамейке невдалеке от моей двери. Я достал ключ, вставил его и уже собирался войти, как вдруг почувствовал, что женщина стоит со мной рядом. Я повернулся. Это была Анна Стентон.

Она подошла беззвучно по толстому ковру, у нее была легкая походка.

— Ты доведешь меня до разрыва сердца, — сказал я и, распахнув дверь, добавил: — Заходи.

— А ты не боишься за мою репутацию? — спросила она. — Ты ведь так за нее беспокоился.

— Помню, — сказал я, — но все равно заходи.

Она вошла в комнату и остановилась посередине, спиной ко мне; я захлопнул дверь. Я заметил, что в руке у нее, кроме сумки, коричневый конверт.

Не обернувшись, она подошла к столу у стены и бросила на него конверт.

— Вот они, — сказала она — Фотокопии. Я их возвращаю. Я вернула бы и оригиналы, если бы ты их мне доверил.

— Я знаю.

— Это ужасно, — сказала она, не поворачиваясь ко мне.

Я подошел к ней и тронул ее за плечо.

— Мне очень жаль, — сказал я.

— Это ужасно. Ты себе не представляешь.

Я не представлял себе, как это ужасно. Поэтому я и стоял позади нее, боясь до нее дотронуться.

— Ты не представляешь, — повторила она.

— Да, — сказал я, — не представляю.

— Это ужасно. — Потом она повернулась, и я, взглянув в ее широко раскрытые глаза, будто оступился в колодезь. — Это ужасно, — сказала она. — Я показала ему эти... он прочел их и стоял... не пошевелился... не сказал ни слова... Он стал белый, как простыня, и я слышала, как он дышит. Потом я тронула его... И он на меня посмотрел... долго смотрел. Потом сказал... посмотрел на меня и сказал: «Ты». Больше ничего. «Ты». И смотрит.

— Черт подери, — сказал я, — ты-то в чем виновата, лучше бы он винил губернатора Стентона.

— Нет, — ответила она. — Он его винит. В том-то и весь ужас. Как он его винит. Отца. Ты помнишь... ты помнишь, Джек... — Она дотронулась до моей руки. — Ты помнишь... отец... как он... как он читал нам... как он нас любил... как он учил Адама и гордился им... сам его учил и не жалел на это времени... Джек, как он сидел у камина — я была девочкой... и он читал нам, а я клала ему голову на колени... Джек, ты помнишь?

— Помню, — сказал я.

— Да, — сказала она, — да... мама умерла, и отец делал все, что мог... он так гордился Адамом... и теперь Адам... теперь... — Она отпустила мою руку, отошла и в отчаянии сжала пальцами виски. — Джек, что я наделала? — прошептала она.

— Ты сделала то, что считала правильным, — твердо ответил я.

— Да, — прошептала она, — да, конечно.

— Сделанного не воротить.

— Да, не воротить, — сказала она громко, и лицо ее вдруг напомнило мне Адама — твердой линией рта, туго натянутой кожей.

Она вскинула голову, словно готовясь взглянуть в глаза всему миру, и я почувствовал, что могу заплакать. Если бы это было в моем обычае.

— Да, — сказал я, — не воротить.

— Он сделает это, — сказала она.

И я чуть не спросил: что, что сделает? Ибо у меня вылетело из головы, зачем я рассказал Анне об отце, зачем я дал ей фотокопии, зачем она показала их брату. Я забыл, что это делалось ради чего-то. Но теперь я вспомнил и спросил:

— Ты его уговорила?

— Нет, — покачала она головой, — нет, я ничего не сказала. Отдала ему бумаги. Он сам понял.

— И что потом?

— Больше ничего. Он посмотрел на меня и сказал: «Ты». И все. Потом я сказала: «Адам, Адам, не говори так, не надо, Адам, не надо!» А он говорит: «Почему?» Я говорю: «Потому что я люблю тебя, потому что я люблю отца». А он все глядит на меня. Потом сказал: «Любишь его!» А потом: «Будь он проклят!» Я крикнула: «Адам, Адам!» — но он повернулся ко мне спиной, прошел в спальню и захлопнул дверь. Тогда я ушла и долго гуляла одна, ночью. Нагуливала сон. Три дня он не звонил. Потом попросил меня прийти. Я пришла, и он мне их отдал. — Она показала на конверт. — Просил передать тебе, что согласен. Чтобы ты обо всем договорился. Больше ничего.

— А чего больше, — сказал я.

— Да, — ответила она и двинулась мимо меня к двери. Она взялась за ручку, повернула ее и приотворила дверь. Потом обернулась ко мне и закончила: — Куда уж больше.

И вышла.

Но за порогом остановилась, положила руку на косяк.

— Вот что... — сказала она.

— Да?

— У меня к тебе просьба. Прежде чем ты дашь им ход... этим бумагам, покажи их судье Ирвину. Дай ему шанс. Хотя бы шанс.

Я согласился.

Сыто бормоча, тускло поблескивая капотом под фонарями — я видел его с заднего сиденья, — большой черный кадиллак катился по улице под деревьями, на которых уже распустились листья, — было начало апреля. Потом мы свернули на улицу, где деревьями и не пахло.

— Здесь, — сказал я, — справа, сразу за бакалеей.

Рафинад подвел машину к трюгару с бережностью матери, которая укладывает свое сокровище баиньки. Потом он выскочил и побежал открывать дверцу Хозяину, но Хозяин уже был на улице. Я тоже выкарабкался из машины и встал рядом с ним.

— Вот его берлога, — сказал я, двинувшись к подъезду.

Потому что мы приехали к Адаму Стентону.

Когда я сообщил Хозяину, что Адам Стентон согласен и просил меня обо всем договориться, Хозяин сказал:

— Хорошо. — Потом он оглядел меня с головы до ног и заметил: — Ты, наверно, Свенгали.

— Ага, — согласился я, — Свенгали.

— Надо с ним встретиться, — сказал Хозяин.

— Попробую его привезти.

— Сюда? — сказал Хозяин. — Я сам к нему съезжу. Черт подери, он сделал мне одолжение.

— А? Но ты ведь вроде губернатор?

— Ты прав, как никогда, — сказал Хозяин, — зато он — доктор Стентон. Когда мы едем?

Я сказал, что надо ночью, иначе его не застанешь. И вот мы приехали, ночью, вошли в подъезд большого грязного дома, взобрались по темной лестнице, натыкаясь на детские коляски, вдыхая запахи капусты и пеленок.

— Ну и место он себе выбрал, — заметил Хозяин.

— Ага, — согласился я, — многие не могут этого понять.

— Я, кажется, могу, — сказал Хозяин.

И пока я раздумывал, может он или нет, мы оказались у двери, постучались, вошли и встретили спокойный взгляд Адама Стентона.

Какую-то долю секунды, пока в комнату пробирался Рафинад и я закрывал за ним дверь, Адам и Хозяин молча оглядывали друг друга. Затем я повернулся и сказал:

— Губернатор Старк, познакомьтесь с доктором Стентоном.

Хозяин шагнул вперед и протянул руку. Может быть, мне показалось, но на лице Адама как будто мелькнуло сомнение, прежде чем он пожал ее. Впрочем, от Хозяина это тоже не ускользнуло, потому что, когда Адам подал ему руку, Хозяин, пожимая ее, вдруг ухмыльнулся и сказал:

— Ну вот, а ты боялся, я же тебя не съем.

И тут, честное слово, Адам тоже улыбнулся.

Потом я сказал: «А это мистер О'Шиин» — и Рафинад проковылял к Адаму, протянул коротенькую ручку, на конце которой, как надутая перчатка, висела ладонь, скривил лицо и начал:

— Оч... оч...

— Очень приятно, — сказал Адам. Взгляд его задержался на выпуклости под левым локтем Рафинада. Он повернулся к Хозяину. — Так это и есть один из ваших гангстеров? — спросил он, теперь уже определенно не улыбаясь.

— Да ну, — ответил Хозяин, — Рафинад его таскает просто для интереса. Рафинад — просто приятель. А за баранкой он бог.

Рафинад смотрел на него, как собака, которой только что почесали за ухом.

Адам стоял и молчал. Я подумал, что сделка вот-вот расстроится. Однако Адам сказал очень официально:

— Может быть, присядете, джентльмены?

Мы сели.

Рафинад потихоньку вытащил из кармана пальто кусок сахара, сунул в рот, втянул изможденные ирландские щеки, и глаза его блаженно затуманились.

Адам ждал, выпрямившись в кресле.

Хозяин, развалившись в другом, по видимости, не спешил. Наконец он произнес:

— Ну, так что ты о ней думаешь, док?

— О ком? — осведомился Адам.

— О моей больнице.

— Я думаю, что она принесет нашим людям пользу, — ответил он. Потом добавил: — А вам — голоса.

— Насчет голосов ты можешь не беспокоиться, — сказал Хозяин. — Много есть способов добывать голоса, сынок.

— Это мне известно, — сказал Адам и отпустил Хозяину еще один увесистый ломоть молчания.

Посмаковав его, Хозяин сказал:

— Да, она принесет пользу. Но вряд ли большую, если ты не будешь директором.

— Я не потерплю никакого вмешательства, — сказал Адам и точно откусил конец фразы.

— Не беспокойся, — засмеялся Хозяин. — Выгнать тебя я могу, но вмешаться не буду.

— Если это угроза, — сказал Адам, и в глазах его зажегся бледно-голубой огонек, — вы напрасно теряете время. Вы знаете мое мнение о нынешней администрации. Я не делаю из него секрета. И не собираюсь делать в дальнейшем. Это, надеюсь, понятно?

— Док, — сказал Хозяин, — док, ты просто не разбираешься в политике. Скажу тебе прямо. Я могу управлять этим штатом и еще десятком таких, даже если ты будешь выть на каждом углу, как собака с прищемленным хвостом. Пожалуйста, сколько угодно. Но ты просто не понимаешь.

— Кое-что я понимаю, — угрюмо сообщил Адам, и рот его захлопнулся.

— А кое-чего не понимаешь, так же, как и я, но одна вещь, которую понимаю я и не понимаешь ты, это — отчего кляча скачет. Я могу расшевелить клячу. И еще одно, раз уж мы заговорили начистоту... — Хозяин вдруг замолчал, наклонил голову набок и улыбнулся Адаму: — Или как?

— Вы сказали «и еще одно», — ответил Адам, игнорируя вопрос и не меняя позы.

— Да, еще одно. Постой, док, — ты знаешь Хью Милера?

— Да, — сказал Адам, — знаю.

— Ну так вот, он работал со мной... генеральным прокурором — и ушел в отставку. А знаешь почему? — И продолжал, не дожидаясь ответа: — Он ушел в отставку потому, что не хотел пачкать ручки. Хотел дом строить, да не знал, что кирпичи из грязи лепят. Он был вроде того человека, который любит бифштексы, но не любит думать о бойне, потому что там нехорошие, грубые люди, на которых надо жаловаться в Общество защиты животных. Вот он и ушел.

Я наблюдал за лицом Адама. Белое и застывшее, оно как будто было высечено из гладкого камня. Он был похож на человека, который ожидает приговора судьи. Или врача. На своем веку Адам, наверно, перевидел множество таких лиц. Ему



приходилось смотреть этим людям в глаза и говорить то, что он должен был сказать.

— Да, — продолжал Хозяин, — ушел. Он из тех, которые хотят, чтобы волки были сыты и овцы целы. Знаешь эту породу, док? — Он кинул на Адама взгляд, как кидают муху на крючке в ручей с форелью. Но у него не клонуло. — Да, старик Хью... он так и не уразумел, что ты не можешь иметь все сразу. Что можешь иметь только самую малость. И только то, что сделал своими руками. А он, потому что получил в наследство кое-какие деньжата и фамилию Милер, он думал, что можно иметь все. И хотел он той последней пустяковины, которую как раз и нельзя получить в наследство. Знаешь какой? — Он пытливо смотрел на Адама.

— Какой? — спросил Адам после долгой паузы.

— Добра. Да, самого простого, обыкновенного добра. А его-то и нельзя получить в наследство. Ты должен сделать его, док, если хочешь его. И должен сделать его из зла. Зла. Знаешь почему, док? — Он тяжело приподнялся в старом кресле, подался вперед, уперев руки в колени и задрал плечи, и из-под волос, упавших на глаза, уставился в лицо Адаму. — Из зла, — повторил он. — Знаешь почему? Потому что его больше не из чего сделать. — И снова развалившись в кресле, ласково повторил: — Это ты знаешь, док?

Адам молчал.

Тогда Хозяин спросил еще мягче, почти шепотом:

— Ты знал это, док?

Адам облизнул губы и сказал:

— Я хочу задать вам один вопрос. Если, по-вашему, можно отправляться только от зла и только из зла можно делать добро, то откуда вы можете знать, что такое добро? Как вы его распознаете? Если вам приходится делать его из зла. Ответьте мне.

— С удовольствием, док, с удовольствием, — сказал Хозяин.

— Так ответьте.

— Ты изобретаешь его по ходу дела.

— Что изобретаю?

— Добро, — сказал Хозяин. — О чем мы тут толкуем битый час? Добро — с большой буквы.

— Значит, ты изобретаешь его по ходу дела? — вежливо повторил Адам.

— А чем же еще. по-твоему, занимаются люди вот уже миллион лет? Когда твой прапрадедушка слез с дерева, у него было столько же понятия о добре и зле, о правильном и неправильном, сколько у макаки, которая осталась на дереве. Ну, слез он с дерева, начал заниматься своими делами и по дороге придумывать Добро. Он придумывал то, что ему нужно было для дела, док. И то, что он придумывал, чему других заставлял поклоняться как добру и справедливости, всегда отставало на пару шагов от того, что ему нужно для дела. Вот потому-то у нас все и меняется, док. То, что люди объявляют правильным, всегда отстает от того, что им нужно для дела. Ладно, какой-нибудь человек откажется от всякого дела — он, видите ли, понял, что правильно, а что нет, и он — герой. Но люди в целом, то есть общество, док, никогда не перестанут заниматься делом. Общество просто сострывает новые понятия о добре. Общество никогда не совершит самоубийства. По крайней мере не таким способом и не с такой целью. И это факт. Так или нет?

— Факт? — сказал Адам.

— Ты прав, док, это факт. А справедливость — это запрет, который ты налагаешь на определенные вещи, хотя они ничем не отличаются от тех, на которые запрета нет. И не было еще придумано такого понятия справедливости, чтобы среди людей, которым его навязали, многие не подняли визга, что оно не дает им заниматься никаким человеческим делом. Да возьми хотя бы людей, которые не могут получить развода. Посмотри на хороших женщин, которых лупят мужья, на хороших мужчин, которых пилит жены — а они ни черта не могут с этим поделать. И тут оказывается, что развод — это благо. И до чего еще дойдет очередь, ты не

знаешь. И я не знаю. Но я знаю одно. — Он замолчал и опять наклонился вперед, оперев руки в колени.

— Да? — сказал Адам.

— Вот что. Я не отрицаю — должно быть понятие о справедливости для того, чтобы заниматься делом; но, ей-богу, всякое такое понятие рано или поздно становится вроде затычки в бутылке с водой, которую бросили в горячую печь, как мы ребята делали в школе. И дело человеческое, которое надо сделать, — как пар: он разорвет бутылку, он доведет учительницу до родимчика, он разорвет все, во что бы ты его ни закупорил. Но ты найди ему подходящее место, дай ему удобный выход — и он потянет товарный поезд. — Он опять откинулся в кресле, веки его отяжелели, но глаза из-под спутанных волос смотрели внимательно, словно из засады.

Адам вдруг встал и прошелся по комнате. Он остановился перед холодным камином, где еще лежала зола и обгорелая бумага, хотя на дворе стояла весна и камин уже давно не топился. Окно было открыто, и в комнату с темной улицы втекал ночной воздух с запахом не капусты и пеленок, а сырой травы и листьев — запахом, в этой комнате неуместным. И я почему-то вспомнил, как однажды ночью в комнату, где я сидел, влетела ночная бабочка — бледная, яблочно-зеленая, с красивым именем «Сатурния луна», — большая, как летучая мышь, мягкая и беззвучная, как сон. Кто-то забыл закрыть дверь террасы, и бабочка кружилась над столами и стульями, словно большой бледно-зеленый шелковистый лист, — кружилась и порхала неслышно под электрической лампой, где ей, конечно, было не место. И так же неуместен был в комнате Адама воздух ночи.

Адам облокотился на каминную полку, где грудой валялись книги, стояла чашка с засохшей кофейной гущей и можно было расписаться пальцем по пыли. Он стоял там, словно в комнате не было ни души.

Хозяин наблюдал за ним.

— Да, — сказал Хозяин, не сводя с него глаз, — потянет товарный поезд и...

Но Адам перебил его:

— В чем вы пытаетесь меня убедить? Убеждать меня незачем. Я сказал, что берусь за работу. И это все! — Он с яростью поглядел на грузного человека в кресле и повторил: — Все! Мои мотивы вас не касаются.

Хозяин лениво улыбнулся, сел поудобнее и сказал:

— Да, твои мотивы меня не касаются, док. Но я подумал, что, может, тебе захочется узнать кое-что о моих. Как-никак мы будем работать вместе.

— Я буду руководить больницей, — ответил Адам и добавил, кривя губы: — Если у вас это называется работать вместе.

Хозяин громко рассмеялся. Потом встал с кресла.

— Док, — сказал он, — главное, не беспокойся. Я позабочусь, чтобы ты не испачкал лапок. Я позабочусь, чтобы ты был чистый, как стеклышко. Я посажу тебя в эту красивую, антисептическую, стерильную шестимиллионную больницу и заверну в целлофан, чтобы ни одна рука тебя не коснулась. — Он шагнул к Адаму и хлопнул его по плечу. — Главное, не беспокойся, док.

— Я сам о себе позабочусь, — пообещал Адам и покосился на руку, лежавшую на его плече.

— Конечно, ты сам, док, — сказал Хозяин. И убрал руку с его плеча. Затем, неожиданно переменяя тон, заговорил деловито и спокойно: — Ты, конечно, захочешь ознакомиться со всеми проектами. Они поступят к тебе на утверждение, как только ты проконсультируешься с архитекторами. По этому вопросу с тобой свяжется мистер Тод из компании «Тод и Уотерс». И можешь набирать себе штат. Теперь это твое хозяйство.

Он отвернулся, взял свою шляпу с крышки рояля. Потом повернулся к Адаму и, как бы подводя итог, в последний раз окинул его взглядом.

— Ты большой человек, док, — сказал он, — и не верь, если тебя станут в этом разубеждать.

Затем он круто повернулся к двери и вышел, не дав Адаму ответить. Если тут было, что отвечать.

Мы с Рафинадом двинулись за ним. Мы не задержались, чтобы сказать «спокойной ночи» и поблагодарить за гостеприимство. Это казалось излишним. В дверях я все же оглянулся и сказал «пока», но Адам не ответил.

На улице у автомобиля Хозяин замешкался. Потом сказал:

— Езжайте. Я пешком.

Он направился к центру мимо облезлого жилища Адама и маленькой бакалеи, мимо пансиончиков и наспех сколоченных домишек с верандами.

Когда я влез в машину на место Хозяина, в доме грянула музыка. Окно было открыто, музыка разносилась по всей улице. Адам дорвался до рояля, и тот гремел в ночной тишине, как Ниагарский водопад.

Мы тронулись, обогнали Хозяина, который шел, опустив голову, и даже не посмотрел на нас. Мы выехали на одну из хороших улиц, где деревья смыкались над головой, — листья их казались черными на фоне неба и бледными, почти белесыми вокруг фонарей. Теперь музыка Адама не достигала наших ушей.

Я откинулся на спинку, закрыл глаза и, отдавшись мягким покачиваниям и приседаниям машины, стал вспоминать, как Хозяин и Адам Стентон глядели друг на друга из разных углов комнаты. Я никогда не думал, что увижу эту сцену. Но она произошла.

Я обнаружил истину, выкопал ее из золы, из кладбищенской земли, из груды мусора на помойке и послал этот обрывок истины Адаму Стентону. Я не мог перекраивать истину по мерке его представлений. Что ж, придется ему подгонять свои представления к истине. Так полагаем мы, историки. Истина сделает вас свободными.

Я ехал и думал об Адаме и об истине. И о Хозяине, о том, в чем, по его мнению, истина. В чем добро. В чем справедливость. И, убаюканный кадиллаком, я спрашивал себя, верит ли он в то, что сказал. Он сказал: «Ты должен сделать добро из зла, потому что его больше не из чего сделать». Что ж, он сотворил кое-какое добро из зла. Больницу. Больницу Вилли Старка, которая будет стоять, когда от самого Вилли Старка ничего не останется. Так сказал Вилли Старк. Но если Вилли Старк верит, что добро всегда приходится делать из зла, почему он так забеспокоился, когда Крошка выступил с вполне логичным и невинным предложением насчет подряда? Неужели он так распалился из-за того, что Крошкина разновидность Зла может попасть в сырье, из которого он намерен сотворить Добро? «Ты что, не понимаешь? — спрашивал меня Хозяин, выкручивая мой лацкан. — Неужели и тебе непонятно? Я строю больницу, лучшую в стране, лучшую в мире, я не позволю таким, как Крошка, пакостить это дело. Я назову ее больницей Вилли Старка, и она будет стоять, когда от нас с тобой ничего не останется и от всей этой сволочи ничего не останется...» Тут плохо сходятся концы с концами. Совсем не сходятся. Надо будет спросить об этом Хозяина.

Однажды я уже спрашивал его, но по другому поводу. В ту ночь, когда он отбился от судебного преследования. В ту ночь, когда народ, нахлынувший в город, стоял на лужайке у Капитолия, вытапывая клумбы под бронзовыми статуями людей во фраках, мундирах и кожаных штанах, — людей, которые были Историей. Когда из высокой черной двери Капитолия навстречу голубым огням прожекторов вышел Вилли Старк и, мигая, остановился на площадке высокой лестницы, грузный и медлительный с виду. Он стоял наверху один и казался таким затерянным и маленьким перед каменной машиной, вздымавшейся за его спиной; он стоял и мигал. Протяжный крик толпы: «Вилли — Вилли — мы хотим Вилли» — утих при его появлении. Он ждал, и не было ни звука. И вдруг толпа взревела. Вилли не скоро поднял руку, чтобы ее успокоить. Потом рев стих, словно под нажимом медленно опускающейся руки.

Тогда он сказал:

— Они хотели погубить меня и — погибли.

Снова раздался рев — и утих под его рукой.

Он сказал:

— Они хотели погубить меня, потому что им не нравятся мои дела. Вам мои дела нравятся?

Раздался рев и утих.

Он продолжал:

— Я скажу вам, что я намерен делать дальше. Я намерен построить больницу. Самую большую, самую лучшую на свете. Она будет принадлежать вам. Всякий больной или страждущий — будь то мужчина, женщина или ребенок — придет к ее дверям с уверенностью, что для него сделают все, что в человеческих силах. Излечат болезнь. Облегчат страдания. Бесплатно. Не из милости. А по праву. Это ваше право. Вы слышите? Это ваше право!

Раздался рев.

Он сказал:

— И это ваше право — чтобы каждый ребенок получил образование. Чтобы ни престарелый, ни инвалид не нуждались в хлебе, не просили подаяния. Чтобы человек, который производит товар, мог отвезти его на рынок, не завязнув по ступицу, беспощинно. Чтобы дом и земля бедняка не облагались налогом. Чтобы богачи и большие компании, которые тянут деньги из штата, платили штату справедливую долю. Чтобы ни у одного из вас не отнимали надежду!

Раздался рев, и, когда он замер, Анна Стентон, державшая меня под руку и притиснутая ко мне толпой, спросила:

— Он правда собирается это сделать? В самом деле?

— Уже сделал, и немало, — сказал я.

— Да, — сказал Адам Стентон, кривя губы, — кинул им кость.

Я не ответил, я не успел придумать ответ, потому что наверху, на лестнице, Вилли Старк снова заговорил:

— Я сдержу свое слово. И да поможет мне бог. Я буду жить вашей волей и вашим правом. И если кто-нибудь помешает мне осуществлять ваше право и вашу волю, я уничтожу его. Я уничтожу его вот так! — Он раскинул руки на высоте плеч и с размаху всадил правый кулак в левую ладонь. — Вот так! Я размозжу его. Бедро и таз, голень и позвоночник. В почку, в затылок, в челюсть и в солнечное сплетение. Я буду бить чем попало. Без разбору!

Под рев толпы я закричал в ухо Анне:

— Будь уверена, это он сделает!

Не знаю, слышала ли меня Анна. Она следила за человеком на лестнице, который наклонялся к толпе с выпученными глазами и говорил:

— Я зарублю его. Я зарублю его мясницким топором!

Он вскинул руки над головой так, что рукава пиджака сползли и открыли манжеты, распрямил ладони и сжал. Он завопил:

— Дайте мне топор!

И толпа взревела.

Он медленно опустил руки, призывая к молчанию.

Потом сказал:

— Ваша воля — моя сила. — И, выждав, произнес в тишине: — Ваша нужда — мой закон. — Потом: — Все.

Он повернулся, медленно вошел в высокую дверь Капитолия и скрылся в темноте. Воздух наполнился ревом, еще более громким, чем прежде, и, подчиняясь его раскатам, что-то набухало и опадало во мне, распирало меня, словно кровь или радость победы. И пока голпа ревела, я не мог отвести глаз от черного проема двери, где он скрылся.

Анна Стентон дергала меня за рукав. Она спросила меня:

— Он правда этого хочет, Джек?

— Черт, — сказал я и услышал в своем голосе бешенство, — черт подери, а я почему знаю?

Адам Стентон вмешался, кривя рот:

— Закон! Он толкует о законе.

И вдруг меня полоснула ненависть к Адаму Стентону.

Я сказал им, что должен идти — это была правда, — и пробился сквозь толпу к полицейскому заграждению. Затем я обогнул Капитолий и у заднего выхода встретился с Хозяином.

А поздно ночью, в резиденции, после того как он выгнал из кабинета Крошку с компанией, я задал Хозяину вопрос. Я спросил его:

— Ты все это говорил серьезно?

Развалившись на большой кожаной кушетке, он пристально посмотрел на меня.

— Что?

— Ну, что ты говорил сегодня вечером, — ответил я. — Что их воля — твоя сила. Что их нужда — твой закон. И прочее.

Он продолжал смотреть на меня, цепляя, щупая своими выпученными глазами.

— Ты же это сказал.

— Черт меня подери, — выкрикнул он, не сводя с меня глаз, — черт меня подери!.. — Он сжал кулак и дважды ударил себя в грудь. — Черт меня подери, что-то сидит вот тут, что-то прет...

Он оборвал фразу. Он отвел от меня взгляд и хмуро уставился в камин. Я больше не настаивал.

Вот так однажды я задал ему вопрос; это было давно. А теперь я хотел задать ему новый вопрос. Если он полагает, что добро приходится делать из зла, ибо больше его не из чего сделать, то зачем так волноваться и так усердно ограждать от Крошки больницу Вилли Старка?

Был и еще один вопросик. Его мне придется задать Анне Стентон. Он возник у меня в ту ночь на пристани, когда Анна сказала, что ходила к Адаму Стентону, «чтобы поговорить об этом» — о предложении заведовать больницей Вилли Старка. Что-то в ее словах меня беспокоило, как зуд, когда у тебя заняты руки и ты не можешь почесаться. В пылу разговора я не мог определить, что меня беспокоит. Тогда я отставил эту кашу на край печки, чтобы она допре-ла. И там она допревала несколько недель. Но однажды ни с того ни с сего она перекипела через край, и я понял, что меня беспокоило: откуда Анна Стентон узнала об этом предложении?

Одно было несомненно: я ей не говорил.

Может быть, ей сказал Адам, а потом она пошла к нему, «чтобы поговорить об этом»? И я отпавился к Адаму, который остервенело работал (кроме обычной практики и преподавания, на нем теперь был проект больницы) и вот уже месяц, по его словам, не мог добраться до рояля. Он совсем осунулся от недосыпания и на меня смотрел холодно, а в обращении выказывал учтивость, чересчур никелированную для друга детства. Встретив такую учтивость, я не сразу собрался с духом, чтобы задать ему вопрос. Но в конце концов задал. Я сказал:

— Адам, в первый раз, когда Анна говорила с тобой о... о работе... ну, о больнице... ты до этого...

А он отрезал точно скальпелем:

— Не желаю этого обсуждать.

Но мне надо было знать. И я спросил:

— Ты говорил ей об этом предложении?

— Нет, — сказал он, — и повторяю, я не желаю это обсуждать.

— Ладно, — сказал я и сам не узнал своего голоса, такой он был монотонный. — Ладно.

Он пристально посмотрел на меня, потом встал со стула и шагнул ко мне.

— Извини, — сказал он. — Извини, Джек. Я немного не в себе. — Он помогал головой, как бы стараясь стряхнуть сон. — Не высыпаясь. — Он подошел ко мне — я стоял, прислонившись к каминной доске, — заглянул мне в лицо, дотро-

нулся до моей руки и сказал: — Извини, пожалуйста, Джек... что я так разговариваю. Анне я ничего не говорил. Извини.

— Забудь об этом.

— Я забуду, — обещал он с замороженной улыбкой, похлопывая меня по руке, — если ты забудешь.

— Ну, ясно, — сказал я, — ясно, забуду. Конечно, забуду. Все равно это не имеет никакого значения. Кто ей сказал. Наверно, я сам ей сказал. Просто выскочило у меня из головы.

— Я говорю, постарайся забыть, как я тебя встретил, — уточнил он, — налетел ни с того ни с сего.

— А-а, — сказал я, — а, ты про это. Конечно, забуду.

Он внимательно посмотрел на меня, в глазах у него появилось сомнение. Он помолчал. Потом сказал:

— Почему ты об этом спрашиваешь?

— Просто так, — ответил я, — просто так. Пустое любопытство. Но теперь я вспомнил. Я сам ей сказал. Ну да, наверно, так и было. Я не хотел ее впутывать в это дело. Как-то само получилось. Не хотел устраивать переполох. Я нечаянно... — И все время какая-то холодная, бездушная часть мозга — эта старая дева, это зеркало в уборной, в которое смотрится пьяный, этот тихий, размеренный голос, этот червь, подтачивающий уважение к себе, этот комментатор наркотического кошмара, эта мертвоголовая рассудочность, безносая гостья каждого вашего праздника, — все время эта часть моего мозга твердила: ты только путаешься, ты врешь и путаешься еще больше, заткнись, болван!

Адам, бледнея, говорил:

— Какой переполох? О чем ты?

Но я не мог остановиться. Вот так, когда ваша машина въезжает на гололед за макушкой бугра и вы опоздали нажать на тормоза, вы испытываете восхитительное чувство свободного скольжения и готовы расхохотаться — до того вам легко и свободно, как в детстве.

Я слышал свой голос:

— ...ну, не то чтобы переполох, но... просто зря я напустил ее на тебя... я не хотел никаких осложнений... просто...

— Я не желаю это обсуждать, — повторил он и захлопнул рот. Он отошел в дальний угол комнаты, подобравшись, как на параде.

Я поспешил уйти, и никелированная его учтивость была такой холодной и пронзительной, что «пока» застряло у меня в горле, словно черствая корка.

Выходит, не он сказал Анне Стентон. И я не говорил. Кто же ей сказал? Я находил только одно объяснение: кто-то проболтался, пошли слухи, пересуды, которые докатились до Анны. Я принял это объяснение — если я действительно его принял, — наверно, потому, что с ним мне было легче всего примириться. Но в глубине души я знал, что Хозяин болтает только тогда, когда это в его интересах. А ему наверняка было ясно, что если поползут сплетни, то не видать ему Адама Стентона, как своих ушей. Я понимал это, но ум мой закрылся, как устрица, когда над ней проплывает тень. Ведь и устрице хочется жить, верно?

Но я узнал, кто рассказал Анне Стентон.

Было прекрасное утро в середине мая, как раз то утро и тот час, около половины десятого, когда белесоватостью воздуха и легкой молочной дымкой над рекой, виднеющейся вдали за окном, в последний раз напоминает о себе весна, которую ты почти забыл. Это время года — словно красивая грудастая дочка какого-нибудь нищего, запаленного издольщика, — девушка, на которой лопаются ситцевое платье, но пока еще с тонкой талией, румяная, ясноглазая, с капельками молодой испарины на лбу, у корней льняных волос (в других кругах она называлась бы платиновой блондинкой), — но вы смотрите на нее и знаете, что скоро она превратится в старую каргу, в мешок костей с лицом, как ржавый багор. А сейчас вам становится страшно от ее красоты — если хорошенько в нее

вглядитесь, — и точно такое же чувство вызывает этот час и это время года, хотя вы знаете, что июнь обернется мешком костей и лицом ведьмы, липкой от пота простыней при пробуждении и вкусом во рту, как от старой латуни. Но сейчас листья на деревьях висели сочные, мясистые и еще не начали сворачиваться. Я смотрел из моего кабинета в Капитолии на раздутые шары, громадные пучки зелени, какими казались деревья с высоты моего окна, и воображал себе лабиринт листвы, тенистые залы близ ствола, где, может быть, сейчас уселась большая сварливая сойка, и словно восточный царек, уставилась черным, блестящим, как бусина, глазом в зеленую чашу. Потом она бесшумно сорвется с сука, пробьет завесу зелени, растворится в солнечном свете и вдруг закричит, от напуги чуть не выворачивая себя наизнанку. Я смотрел вниз и воображал, что сам спрятался в одном из этих шаров, в водяном полумраке зеленого зала и со мной нет никого, даже сойки, потому что она улетела, и ничего не видно, кроме зеленых листьев — так они густы, ничего не слышно, кроме слитного далекого бормотания улиц, похожего на шум океана, жующего свою жвачку.

Это была приятная, умиротворяющая мысль, и я, оторвавшись от созерцания деревьев, развалился в кресле, положил ноги на письменный стол, закрыл глаза и представил себе, как слетаю вниз и, пробив листву, окунаюсь в эту внезапную зеленую тишину. Я лежал, закрыв глаза, слушал сонное жужжание вентилятора, и почти физически ощущал полет и вслед за ним — тишину и неподвижность. Чудесное занятие. Если у тебя есть крылья.

Потом я услышал шум в приемной и открыл глаза. Хлопнула дверь. Потом послышалось шуршание какого-то быстро движущегося тела, в мою конуру по дуге влетела Сэди Бёрк, с маху захлопнула дверь и устремилась в моем направлении. Она стала перед столом, тяжело переводя дух.

Это было как в прежние времена. Я не видел ее в таком возбуждении с того утра, когда она узнала о чикагской «северной нимфе», которая закатилась на коньках в постель к Хозяину.

В то утро Сэди вырвалась из его кабинета и, описав параболу, влетела в мой с развевающимися черными волосами и лицом, похожим на выщербленную алабастровую маску Медузы, на котором горели, словно раздутые мехами, угольно-черные глаза.

С тех пор, конечно, у нее с Хозяином не раз возникали трения. Хозяин перепробовал все от «северной нимфы» до обозревательницы, ведущей колонку домашних советов в «Кроникл», и хотя всепрощение было не в характере Сэди, в конце концов они как-то притерлись, достигли своеобразного равновесия.

— Черт с ним, — сказала мне как-то Сэди, — с кобелем, пусть побегаёт. Все равно ко мне вернется. Он знает, что без меня ему не обойтись. — И угрюмо добавила: — Пусть лучше и не пробует.

Но при всей своей ярости, при всех проклятьях и даже взрывах отчаяния, при всех словесных порках, которым она подвергала Хозяина — а язык у нее был, как плетка о семи хвостах, — при всем том она, казалось, получала какое-то извращенное удовольствие, наблюдая за ходом нового, наперед известного во всех подробностях романа и дожидаясь, когда «сучке» дадут пинка и Хозяин явится к ней, медлительный, уверенный, с терпеливой улыбкой на губах, чтобы получить очередную головомойку. Она и сама, наверно, перестала верить в пользу головомоек и даже перестала думать, что говорит. Сочные эпители давно потеряли аромат, а в монологах появилось что-то скрипучее, механическое. Как у патефона, где игла застряла в бороздке, или у стосковавшегося по курятинке проповедника, который рысью пробирается по буеракам ортодоксии. Слова были те же, но душу в них не вкладывали.

Однако в то прекрасное майское утро все было по-другому. Как будто вернулись прежние времена: грудь ее бурно вздымалась, а стрелка манометра ушла далеко за красную черту. Потом сработал предохранительный клапан.

— Он опять, — зашумела она, — опять за свое, клянусь богом...

— Что опять? — спросил я, хотя прекрасно знал, что опять. Новая сучка.

— Двуличная сволочь! — сказала она.

Я откинулся в кресле и посмотрел на нее. На лицо ее падал яркий, безжалостный утренний свет, но глаза были великолепны.

— Сволочь двуличная! — повторила она.

— Сэди, — запротестовал я, наблюдая ее в перекрестье своих башмаков на столе, — мы ведь уже проходили эту арифметику. Вы не имеете права упрекать его в двуличии. О двуличии может говорить Люси. Называйте его проделки столичными или неприличными — какими угодно. Только не двуличными. — Говоря это, я следил за ее глазами: нельзя ли ее еще немного раззадорить. Оказалось, можно.

Потому что она сказала:

— Вы... вы... — Но дальше у нее не хватило слов.

— Что — я? — спросил я с обидой.

— Вы... вы... и ваши благородные друзья... что они понимают... что они знают о жизни?.. Нужно вам было их впутывать.

— Это вы о чем?

— Может, я не благородная, может, я выросла в лачуге, но если бы не я, он не был бы сейчас губернатором, и он это знает, и зря она радуется, потому что, будь она хоть трижды благородная, я ей покажу. Она у меня своих не узнает!

— Да о чем вы?

— Вы знаете о чем, — отрезала она и перегнулась ко мне через крышку стола, грозя пальцем, — вы сидите тут с улыбочкой и корчите из себя благородного. Да если б вы были мужчиной, вы пошли бы и излупили его до полусмерти. Я думала, она ваша. А может, он и вас захомутал? Как этого доктора. — Она придвинулась ко мне еще ближе. — Может, он вас сделает директором больницы? Директором чего он вас сделает?

Под потоком слов, под разгневанным перстом и горящим взглядом я согнулся в пояснице, сбросил ноги на пол, встал перед ней, и кровь застучала у меня в висках, а перед глазами поплыли красные шарики, как бывает, когда ты резко поднимаешься; а слова все сыпались и сыпались. Пока не закончились вопросом.

— Вы хотите сказать, — начал я решительно, — что... что... — Я чуть не произнес имя Анны Стентон — оно стояло у меня перед глазами, словно написанное на вывеске, но почему-то застряло в горле, и я с удивлением почувствовал, что не могу его произнести. Я продолжал: — Что она... что она...

Но Сэди Бёрк как будто читала у меня в мыслях — и сунула мне это имя, как кулак под нос.

— Да, да, она самая, эта девица Стентон, Анна Стентон!

Я посмотрел в лицо Сэди, и на миг мне стало жалко ее до слез. Вот что меня удивило. Мне стало жалко Сэди. Затем я перестал чувствовать что бы то ни было. Мне даже не было жалко себя. Я одеревенел, как деревянная ложка, и, помню только, с удивлением обнаружил, что ноги мои, хотя и деревянные, прекрасно действуют и шагают прямо к вешалке, где моя правая рука, хотя и деревянная, поднимается, чтобы снять с крючка старую панаму, надевает ее на мою голову, а затем ноги шагают прямо к выходу и через длинную приемную по ковру, толстому и мягкому, как ухоженный газон, и через дверь выносят меня на звонкие мраморные плиты.

И — наружу, в мир, который казался еще больше, чем казался всегда. Он казался бесконечным вдоль белой, залитой солнцем бетонной дороги, которая петляла между бронзовых статуй и ярких клумб в форме звезд и полумесяцев; бесконечным поперек зеленой лужайки, уставленной большими зелеными шарами деревьев; бесконечным вверх, откуда солнце обрушивало хрустальную лаву зноя, чтобы испепелить тебя, ибо последние следы весны исчезли, исчезли навсегда, — красивая, налитая девушка в ситце, со сливочно-персиковым лицом и чистыми капельками испарины на лбу у лняных волос тоже исчезла навсегда, и отныне на твою долю — мешок костей, лицо ведьмы, как ржавый багор, зеле-



ная ряска на усохшем пруду и обнажившееся дно его в шелухе и трещинах, как в коросте.

Я не переставал удивляться, как хорошо действуют ноги, несущие меня по белому бетонному въезду, и как, несмотря на бесконечность въезда и лужайки с деревьями, они остаются за спиной, и я двигаюсь по улице, словно вместившей в себя поток хрустальной лавы. С величайшим любопытством я вглядывался в лица прохожих, но не находил в них ничего прекрасного или примечательного и не вполне был уверен в их реальности. Ибо величайшее усилие требуется, чтобы поверить в их реальность, — чтобы поверить в их реальность, вы должны поверить в свою, а чтобы поверить в свою, вы должны поверить в их, а чтобы поверить в их, вы должны поверить в свою — ать-два, ать-два, как шагающие ноги. А если у вас нет ног? Или если они деревянные? Но я посмотрел на них — они шагали, ать-два, ать-два.

Они шагали долго. Но спустя вечность они принесли меня к двери. Затем дверь открылась, и там, в прохладной, белой, затемненной комнате, одетая в бледно-голубое прохладное льняное платье, свободно опустив голые белые руки, меня встретила Анна Стентон. Я знал, что это Анна Стентон, хотя и не посмотрел на ее лицо. Я вглядывался в другие лица — во все, которые мне встречались, — и смотрел на них с величайшей откровенностью и любопытством. Но сейчас я не посмотрел ей в лицо.

Потом я поднял глаза. Она встретила мой взгляд твердо. Я ничего не сказал. Этого и не требовалось. Потому что, глядя мне в глаза, она медленно кивнула.

*Перевел с английского В. Голышев.*

*(Продолжение следует)*



---

*Дважды Герой Советского Союза,  
Маршал Советского Союза*

**Н. И. КРЫЛОВ**

★

## **В БОЯХ ЗА ОДЕССУ\***

### **ПРОЧНО, КАК НИКОГДА**

**В**ся Приморская армия, не говоря уже о самой Одессе, еще долго жила под впечатлением нашего сентябрьского контрудара. Имей армия возможность наращивать силы, введенные 22 сентября в наступление, успех нетрудно было бы развить. Наши дивизии, особенно 157-я, рвались вперед. Даже в штабе кое-кому начинало казаться, что контрудар в Восточном секторе может перерасти чуть ли не в разгром осадившей Одессу неприятельской группировки — быстрое продвижение войск на ограниченном участке порождало иллюзии...

Наверное, и сам Георгий Павлович Софронов, как ни сознавал он, что пора остановиться, должен был подавлять в себе внутреннее сопротивление этому решению. Нелегко командарму останавливать войска, охваченные наступательным порывом! А после контрудара в пору было позаботиться о том, чтобы нигде не проявились вредная самонадеянность, недооценка силы противника.

Впервые с начала Одесской обороны (раньше это исключалось по обстановке) Военный совет армии счел возможным собрать у нас на КП командиров и комиссаров дивизий и некоторых частей. Анализируя положение в секторах, командарм напирал на слабые места, возникающие не от недостатка резервов или боеприпасов, а от того, что не все еще научились по-настоящему воевать: не везде активно ведется разведка, плохо прикрываются стыки, много недоделок в инженерном оборудовании рубежей...

Совещание, проходившее ночью, было недолгим. Командиры соединений и частей смогли выяснить многие накопившиеся у них вопросы. Интересно было им встретиться и друг с другом — многие не виделись давно. В первый раз с тех пор, как в начале августа получил назначение в 95-ю дивизию, приехал в Одессу генерал Воробьев. По пути на армейский КП Василия Фроловича поразили и жутковатая пустота ночных одесских улиц, и многочисленные следы бомбежек. Так бывало и с другими, кто долго находился безотлучно на переднем крае: зная, как живет город, они все-таки продолжали представлять его таким, каким видели несколько недель назад. Но главным, что определяло общее настроение, было ощущение возросшей силы Приморской армии. Как-никак, она имела теперь четыре стрелковые дивизии да еще спешенную кавалерийскую. Все надеялись, что в ближай-

---

\* О к о н ч а н и е. Начало см. «Новый мир» №№ 7, 8 с. г.

шее время удастся отбросить врага подальше от Одессы еще и на южном и западном направлениях.

Уже после контрудара в Восточном секторе прибыли к нам опоздавшие принять в нем участие танковый батальон 157-й дивизии (пятнадцать настоящих танков!) и приданный ей гаубичный артполк. Таким образом, дивизия Томилова, сыгравшая решающую роль в наступлении 22 сентября, становилась еще более сильной. Из контрудара она вышла с минимальными потерями: девятнадцать убитых, двести тридцать семь раненых. Получалось, что в наступлении, хорошо подготовленном, потери могут быть меньшими, чем в обороне.

Остальные наши дивизии, имевшие в результате тяжелых боев середины сентября большой некомплект личного состава, мы смогли пополнить. За 21—24 сентября армия получила с Большой земли пятнадцать новых маршевых рот — три с половиной тысячи бойцов, — а до конца месяца еще двадцать одну роту, то есть четыре тысячи восьмисот бойцов. К 27 сентября закончилась перегруппировка войск в Южном и Западном секторах.

На исходе сентября мы чувствовали себя на одесском плацдарме весьма уверенно, прочно, как никогда. Если отвлечься от общей обстановки на Юге, положение под самой Одессой представлялось благоприятным для дальнейшей длительной обороны. И притом — обороны еще более активной, предусматривающей последовательное улучшение наших позиций и оттеснение противника, где можно, подальше от города.

Военный совет обсудил вопрос о подготовке армии к зиме. Интендант 1-го ранга А. П. Ермилов доложил, что уже развернуты мастерские, в которых предстоит пошить несколько десятков тысяч комплектов теплого обмундирования — телогреек и ватных брюк. На это пошел материал, обнаруженный в свое время хозяйственниками в застрявшем железнодорожном эшелоне. Командиры соединений получили указания использовать передышки между боями, чтобы дооборудовать землянки, учитывая близкое наступление холодов, особенно на тех позициях, которые мы не собирались в ближайшее время улучшать. Начальник штаба 95-й дивизии Р. Т. Прасолов докладывал, что у них во втором эшелоне организована заготовка картофеля и засолка капусты. Того и другого было немало под боком на заброшенных теперь полях пригородных совхозов. Запасались также соломой для утепления землянок. После того, как удалось отбросить врага в Восточном секторе, в армии уверились, что зимовать нам под Одессой.

Готовился к зиме и город. 24 сентября бюро обкома партии приняло постановление об улучшении условий жизни в катакомбах и подвалах, куда переселились, спасаясь от бомбежек, тысячи семей. Решение предусматривало электрификацию ряда подземелий, оборудование там вентиляции, расширение некоторых проходов, укрепление сводов. В обитаемые катакомбы были назначены коменданты, к ним прикреплены депутаты горсовета, группы коммунистов и комсомольцев.

Одесские предприятия получали дополнительные заказы на разного рода вооружение. Город уже дал армии пять бронепоездов, десятки танков-бронетракторов, сотни тысяч гранат, десятки тысяч мин. Наладился ремонт стрелкового оружия. А производство пятидесятимиллиметровых минометов достигло такого размаха, что мы смогли послать партию их в Крым — для формирования там морских бригад.

— Выходит, времена меняются! — заметил Георгий Павлович Софронов, когда принималось решение об этом.

В Севастополь для нужд флота и 51-й армии отправлялись с очеред-

ными транспортами также семьдесят отремонтированных в Одессе грузовых машин.

В последние сентябрьские дни во многих частях приморцев побывали делегации трудящихся. Делегацию, посетившую 95-ю дивизию, возглавлял секретарь горкома партии В. Ф. Гунчук. Гости привезли бойцам подарки и, разойдясь по подразделениям, провели вместе с ними ночь в передовых окопах. Солдаты были рады услышать о том, как живет город. Одесситы находили на рубежах обороны немало своих земляков — в любой части были местные жители, мобилизованные из запаса, вчерашние бойцы истребительных батальонов, ставшие красноармейцами. Особенно радовались делегаты встречам с командирами и бойцами, которых знали заочно по их фронтовым делам. Одесские газеты, местное радиовещание изо дня в день рассказывали об отличившихся защитниках города, и имена многих из них стали знакомы десяткам тысяч людей. Это были командир полка моряков Яков Иванович Осипов, героини-летчики Михаил Асташкин, Аггей Елохин, Алексей Маланов и другие, бесстрашные комиссары С. Е. Лившин, Н. А. Верховец, В. А. Митраков, капитан-артиллерист Василий Барковский, минометчик Владимир Симонок, истребитель танков Дмитрий Якунин. Да разве перечислишь всех, о ком шла по Одессе боевая слава!

Широкую известность приобрел среди своих земляков боец-богатырь, недавний грузчик порта Яков Бегельфер, который в жарких контратаках перебил штыком и прикладом больше двух десятков врагов. Почти невероятные, хотя и совершенно правдивые истории рассказывались об артиллерийском разведчике младшем сержанте Алёксандре Нечипуренко, депутате областного Совета. Чтобы лучше корректировать огонь подвижной береговой батареи, он пробирался со своей рацией в расположение противника, а на обратном пути уничтожал гранатами то минометный расчет, то пулеметное гнездо. Однажды Нечипуренко вернулся на запряженной лошадьми румынской противотанковой пушке, которую пригнал вместе с зарядными ящиками, полными боеприпасов.

О том, как славился своими ударами по врагу артиллерийский полк майора Богданова, я уже говорил. Теперь в городе, как и в частях, можно было услышать посвященную ему песню. Припев ее звучал так:

Нет, не бывать в Одессе гадам,  
Не видеть наших берегов!  
Лихих богдановцев снаряды  
Летят на головы врагов...

В ночь на 23 сентября из Новороссийска пришел транспорт «Чапаев», доставивший в Одессу новое, тогда никому из нас не знакомое оружие. В телеграмме, предварившей прибытие судна, командующий флотом предупреждал об особой секретности этого оружия и особой ответственности за то, чтобы оно ни при каких обстоятельствах не попало в руки врага.

Для швартовки «Чапаева» отвели не используемый обычно причал. Следовавшие на транспорте бойцы сами оцепили место выгрузки. На причале вскоре появились грузовые машины с какими-то надстройками, которые издали показались портовикам похожими на понтоны, но почему-то зачехленные. А на армейский КП явился невысокого роста старший лейтенант, представившийся как командир отдельного гвардейского минометного дивизиона Небоженко. Его заботила прежде всего организация охраны секретной техники.

Это происходило через два месяца после того, как наша реактив-

ная артиллерия произвела на советско-германском фронте свой первый боевой залп. О гвардейских минометах, которые армия окрестила потом «катюшами», еще ничего не сообщалось в печати, и мы в Одессе хотя и слышали о них, однако представление имели довольно смутное. Насколько мы знали, таких дивизионов было пока очень немного. Выделение одного из них для Одесского оборонительного района вслед за свежей стрелковой дивизией подтверждало большое внимание Ставки к нашему участку фронта.

Дивизион Небоженко зачислили в армейский резерв с подчинением начальнику артиллерии. Для охраны техники выделили стрелковый взвод. Кроме того, в его распоряжение была назначена группа саперов для уничтожения боевых установок на случай, если возникнет угроза захвата их противником. Старший лейтенант ревностно оберегал свои машины от постороннего глаза, не разрешая осматривать их почти никому. Но полковника Рыжи он познакомил с ними обстоятельно, и уже тот просветил насчет гвардейских минометов оперативных работников штаба армии. Со слов Николая Кирьяковича знаю я и подробности первого боевого использования «эрэсов» под Одессой. Посмотреть, как действует новое оружие, выезжали на наблюдательный пункт также контр-адмирал Жуков, члены Военного совета ООР.

Первый залп произвели в районе Дальника — там противник продолжал атаки изо дня в день. Ночью Небоженко вывел свои машины на огневую позицию (сразу после залпа ее надлежало покинуть). Полковник Рыжи выделил дивизиону отдельный участок в полкилометра шириною, по которому не должна была вести огонь обычная артиллерия. Неприятельские траншеи в этом месте хорошо просматривались с нашей стороны. Вражеская атака началась, как по расписанию, через час после рассвета. На соседних участках на пехоту противника обрушился еще на исходных позициях огонь наших батарей. Иван Ефимович Петров, который также был на КП вместе с Рыжи (дело происходило в полосе его дивизии), торопил Николая Кирьяковича подавать команду гвардейцам-минометчикам...

— Гвардейцам огонь! — приказал начарт по телефону, когда наступило время.

Взвились клубы дыма, раздался рев и скрежет, и небо прочертили десятки огненнохвостых ракет. Все, наблюдавшие этот залп, видели такую картину впервые. По совету командира дивизиона бойцов, оборонявшихся на этом участке, специально предупредили, что будет нечто особенное — чтоб не пугались. А затем ракеты стали с ослепительным блеском и раскатистым грохотом рваться там, где только что поднялась в атаку неприятельская пехота. Когда грохот стих, до нашего наблюдательного пункта донеслись оттуда истошные вопли, и было видно, как те солдаты, что уцелели в траншеях, в панике бегут в свои тылы.

По словам Рыжи, у противника возникло такое смятение, что прекратили огонь находившиеся поблизости, но не задетые залпом батареи. Утренняя атака на этом участке была сорвана сразу. Потом, правда, враг опомнился. В тот раз «катюши» дали всего один залп, и «шок» не мог действовать слишком долго. В дальнейшем дивизион Небоженко использовался при отражении попыток противника прорвать наш фронт в районе Татарки и Болгарских хуторов. Огонь гвардейских минометов неизменно ошеломлял врага. Но присланный нам запас реактивных снарядов был невелик, и мы расходовали их экономно, берегли ракетные залпы для нового контрудара, к которому готовились.

Планируя, где применить эту огневую силу, я был далек от мысли, что ракетное оружие, начинавшее тогда свою боевую историю, может

стать в будущем моей военной специальностью, главным делом моей жизни... И, конечно, невозможно было в то время представить, какой фантастической мощи, какого изумительного технического совершенства достигнут в последующие десятилетия наши советские ракеты — потомки скромных по современным понятиям «катюш» сорок первого года.

Перегруппировка, обеспечившая сосредоточение основных сил Приморской армии в Южном и Западном секторах, уже была подготовкой нового контрудара. Замысел, который вынашивал командарм, сводился к тому, чтобы ударом в направлении Ленинталя — Петерсталь (совхоз «Авангард» — Петродолинское) разгромить неприятельские войска, вклинившиеся в нашу оборону на левом фланге, и выйти здесь на прежний рубеж. Тогда стал бы невозможным обстрел Одессы и с этого направления, да и фронт отодвинулся бы от города на расстояние, при котором не так уж опасны всякие неожиданности. Важно было также оградить от огневых налетов стационарные береговые батареи, к которым враг за последнее время пристрелялся. Излагая свою идею, Софронов не скрывал, что она сопряжена с риском гораздо большим, чем уже осуществленный в Восточном секторе план.

— По науке, как тебе известно, полагается иметь для успеха наступления в три раза больше сил, чем имеет противник, — говорил Георгий Павлович. — У нас же тут получится почти наоборот. Если, допустим, введем в наступление три дивизии, считая и кавалерийскую, то у противника их в этой полосе наберется до пяти. А под боком есть и еще... В артиллерии и авиации соотношение сил еще хуже для нас. Выходит, авантюра? А по-моему, все-таки не авантюра, и решиться на это можно.

Командарм верил в высокий боевой дух наших красноармейцев и командиров. Окрыленные сейчас успехом в Восточном секторе, они почувствовали свою силу и не остановятся ни перед чем, чтобы выполнить новый боевой приказ. А моральное состояние войск противника таково, считал он, что, несмотря на свой численный перевес, румыны вряд ли проявят особую стойкость при нашей решительной атаке, поддержанной хорошим огнем.

На столе у Георгия Павловича лежала очередная пачка переведенных в отделе майора Потапова писем и дневников убитых неприятельских солдат и офицеров. Он находил особенно примечательными офицерские дневники: в них появилось столько откровенного нытья и жалоб на судьбу, что это говорило о многом. О том, как надоело им воевать за гитлеровскую Германию, твердили теперь и чуть ли не все пленные. На фронте уже несколько раз мы наблюдали такие случаи: начинается на каком-нибудь участке огневой налет, похожий по всем признакам на артподготовку, а атака за ним не следует. Наши командиры, докладывавшие об этом, делали вывод, что офицеры противника, очевидно, не смогли поднять своих солдат из окопов.

— Пусть у них здесь пять дивизий, а у нас в лучшем случае наберется три, — развивал свою мысль командарм. — Но это неприятель, уже основательно нами потрепанный. Он деморализован уже тем, что не сумел нас одолеть, когда по четыре-пять полков наседали на один наш, да еще неполного состава. А после того, как мы дали им жару между лиманами, настроение вряд ли поднимется!..

Мне казалось, что Георгий Павлович прав — наносить новый контрудар можно и нужно. Он был заметно обрадован, что наши мнения совпали.

Прежде чем вносить предложение о новом контрударе на рассмот-

рение Военного совета, Георгий Павлович поделился своими соображениями и с другими товарищами. Генерал Шишенин отнесся к его идее осторожно, высказав некоторые сомнения в успехе задуманного. Но контр-адмирал Жуков горячо поддержал. Решение наступать в Южном секторе было принято, и я засел за разработку плана.

Возникло, однако, непредвиденное осложнение: не поступила вовремя ожидавшаяся из Севастополя партия снарядов. Как потом выяснилось, задержка имела серьезные причины. 27 сентября командующий флотом прислал Военному совету ООР телеграмму, где предлагалось экономить боеприпасы, так как на регулярность снабжения Одессы может повлиять тяжелое положение, создавшееся на подступах к Крыму. У нас же имелось лишь около половины боекомплекта по основным калибрам полевой артиллерии. Были и такие мнения, что можно наносить удар с этими снарядами, поскольку артиллерию частично заменят гвардейские минометы. Но тут уж и Софронов посчитал, что это был бы слишком большой риск.

Приходилось ждать снарядов, и ориентировочный срок второго контрудара стал отодвигаться со дня на день.

Пока шла перегруппировка армии и мы обдумывали планы на ближайшее будущее, на подступах к Одессе продолжались бои, и положение на некоторых участках бывало весьма напряженным.

Усилив свой левый фланг свежей дивизией, противник предпринял наступление вдоль восточного берега Куяльницкого лимана — на Гильдендорф, одновременно атакуя на перешейке между Куяльницким и Хаджибейским. Но это наступление было сорвано решительными действиями наших частей. В числе трофеев дивизии Коченова оказалось сорок станковых пулеметов, более двухсот пятидесяти винтовок, два десятка автомашин. Героями дня вновь стали артиллеристы. Сосредоточенный огонь артиллерии остановил наступающего врага и предрешил успех последовавшей затем контратаки.

Дважды была отбита попытка противника потеснить нас за Большим Аджалыкским лиманом, у Новой Дофиновки. Враг, отброшенный назад 3-м морским полком, оставил в ничейной полосе много своих раненых. Крики их доносились до наших окопов.

— Есть охотники вынести румынских раненых, — доложил по телефону командиру дивизии комиссар полка И. А. Слесарев. — Разрешите? Сейчас тут тихо.

Подумав, Коченов разрешил: все-таки люди...

— Но прекратить немедленно, если противник вздумает стрелять! — предупредил комдив.

Не оценили фашистские офицеры благородного порыва моряков — по краснофлотцам, выползшим из окопов с носилками, был открыт огонь. Они вернулись обратно.

Наконец 29 сентября в Одессу были доставлены необходимые для нового контрудара снаряды. Я закончил подготовку боевого приказа и составил плановую таблицу наступления в Южном секторе. Назначалось оно на 2 октября.

Но произошли события, изменившие наши планы.

## ВО ИМЯ ГРЯДУЩЕЙ ПОБЕДЫ

В ночь на 1 октября в Одессу прибыл из Севастополя на быстром катере заместитель наркома Военно-Морского Флота вице-адмирал Г. И. Левченко. Он давно уже находился на Черном море и за

время Одесской обороны бывал у нас неоднократно. Однако в этот раз Гордей Иванович, как оказалось, спешил сюда по совершенно особым причинам.

Немедленно по прибытии Левченко собрался Военный совет оборонительного района. На заседании, как обычно, присутствовали начальник штаба ООР Г. Д. Шишенин и командарм Г. П. Софронов, был приглашен также командир военно-морской базы И. Д. Кулешов. Уже по экстренности созыва этого ночного заседания почувствовалось, что возник какой-то вопрос исключительной важности. Причем он не мог быть вызван обстановкой на одесском плацдарме: тут не происходило ничего особенного.

Когда заседание окончилось, меня вызвал Гавриил Данилович Шишенин.

— Одессу оставляем,— глухо сказал он.— Адмирал Левченко привез директиву Ставки...

Вскоре я смог сам прочесть этот документ.

«...В связи с угрозой потери Крымского полуострова, представляющего главную базу Черноморского флота,— говорилось в директиве, датированной 30 сентября,— и ввиду того, что в настоящее время армия не в состоянии одновременно оборонять Крымский полуостров и Одесский оборонительный район, Ставка Верховного Главнокомандования решила эвакуировать Одесский район и за счет его войск усилить оборону Крымского полуострова».

Дальше следовали пункты с вытекавшими из этого решения практическими указаниями. Первый из них гласил:

«Храбро и честно выполнившим свою задачу бойцам и командирам Одесского оборонительного района в кратчайший срок эвакуироваться из Одесского района на Крымский полуостров».

Командующему 51-й армией предписывалось бросить все силы для удержания Арабатской стрелки, Чонгарского перешейка, южного берега Сиваша и Ишуньских позиций до прибытия войск из ООР, командующему Черноморским флотом — приступить к переброске войск и материальной части из Одессы в порты Крыма. Вооружение и армейское имущество, которое нельзя эвакуировать, надлежало уничтожить.

Иногда приходится теперь читать, что решение Ставки оставить Одессу было для участников обороны и даже для ее руководителей совершенно неожиданным. Не спорю, может быть, для кого-нибудь оно было именно таким. Однако про себя сказать этого не могу. Развитие событий на Юге за предшествовавшие дни постепенно подготавливало и к такой возможности. Пусть в общих чертах, без подробностей, но мы знали, какое положение складывается в Крыму, уже отрезанном на суше и связанном с остальной страной тоже лишь морем. А если немцы ворвутся в Крым, как снабжать тогда Одессу? И оправдано ли распыление отнюдь не безграничных морских транспортных ресурсов уже сейчас, когда и для питания армии в Крыму, очевидно, необходимы крупные перевозки с Кавказа? Такие мысли волей-неволей возникали при взгляде на карту, как только оторвешься от того, что происходило на самом одесском плацдарме.

Да, мы могли удерживать и впредь наш плацдарм — сейчас в этом не было никаких сомнений. Но только при бесперебойном сообщении с Большой землей. Причем доставлять оттуда требовалось, кроме боеприпасов, также и продовольствие, фураж, горючее — запасы всего этого почти иссякали. А обстановка на черноморских коммуникациях становилась все более сложной. У противника появились стаи охотящихся за нашими судами пикировщиков. В памяти свежи были тяже-



ло пережитые потери и повреждения кораблей в день высадки десанта и раньше. И уже не раз приходило на ум: если так пойдет дальше, не приведет ли удержание Одессы к слишком большому, невосполнимому в условиях войны ослаблению Черноморского флота?

А из директивы Ставки выяснилось и другое: сил 51-й армии недостаточно, чтобы удержать Крым. Адмирал Левченко, который только что сам был на севере полуострова, сообщил, что наши войска отходят на Ишуньские позиции, где нет надежных оборонительных сооружений.

Быстрое оставление Перекопа потрясло и казалось непонятым: он с юности вошел в сознание как неприступная твердыня. Но раз уж так вышло, что мы не удержались на Перекопе и есть угроза потерять Крым, дальнейшее пребывание целой армии под Одессой едва ли могло быть оправдано. И предложение, которое внес в Ставку Военный совет Черноморского флота — это он поставил вопрос об оставлении Одессы перед Верховным Главнокомандованием, — представлялось разумным и обоснованным. Приморская армия, хотя она и продолжала сковывать крупные силы противника, сейчас даже более крупные, чем раньше, в Крыму была еще нужнее.

Слов нет — после того, как армия вместе с флотом отстояла Одессу, после того, как мы уверились, что не пустим в нее врага, сдавать город было невероятно тяжело. По-человечески я понимал тех, кто, получив директиву, еще не хотел верить, что наш уход отсюда неизбежен. Как сказал Шишенин, моряки, а также секретарь обкома партии А. Г. Колыбанов надеялись убедить Ставку и командование флота, что оборону города надо продолжать. Им хотелось верить: Крым устоит и без наших дивизий, как устояла в свои критические дни Одесса.

Заседание Военного совета, прерванное, чтобы проанализировать создавшуюся обстановку, возобновилось через несколько часов. Поборов свои чувства и шире взглянув на вещи, все уже были готовы обсуждать способы выполнения новой задачи в практическом плане. Задача эта была труднейшей, на первый взгляд — почти невыполнимой.

Услышав от Шишенина: «Одессу оставляем», — я чуть было не произнес вслух: «А как уйдем?» Продолжать оборону города от превосходящих нас вчетверо вражеских сил, вести бои даже на уличных баррикадах — все это казалось проще, яснее, чем суметь без больших потерь вывезти войска с «пяточка» в неприятельском тылу. А весь смысл был именно в том, чтобы проделать это без больших потерь — только боеспособная армия могла помочь Крыму.

Мы знали, чем кончилась год назад попытка англичан эвакуировать свою армию из Дюнкерка. Впрочем, думалось не столько об этом печальном опыте, сколько о наших конкретных условиях. Надо было перехитрить противника, имевшего реальную возможность не выпустить приморцев в Крым.

Над планами эвакуации и их обеспечением предстояло еще много работать. Но начать отправку войск требовалось немедленно, в те же сутки. С Большой земли уже вышла первая группа транспортов, и следующей ночью они ожидалась в Одессе. Чтобы быстрее помочь 51-й армии, решено было в первую очередь отправлять самую боеспособную из наших дивизий — 157-ю. Сразу после заседания Военного совета ее командира Д. И. Томилова и комиссара А. В. Романова вызвали на КП.

Общие сроки эвакуации в директиве Ставки не указывались, из чего следовало, что определять их надо самим. Но пока еще не выяснилось, когда и сколько транспортных средств в состоянии предоставить флот. Первоначальный план, который наметили 1 октября, пока не мог

быть подкреплен точными расчетами. Ориентировочно он предусматривал отправку до 6 октября полков 157-й дивизии и приданной ей артиллерии, а также всех раненых. В течение следующего этапа — с 7 по 15 октября — должны были эвакуироваться тылы армии и военно-морской базы, тяжелая боевая техника, инженерные и строительные батальоны, квалифицированные рабочие, остававшиеся в городе семьи военнослужащих, партийный и советский актив. На последний этап — с 16 по 20 октября — оставалось самое сложное: вывод из боя и отправка на Большую землю основных сил армии и частей прикрытия.

Когда обсуждался этот план, претерпевший потом значительные изменения, поступили телеграммы от наркома Военно-Морского Флота Н. Г. Кузнецова и начальника Главного политуправления ВМФ И. В. Рогова. Они требовали обратить особое внимание на скрытность эвакуации, предостерегали от повторения ошибок, допущенных при оставлении Таллина (там балтийцы потеряли несколько кораблей и транспортов, в частности из-за того, что они уходили в дневное время).

Безотлагательно, одновременно с принятием самых первых мер по выполнению директивы Ставки, потребовалось решить, как быть в изменившейся обстановке с подготовленным контрударом в Южном секторе. Прежний план в любом случае нуждался в пересмотре, поскольку на 157-ю дивизию в полном случае рассчитывать уже не приходилось.

Командование ООР подтвердило: контрудар наносим. Теперь это приобретало новый смысл. Наступление должно было ввести противника в заблуждение относительно наших дальнейших намерений. Но цель ставилась уже более скромная, ибо для разгрома неприятельской группировки, противостоящей нашему левому флангу, оставшихся сил хватить никак не могло. К середине дня 1 октября была готова новая плановая таблица. Вскоре исполнители получили ее вместе с боевым приказом.

Наступление начиналось 2-го утром. Основной удар в направлении Ленинталя наносила Чапаевская дивизия с приданным ей одним полком 157-й. В распоряжении генерала Петрова находились дивизион гвардейских минометов и отдельный танковый батальон. Слева от чапаевцев наступала кавалерийская дивизия. Кроме собственной артиллерии атакующих дивизий, их поддерживали с правого фланга дивизионы Западного сектора, а также богдановцы, береговые батареи, бронепоезда и 422-й тяжелый гаубичный полк — тот, что прибыл вслед за дивизией Томилова.

Дмитрий Иванович Томилов очень расстроился, узнав, что его дивизия должна покинуть Одессу, да еще раньше всех. Когда его спросили, какой из стрелковых полков он предлагает оставить для участия в контрударе, комдив назвал 384-й полк майора Соцкого как самый лучший. Другой полк дивизии мы держали пока в армейском резерве. А третьему предстояло вместе с легкими артиллерийскими батареями погрузиться этой же ночью, за несколько часов до контрударов, на «Украину», доставившую нам снаряды, и «Жана Жореса», только что пришедшего с грузом продовольствия.

Поздно вечером на армейский КП приехал Иван Ефимович Петров. На это он испросил разрешение у командарма после того, как получил боевой приказ и плановую таблицу Командиру Чапаевской дивизии, решавшей завтра основную задачу, хотелось о чем-то переговорить лично с Софроновым.

День, полный переживаний для всех, кто был ознакомлен с директивой Ставки (о ее содержании знали даже в штабе армии пока немногие), принес Георгию Павловичу еще и большое личное горе: пришла телеграмма о том, что на фронте под Москвой убит его старший

сын. Придержать бы эту телеграмму хоть до завтра... Но связисты, ни с кем не посоветовавшись, поспешили вручить ее командарму прямо за ужином.

Софронов встретил горе мужественно. Он сразу же вернулся к делам, выслушивал доклады о подготовке к наступлению. Потом долго один на один разговаривал с Петровым. Когда тот уехал к себе и явился к командарму с уточнениями к плану эвакуации (поступили уже сведения о транспортах, которые придут в ближайшие дни), он устало произнес:

— Тревожится Иван Ефимович за завтрашнее... Думаю, напрасно. Обещал быть к утру у него на КП.

Я понял, что разговор у них был неофициальный, товарищеский. Да и каким еще мог он быть после того, как приказ отдан? А у Петрова — это я уже хорошо знал — беспредельная личная храбрость сочеталась с расчетливой осторожностью, когда дело шло о замысле боя. Видимо, его смущало, что после выключения из контрудара двух томиловских полков численный перевес противника в полосе завтрашней атаки слишком велик. Но, разумеется, не могло быть сомнений — для выполнения боевой задачи генерал Петров сделает все, что в его силах.

Отпуская меня, Софронов сказал, что «помозгует» над планом вывода из боя основных сил армии. Он начал работать над ним еще с утра, несколько раз совещался с Жуковым и снова садился за расчеты: решение давалось трудно.

Командарм не спал и в прошлую ночь — после того как прибыл с новостями Левченко, было не до этого. Но сейчас он, наверное, все равно не смог бы уснуть: бороться с обрушившимся горем помогала ему только работа.

Несколько часов спустя за мной пришел адъютант Софронова старший лейтенант К. Ф. Шанин: командующий хотел дать какие-то указания.

Генерал сидел за рабочим столом в расстегнутом кителе, откинувшись как-то странно вбок. В лежавшей на бумагах руке дымилась стиснутая пальцами папироса. Лицо было очень бледно.

— Что с вами, Георгий Павлович? — встревожился я. — Вызвать врача?

— Погоди, сейчас пройдет, — не очень внятно проговорил он, не меняя позы. — Резануло по сердцу будто ножом...

Шанин, вошедший вслед за мною, бросился за врачом. Выглянув в коридор, я подозвал двух первых попавшихся работников штаба, и мы уложили Софронова на стоявшую в кабинете койку. Он не сопротивлялся этому, только потянул за собою развернутую на столе карту.

Через две-три минуты появились дежурный врач и медсестра. Георгий Павлович впал в полузабытье. Быстро принесли и стали пристраивать над койкой кислородную палатку. Врач шепотом сказал, что по всем признакам это инфаркт.

На командный пункт к генералу Петрову, куда собирался Софронов, выехал контр-адмирал Жуков.

Телефонной связи с Петровым не было, работал только буквопечатающий аппарат. За сорок минут до начала контрудара я прочел с ленты телеграмму Петрова: комдив Чапаевской докладывал, что из-за неготовности тяжелого гаубичного полка вынужден перенести все на один час. С этой поправкой дальнейшее шло по плану. Двадцатиминутную артподготовку открыли «катюши». В 10.00 чапаевцы с полком Соцкова и кавалерийская дивизия Новикова (конечно, в пешем строю) перешли в наступление. На участке, обработанном гвардейскими мино-

метами, противник сразу оставил первую линию обороны, начав беспорядочный отход. Наиболее упорное сопротивление оказывалось на левом фланге контрудара — там, где атаковала и кавалерийская дивизия.

Я оставался у себя — на «третьем этаже» подземелья. Когда выдалась свободная минута, справлялся о состоянии командарма. Врачи, дежурившие около него, докладывали: больной спокоен, дремлет, ему не хуже. Однако становилось очевидным, что в напряженнейшие дни, когда надо было, продолжая бои, постепенно отправлять войска на Большую землю, командарм выбыл из строя.

Потом мне передали, что Софронов проснулся и просит зайти к нему.

— Что на фронте? Как наступление? — встретил он меня нетерпеливыми вопросами.

Решив, что хорошие вести не повредят, я присел у койки и стал кратко излагать самое главное:

— Все идет хорошо. Наступление началось по плану и развивается успешно. На некоторых участках противник побежал. Танкисты Юдина ворвались в Ленинталь...

Софронов заулыбался:

— Так это же здорово, Николай Иванович... Поздравляю тебя, голубчик!. От таких новостей мне, кажется, сразу легче стало. А куда дошли на левом фланге?

Но тут врач, уже делавший мне знаки, решительно вмешался, потребовав прекратить служебный разговор.

Во второй половине дня сопротивление противника стало нарастать. Ошеломленный в первые часы внезапностью нашего натиска и мощью сосредоточенного огня, он переходил теперь в контратаки. Танкисты, пробившиеся вперед, оторвались от пехоты. Кавалерийская дивизия, встретив сильный и организованный отпор с самого начала (иметь бы нам еще дивизиончик «катюш!»), продвинулась совсем незначительно.

Выполнив своей Чапаевской дивизией ближайшую задачу, генерал Петров приостановил наступление, доложив, что должен привести в порядок и выравнять части, ликвидировать образовавшиеся разрывы.

Когда нам приходилось делать паузу во время наступления в Восточном секторе 22 сентября, там обстановка была иной: наш ударный кулак был сильнее, а резервы противника находились относительно далеко. На этот раз они находились совсем близко, и двухчасовая передышка была использована не только нами. После нее наступление практически прекратилось — продвинуться дальше нашим войскам не удалось. Правда, враг тоже не смог выбить наши полки с достигнутого рубежа. Отразив все контратаки, чапаевцы и полк Соцкова закрепились к вечеру на линии, проходящей через хутор Дальницкий и гряды отлогих холмов западнее Дальника.

Особенно отличились в этот день танкисты. Батальон старшего лейтенанта Юдина, состоявший в основном из бронированных тракторов, действовал фактически самостоятельно, так как пехота за ним не поспевала. Давя врагов гусеницами и истребляя огнем, группы танков достигли низины к западу от Ленинталья. Юдин доносил потом, что батальон уничтожил до тысячи солдат противника. Пусть эта цифра и не была особенно точной, однако несомненно одно — танки, созданные в осажденной Одессе, нанесли противнику 2 октября самый большой урон за все время их участия в боях.

Убедившись, что пехота их не догонит, танкисты повернули в кон-

це концов обратно. Но возвращались они, как говорится, не с пустыми руками. Танки шли прямо на позиции неприятельских батарей, давя и разгоняя орудийные расчеты. А затем исправные пушки прицеплялись к тракторам-танкам — как плуги или комбайны, для буксировки когорых предназначались эти машины при первом своем рождении. Танкисты привели так двадцать четыре орудия разных калибров. Сверх того прихватили много минометов и пулеметов — сколько сумели закрепить на танках и пушках.

Но понес потери и сам танковый батальон. Шесть или семь бронетракторов были подбиты орудийным огнем и вышли из строя из-за технических неполадок. Большую часть личного состава этих машин спасли другие экипажи. Среди тех, кого батальон недосчитался, был его комиссар старший политрук Мозолевский.

Общие потери войск, участвовавших в атаке, оказались значительнее, чем 22 сентября, чего, впрочем, следовало ожидать. В полку майора Соцкова они составляли (вместе с ранеными) до трети его численности.

Много позже мне довелось прочесть описание этого нашего наступления, и в частности атаки танкистов, в донесении командования 4-й румынской армии высшему начальству. Там обстоятельно перечислялись подразделения и части, которые при прорыве наших танков обратились в паническое бегство и были потом остановлены лишь огнем своей артиллерии...

Эти признания врага подтверждали задним числом, что и в Южном секторе, имея мы больше сил, успех можно было бы развить. Конечно, в ограниченных пределах: ведь к началу октября противник сосредоточил вокруг нашего плацдарма уже семнадцать пехотных и одну кавалерийскую дивизию.

Но и такой удар, какой мы смогли нанести в Южном секторе, сыграл свою роль. И не только потому, что удалось основательно потрепать некоторые неприятельские части (мы считали, что уничтожено не менее четырех батальонов пехоты, а в числе трофеев было — вместе с добычей танкистов — сорок четыре орудия, из них четыре тяжелых). Активные действия на новом направлении хорошо маскировали уже начатую эвакуацию, вводя противника в заблуждение. На наши атаки он отвел переброской на этот участок еще одной свежей дивизии.

Однако задача удержать рубежи, достигнутые Чапаевцами 2 октября, теперь уже не ставилась. И 384-й полк майора Соцкова, и 422-й гаубичный подлежали выводу в армейские тылы. Эвакуационные расчеты, изо дня в день корректировавшиеся, показывали, что отправить в Крым всю дивизию Томилова, возможно, удастся раньше намеченного. По решению Военного совета Чапаевская дивизия 4 октября отошла на позиции, которые занимала до наступления. Так мы и определяли замысел: ударить — и отойти.

Вечером 4 октября я докладывал — вместо Г. П. Софронова — Военному совету ООР план вывода войск из боя и отвода их с оборонительных рубежей к пунктам посадки на суда. План этот, исходивший из первоначально намеченных сроков эвакуации, успел в значительной мере подготовить сам командарм. Он отражал идею Г. П. Софронова: после того, как будут эвакуированы 157-я дивизия, тяжелая техника, тылы, инженерные и строительные батальоны, отвести в течение 16—20 октября основные силы армии последовательно, двумя эшелонами, на рубеж прикрытия и баррикады внешнего пояса обороны города.

В первый эшелон командарм включил Чапаевскую и кавалерийскую дивизию, во второй — 95-ю и 421-ю. Отвод войск предполагалось прикрывать арьергардами и оставшейся артиллерией, в том числе зенит-

ной и береговой, а также кораблями и флотской бомбардировочной авиацией.

Кроме членов Военного совета ООР, в заседании принимали участие Г. Д. Шишенин, Н. К. Рыжи, Г. И. Левченко, А. Ф. Хренов, член Военного совета армии М. Г. Кузнецов, начальник поарма Л. П. Бочаров, начинж Г. П. Кедринский, командир Одесской базы И. Д. Кулешов и ее комиссар С. И. Дитятковский, начальник оперативного отдела штаба флота О. С. Жуковский (он прибыл вместе с адмиралом Левченко). Присутствовавшие высказали ряд замечаний и опасений, связанных главным образом с отводом двух последних дивизий. Я и сам чувствовал, что в нашем плане есть уязвимые места, и, может быть, не только в этой его части. Задача была совершенно новой, никто не имел опыта организации чего-либо подобного. Да и не хватало времени проанализировать все до конца.

Тем не менее план в целом одобрили. Решили закончить 10 октября эвакуацию раненых и инженерно-строительных частей. 12—13 октября — тылов и тяжелой техники. Отправка дивизий, высвобождающихся после сокращения фронта, намечалась на 17—18-е, остальных — на 19—20 октября.

Для эвакуации требовалось ежедневно пять-шесть транспортов. Контр-адмирал И. Д. Кулешов доложил разработанный в штабе базы порядок посадки на суда и план прикрытия морской артиллерией отвода войск в порт. Еще раньше мы совместно с моряками разработали меры обеспечения скрытности эвакуации и дезинформации противника. К ним относилась активизация действий наших частей на различных участках обороны и демонстративная «подготовка к зиме» — продолжать заготовку овощей, строительство землянок, выдавать в некоторых подразделениях теплое обмундирование. Условились, что транспорты, идущие в Одессу, будут иметь на верхних палубах железные печи для землянок, ящики и мешки с продовольствием, а перевозка этих грузов из порта в части должна производиться в светлое время.

Капитан 2-го ранга Жуковский обещал, что флотские разведчики подбросят противнику фиктивные документы, из которых будет явствовать, что в Одессу перевозятся новые части. Особо тщательно маскировалась любая посадка войск и погрузка техники на суда.

Вскоре появились признаки того, что эти наши меры достигают цели. В октябре вражеская авиация все чаще атаковывала транспорты на переходе от Большой земли к Одессе. Между тем суда, следовавшие обратно, почти не преследовались: противник, видимо, считал, что они идут порожняком. Примечательна и такая деталь, ставшая известной, правда, уже после войны: на картах германского генштаба наша 157-я дивизия показывалась в районе Одессы вплоть до 15 октября, в то время как она давно уже находилась в Крыму.

Выход из строя Г. П. Софронова заставил Военный совет ООР решать вопрос о командующем Приморской армией. Обстановка требовала назначить нового командарма немедленно, а уж потом высшие инстанции могли либо утвердить его, либо заменить другим. В Одессе было два генерала, которые могли возглавить армию: В. Ф. Воробьев и И. Е. Петров. Военный совет остановился на Иване Ефимовиче Петрове, учитывая, что он имеет большой боевой опыт. Насколько мне известно, сыграло тут роль и мнение генерала Софронова. Георгий Павлович нередко не соглашался в чем-либо с Петровым, на многое смотрел иначе, чем тот, но своим преемником рекомендовал именно его.

Чапаевскую дивизию принимал от Петрова генерал-майор Т. К. Коломиец, возглавлявший до этого армейскую службу тыла.

Г. П. Софронов нуждался в длительном лечении и покое. Врачи признали его транспортабельным, и 5 октября Георгия Павловича отправили на Большую землю. Одновременно отбывали из Одессы Г. И. Левченко и член Военного совета ООР секретарь обкома партии А. Г. Колыбанов — его отзывали в Москву.

Обязанности службы не дали мне проводить командарма до порта. Простились в его кабинете. Георгий Павлович все еще дышал кислородом — воздух нашего КП был сейчас не для него.

Не сосчитать, сколько раз на дню в течение многих недель бывал я в этой неуютной подземной комнате, каменную мрачность которой не скрашивал и разостланный на полу большой ковер. Здесь мы вместе с командармом пережили немало тревожных часов, когда положение на фронте становилось отчаянно трудным. Здесь радовались добрым вестям из секторов обороны, а вслед за ними приходили новые осложнения и тревоги. Иногда после докладов об итогах боевого дня — они обсуждались обычно около часа ночи — Софронов вспоминал что-нибудь из давних лет. Однажды засидевшиеся у командующего работники штаба услышали рассказ о том, как весной девятнадцатого года на первые Московские командные курсы (потом они стали Военной академией имени Фрунзе) приезжал Ленин.

— Я учился на этих курсах и был секретарем партбюро, — говорил Георгий Павлович. — Владимир Ильич приехал к нам в апреле на собрание по случаю вручения курсам Красного знамени Рогожского райкома. Ленин зашел сперва в комнату партбюро, расспрашивал, как учатся курсанты-коммунисты. Потом выступил на собрании. Время было трудное — наседали Колчак, на Восточном фронте Красная Армия потерпела ряд неудач. Но речь Ильича дышала бодростью, уверенностью в нашей победе. Он сказал, что армия рабочих и крестьян, одолевшая уже многих врагов, должна разбить и Колчака, и обязательно разобьет...

Под Одессой, да, очевидно, и на всем фронте, тоже было тогда очень трудно. И притихшим в кабинете командирам казалось, что ленинские слова, которые услышал в девятнадцатом году наш командарм, обращены ко всем нам в сорок первом. Как и в гражданскую войну, у нас был только один выход — разбить врага!

На плечи первого командарма Приморской легла нелегкая ноша. Софронов нес ее, пока хватило сил. Его выдержка иной раз удивляла. Какие только не возникали обстоятельства! Случалось, что-то и упустишь, прохлопаешь. Но я не помню, чтобы хоть раз генерал Софронов, разговаривая со мною, повысил голос, вспылит. Не о многих это скажешь, с кем приходилось быть рядом на войне.

Наверное, спокойный характер Георгия Павловича помог ему справиться и с подкосившим его в Одессе недугом. Старый большевик и ветеран Советских Вооруженных Сил генерал-лейтенант в отставке Г. П. Софронов здравствует и поныне. Не так давно он стал прадедом.

Генерал-майор Иван Ефимович Петров прибыл на армейский КП в своей неизменной кавалерийской портуpee, свежий и бодрый, кипуче деятельный.

Вызвав меня и начарта Рыжи, новый командарм без всяких предисловий спросил:

— Товарищи, насколько прочны у нас фланги? Допустим, положение на левом я сейчас знаю. А как правый? Там нас не подстерегают никакие неожиданности? Подумайте, что еще можно сделать, чтобы эти участки нас не подвели.

Озабоченность Ивана Ефимовича состоянием флангов была понятна. Еще утром 5 октября, до вступления его в командование армией,

батальон противника форсировал мелководную часть Сухого лимана, на восточном берегу которого у нас не было сплошной обороны. Туда перебросили находившийся в армейском резерве батальон Разинского полка и отряд пограничников. Вместе с другими подразделениями они разгромили вражеский батальон, и лишь остатки его вернулись на западный берег. Но сама попытка переправиться через лиман настораживала — противник подбирался к нашим береговым батареям.

А другой, правый фланг армии находился в опасном соседстве с путями, по которым гитлеровское командование передвигало к Николаеву и дальше — к Крыму — свои резервы. Вздумай оно повернуть какую-нибудь дивизию против нашего Восточного сектора, это могло быть сделано очень быстро.

Я уже ссылался на опубликованное после войны письмо Гитлера, в котором тот советует Антонеску сокрушить Одессу, подойдя к городу с северо-востока по побережью. Дата гитлеровского послания — 5 октября 1941 года. В этот самый день командарм Петров потребовал от нас усилить внимание к флангам. Про такие совпадения в народе говорят: словно в воду глядел...

Отношения с новым командующим сразу установились простые и ясные. К Ивану Ефимовичу я давно уже испытывал не просто уважение, но и глубокую симпатию. И радовался, ощущая дружеское расположение с его стороны. Это отнюдь не мешало ему быть чрезвычайно требовательным. Чуждый всякого дипломатичанья, прямой и естественный во всем, Петров умел говорить правду-матку в глаза и старшим и младшим. Можно было и с ним быть совершенно откровенным.

Подвижному по натуре Ивану Ефимовичу не сиделось на КП, и он находил возможность почти каждый день вырываться то в одну, то в другую дивизию, оставляя за себя меня. Впрочем, дело было не только в характере Петрова. После того, как мы вывели из боя часть сил, обстановка на одесских рубежах снова становилась очень напряженной, чреватой всякими осложнениями, и командарм считал необходимым лично бывать на переднем крае.

В кабинете Петров чувствовал себя неоседло, по-походному. Отдыхал урывками, в неопределенное время, что, кажется, давно стало для него привычным. Расстегнет ремень, приляжет на диван, подложив под щеку ладонь, — и через час снова свеж и бодр. Право, позавидуешь такому умению восстанавливать силы короткими порциями крепкого сна.

Несколько дней штаб наш жил как бы двойной жизнью. Хотели мы этого или нет, все большее место в работе занимали вопросы, связанные с эвакуацией. И в то же время предстоящий уход из Одессы держался еще в тайне даже от командиров дивизий. Со штабами секторов надо было вести разговоры о распределении доставленных в порт печей для землянок, вникать в другие дела, утрачивавшие практический смысл. А в голове сидел гвоздем, не давая покоя, наш сложный, ступенчатый — с отводом на промежуточные рубежи и с разделением на эшелоны — план вывода из боя главных сил. Все яснее становилось, что в этом плане, хотя и принятом за основу, что-то не так...

Пока эвакуировались полки 157-й дивизии, их отправку можно было объяснять командованию других соединений как частное мероприятие, не изменяющее основной задачи Приморской армии. В конце концов дивизию Томилова нам дали совсем недавно, она позволила отбросить врага от Одессы в Восточном секторе, а теперь понадобилась высшему командованию в другом месте — на фронте так бывает часто. Но когда пришла очередь эвакуироваться инженерным батальонам, разным тыловым службам, поголовно всем раненым, настало время расширить круг лиц, осведомленных о том, что происходит.



Шестого октября поздно вечером Военный совет ООР собрал командиров и комиссаров дивизий и отдельных частей. Контр-адмирал Жуков зачитал им директиву Ставки, рассказал об обстановке в Крыму. Затем, дав осознать шшеломившие многих новости, командующий ООР изложил принципы того плана вывода из боя основных сил армии, на который мы продолжали ориентироваться. Он подчеркнул, что выполнение плана потребует величайшей организованности. Любая недисциплинированность, малейшее проявление паники могут погубить все дело.

На совещании было объявлено, что последней оставит Одессу 95-я стрелковая дивизия генерала Воробьева. Ей, испытанной в тяжелых боях, доверялось держать оборону на рубеже прикрытия, пока отойдут и погрузятся на суда другие части второго эшелона. Даты отвода и эвакуации основных сил пока не назывались. Командирам предстояло узнать их в свое время из боевого приказа. К тому же наметилась возможность ускорить всю операцию: подача транспортов в Одессу начала опережать предварительный график.

А на подступах к городу продолжались бои. С первых чисел октября усилились бомбовые удары вражеской авиации по нашему переднему краю: как видно, противник заподозрил там присутствие новых частей, готовящихся перейти в наступление. Но у нас хватало сил в лучшем случае на контратаки.

Постепенно сокращалась поддерживающая войска артиллерия. 6 октября погрузился на транспорт и отплыл в Крым один дивизион богдановского полка. Используя весь запас «эрэсов», отправили на Большую землю дивизион гвардейских минометов. Грузились и первые подразделения бригады ПВО. Славные одесские зенитчики имели на своем боевом счету не только десятки сбитых самолетов, но и уничтоженные фашистские танки. Не было такого сектора обороны, где их расчеты, выдвинутые в трудный час на передний край, не били прямой наводкой по рвущемуся к городу врагу.

Пятого—шестого октября возникло опасное положение в районе Болгарских хуторов и Татарки — там перешла в наступление только что появившаяся под Одессой дивизия противника. Чтобы обеспечить большую устойчивость центрального участка обороны, где также усиливались неприятельские атаки, мы отвели на новый рубеж правый фланг 95-й дивизии, и генерал Воробьев перенес свой КП из Холодной Балки в пригородное село Усатово.

А 9 октября противник преподнес нам последний крупный «сюрприз»: с утра перешел в наступление почти на всем фронте Одесской обороны. В наступлении участвовали еще две свежие дивизии. В отдельных участках левого фланга врагу сперва удалось нас потеснить. В целом же итоги этого боевого дня, мне кажется, очень ярко отразили моральное состояние войск обеих сторон. Противник, имея везде большой численный перевес, вел себя на ряде участков так, словно с самого начала не верил в успех наступления. Наши же части почти повсюду держались и дрались с отменным упорством, о которое разбивались вражеские атаки.

Контратаки, предпринятые в целях восстановления положения на левом фланге, переросли в преследование отходившего противника. Между Татаркой и селом Сухой лиман попал в окружение 33-й румынский пехотный полк. Отчаянные его попытки пробиться к своим оказались безрезультатными. Более тысячи солдат и офицеров остались убитыми на поле боя, около двухсот сдалось нам в плен. Трофеями чапаевцев стали полковое знамя, гербовая печать и оперативные документы — полк сумел попасть в окружение со всей своей канцелярией...

Провал наступления и потери этого дня утихомирили врага почти на сутки. Но и новые атаки, начатые на отдельных участках, были успешно отражены. Была в октябре даже одна «психическая атака», во время которой офицеры шагали с шашками наголо, а капралы подгоняли отстававших солдат палками, что отлично наблюдалось с наших НП. Однако, как и в подобных случаях прежде, сосредоточенный огонь из всех видов оружия не дал атакующим домаршировать до наших окопов.

Наступление 9 октября было еще одной попыткой врага ворваться в Одессу. Пленные, взятые в полосе Чапаевской дивизии, показали на допросе, что их частям ставилась задача овладеть юго-западной окраиной города... А в последующие дни из штабов наших соединений стали поступать донесения о том, что противостоящие неприятельские части интенсивно укрепляют свои позиции. Тогда мы не знали, что в это время глава гитлеровской военной миссии в Бухаресте получил от своего берлинского начальства срочное поручение помочь командованию 4-й румынской армии в подготовке нового наступления на Одессу. А пока что восемнадцать осадивших город дивизий, отчаявшись взять его, переходили к обороне...

Зная об этом, особенно обидно было изо дня в день расписывать вместе с начальником штаба военно-морской базы эвакуируемые части по очередным транспортам. Утешало лишь сознание, что в Крыму они сейчас нужнее.

Эвакуация шла полным ходом. За десять суток было отправлено почти пятьдесят две тысячи человек (включая и жителей города), двести восемь орудий, почти девятьсот автомашин, более трех тысяч лошадей, сто шестьдесят два трактора, тысячи тонн заводского оборудования.

Но даже столь интенсивные морские перевозки не представляли собою ничего особенно сложного, пока на оборонительных рубежах оставались, прочно их удерживая, основные силы нашей армии — три стрелковые и кавалерийская дивизии. Главное было впереди: успех или неуспех эвакуационной операции определяло то, как сумеем мы вывести из боя и отправить на Большую землю эти войска.

О том, как выглядел первоначальный план отвода четырех дивизий, доложенный Военному совету 4 октября, я уже говорил. Он и тогда вызывал определенные опасения. Но, чувствуя уязвимые места плана, мы еще не могли предложить ничего конкретного взамен. Однако уже к 6—7 октября в штабе армии созрела, как плод коллективной мысли и поисков, идея отводить дивизии с занимаемых позиций не на промежуточные рубежи, а прямо к пунктам посадки на суда — одним броском. И не двумя эшелонами, а все четыре дивизии в одну ночь.

Мы исходили из того, что вывод войск из боя, растянутый на четверо суток с занятием промежуточных рубежей, почти неизбежно раскроет противнику наше намерение оставить Одессу. И если еще удастся прикрыть отход и посадку на суда двух первых дивизий, то две вторые могут быть запросто смяты и разгромлены, не дойдя до причалов. Такой финал эвакуации представлялся довольно вероятным, если учесть, сколько дивизий мог бросить враг на преследование двух отходящих наших. Разумеется, и одновременный отвод всех войск был сопряжен с риском. Но он мог быть не столь уж большим, если обеспечить скрытность отхода основных сил с переднего края, хорошо организовать прикрытие арьергардами и вообще тщательно продумать все детали.

Поздно вечером 7 октября этот план обсуждался на узком совещании у Г. Д. Шишенина, где присутствовали, кроме меня, Н. К. Рыжи, А. Ф. Хренов, И. Д. Кулешов, К. И. Деревянко и А. М. Аганичев (командир морской оперативной группы штаба ООР). Общее мнение было таково: план может быть осуществлен, если удастся в течение последних

двух дней перед оставлением Одессы продемонстрировать высокую активность на фронте, а сам отход войск предварить достаточно сильным ударом по противнику, имитируя подготовку большого наступления.

Но главным все-таки было, сможет ли флот предоставить одновременно столько судов, сколько необходимо для эвакуации в одну ночь по сути дела всего боевого состава армии — примерно тридцати пяти тысяч человек и их вооружения. Представители военно-морской базы полагали, что хотя и с напряжением, но, вероятно, сможет. Требовались, конечно, и боевые корабли для прикрытия огромного каравана транспортов, а также авиация.

На следующий день новый план, идея которого уже была предварительно одобрена контр-адмиралом Жуковым, докладывал Военному совету ООР генерал Шишенин. План получил одобрение и тут. Что касается командарма Петрова, то он с самого начала был в курсе подготовки нашего плана, отвечавшего его стремлению предельно сократить сроки эвакуации. Возможность одновременного отвода войск Иван Ефимович обсуждал почти со всеми командирами дивизий, которые отнеслись к этому положительно.

Мы стали ориентироваться на завершение эвакуационной операции в ночь на 16 октября. К вечеру 12-го был готов боевой приказ, предусматривавший все детали организации и обеспечения вывода войск из боя и отвода их в порт, составлена и утверждена инструкция по посадке на суда. Но Севастополь еще не дал окончательного «добро» измененному плану. Как потом выяснилось, штабу флота потребовалось какое-то время, чтобы выделить для Одессы дополнительное количество судов, сняв их с других маршрутов. Понадобилось также перебазировать в западную часть Крыма эскадрильи истребителей с других аэродромов. На обеспечение отхода наших войск флот переключал и всю свою бомбардировочную авиацию.

Утром 13 октября в Одессу прибыл член Военного совета Черноморского флота дивизионный комиссар Н. М. Кулаков, волевой, решительный и в то же время веселый, жизнерадостный человек, пользовавшийся среди черноморцев большой популярностью, известный в лицо каждому матросу.

Кулаков выслушал доклады Жукова и Петрова, переговорил за два-три часа с множеством других людей, выясняя детали одесской обстановки. Несколько часов спустя командующий флотом вице-адмирал Ф. С. Октябрьский, получив радиogramму Кулакова из Одессы, дал согласие на отвод войск одним эшелонem с посадкой на суда в ночь на 16 октября.

Все стало окончательно ясно. Боевой приказ штаба Приморской армии, подписанный командармом Петровым, членом Военного совета армии Кузнецовым и мною еще накануне вечером, пошел в дивизии.

Настали последние дни длившейся третий месяц Одесской обороны. Тяжко, мучительно тяжело было проезжать по знакомым улицам, сознавая, что через двое-трое суток здесь будет хозяйничать враг. Город еще не знал этого, хотя люди и чувствовали: происходит что-то необычное — слишком много судов приходило каждую ночь, слишком много машин начинало двигаться с наступлением темноты в сторону порта.

После долго державшегося тепла как-то сразу резко похолодало. Нависли серые тучи. На давно не подметавшихся улицах ветер шелестел опадавшей листвой. Редкие прохожие шагали торопливо, настороженно. Казалось, сам воздух в эти хмурые осенние дни был насыщен затаенной тревогой.

На оборонительных рубежах наступило затишье, нарушаемое лишь редкой перестрелкой. Атак противник не предпринимал. Не вели пока активных действий и мы: берегли силы, запасы снарядов, чтобы крепче ударить напоследок. Но бойцы не любят тишины на передовой, и в окопах, как и на одесских улицах, было тревожно.

За последние дни я побывал вместе с командармом и членом Военного совета армии в двух дивизиях. Проводили там короткие совещания командиров и комиссаров полков с участием некоторых других старших офицеров. Собирали их внезапно, без предварительного оповещения и без вызовов по телефону — за каждым заезжал наш направлонец или работник штадива. На совещаниях излагали план вывода войск из боя, объяснялся порядок посадки на суда, маршрут следования в порт.

— Храните все это в глубокой тайне, товарищи, — предупреждал командарм. — Ничто не должно выдать нашей подготовки к эвакуации. Ведите себя так, чтобы и наши бойцы считали, будто мы готовимся к новому наступлению. А сами продумывайте каждую деталь того, что потребуется сделать, когда настанут день и час.

Намеченных сроков отхода не сообщали пока и командирам полков. Эти совещания были очень полезными: мы услышали много ценных предложений, советов, как лучше организовать марш к порту, прикрытие, отвод арьергардов.

13—14 октября небольшими группами, будто отправляясь на очередное боевое задание, незаметно покидали Одессу «ястребки» героического 69-го авиаполка. Ровно сто вражеских самолетов уничтожили они только в воздухе, защищая одесское небо. И еще десятки — на земле. А сколько врагов истребили за три с половиной тысячи вылетов на штурмовки, этого подсчитать не смог бы никто.

Одесский полк... Так называли его в армии и в городе просто потому, что он был единственным авиационным полком на нашем плацдарме. Но скоро это вошло в его новое официальное наименование: полк стал 9-м Одесским гвардейским Краснознаменным. И с именем Одессы, где родилась его боевая слава, воевал он в Крыму, под Сталинградом, а потом и под Берлином. Майор Л. Л. Шестаков, сбивший за три месяца больше десятка фашистских самолетов, и еще одиннадцать летчиков были удостоены за одесские бои Золотой Звезды Героя.

«Ястребки» полетели через море в Крым. Самые изношенные машины, которым такой рейс был не под силу, Катров приказал взорвать. Майор Шестаков и комиссар полка Верховец собирались, проведив всех летчиков, улететь вдвоем в последний день. Но командарм не разрешил, и их машины погрузили на канонерскую лодку.

14—15 октября в Одессу приходили один за другим транспорты: «Украина», «Абхазия», «Армения», «Калинин», «Восток», «Чапаев» и многие другие. В порту имитировалась, прикрываемая дымовыми завесами, разгрузка. Колонны крытых брезентом автомашин изображали доставку в дивизионные тылы подкреплений. В эфире время от времени попискивали войсковые рации с новыми, никогда не звучавшими под Одессой позывными — пусть засекает противник «свежие части»...

А где-то в других местах — это уже всерьез — пристраивали поудобнее свои рации корректировщики эскадры: прикрывать отход армии пришли крейсера «Красный Кавказ» и «Червона Украина», группа эсминцев.

Кораблей и транспортов было слишком много, чтобы сосредоточение их могло остаться незамеченным противником, и он неоднократно пытался бомбить порт. Одесские гавани были прикрыты всеми остававшимися у нас зенитками. 14-го получил повреждения лишь санитарный транспорт «Грузия», на который успели погрузить две тысячи раненых.

Их быстро разместили на других судах, а «Грузию» удалось спасти и отбуксировать в Севастополь.

Пятнадцатого октября снова ярко засияло солнце. Но погожий день не радовал — лучше бы продолжалась хмарь...

Утром я побывал вместе с командармом в порту. Туда навевались в разное время поодиночке и командиры дивизий, полков — каждый примерялся к маршруту, по которому должны были быстро и точно, прямо на «свой» причал проследовать на посадку батальоны, эскадроны, батареи. Потом провезли этими маршрутами и командиров подразделений. С наступлением темноты путь следования колонн в черте города приказано было посыпать толченой известью и мелом — чтобы никто не зашелкался на поворотах, не заблудился, не отстал.

А над передним краем гремела по всему фронту Одесской обороны орудийная канонада. Еще в 10.00 на боевые порядки противника обрушился первый мощный огневой шквал, передвинувшийся затем на его ближние тылы. После этого огневого налета враг долго не подавал никаких признаков жизни. А затем последовали новые сосредоточенные удары по отдельным участкам неприятельских позиций, чередовавшиеся с методическим обстрелом. Не дать сегодня фашистам высунуть головы из окопов — такова была общая задача всех артиллеристов, корабельных, береговых и тех, что оставались еще с нашими стрелковыми полками.

В соответствии с планом Военный совет ООР перешел в шестнадцать часов на борт крейсера «Червона Украина», стоявшего в порту у причала. Свертывался и штаб армии. Саперы готовили к взрыву наш подземный КП, честно отслуживший свою службу.

Командарм Петров и оперативная группа штаба армии перешли под вечер на бывший КП морской базы на набережной. Майор Богомолов хорошо обеспечил связь со всеми секторами Там, в штабах дивизий, дежурили у аппаратов наши боевые направленные — капитаны Шевцов, Харлашкин, Безгинов. Когда шли первые минуты восьмого часа вечера, все трое доложили один за другим: «Идет по плану».

Это означало, что основные силы армии начали отход. А вся артиллерия, прикрывая марш-бросок четырех дивизий к порту, с новой силой ударила по неприятельским позициям. До последнего снаряда вели огонь одесские бронепоезда, чтобы потом отойти в тупики, где ждали их с взрывчатой командой саперов. Последние снаряды выпускали береговые батареи, которые тоже надо было взорвать этой ночью...

Посадкой руководил штаб военно-морской базы, а моей заботой оставался передний край. К полуночи на КП дивизий стали старшими командиры батальонов прикрытия.

— У нас порядок, понемножку постреливаем, — докладывали эти старшие лейтенанты и капитаны.

Потом ушли и они. Связист, присланный майором Богомоловым, явился снимать аппараты. Пора было и мне в порт.

Брезжил уже рассвет, когда от какого-то причала отошел «морской охотник», выделенный для оперативной группы штаба армии. На палубе у рубки стояли командарм Петров, член Военного совета Кузнецов, небольшая группа штабных командиров. С нами был и бородатый контр-адмирал Кулешов, командир Одесской военно-морской базы, которая, собственно говоря, уже не существовала.

Все было окончено, все прошло хорошо. Транспорт с нашими дивизиями уже покинули порт. Вслед за ними выходили и мелкие суда, принявшие на борт батальоны и отряды прикрытия, личный состав береговых батарей. Все поместились, как будто никто не отстал. В последний!

момент пришлось утопить кое-какую технику, оказавшуюся неподъемной для корабельных стрел. Но главное — противник, судя по всему, так и не обнаружил отхода армии. Значит, наш план удался. Однако все это воспринималось сознанием как-то отвлеченно, не принося даже простого чувства удовлетворения.

— Давайте обойдем гавани,— предложил контр-адмирал Кулешов командарму.

Иван Ефимович молча кивнул.

Негромко рокоча моторами, катер заскользил вдоль опустевших причалов. Горели какие-то костры, бродили выпряженные кони, для которых не хватило места на транспортах... Кругом стояла неестественная, зловещая тишина. Порт был пуст. Пустым казался и раскинувшийся над ним город.

А там, где проходил наш передний край, все не умолкала стрельба. Это вели огонь, продолжая вводить противника в заблуждение, одесские партизаны, которые сменили в окопах наши арьергардные батальоны.

И прошло еще много часов, прежде чем противник обнаружил, что Приморская армия ушла. Лишь сутки спустя — это установила наша разведка — враг осмелился вступить в Одессу...

Миновав ворота порта, наш катер последовал за ушедшей вперед колонной кораблей.

Я спустился через люк по отвесному трапу в маленький кубрик и прилег на чью-то свободную койку. Усталость быстро взяла свое — не спал уже по крайней мере три ночи.

Не знаю, сколько прошло времени, когда меня разбудил резкий. чуть не сбросивший с койки толчок. Вскочив на ноги, инстинктивно кинулся к люку. На катер с оглушительным ревом пикировал «Ю-87». У меня на глазах от него отделились бомбы. Казалось, они летят прямо в нас, и я невольно зажмурился. Но катер вновь сделал резкий поворот, и бомбы упали там, где он только что был, обдав всю палубу фонтанами воды.

Самолет был не один. Вслед за первым на катер пикировали еще два. И каждый раз командир уклонялся от удара точно рассчитанным поворотом. Расскажи об этом кто-нибудь — не поверил бы, что можно вот так увести корабль прямо из-под бомб...

За рубкой стояли Петров с Кулешовым.

— Счастливо отделались! — переводя дыхание, сказал контр-адмирал, когда пикировщики наконец скрылись.

В Севастополь пришли уже затемно. Гавриил Васильевич Жуков встречал на пристани. Обнялись, расцеловались.

Под ногами была снова родная земля — Крымский полуостров, древняя Таврида. Вдруг страшно захотелось пить. Краснофлотец, которому я сказал об этом, принес целое ведро воды. Прильнув к нему, я пил жадно, долго. Вода казалась удивительно вкусной.

Иван Ефимович, стоя рядом, улыбался. Жуков возбужденно рассказывал:

— Атаковали на переходе многих, но потопили только один транспорт — тот, что опоздал и шел порожняком. Команду с него спасли. А армия уже вся тут. Теперь Крыму станет легче!..

---

---

## ЧИТАЯ ЗАПИСКИ МАРШАЛА Н. И. КРЫЛОВА

Это — не статья и не рецензия, а всего лишь несколько наблюдений и замечаний, которыми мне хотелось поделиться с теми, кто только что дочитал окончание записок маршала Н. И. Крылова в этой книжке «Нового мира».

Человек, по роду своей работы знакомящийся с той или иной литературной новинкой до того, как ее машинописные страницы становятся печатными, не лишен способности чисто по-читательски воспринимать прочитанное, быть взволнованным, растроганным или восхищенным. Иными словами, редактор — тоже читатель, и прежде всего — читатель. И ему свойственно испытывать тот самый позыв к высказыванию, который побуждает читателя писать письма в редакцию по поводу опубликованных в журнале вещей.

«В боях за Одессу» — один из тех счастливых случаев, когда профессиональная придирчивость или привередливость редактора решительно уступает место читательской взволнованности и признательности автору за проведенные с ним в беседе часы.

Двадцатого июня 1941 года полковник Н. И. Крылов, обосновавшийся по месту новой службы в приграничном городке Болграде, на юге Бессарабии, встретил свою семью, приехавшую из Ставрополя, где она оставалась до окончания детьми учебного года.

Спустя более четверти века маршал и дважды Герой Советского Союза, заместитель министра обороны СССР Николай Иванович Крылов рассказывает об этом памятном дне своей военной и семейной жизни сдержанно, не позволяя себе ни одного лишнего слова. И это понятно: впереди у него — задача поведать нам о ночах и днях обороны Одессы, задача, требующая предельной сосредоточенности, напряжения памяти, тщательного выявления и строгого отбора фактов и документов.

Но как незаменим на своем месте этот короткий рассказ, какой безусловной человеческой ценностью обладает он, соединяя в себе житейское и трагическое, частное и исторически общезначимое.

«Вещи, отправленные багажом, находились в пути. Не было мебели в только что отведенной мне квартирке. Но такие мелочи не мешали радоваться тому, что мы снова собрались вместе. Командирской семье не привыкать ко всяким новосельям — не первое и авось не последнее... Все пятеро — мы с женой, два сына и дочь — улеглись спать по-походному, на полу.

Однако в тот раз обжить свой новый дом так и не пришлось. Наутро наступила та самая суббота, что памятна советским людям как последний мирный день перед обрушившейся на страну войной... Следующей ночью, на рассвете, красноармеец-оповеститель из нашего штаба разбудил меня резким стуком в окно...

— Настя, может быть, это война... Только спокойно, не перепугай ребят. Что надо делать — сообщу...

...Несколько часов спустя, около полудня, я увидел жену и своих ребят в кузове одного из грузовиков, до отказа заполненных женщинами и детьми... Мои

уезжали совсем налегке: все осталось в багаже, который так никуда и не пришел...»

По-разному могут звучать одни и те же слова — смотря кто и как их произносит. К примеру, слово «квартирка» можно произнести так, что оно будет означать роскошную квартиру («отхватил квартирку»). А здесь оно означает именно небольшое скромное жилье. И все это вместе — и квартирка, и дети с родителями, устроившиеся ночевать на полу впредь до прибытия багажа с пожитками офицерской семьи, и уменьшительная форма простого русского имени жены, — все это вместе создает ту благотворную возможность сближения слушателя с рассказчиком, которая не вдруг и вообще далеко не всегда достигается, будь то повесть, роман или те же мемуары.

Может быть, именно с этого места в начале записок читатель безошибочно признает их автора человеком, с которым он как будто уже не впервые встречается и во всем верит ему, хотя дальнейшее суровое и возвышенно-скорбное повествование, казалось бы, далеко позади оставляет рассказ об этой необжитой квартирке и багаже, «который так никуда и не пришел».

Конечно, нельзя отнести целиком к одной этой частности записок Н. И. Крылова ту очевидную притягательность, с какой они, что называется, забирают внимание и доверие читателя. Тут дело и в существенной новизне содержания, открывающего страницы нашей воинской славы, которые до сих пор оставались как бы еще неразрезанными и были знакомы только отчасти, отрывочно и вразброс. И в неоспоримой достоверности свидетельства, как говорится, из первых рук. И в самом стиле изложения — сдержанном и немногословном, чуждом беллетристическим ухищрениям «приподнимания», приукрашивания действительности, но отнюдь не пренебрегающем выразительными подробностями и деталями, полными живости пережитого.

Если подразделительно определять жанр записок Н. И. Крылова, то это скорее всего хроника — строго деловитая, так сказать, без отрыва от журнала боевых действий, хроника трехмесячной обороны Одессы от первой бомбежки города до последнего залпа с кораблей Черноморского флота, прикрывавших своим огнем отход и эвакуацию наших войск, которым было приказано оставить свои позиции в силу сложившейся на Южном фронте обстановки (занятие немцами Крыма).

Надо иметь в виду, что записки эти принадлежат перу не просто одного из старших офицеров, но начальника штаба Одесской обороны — по самому роду деятельности обычно выполняющего роль как бы и летописца событий.

«Обстановка действительно требовала, — рассказывает Н. И. Крылов, — чтобы у кого-то концентрировались все данные о фактическом положении дел на нашем фронте. Я непрерывно впитывал в себя эти данные изо всех возможных источников, не полагаясь на одни донесения, «аккумулировал» их и постоянно спрашивал себя: все ли знаю, точно ли знаю? Считал важнейшей своей задачей держать теснейшую связь с секторами обороны, всегда быть в состоянии доложить командующему и Военному совету обо всем, что там происходит или может произойти».

Разумеется, такое знание, обусловленное прямой практической необходимостью управления фронтом, куда существеннее и богаче знания, приобретаемого в целях описания фронтовой жизни, как бывает у профессионального литератора. И это преимущество не могло не сказаться на записках вопреки тому, что автор в другом месте, по неукоснительной скромности своей, говорит об ограниченности своего штабного «сектора обзора». Читатель — я сужу по себе — всегда готов отдать предпочтение дельной и точной информации перед иной натуральной «картинностью» и «образностью», чаще всего прикрывающими недостаточную осведомленность в фактической, предметной стороне дела. Нужно еще учесть, что практическое, каждодневное знание начальником штаба обстановки обороны осажденного с трех сторон суши приморского города не могло ограничиваться лишь собственно боевыми вопросами и делами. «Приходили со своими вопросами



и медики, и финансист, и представители остальных служб. Тыловики продолжали эвакуацию ненужного для обороны имущества, и этому тоже надо было уделять внимание. Ждали утверждения разные планы, заявки, акты...»

И если верно говорят, что вне обстоятельности нет занимательности, то записки Н. И. Крылова не могут не пленять именно замечательной обстоятельностью и ясностью изложения. Даже совсем неподготовленному в военно-историческом смысле читателю это изложение позволяет отчетливо представить себе ту огненную, протяжением с полусотню километров «подкову» во много раз превосходящих сил противника, которая, достигнув обеими «пятками» моря западнее и восточнее Одессы, все более сжималась, тесня стоявшие насмерть наши стрелковые части и морских пехотинцев, артиллеристов и кавалеристов в конном и пешем строю.

Должностное положение полковника Н. И. Крылова, к рабочему столу которого в одном из подземных «казематов» бывшего Шустовского коньячного склада так или иначе сходились все нити жизни Оборонительного района, позволяло ему видеть и наносить на свою карту многообразную картину десятидневных бессонных боев. И она предстает читателю в триедином боевом братстве армии, флота и города с его редующим населением — коммунистами и беспартийными, мужчинами и женщинами, пожилыми и подростками. На долю и этого «веселого южного города», беспечного и несколько причудливого, каким его чаще всего показывали художественная литература и своеобразный одесский «фольклор», выпали в дни осады тягчайшие испытания.

Лаконично сообщает хроника о страшной для жизни Одессы в жаркие, летние месяцы потере водонасосной станции в пригородном поселке Беляевка, о поисках и переоборудовании в черте города старых и бурении новых артезианских колодцев, о выдаче воды населению по карточкам, и читателя уже до конца повествования — о чем бы ни шла в нем речь — не покидает почти физическое ощущение мучительной жажды...

Напряженность и ожесточение боев на «дуге подковы» характеризуется цифрами огромных потерь противника, не считавшегося с ними в своем яростном стремлении овладеть городом. Но цифры набегают одни на другие, смешиваются в восприятии читателя, к тому же в исчислении потерь противника, особенно если он не оставляет поля боя, всегда есть доля условности.

И когда сообщается, что в результате четырехдневных усилий противника сломать нашу оборону на участке 95-й дивизии он оставил там до трех тысяч убитыми, то эта цифра, за абсолютную точность которой, по словам автора, ручаться нельзя, вдруг получает ужасающее подтверждение. Перед окопами дивизии скопилось столько неубранных трупов, что при стоявшей в те дни жаре нашим бойцам буквально невозможно было дышать и принимать пищу. Командующий Приморской армией генерал-лейтенант Г. П. Софронов разрешил пойти на крайнюю меру. «Ночью в ничейной полосе были выставлены фанерные щиты с написанным крупными буквами кратким обращением к командиру 3-й румынской дивизии. Ему предлагалось с двенадцати до шестнадцати часов 16 августа организовать вынос с поля боя своих убитых солдат и гарантировалось, что в это время советские войска огня не откроют. За четыре часа наши бойцы не сделали ни одного выстрела. Противник тоже молчал... однако воспользоваться предложением нашего командования... не захотел. К следующей ночи на передний край доставили гашеную известь и с помощью ее ликвидировали основные очаги зловония».

После такого беспощадно-правдивого уточнения цифровых показателей урона, наносимого войскам противника, читатель в дальнейшем за цифрами, лишенными цвета и запаха, уже не может не видеть выражаемой ими жуткой «натуры» войны.

Н. И. Крылов не замалчивает и наших потерь: бывали ночи, сообщает он, когда эвакуировалось судами Черноморского флота до 2 тысяч раненых истекшего дня. По количеству раненых, как известно, можно определить, сколько примерно при этом было убитых. Автор, естественно, не дает каждодневного поимен-

ного мартиролога — это заняло бы слишком большое место в изложении. Но вот он, рассказав о двадцатидвухлетнем комбате лейтенанте Якове Бреусе, поднявшем одну из своих рот в контратаку в отчаянный момент, угрожавший прорывом нашей обороны, и сообщив о присвоении ему звания Героя Советского Союза, добавляет: «Я рад, что могу сообщить читателям: майор запаса Яков Григорьевич Бреус здравствует поныне и живет в Одессе».

И трудно представить, чье сердце не сожмется болью от этих строчек, от простой и ужасной мысли: о скольких таких же молодых и храбрых, награжденных или не награжденных Н. И. Крылов лишен возможности сообщить читателям то же самое, что об этом герое.

В самом начале записок, чтобы представиться читателю, автор говорит о себе, что он кадровый, профессиональный военный и что человеком невоенным себя даже не мыслит. «В сущности, я никогда не был им, если исключить детство».

Всякая профессия накладывает известный отпечаток на психологию и характер человека — военная, может быть, в большей степени, чем иная. И здесь наряду с навыками собранности, подтянутости, готовностью к любым испытаниям, презрением к опасности для собственной жизни и другими драгоценными чертами могут проявиться и представления о своей исключительности, и притязания на преимущественные перед другими смертными, не носящими военной формы, привилегии, скажем, храбрости. Но вспомним, как этот военный, даже не мыслящий себя невоенным, передает рассказ о подвиге молодых одесситов, мобилизованных на фронт комсомолом, и как он оценивает их мужество:

«Среди них были грузчики морского порта Николай Капустянский, Иван Полозов и Тихон Каляда, парикмахер Александр Песецкий, рабочий табачной фабрики Николай Дорохов, Семен Трунов с канатного завода, модистка из ателье Нина Воскобойник.. Они отбили на своем участке шестнадцать вражеских атак, теряя каждый раз кого-нибудь из товарищей. В конце концов в окопе остались в живых двое — рабочий Лев Руднев и модистка Воскобойник. У них кончились патроны, оставалось лишь несколько гранат. Руднев собрал комсомольские билеты погибших, присоединил к ним свой и, как старший, приказал девушке: «Ползи к нашим и скажи, что мы честно сражались до последнего вдоха...»

«О подвигах народных добровольцев, — заключает Н. И. Крылов, — я говорю сейчас не потому, что они сражались лучше кадровых солдат... Но солдата подготавливает к проявлению мужества вся армейская служба, его доблесть в бою — это честно выполненный воинский долг. А когда на такую же боевую доблесть способны люди, недавно еще и не думавшие, что им придется драться с врагом, это говорит о еще большем, в конечном счете — о том, что народ, богатый такими людьми, никому и никогда не одолеть».

К этим благородным словам военного человека о «штатских» защитниках Одессы можно только добавить, что сила народа, «богатого такими людьми», и в том, что его воины по профессии, по своему жизненному предназначению не есть нечто отдельное от него, не каста, не обособленный слой с чуждыми народу интересами, но плоть от плоти и кровь от крови его.

В главе «Перемены на командном пункте» воспоминания Н. И. Крылова касаются по-своему очень сложного момента взаимоотношений внутри командования обороной Одессы. В связи с созданием Одесского оборонительного района (ООР) по приказу Ставки происходят такие должностные перемещения, которые поставили командование сухопутных войск «под начало моряков». Командир военноморской базы Черноморского флота контр-адмирал Г. В. Жуков, вчера находившийся в подчинении командующего Приморской армией Г. П. Софронова, был назначен командующим ООР, и, таким образом, командование Приморской армии перешло в его подчинение.

В менее напряженной боевой обстановке такие резкие изменения в отношениях старшинства и подчинения могли повлечь за собой затяжные и болезненные последствия: армия есть армия, и военные люди хорошо знают, что такого рода

«метаморфозы» в системе начальствования — дело не шуточное. К тому же из песни слова не выкинуть — на первых порах новый командующий допустил неловкие движения, отдав приказ по войскам ООР, что называется, через голову командующего и штаба армии, никем от их обязанностей не освобожденных. Но мыслимое ли дело было, находясь вдали от Большой земли, в «огненной подкове», прижимающей защитников города все теснее к морю, затевать служебную тяжбу, сталкивать амбиции, усугублять конфликт. «Возникшие было недоразумения и неясности устранились в считанные часы, в течение одного дня... Генерал-лейтенант Софронов и контр-адмирал Жуков — люди очень несхожие по складу характеров, но оба беззаветно преданные делу и долгу — сумели быстро прийти к общей точке зрения по всем организационным вопросам. Поменявшись местами начальника и подчиненного, они (что далеко не всегда бывает в подобных случаях) работали в дальнейшем слаженно и дружно».

То, что автор не утаил от читателя и такой «внутренний» момент в жизни командования, особо подчеркивает неизменную степень доверительности его рассказа. Этот рассказ не ставит своей задачей «подать» пережитое в хитроумной дозировке, предназначенной для непосвященных или заведомо способных что-нибудь превратно понять. Нет, он, этот рассказ, разворачивается с возможным приближением к единственно верному принципу: что для себя, то и для тебя, читатель. И читатель платит автору за это доверие своим благодарным доверием к рассказчику. Он идет за ним по всем ступеням испытаний, выпавших на долю тех, кто до конца выдержал эту страду Одессы. Заодно с ним переживает он горькое и гнетущее чувство оторванности от своих, что хоть и далеко уже отступили, но противостоят врагу вместе со всем огромным фронтом и страной, простирающейся у них в тылу. И заодно с ним полон радостного до слез, пусть короткого, торжества над врагом, когда при помощи прибывшей в подкрепление свежей молодецкой дивизии разжимается, отодвигается «огненная подкова», и люди, волею военной судьбы принужденные только обороняться и отступать, вдруг обретают силы для наступления.

Многое, наверно, упущено в этих беглых замечаниях по запискам, — я не мог ставить себе здесь задачу во всей полноте представить их содержание. Да и нет нужды: читатель только что оторвался от их замечательных страниц...

Полная трагического настроения ночь, когда войска защитников Одессы покидали свои позиции, несомненно будет отмечена в памяти читателей чувством гордости за воинов города-героя. Эвакуация войск, скрытно и тщательно подготовленная к назначенному сроку, была проведена с исключительным мастерством этого сложнейшего маневра.

В ходе подготовки первоначально разработанный «сложный, ступенчатый — с отводом на промежуточные рубежи и с разделением на эшелоны — план вывода из боя главных сил», при котором эти передвижения невозможно было бы утаить от противника, был оставлен и заменен другим, до крайности рискованным, но сулившим огромные выгоды. Было решено «отводить дивизии с занимаемых позиций не на промежуточные рубежи, а прямо к пунктам посадки на суда». Одним броском, в одну ночь — все четыре дивизии.

И это удалось. Прошло много часов, прежде чем противник обнаружил, что перед ним пустые окопы, блиндажи и ходы сообщения ушедшей у него из-под носа Приморской армии. Только сутки спустя румынские войска отважились войти в покинутый его защитниками город.

Но автор записок далек от того, чтобы подчеркивать эту удачу: мастерство отхода, каким бы блистательным оно ни было, остается мастерством отхода.

«Все было окончено, все прошло хорошо. Транспорты с нашими дивизиями уже покинули порт. Вслед за ними выходили и мелкие суда, принявшие на борт батальоны и отряды прикрытия, личный состав береговых батарей. Все поместились, как будто никто не отстал. В последний момент пришлось утопить кое-какую технику, оказавшуюся неподъемной для корабельных стрел... Значит, наш план

удался. Однако все это воспринималось сознанием как-то отвлеченно, не принося даже простого чувства удовлетворения».

Записки одного из крупнейших военачальников страны, ныне главнокомандующего ракетными войсками стратегического назначения, несомненно, займут видное место в библиотеке советских военных мемуаров. Они будут прочитаны с интересом и волнением молодыми и старыми, военными и невоенными людьми, не говоря уже о самих защитниках города-героя Одессы и одесситах, переживших суровые испытания тех дней.

Объективность оценок автором положения на всех участках Одесской обороны в различные ее периоды и общего значения этих боев в ходе Отечественной войны опирается и на весь последующий опыт Маршала Советского Союза Н. И. Крылова, в той же штабной должности воевавшего и в Севастополе, и под Сталинградом.

Внимательный читатель не сможет не заметить (при всем различии масштабов и места этих битв в хронологии Отечественной войны), как в боях за Одессу складывались и вызревали те черты неколебимой стойкости, твердости духа, нравственного перевеса над врагом, воинского мастерства, которые явились залогом нашей победы.

И само собою, записки Н. И. Крылова заставляют читателя, признательного автору, с большим интересом ожидать возможных в будущем воспоминаний о боях за Севастополь и Сталинград.

*А. Твардовский.*



---

# ПУБЛИЦИСТИКА

Г. ЛИСИЧКИН,

*кандидат экономических наук*

★

## СМЕЛЫЕ РЕШЕНИЯ

*(Заметки о сельскохозяйственной экономике)*

**О**б этом часто пишут в печати: то одно, то другое хозяйство из года в год увеличивает поголовье скота, но в итоге начинает его недокармливать. Снижается продуктивность, падает рентабельность производства. Примерно то же происходит и в растениеводстве. В исконно зерновых районах вдруг начинает постепенно снижаться пахотный клин под зерновыми. Производство их, правда, растет, но гораздо медленнее, чем это могло бы быть. Отчего так получается? Если бы это происходило в одном — десяти колхозах, совхозах, то ответ был бы прост: руководитель, специалисты не умеют гармонично сочетать разные отрасли в своем хозяйстве. Но явление это гораздо шире — и начало свое берет оно в той практике планирования, которая за основу всех плановых заданий в сельском хозяйстве принимает количество земли (погектарный принцип) и достигнутый в том или ином хозяйстве уровень производства. Автоматически «плюсуя», увеличивая этот показатель на какой-то определенный процент роста, планирующие организации невольно приходят в конце концов к тому, что нарушают то здесь, то там оптимальное сочетание между отраслями и ставят хозяйство в сложные условия. Все это широко известно.

Планирование от «достигнутого уровня» часто и справедливо критикуется. Но чем его заменить, что может прийти ему на смену? В этой связи мне кажется интересным опыт белгородцев.

О нем стали говорить и писать начиная с 1965 года. В какой-то степени белгородцам, быть может, даже не повезло. После ряда шумных и не всегда удачных экспериментов в сельском хозяйстве к этому времени наступило утомление, и все новое, что затевали в той или иной области, вызывало порой не столько любопытство, сколько подозрительность. А белгородский опыт тем более. Действительно, создали двадцать—тридцать специализирующихся на животноводстве хозяйств; отстроили тут же мощные производственные комплексы, сосредоточив в них тысячи и тысячи голов скота; добились успеха в их работе — и начались уже разговоры о том, что это, дескать, путь, которым должно пойти развитие всего нашего сельского хозяйства в целом. Но в Белгородской области три с половиной сотни колхозов и несколько совхозов. Говорить в этих условиях лишь об одном-двух десятках хозяйств, пусть даже очень хорошо работающих, — осторожно ли это? Неужели ошибки прошлого ничему не научили? Кто вслух высказывал, кто про себя держал такого вот рода сомнения.

Я побывал в Белгородской области и видел специализированные хозяйства. С местными специалистами мы ездили из района в район, из одного колхоза в другой, и хозяева с большой и оправданной гордостью показывали, как на их новых, крупных фермах налажена уборка навоза, как здорово действуют здесь различные сложные механизмы, как изменился рацион и система кормления скота и многое, многое другое,

что было важно для них, поскольку они здесь работали, поскольку у них не ладилось до этого дело на том или ином участке. И теперь, когда отыскивалось правильное решение, когда кто-то придумывал нужное и нехитрое приспособление, технологические усовершенствования казались чуть ли не самыми главными. Об этом больше всего говорили, на это обращали особое внимание, чтобы, может быть даже подсознательно, предупредить мучения других на этом самом месте.

Во всей инженерно-зоотехнической мудрости я не понимал ровным счетом ничего, да и начинать понимать уже поздно. Но за этой стороной дела, как всегда, более легко впечатляющей и вдохновляющей (к сожалению, не только журналистов), мне хотелось рассмотреть главное — а какой прок от всей этой затеи сельскому хозяйству области в целом, что выигрывает от новой инициативы непосредственно колхозник, как вообще возникла идея таких вот крупных специализированных хозяйств? Начнем с последнего, то есть с того, как белгородцам пришла в голову идея создать свои нынешние животноводческие комплексы.

После мартовского Пленума ЦК КПСС (1965 года) до Белгородской области, как и до всех других областей страны, был доведен твердый план продажи сельскохозяйственных продуктов государству на пять последующих лет. Получив его, в этой области крепко задумались: а как наиболее разумно распределить областной план-заказ между районами, а там — между отдельными хозяйствами. До сих пор начиная с предвоенных лет в планировании заготовок использовали так называемый погектарный принцип. В соответствии с ним размер обязательных продаж продуктов государству определяется для областей, районов, отдельных хозяйств так: продукты полеводства — по нормам с каждого гектара пашни, а продукты животноводства — по нормам с каждого гектара пашни, лугов и пастбищ, закрепленных за хозяйством. Нормы эти дифференцированы в зависимости от природно-экономических условий зон и областей, скорректированы на достигнутый уровень развития. Такой порядок планирования действовал десятилетиями. Многим он казался единственно возможным принципом планирования в сельском хозяйстве, и если раздавалась критика в его адрес, то она не шла дальше доказательств того, что норма обязательных продаж установлена в том или ином месте недостаточно обоснованно или же что заготовительные организации нарушают погектарный принцип, требуя от хозяйств продавать продукцию сверх утвержденной нормы, в счет других, кто с планом своим не справлялся. Разумность же самого принципа сомнению почти никто не подвергал, и покушение на него расценивалось чуть ли не как попытка ликвидировать планирование сельского хозяйства вообще.

В Белгороде на этот вопрос посмотрели шире и гораздо практичнее. Возможности хозяйств в производстве отдельных культур очень неравные — рассудили здесь. Один колхоз расположен под боком у сахарного завода и поэтому может эффективно использовать отходы его производства на откорм скоту. Он имеет лучшие луга и больше выпасов, ближе к пунктам сбыта продукции... Так почему же все колхозы должны обязательно получать план-заказ из расчета продажи всего ассортимента продуктов, производимых в данных условиях и потом почти поровну с гектара? Так все призывы к специализации останутся на бумаге, не дойдут до колхозов и совхозов, говорили специалисты. А не попробовать ли планировать производство и заготовки, не придерживаясь принципа формального равенства? — решили белгородцы (пока в печати спорили о том, можно ли об этом просто думать). И когда все остальные области, получив свой план-заказ по продаже продукции государству, распределили его по районам и хозяйствам, исходя в основном из прежнего, привычного принципа, белгородцы пошли на очень большой риск (Потом объясним, в чем он состоял.) Вместо разверстки обязательств по всем хозяйствам они предложили колхозам самим набрать из имеющегося у области плана продажи продукции государству свой собственный пакет заказов, исходя из местных расчетов о целесообразности, экономичности, эффективности затрат. Сделали это, само собой разумеется, организованно, на базе точнейших расчетов. И получилась довольно занятая вещь. Посмотрите, как распределялось производство (мяса) до того, как колхозам предоставили право выбора структуры, после этого и в перспективе развития нового принципа планирования на 1970 год.

Районы	1966 год		1970 год	
	Объем закупок при погектарном планировании (в кг. с 1 га)	Действительный объем закупок на базе контракции (в кг. с 1 га)	Объем закупок при погектарном планировании (в кг. с 1 га)	Объем закупок на базе контракции (в кг. с 1 га)
Алексеевский	33,8	41	48	56
Белгородский	38	68	48	91
Борисовский	41	57	49	74
Вейделевский	38	21	49	26
Волоконовский	38	67	48	70
Губкинский	33	18	48	26
Прохоровский	32	18	46	25
Шебекинский	41	62	49	71

Общий объем заготовок по области остается одинаковым и в том и в другом случае планирования — 68 520 и 90 000 тонн. Но как резко изменились соотношения в объеме закупок по районам, темпы их роста! Если раньше, при системе погектарных раскладок, на 1970 год каждому району предстояло так налаживать производство, чтобы всем вместе продавать государству с гектара приблизительно по 48 килограммов мяса, то теперь одни должны ориентироваться на продажу государству 91 килограмма мяса с гектара, а другие могут ограничиться всего лишь 25 килограммами. На практике это означает, что ряд хозяйств полностью освобождается от выполнения плана-заказа по мясу, скажем, а другие берут на себя выполнение их обязательств. Например, если раньше все 350 колхозов области получили задания по продаже говядины, то теперь весь план выполняют в области девять колхозов, а все остальные продают им по договорным ценам появляющийся там молодняк. И так по всем другим отраслям животноводства и культурам: весь областной план по шерсти выполняют девятнадцать колхозов, по яйцу — восемь, по свинине — девятнадцать и т. д.

Спрашивается, а с какой это стати одни взяли на себя повышенные обязательства по продаже какого-то вида продукции государству, а другие их уступили? Разве до этого весь пафос нашей публицистики не был направлен на то, чтобы зорко следить, как бы один колхоз не работал за другой, как бы с одного хозяйства не переложили груз обязательств на другое? Ведь в Белгороде как раз и происходит сейчас нечто подобное, но журналисты и руководители хозяйств почему-то молчат, как в рот воды набрали, и на этот раз не разоблачают «несправедливости». Объясняется такое их поведение просто. Принципиально иной «раскрой» плана-заказа по районам и хозяйствам оказался в нынешних условиях выгодным не только с производственной, но и с экономической точки зрения для обеих групп хозяйств: и для тех, кого «нагрузили» дополнительно, и для тех, кого «освободили». Раньше этого как раз не получалось, и преимущества инженерно-технологического порядка сводились на нет под действием экономических причин.

На первый взгляд может показаться действительно странным, как это несколько колхозов могли добровольно согласиться взять на себя выполнение всего областного плана по мясу, яйцу, шерсти и т. д. Ведь это самая что ни на есть экономически невыгодная продукция. В 1964 году животноводство дало области около 18 миллионов убытка, его рентабельность была «минусовой» (около 21 процента). И тем не менее ряд колхозов, безусловно с огромной помощью областных специалистов, рассчитав все до мельчайших деталей, пошел все-таки на рискованное мероприятие. Это были те хозяйства, объективные возможности которых в производстве данной продукции были выше средних. Но и перед ними открывалось лишь две возможности: или они сделают производство мяса, яйца, шерсти и т. д. не менее рентабельным, чем остальные отрасли производства, или окажутся на грани экономического краха.

В самом начале эксперимента им уже крупно повезло. Мартовский Пленум ЦК КПСС постановил серьезно повысить закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию, в том числе и на животноводческую. Однако этого было еще недостаточно, чтобы на старой основе достичь того уровня рентабельности производства, когда и колхозникам за их труд хорошо платят, и строительство в необходимом объеме ведется. И тут были приняты смелые и очень разумные решения.

До сих пор речь шла лишь о перераспределении плана-заказа по производству животноводческой продукции, то есть дело действительно касалось судеб двух-трех десятков колхозов. Но вот областные организации принимают решение освободить колхозы, специализирующиеся на производстве животноводческой продукции, от выполнения плана-заказа по зерну и перераспределить их обязательства среди тех хозяйств, которые не имеют плана-заказа по мясу, шерсти, яйцу. Животноводческие колхозы впервые за долгие годы получают таким образом прочную кормовую базу для своего развития, а о выгоде таковой, о влиянии ее на результаты хозяйствования и говорить, конечно, не приходится. Но одновременно с этим погектарный принцип отключается от планирования производства, продажи растениеводческой продукции. Новый подход в распределении плана-заказа утверждается уже не в отдельных уголках области, а становится всеобщим принципом.

У каждого явления есть своя логика. Затекает человек какое-то дело, думает, например, крыльцо у дома отремонтировать. Работа вроде несложная. Разобрал, смотрит — оказывается, и первый венец подгнил: менять надо. Хлопот уже гораздо больше. Вынул бревна первого венца — смотришь, надо срочно укреплять фундамент.

Не знаю, насколько этот образ подходит в случае с белгородским экспериментом. Был ли у них сразу стратегический план, предусматривающий развитие событий, или он складывался по мере продвижения вперед, когда сама жизнь диктовала им дальнейшие меры, но ясно одно: раз начав дело, они пошли до конца, не остановившись на полдороге, и в этом было их спасение. Специализация в животноводстве потребовала от них изменений в планировании производства и размещении планов-заказов на продажу государству своей продукции, причем не только животноводческой, но и растениеводческой. Вслед за тем пришла очередь пересмотреть и существовавшие принципы материально-технического обеспечения, систему банковского кредитования. Это было неизбежно, поскольку здесь все было связано, отложено на действие того самого уравнилельного погектарного принципа. Каждый колхоз, получив задание на производство свинины, говядины, баранины и так далее, должен был, естественно, строить свинарники, овчарники, то есть в области чуть ли не одновременно начинали сразу строить (ремонттировать) в четырехстах пунктах совершенно одинаковые объекты. Долг, обязанность снабжающих организаций состояли в том, чтобы всех обеспечить строительными материалами, необходимым оборудованием. Сделать это было трудно, почти невозможно. И тогда вся система управления сельскохозяйственным производством — хозяйственная, советская, партийная — включалась в наблюдение за тем, чтобы всем всего досталось по крайней мере без обиды, поровну.

Та же логика действовала и в распределении банковских средств, долгосрочных кредитов. Ясно, что такой подход к делу вел к тому, что затягивались сроки строительства, увеличивалось число незавершенных объектов, затруднялось комплексное решение производственных проблем. И потому снижалась эффективность капиталовложений. Все это видели, но поправить дело было нельзя: в условиях погектарного планирования такая система распределения банковских и материально-технических средств единственно возможна и справедлива. Не можете же вы действительно дать мне заказ на свинину, а весь цемент, лес, шифер предложить моему соседу, имеющему примерно такой же план производства. Белгородцы разорвали этот порочный круг, отказавшись от погектарного планирования. После этого было совершенно логично сконцентрировать банковские и материально-технические средства там, где они действительно нужны. Естественно, что колхозы, освободившиеся от плана-заказа по мясу, яйцу, шерсти, уже не нуждаются в стройматериалах в той степени, что раньше. Свинарников, птичников, овчарников им строить не нужно. Животноводческие же комплексы получили то, что раньше распылялось на сотни и сотни объектов.



Показательно: в 1964 году кредитные ассигнования, полученные областью на сельское строительство (14,1 миллиона рублей), были распределены между 328 колхозами, а в 1967 году 36 колхозов получили 81 процент выделенной суммы (39,4 миллиона рублей). Таково же положение и с материально-техническими средствами. И сразу же окупаемость фондов в колхозах снизилась с пяти с половиной лет почти до четырех. Более того, из тех же самых материалов, которые поступают в распоряжение области, стало возможным построить несопоставимо больше, чем при прежних принципах планирования производства и материально-технического снабжения. Задумываешься над подобными вот фактами — и опять невольно начинаешь сомневаться в природе нынешней нехватки леса, железа, шифера: где ее реальная граница, а где искусственная?

Опыт концентрированного вложения средств понимается иногда как призыв отказать от распределения средств по принципу «всем сестрам по серьгам». Но ведь это далеко не так. Если этот принцип понимать в том смысле, что одна сестра получает драгоценные серьжки, а другая — может при этом остаться с пустыми руками, то вряд ли кто согласится воспользоваться таким советом в личной жизни. Что же тогда говорить об общественно-экономической?! Но ведь не обязательно все сестры должны получить только «серьги», да притом еще одинаковые. Уж если не отрываться от образа, то куда разумнее и справедливее, чтоб одарить «сестер» равноценными, но отнюдь не одинаковыми «подарками». Собственно, по этому принципу и строятся отношения между колхозами в Белгородской области. Было бы неправильно считать, что те хозяйства, которые получают сейчас здесь большие комплексные вложения, растут и поднимаются за счет других, где вложения меньше.

Выезжая из Москвы в Белгород, я как напутствие слышал голоса сомневающихся: да, успехи у белгородцев в развитии производства есть, но вот социальной стороной дела они явно пренебрегают — одним дают все, других обижают, дают только минимум. Под этим как раз и имелась в виду только что описанная нами практика распределения материально-технических средств и банковских кредитов.

Памятуя об этом, я, естественно, попросил моих белгородских хозяев показать одного из многих «обиженных».

Мы заехали в контору колхоза имени Шевченко Борисовского района и вместе с партгором этого хозяйства, бухгалтером и экономистом попытались разобраться, как живется-может быть им после того, как они освободились от выполнения планов-заказов по продаже животноводческой продукции. Беседа была искренней. Люди не скрывали своей растерянности: десятилетиями разводили и птицу, и свиней, и овец, и телят, а тут раз — и все в один момент свернули. И дома стало пусто и как-то непривычно. Бывает так: сдает человек экзамен, работает с утра до ночи, мечтает о том дне, когда станет свободным, но вот наступил заветный час — и ему как-то не по себе, чего-то недостает. Это психологический барьер, и, видимо, в процессе специализации производства его пока еще не все преодолели. Отнесемся бережно к эмоциям, но заглянем все-таки в бухгалтерские книги.

Освободившись от выполнения плана-заказа по животноводству (кроме молока), колхоз сократил поголовье, оставив ровно столько скота и птицы, сколько нужно для удовлетворения внутренних потребностей и для того, чтобы с экономической выгодой утилизировать отходы производства. Получилась довольно занятная картина.

	1964 год	1966 год
Свиноферма	дала убыток 83 000 руб.	дала прибыль 54 000 руб.
Ферма крупного рогатого скота	дала убыток 64 000 руб.	—»— 21 600 руб.
Овцеферма	сработала так на так	—»— 8100 руб.
Птицеферма	дала прибыль 1 000 руб.	—»— 4900 руб.
Животноводство в целом	дало убыток 96 000 руб.	дало прибыль 91 400 руб.

(Конечно, свое влияние оказали и новые цены на животноводческую продукцию, но нельзя сбрасывать со счетов и структурные изменения.)

В связи с перераспределением плана-заказа колхоз имени Шевченко должен теперь продавать государству примерно на две с половиной тысячи тонн зерна больше, чем при прежней системе расчета его обязательств перед государством. Но освободив (из-за сокращения поголовья скота) для зерновых дополнительные площади, колхоз от этого нисколько не прогадал, а только выгадал. Рентабельность производства пшеницы составляет здесь почти 140 процентов (1966 год), а сверхплановая продажа и того выше. Как эта перестройка сказалась на колхозниках? Вместо 2,3 рубля в расчете на человеко-день они стали получать 3,27 рубля, причем регулярно каждый месяц. На особом счету колхоза лежат сейчас уже деньги, гарантирующие этот уровень оплаты на следующие месяцы. Нельзя сказать, чтобы колхоз свернул строительство. За последние два года здесь открыли новый детский сад, построили двое детских яслей, хорошую баню. Ведут строительство дороги твердого покрытия. В этом году протянут три километра, а в следующем — остальные пять километров. Дорога — удовольствие дорогое: около шестидесяти тысяч рублей за километр, но у хозяйства есть деньги. Есть деньги, чтобы строить даже гораздо больше, чем сейчас. Теперь тут другая беда — есть на что, но нет из чего строить, а достать материал трудно. Но это все же лучше, чем если бы не было средств: хорошенько разобравшись, с этой «бедой» можно справиться. Так что, познакомившись с «обиженным» хозяйством, я увидел, что оно «под тихую» выиграло ничуть не меньше, а, пожалуй, даже больше, чем «любимчики» — животноводы.

Собственно, это видно даже по уровню общехозяйственной рентабельности. У хозяйств, освободившихся от выполнения плана-заказа по животноводству, она составляет (в отношении к себестоимости) 37,6 процента, а у животноводческих она колеблется от 37,7 процента (свиноводческие) до 20 процентов (крупный рогатый скот) и 31,9 процента (птицеводческие). Если же рентабельность огнотить к фондам, а это единственно правильная методика, то «обиженные» и «любимчики» и вовсе поменяются местами: 14,3 процента (свиноводческие), 22,1 процента (крупный рогатый скот), 9,9 процента (птицеводческие).

Итак, белгородский эксперимент не имеет ничего общего с «подкармливанием» одних хозяйств за счет других.

В результате нового подхода к планированию и организации производства ускоряется развитие всего сельского хозяйства области в целом и на этой базе происходит рост оплаты труда колхозников. За два последних года она повысилась на 27 процентов относительно к уровню 1964 года в расчете на человеко-день. Одновременно меняется и сам характер крестьянского труда. Комплексная механизация, широко применяемая в белгородских колхозах, превращает его в разновидность труда индустриального. И это надо посмотреть на месте, чтобы правильно понять смысл и значение такого превращения.

Вот уже несколько лет Белгородская область работает по-новому. И уже видны результаты, позволяющие судить, как сказалась перестройка на экономике хозяйств, на темпах роста производства, то есть в какой-то степени уже можно судить об успехе эксперимента и его пригодности для более широкого распространения. Неоспоримо прежде всего улучшение натуральных показателей. Производство говядины высшей упитанности возросло (по сравнению с 1964 годом) более чем в четыре раза. Резко увеличились среднесуточные привесы. Крупный рогатый скот в 1966 году давал, например, по 722 грамма привеса (в 1964 году — 390). Это не могло не сказаться на себестоимости продукции. Она существенно снизилась, и животноводство в целом по области дало в 1966 году вместо прежнего восемнадцатимиллионного убытка тринадцатимиллионную прибыль.

Предпринятая перестройка планирования производства ускорила развитие животноводства. Если в прошлом пятилетии среднегодовой темп роста сельскохозяйственного производства составлял 5 процентов, то за последние два года он составил в среднем 9,8 процента.

В чем же причина успеха белгородского эксперимента и в чем был риск при его начале?

На наш взгляд, двумя-тремя годами раньше тот же самый опыт окончился бы плачевно. А сейчас он демонстрирует практическую возможность ускорения роста нашего сельскохозяйственного производства. И дело здесь не столько в том, что белгородцы догадались построить крупные фермы, механизировать труд и наладить рациональную систему кормления скота. Все это важно, но производно, производно от экономики.

Мартовский Пленум ЦК КПСС существенно исправил помехи в действии стоимостного механизма в системе сельского хозяйства, в значительной степени нормализовал действие товарно-денежных отношений между социалистическими предприятиями.

Новые цены на заготавливаемую в хозяйствах продукцию оказались ближе к общественно необходимым затратам. Разве можно было раньше нагрузить одно хозяйство таким производством мяса, как это сделали сейчас белгородцы? Да оно через несколько месяцев вылетело бы «в трубу». И не только из-за цен. Если бы в какой-либо области сконцентрировали в нескольких хозяйствах такое огромное количество скота, а потом изъяли бы, как изымалось прежде не только товарное, но и фуражное и семенное зерно, последовавший бы вслед затем падеж скота грозил бы инициатору эксперимента не только административными выводами. В тех условиях лишь уравнительный, погектарный принцип способствовал поддержанию производства.

Я помню реакцию хозяйственников на решения мартовского Пленума. Люди радовались и в то же время не вполне верили в то, что придет осень и их опять не «убедят» сдать все зерно под метелку. Случись такое, мы говорили бы сейчас о белгородском эксперименте и его результатах совсем, совсем иное. Но белгородцы поверили в новый подход к подъему сельского хозяйства, и сейчас они на коне.

Нет, дело не в том, что у них все проблемы уже решены и теперь им осталось только плоды пожинать. Наоборот, углубленная специализация ставит такие вопросы, без решения которых трудно идти дальше, а судьба этих решений не всегда в их руках. Для мелкого производителя, какими были колхозы в Белгородской области по сравнению с нынешними животноводческими хозяйствами, не так уж заметно было колебание в уровне рентабельности отдельных производств. Ну, положим, говядина дает 20 процентов рентабельности, зато подсолнечник — 700 и больше. Все хозяйства имеют всего поровну, где-то и общехозяйственная рентабельность выравнивается. Теперь дело оборачивается по-иному, и от Комитета цен при Госплане СССР требуется еще большая оперативность в разумном регулировании экономических процессов. А то одно специализированное хозяйство без особого труда будет жить припеваючи, а другое, даже выбываясь из сил, не сможет дотянуться до нормального уровня. Возникает и еще один важный вопрос. Белгородцы «раскроили» по-новому план-заказ между своими хозяйствами. Но для самой-то области он «нарезается» по-прежнему, ограничивая тем самым резервы повышения экономичности производства. Да самого последнего времени область получала при нынешней системе раскладок план по тутовому шелкопряду. Белгородцы вынуждены сейчас выращивать на продажу и картофель, хотя на площадях, отводимых ему, лучше выращивать пшеницу. Картошка и в Брянске хорошо растет, зачем же бросаться черноземом! В связи с этим первый секретарь Белгородского обкома партии Н. Васильев справедливо заметил:

— Вполне возможно, по обоюдной договоренности между областями, обменяться соответствующими планами-заказами. Мы кому-то передали бы свое обязательство по продаже картофеля или какого другого продукта (туда, конечно, где он хорошо растет), а взяли бы на себя повышенные задания по производству того, что у нас получается лучше. В рамках общего плана-заказа такая передвижка позволила бы углубить специализацию, улучшить размещение отдельных производств между областями и повысить их экономическую эффективность.

Эта идея встретила поддержку со стороны руководителей других районов страны. Первый заместитель Председателя Совета Министров Эстонской ССР Э. Тынурист писал в одной из своих статей, что Эстония предварительно договорилась об обмене некоторыми пакетами планов-заказов со своими соседями — латвийцами. Эстонцы передают туда свой план по льну, а латвийцы уступают им план по централизованным поставкам картофеля. Для обеих сторон это было бы очень выгодно.

Во всем деле планирования производства большое значение имеет и то, какой прин-

тип будет заложен при доведении до области плана продажи продукции государству на следующее пятилетие. Если за основу будет взят показатель «от достигнутого уровня», то может получиться так, что оптимальному сочетанию животноводческих и растениеводческих отраслей будет нанесен ущерб. Так что на пути у белгородцев, поставивших интересный и экономически важный эксперимент, встает и еще встанет много больших и малых проблем, ждущих своего решения.

До сих пор речь шла об изменениях в организации производства в колхозах Белгородской области. Но интересно отметить и другое.

Осуществление намеченных преобразований заставило белгородцев задуматься и над совершенствованием системы управления колхозами. Обнаружилось, что существующий механизм, несмотря на его внушительные размеры, во многом не удовлетворяет новым требованиям. И дело не в том, что людей не хватает, штаты малы. Для колхозов потребовался совершенно специфический аппарат управления, который был бы занят не столько разверсткой планов, понуканием «нерадивых» и сбором отчетных данных по схемам, выработанным вышестоящими организациями, сколько помощью в организации производства в хозяйствах. Потребовался орган управления, который был бы как бы на службе у колхозов, выполняя их запросы и задания, а не наоборот, как это иногда случалось.

Действительно, нужно ли, чтобы каждое хозяйство посылало своего специалиста-зоотехника контролировать всякий раз сдачу скота на приемном пункте, нужно ли, чтобы все порося, каждый в своем углу, разрабатывали технологию производства мяса, яиц, шерсти? Можно еще перечислить много работ, общих для большой группы хозяйств, выполнение которых выгоднее поручить особой группе специалистов.

Пробудившийся, крепнувший после мартовского Пленума интерес к развитию производства подтолкнул белгородские колхозы создать такую специфическую организацию. И вот собрались на совещании в областном центре председатели специализированных колхозов и учредили совет специализированных хозяйств. В его состав вошли председатели колхозов. Совет собирается почти каждый месяц и обсуждает производственные вопросы, представляющие общий интерес. Для ведения текущих дел и разработки специальных технологических проблем совет пригласил на постоянную работу группу специалистов — двадцать человек. В их обязанность входит разработка технических рекомендаций по организации производства, сбор информации о передовом опыте в тех отраслях, которые есть у хозяйств — учредителей совета. По первому же звонку из колхоза специалисты совета выезжают на места, чтобы практически помочь наладить производство травяной муки, устранить ошибки в технологии содержания птицы и т. д. И это не только моральный, но и материальный долг специалистов перед колхозами. Потому что их зарплата формируется не за счет бюджета, а из отчислений (0,3 процента от прибыли) колхозов на содержание совета. В прошлом году на эти цели колхозы выделили около 50 тысяч рублей, причем 36 тысяч пошло в фонд оплаты специалистов, 8 тысяч пошло на командировочные и остальное — на канцелярские и прочие расходы.

Дело здесь, конечно, не в цифрах, а в том, что возникает, правда в самом зачатке, иная система отношений между хозяйством и органом, управляющим им. Колхоз в данном случае получил возможность влиять на структуру своего органа управления (учредители определяют, сколько и каких специалистов иметь им в совете), на его качественный состав (долго прикидывают, стоит ли брать, будет ли полезен для дел тот или иной специалист). Непосредственный производитель получает также возможность оказывать влияние на содержание работы своего координационного центра, контролировать ее ход. Пусть все это еще в зачатке, но все-таки уже заложено в основу организации совета. Те самые хозрасчетные принципы в отношениях между производителями и органами управления, о значении которых говорится в последних партийных решениях по хозяйственным вопросам, складываются уже в жизни, порой даже стихийно, поскольку сама практика подводит к признанию необходимости такого шага. Как этот принцип будет развиваться, будут ли областные советы по тому же самому принципу формировать зональные и республиканские, какие вообще функции закрепятся за ними — покажет будущее. Сейчас хотелось бы обратить внимание лишь на одну сторону процесса — на своеобразие в данном случае отношений между производителем и органом управле-

ния, на взаимопроникновение и подлинное, равноправное сотрудничество между ними, вполне логичное, естественное при нашем стремлении к гармонии интересов государства, предприятия, каждого отдельного грузеника.

Наблюдая отмеченные здесь процессы, некоторые люди говорят, скептически качая головой:

— Так-то оно так, и успех у «новаторов» определенный есть, но туда ли они тянут? Уж очень коммерческий дух силен во всех этих экспериментах. Как бы план они не подорвали!

Что верно, то верно! В основе белгородского эксперимента действительно лежит широкое развитие товарно-денежных отношений. Вся специализация на этом держится. У белгородцев один колхоз сосредоточивает свои силы на мясном откорме, другой — выращивает для него молодняк, третий — специализируется на нетелях и т. д. и т. п. Контакты между собой они осуществляют через куплю-продажу, через оптовую торговлю, по прямым договорным связям. Их они рассчитывают вывести и за пределы области, видят в этом выгоду и для государства и для себя. Не будь нынешних открывшихся возможностей налаживать прямые контакты с промышленностью, вряд ли белгородские колхозы смогли бы так быстро из сотен мест нашей страны добыть механизмы, оборудование, стройматериалы и т. п. Да примечателен сам по себе и тот факт, что опыт углубленной специализации осуществлен именно в «колхозной» области. У колхозов большая хозяйственная самостоятельность, их жизнь менее регламентирована. Имея средства, они могут покупать все, что сочтут нужным, и везде, куда только смогут, проникнут. Не связанные штатным расписанием, централизованными предписаниями, кому и сколько платить, колхозы оказываются гибкими в проведении экономического маневра. И эта жизнеспособность, эта гибкость в осуществлении планов развития производства может представлять тему для особых раздумий, имеющих, как мне кажется, большое практическое значение.



# ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

С. МАРШАК

★

## ДОМ, УВЕНЧАННЫЙ ГЛОБУСОМ

В архиве С. Я. Маршака сохранилась публикуемая ниже неоконченная рукопись, в которой рассказывается об одном из самых напряженных периодов его литературной деятельности — о том времени, когда все силы, ум и талант он отдавал созданию «большой литературы для маленьких». Эти страницы были написаны в 1962 году, за два года до смерти автора. Болезнь и другая работа оторвали Самуила Яковлевича от этой рукописи и помешали ему полнее обрисовать облик замечательного редакционного и авторского коллектива, сплотившегося вокруг него в двадцатых — тридцатых годах в Ленинграде. В рассказе еще не появились многие пришедшие позднее члены этого коллектива, которым автор хотел посвятить последующие страницы. Нет здесь имени самого близкого ему по особенностям своего таланта и по эстетико-этическим взглядам литератора — Тамары Григорьевны Габбе. Ничего не говорится и о других верных учениках и помощниках — Александре Иосифовне Любарской, Лидии Корнеевне Чуковской, Зое Моисеевне Задунайской, Леониде Савельевне Савельеве (Липавском). Совсем мало представлены в нем основоположники новой графики в книгах для детей — Владимир Васильевич Лебедев, Владимир Михайлович Конашевич и другие, зачинатели советского научно-художественного жанра Б. Житков и М. Ильин. Ко времени, до которого доведен рассказ, в детскую литературу еще не вошли Д. Хармс, А. Введенский, Ю. Владимиров, в ней не появились еще такие книги (может быть, лучшие достижения ленинградской редакции), как «Республика Шкид» Г. Белых и Л. Пантелеева, «Солнечное вещество» М. Бронштейна, «Жизнь Итгеургина Старшего» Тэки Одулока (Н. Спиридонова), «Одногодки» И. Шорина, «Повесть о рыжей девочке» и «Повесть о фонаре» Л. Будогоской, «Подводные мастера» К. Золотовского, «Японские сказки» в пересказе Н. Фельдман и многие другие. И тем не менее живое свидетельство создателя этой редакции о ее первых шагах разъясняет характер и принципы ее работы. Отсутствие последующих страниц до некоторой степени восполняется написанными им в последние годы жизни очерками о Т. Г. Габбе и М. Ильине<sup>1</sup>, его письмами<sup>2</sup> и публикуемыми ниже двумя записями, сделанными Лидией Чуковской.

Публикация подготовлена И. С. Маршаком.

**Е**сть на Невском проспекте в Ленинграде шестиэтажный темно-серый дом, увенчанный глобусом.

Когда-то его называли «домом Зингера» (в то время чужь ли не всем на свете были известны швейные машины фирмы «Зингер и К»), а после революции он стал «Домом книги». Все его этажи занял Ленгосиздат со множеством книжных и журнальных редакций, а в нижнем этаже разместился большой и парадный книжный магазин.

Этот дом памятен мне потому, что в нем я провел почти безвыходно много лет (сплошь и рядом мне и моим товарищам случалось работать в редакции не только днем, но и до глубокой ночи, а то и до следующего утра).

<sup>1</sup> С. Я. Маршак. Воспитание словом. «Советский писатель». М. 1964, стр. 34—50 и 457—523.

<sup>2</sup> См., например, публикацию в журнале «Вопросы литературы» (1966, № 9, стр. 101—133). Более полно письма будут опубликованы в последнем томе готовящегося восьмитомного собрания сочинений С. Я. Маршака.

«Дом книги» стал моим вторым домом, когда мне было лет тридцать семь — тридцать восемь, а покинул я его в пятидесятилетнем возрасте.

Это — значительная часть моей жизни, годы бодрой деятельности, годы зрелости.

Ограбил ли я себя, отдавшись на столько лет почти целиком редакционной работе?

Да, конечно, оглядываясь назад, я иной раз жалею, что не успел вдоволь поездить, попутешествовать в ту пору, когда передвижение еще не представляло для меня особой трудности, не слишком часто позволял себе бродить без дела и без цели по чудесному городу, исхоженному мной из конца в конец в годы юности.

Мало времени оставалось у меня для моей семьи, еще меньше для собственной литературной работы, которой я успевал заниматься главным образом летом, а в остальное время — то ночью, то по праздникам, то урывками в редакции.

И все же мне думается, что потратил я все эти годы не зря.

Я числился в редакции литературным консультантом, то есть должен был поучать, инструктировать других — редакторов и авторов книг, — а на самом деле многому научился сам.

На работе я впервые осознал в большей мере, чем прежде, ответственность перед временем, перед людьми, доверяющими мне свои рукописи, а иной раз и свою судьбу, перед множеством читателей и перед самим собой.

А еще благодарен я «Дому книги» за то, что нашел в нем не только товарищей по работе, но и друзей — людей честных, умных и талантливых, — которые любили меня и которых я любил и люблю до сих пор — тех, кто еще жив, и тех, кого уже нет.

Письменной словесности народов обычно предшествует период устного творчества.

Такой период бывает и у детских писателей. Я имею в виду не только людей, всецело посвятивших себя детской литературе, но и таких писателей, как Лев Толстой и Горький, которые, как известно, много думали о воспитании, любили детей и с глубоким интересом приглядывались к этим «новым жителям земли».

Немало сказок, рассказов и очерков Толстого, вошедших в «Книжки для детского чтения», возникли из его устных рассказов детям — ученикам яснополянской школы.

Горький с удовольствием вспоминал те дни своей молодости, когда он ходил с ребятами — детьми рабочих окраин — за город в лес. По дороге он не только рассказывал им (а рассказчиком он был необыкновенным) разные истории, но и показывал в лицах забавные сцены: как, например, глотает наживку ленивая рыба перкня или что делается с самоварцем, когда в него забывают налить воду.

Известно, что знаменитый автор «Алисы в стране чудес» — Льюис Кэрролл, бывший профессором математики, — сочинил эту замечательную повесть устно, катаясь в лодке с маленькими дочерьми декана, и только потом записал ее.

Ветерана нашей детской поэзии, старейшего критика и литературоведа К. И. Чуковского я впервые встретил почти полвека тому назад на взморье с целой ватагой едва поспевавших за ним ребят. Загорелый и босой, он шагал с ними на прогулку или по делу, превращая дело в игру и придавая самой будничной и деловой фразе веселый ритм считалки. Вероятно, из этой свободной импровизации и родились строчки, известные теперь всем ребятам нашей страны.

Не знаю, что привело меня к детям в те молодые годы, когда мы меньше всего склонны возиться с малышами. И все же, когда мне было лет девятнадцать — двадцать, я находил в ребятах лучших сверстников и товарищей. Может быть, это объясняется тем, что я очень рано попал в общество взрослых и потом в кругу детей отводил душу, вознаграждая себя за все, что было мною упущено в детстве. Я участвовал в их буйной и шумной игре якобы ради них, чтобы доставить им

удовольствие, но как-то незаметно для себя уходил в эту игру с головой, до полного самозабвения.

Пожалуй, редко испытывал я такое подлинное вдохновение, как в те минуты, когда, играя в войну, пробирался со своим отрядом через редкий Румянцевский лес на окраине Петербурга, торопясь перерезать дорогу или зайти в тыл другому отряду.

Недаром мне всегда казалось, что художественное искусство ближе всего к военному, — но только без кровопролития. Как и военное дело, оно требует от человека смелости, воодушевления, острого и четкого чувства реальности.

Я любил рассказывать детям сказки, а иной раз и целые повести, героические или смешные, тут же сочиняя их на ходу. Это были очень благодарные слушатели, но иной раз они позволяли себе вмешиваться в течение рассказа и в конце концов принуждали меня сохранить моему герою жизнь, предотвратить угрожающую ему опасность или даже воскресить его, заменив смерть летаргическим сном или глубоким обмороком.

Безо всякой практической цели я нередко заглядывал в детские приюты царского времени, в казенные и убогие дома, где стоял, никогда не выветриваясь, смешанный запах сырости, карболки, грубого стирального мыла и лампадного масла. Этим же затхлым запахом были пропитаны и сами дети, одинаково одетые, стриженные на один манер. Чинно выстроившись в ряд, они хором пели, как бы желая вызвать сочувствие к своей сиротской доле, унылую песню:

Весело цветики в поле пестреют,  
Их по ночам освежает роса.  
Днем их лучи благодатные греют,  
Ласково смотрят на них небеса!  
Лас-ко-во смот-ряют на них не-бе-са!.

Бывал я и в школах городских и приходских. Заглядывать в гимназии, реальные и коммерческие училища, не говоря уже о кадетских корпусах, могли только сановные лица да еще люди, имеющие на это право по своему служебному положению.

Казалось, сама судьба заботится о том, чтобы я поближе узнал детей.

В Англии, где я учился в университете, я случайно узнал из газет о существовании своеобразной лесной школы, называвшейся «Школой простой жизни». Дети разных национальностей жили там зимой в палатках, а летом под открытым небом, работали в саду и на огороде, участвовали в постройке школьного здания. И в то же время в их воспитании играла значительную и важную роль музыка. Это было нечто вроде школы Рабиндраната Тагора в Индии. Во главе стоял человек, получивший ученую степень в Оксфорде, но отказавшийся от всякой карьеры ради того, чтобы жить среди природы. Лес был для него открытой книгой. Он легко разбирался в самой загадочной путанице следов, подражал голосу любой птицы.

Этим одним он мог бы завоевать уважение своих учеников. Но к тому же он был красив, силен, ровен и сдержан в отношениях с людьми и больше влиял на ребят личным примером, чем наставлениями. Никто в «Школе простой жизни» не работал более усердно в огороде или в саду, чем этот смуглый, темноволосяный и темнобородый «giant» — «великан», как называли его ребята.

Родители детей, учившихся в этой школе, были людьми разного общественного положения и достатка. Среди них был и профессор, и богатый шоколадный фабрикант-квакер, и музыкант, и бедный лондонский ремесленник. Платили за учение и содержание ребят кто сколько мог. Конечно, школа не могла бы существовать, если бы ее не поддерживали люди, заинтересованные в успехе нового и оригинального педагогического опыта.

Как эта школа пережила обе войны и что стало с ней, мне неизвестно. Сколько ни пытался я узнать о ее судьбе от людей, живущих в тех местах, я не добился



ровно ничего. Никто из них даже не знал, что когда-то существовала такая школа: никто не слышал имени ее руководителя. Она исчезла, не оставив никаких следов.

Впрочем, удивляться тут нечему. С тех пор, как я покинул Англию, прошло почти полвека (без двух лет), и это время было полно таких необычайных событий!

Последнее упоминание о «Школе простой жизни» я нашел в одном из номеров яснополянского педагогического журнала<sup>1</sup>.

Несколько месяцев, которые я провел в близком соседстве со школой, находившейся в предгорьях Уэльса, неподалеку от развалин древнего Тинтернского аббатства, еще теснее связали меня с детьми.

Было это неподалеку от тех мест, где за круглым столом короля Артура собирались когда-то в старину легендарные рыцари. Ребята из «Школы простой жизни» играли в поединки и турниры, распределив между собой имена прославленных рыцарей. Один был Ланселотом, другой — Тристаном, третий — самим Артуром.

Здесь я впервые познакомился с народными балладами, рыцарскими и крестьянскими, и с великолепной россыпью детского фольклора — с песенками, считалками-прибаутками (*Nursery Rhymes*<sup>2</sup>), из которых родилась богатая английская поэзия для детей.

Эти веселые и затейливые народные песенки почти непереводимы. И если мне удалось впоследствии воспроизвести многие из них на русском языке, то только благодаря тому, что я с детства знал и любил русский детский фольклор — все эти «Гори, гори ясно», «Дождик, дождик, перестань», «Бим-бом, тили-бом, загорелся кошкин дом» и т. д.

Из Англии я вернулся за месяц до войны 1914 года, и у себя на родине — совсем при иных обстоятельствах и в другой обстановке — снова очутился в кругу детей.

Было это в городе, где я родился, — в Воронеже. В 1915 году, на втором году войны, туда хлынул бесконечный поток бездомного и нищего люда, бежавшего или выселенного властями из прифронтовых западных губерний. Одни из беженцев нашли себе кое-какое временное пристанище, другие скитались по городу в поисках крова. Помню старый пустовавший дом, где разместилось целое еврейское местечко — одно из тех местечек, которые так чудесно изобразил старый Шолом-Алейхем. Многодетные семьи ютились на нарах, а в тесных проходах между нарами играли и дрались дети. Их было очень много, этих голодных, раздетых, босых ребят.

Властям не было ровно никакого дела до них. Спасти их от голода и болезней могла только добровольная помощь.

Местные жители — главным образом молодежь — занялись сбором денег, одежды, обуви, белья, игрушек и книг.

Как-то незаметно втянулся в это дело и я. Много времени провел я среди густо заселенных нар.

Дом-местечко был похож на те муравейники или ульи под стеклом, которые позволяют ученым или писателям наблюдать сокровенную жизнь муравьев и пчел...

Не могу не упомянуть здесь — хотя бы вскользь — еще одну пору моей жизни, которая тоже была для меня как бы этапом на пути к детской литературе.

<sup>1</sup> Нам удалось разыскать создателя «Школы простой жизни» английского поэта Филиппа Ойлера. Ему сейчас около девяноста лет. Последнюю четверть века он живет во Франции, собственными руками возделывает там виноградники. Им написаны на английском языке имевшие большой успех книги «Щедрая земля» (1953), «Сыновья щедрой земли» (1957), рассказывающие о жизни французских крестьян-виноградарей. Недавно (в газете «Сюд-Уэст» от 19 августа 1967 года) известный французский журналист Жорж Ра посвятил ему большой очерк, озаглавленный «Поэт и крестьянин». (Прим. И. С. М.)

<sup>2</sup> «Nursery Rhymes» — английский детский фольклор.

В самом начале двадцатых годов, когда в стране было много беспризорных и безнадзорных ребят, мы — я вместе с писательницей Е. И. Васильевой (Дмитриевой)<sup>1</sup> и группой художников, композиторов и актеров — решили организовать в Краснодаре детский театр.

Постепенно мы пришли к мысли, что ребята нуждаются не только в своем театре, но и в чем-то большем — в доме, который был бы для них клубом, читальней, местом отдыха.

Так возник «Детский городок». Одновременно с театром в нем были открыты детский сад, библиотека, столовая и слесарная мастерские. Но душой «городка» с первых дней его существования до последних дней оставался театр.

Дело было задумано с большим размахом. «Детскому городку» отвели едва ли не самый просторный дом во всем городе — здание, где раньше заседала Кубанская рада. Штат сотрудников был довольно многочисленный: ведь нам нужны были и актеры, и музыканты, и рабочие, и педагоги, и библиотекари. А средств у нашего хозяина — отдела народного образования — едва хватало на школы и детские дома.

Зато у нас не было недостатка в энтузиазме. Только из любви к делу сотрудники «Детского городка» (а среди них были такие выдающиеся актеры, как Дмитрий Орлов и А. В. Богданова) мирились с жалкой оплатой и пайком, состоявшим из одного фунта хлеба в день и одного пуда угольной пыли в месяц. Очень скудно оплачивалась музыка, которую писали к пьесам известные и талантливые композиторы — ученик Балакирева и Римского-Корсакова В. А. Золотарев и С. С. Богатырев. А нам, писателям, сочинявшим для театра пьесы, интермедии, даже в голову не приходило, что за это полагается авторский гонорар. Мы довольствовались той же зарплатой и пайком, что и другие работники «городка».

Первые мои сказки — в стихах и в прозе — были написаны для этого театра. А так как я неизменно бывал на каждом спектакле, я мог пристально следить за тем, как доходит до ребят каждое слово, не только по настроению зрительного зала и по выражению лиц зрителей. Нет, у нашего театра была такая аудитория, которая говорила и действовала во время спектакля едва ли меньше, чем актеры-исполнители. Она предупреждала полюбившихся ей героев о грозящей опасности, советовала, как им поступить, заглушала топотом, криком и свистом слова актера, исполнявшего роль злодея, и шквалом аплодисментов — реплики благородного героя.

Как ни старались администраторы и педагоги удержать публику на отведенных ей местах, перед оркестром во время действия всегда стояла толпа возбужденных зрителей.

Здесь, в театре, я встретился со своим читателем лицом к лицу, и это многому научило меня.

---

Редактором, или, как меня официально именовали, консультантом детского журнала, а потом Государственного издательства, я стал, сам того не ожидая — так же, как и детским писателем.

В 1923 году при «Ленинградской правде» начал выходить журнал для ребят младшего возраста. На первых порах он носил неприятное и довольно легкомысленное название «Воробей», а потом ему было присвоено более серьезное, хоть и несколько экзотическое заглавие — «Новый Робинзон». Этот журнал был и в самом деле Робинзоном. Возник он почти на голом месте, так как детская литература того времени представляла собой необитаемый или во всяком случае мало обитаемый остров. Старое невозвратно ушло, новое только нарождалось. Почти одновременно исчезли с лица земли все дореволюционные детские журналы — не только те, которые были проникнуты казенным, монархическим духом, но и более либеральные, — а заодно и старые солидные издательские фирмы, вы-

<sup>1</sup> Известная русская поэтесса (1887—1928), выступавшая также под псевдонимом Черубина де Габриак.

пускавшие «институтские» повести в переплетах с золотым тиснением, и многочисленные коммерческие издательства, выбрасывавшие на рынок дешевую макулатуру в пестрых обложках. Детская литература нуждалась в более решительном обновлении, чем «взрослая» литература. Рухнули стены, отгораживавшие детей от жизни, от мира взрослых и делившие юных читателей на две резко отличные одна от другой категории — ребят, которые воспитывались в детской, и детей «простонародья».

Еще живы были и даже не успели состариться многочисленные сотрудники прежних детских журналов — беллетристы во главе с весьма популярной поставщицей истерично-сентиментальных институтских повестей Лидией Чарской и всякого рода ремесленники-компиляторы, занимавшиеся популяризацией науки и техники.

Рассчитывать на этих сотрудников — понаторевших в детской литературе профессионалов и дам-любительниц — новый журнал, конечно, не мог.

Помню, я как-то предложил мечтательно-печальной и, в сущности, просто-душной Лидии Чарской, очень нуждавшейся в те времена в заработке, попытаться написать рассказ из более близкого нам быта. Но, прочитав ее новый рассказ «Пров-рыболов», подписанный настоящей фамилией писательницы — «Л. Иванова», — я убедился, что и в этом новом рассказе «сквозит» прежняя Лидия Чарская, автор популярной когда-то «Княжны Джавахи».

— Маршак говорит, что я сквожу! — горестно и кокетливо говорила Лидия Алексеевна своим знакомым, уходя из редакции.

Новому журналу были нужны новые люди. Перед ними были широко, настежь открыты двери редакции. И они пришли.

Одним из первых принес в редакцию свою рукопись Борис Житков, уже молодой и «бывалый» — в самом подлинном значении этого слова — человек. Направил его ко мне его школьный товарищ К. И. Чуковский. По образованию инженер-химик и кораблестроитель, Житков переменял на своем веку не одну профессию — был и штурманом дальнего плавания, и рыбаком, и учителем.

До «Воробья» и «Нового Робинзона» он нигде не печатался, хоть уже в самых первых рассказах, которые он принес нам в журнал, чувствовались несомненный талант и мастерство. Вероятно, ходить по редакциям мешало ему самолюбие. В записи, которую он сделал в своем дневнике, после того как впервые переступил порог нашей редакции, он говорит, что долго видел перед собой одни глухие стены, и вдруг ворота широко распахнулись. Пожалуйте!

И в самом деле мы встретили его радушно и тепло. Помню, прочитав его рассказ (даже два рассказа, один за другим), я сказал моим сотрудникам по редакции, что нам очень повезло — к нам пришел по-настоящему талантливый писатель, и такой именно, какой нам особенно нужен. Я предложил всем товарищам выйти к нему в коридор (приемной у нас не было), где он ожидал нашего отзыва, и горячо приветствовать его.

Впоследствии Житков говорил мне, что он никак не мог понять, почему из двух его рассказов я предпочел наиболее простой, не стоивший ему особого труда, а не другой рассказ, психологически более сложный.

Думаю, однако, что мой выбор был совершенно правильным. Редактор — тот же селекционер. Своим отбором — селекцией — он может оказать большее влияние на дальнейший путь автора, чем указаниями, советами — даже самыми осторожными и дружескими — или поправками в рукописи.

А у Житкова было как бы два литературных почерка: один тот, каким написаны его талантливые и сложные по замыслу и языку книги для взрослых — такие, как «Виктор Вавич» и «Без совести», — и другой, которым Житков, превосходный устный рассказчик, импровизатор, писал свои детские книжки, одинаково любимые и детьми и взрослыми, — «Про слона», «Пудя», «Морские истории» и другие.

Взрослые его книги до сих пор не утратили интереса (очень жалко, что не переиздают «Виктора Вавича»).

А в детской литературе Борис Житков занял виднейшее место, стал одним из ее классиков.

Многие рассказы, написанные им для детей, возникли из его устных импровизаций, из тех бесконечных историй, которые он так неторопливо, чуть картавя, рассказывал нам, затянувшись перед этим всласть дымом папиросы.

После каждой из его историй я настойчиво убеждал Бориса Степановича записать рассказ тут же, не откладывая. Так возникли замечательные книжки для детей — «Про обезьянку», «Про слона», «Дяденька».

Как в театре «Детского городка», так и здесь, в редакции, все были связаны между собой дружбой и общим интересом к делу. Борис Житков, Виталий Бианки, М. Ильин и другие «крестники» редакции не состояли в ее штате и все же совершенно безвозмездно проводили в ней целые часы с вечера до глубокой ночи, участвуя в обсуждении рукописи или в составлении плана будущих номеров.

Отношения с редакцией у каждого из них складывались по-своему.

Виталий Бианки пришел ко мне со стихотворением в прозе. Не слишком надеясь, что из него выйдет поэт, я стал расспрашивать его, что он знает, что любит, что умеет. Оказалось, этот молодой человек, похожий на артиста-итальянца, — страстный охотник, изучивший повадки и нравы лесных жителей. Интерес к ним привил ему с самого его детства отец, известный профессор-орнитолог.

Подумав, я предложил Бианки попробовать писать о том, что он знает лучше всего — о зверях и птицах. В то время о животных писали либо толстовцы — на тему: жалейте всякое живое, хоть и бессловесное существо, — или люди, смотревшие на зверей с точки зрения Пушторга. Сюжетных детских книг о жизни животных — таких, какие писали Сетон-Томпсон или Вильям Лонг, — у нас тогда почти не было.

И в самом деле Виталий Бианки вскоре написал несколько острых и забавных рассказов, которые и до сих пор читают дети, — «Лесные домишки», «Кто чем поет», «Чей нос лучше?» и другие.

Вскоре, читая Сетона-Томпсона, я нашел у него любопытную фразу о том, что волк читает свою утреннюю газету — то есть по запахам узнает, что случилось в лесу.

Эти несколько строчек навели меня на мысль предложить Виталию Бианки вести в «Новом Робинзоне» из месяца в месяц «Лесную газету». Ведь событий в лесу не меньше, чем в большом городе, — прилеты, отлеты, постройка жилищ, свадьбы, грабежи, битвы...

«Лесная газета» В. Бианки очень обогатила журнал, а через некоторое время, когда я и другие сотрудники журнала перешли на работу в Госиздат, она вышла там отдельной толстой книгой, много раз переиздавалась — со всевозможными исправлениями и дополнениями — и переиздается до сих пор. Ее читает уже третье поколение советских детей.

Постоянные отделы, которые мы завели в журнале наряду с печатавшейся в нем беллетристической, создавали крепкий костяк журнала, позволяли нам охватывать все новые и новые области жизни, а со временем дали Госиздату не одну книгу.

Отделы эти были самые разнообразные. Одни из них — «Мастеровой» и «Сделай сам» — вел Борис Житков, у которого хватало запаса знаний и наблюдений, чтобы из номера в номер рассказывать ребятам о различных профессиях и производствах; другой отдел — «Лаборатория «Нового Робинзона» — вел М. Ильин, будущий автор «Рассказа о великом плане» и «Покорения природы»; третий — «Погляди на небо» — молодой астроном, ныне профессор В. В. Шаронов. Был еще отдел, служивший журналу как бы окном в окружающий мир, — «Бродячий фотограф». Здесь помещались снимки самого разного характера — скажем, спуск настоящего корабля со стапелей верфи, а рядом самодельный корабль с палубой и капитанским мостиком, построенный ребятами из шашек торцовой мостовой на отгороженной части Невского проспекта, где шел тогда ремонт. Подписи

под фотографиями представляли собой целые рассказы, принадлежавшие перу таких писателей, как Николай Никитин и Борис Житков.

В поисках новых авторов мы совершали набег и на литературу для взрослых. Так, в «Новом Робинзоне» выступил с прозой поэт Николай Тихонов, написавший две большие сюжетные повести — «От моря до моря» (из времен гражданской войны) и «Вамбери» (о жизни и приключениях известного венгерского путешественника).

В журнале печатались писатели разных поколений: А. Чапыгин, К. Чуковский, Николай Асеев, Борис Пастернак, Константин Федин, В. Каверин, Осип Мандельштам, Б. Лавренев, Илья Груздев. Рука об руку с писателями работали художники: Александр Венуа, С. Чехонин, Б. Кустодиев, К. Рудаков, В. Замирайло, В. Владимиров и другие.

На подаренной мне книге, в которую вошли многие очерки Житкова, печатавшиеся в «Новом Робинзоне» — «Про электричество», «Сквозь дым и пламя» (о работе пожарных), «Про эту книгу» (о типографии), «Паровозы» и пр., — автор сделал такую надпись: «Курьерскому — от товарного».

Это значило, что ему, Житкову, приходится возить тяжелые грузы производственных очерков, а я в своих стихах о путешествии письма вокруг света, об удалом пожарном Кузьме или в сказке о том, как спорили между собой новенькая электрическая лампа со старой керосиновой, был свободен от всякой техники, которую занимался он.

Но в своей шуточной надписи на книге Житков был не совсем справедлив к самому себе. Если в очерках о мастерах и мастерстве он проявлял необыкновенную грузоподъемность, то в рассказах и повестях, полных событий и приключений, он развивал такие темпы, что мог поспорить с любым экспрессом.

Однако существенного различия между этими двумя жанрами не было ни у него, ни у М. Ильина. Оба они — в отличие от множества популяризаторов науки и техники — оставались и в очерках художниками, говорили языком образов. Слон в известном рассказе Житкова не был суммой определенных признаков, как во многих детских научно-популярных книжках. Это не «слон» вообще, не «ein Elefant», а «der Elefant» — определенный, настоящий, живой слон.

Как некогда молодой Художественный театр привлекал в свои ряды не застенелых театральных ремесленников, а людей свежих, с более широким кругозором и жизненным опытом, так и наша молодая детская литература подбирала сотрудников не из тесного круга узких профессионалов, а из среды новых писателей разного возраста и самых разнообразных биографий.

Одним из литературных крестников журнала был еще очень молодой человек, обладавший необыкновенным даром увлекательного собеседника и рассказчика. Как и Житков, он мог заставить прервать работу самых занятых и не склонных к потере времени людей. Из-за него мы не раз засиживались в редакции до глубокой ночи. Раньше он был актером, потом сотрудничал в газете «Кочегарка», выходившей в Донбассе, а впоследствии стал известным драматургом, автором своеобразных пьес, в которых реальность затейливо переплетается с фантастикой. Это был Евгений Шварц. Веселый, легкий, остроумный, он пришел в редакцию со сказкой-быльей («Рассказ старой балалайки») о ленинградском наводнении 1924 года.

Нелегко было написать на такую тему — да еще стихом раешника — бытовую сказку. Нужен был хороший слух и чувство такта, чтобы недавно пережитые события не теряли своей трагичности и величия от того, что рассказывала о них старая балалайка, унесенная волной вместе с домиком ее хозяев, жителей городской окраины.

Стариковский, неторопливый сказ придавал печальной повести какую-то особую мягкость и человечность.

Мне пришлось основательно поработать с молодым автором над этим первым его дебютом, но во время работы мы оба пережили немало поэтических минут.

«Новый Робинзон» просуществовал больше двух лет, а потом по каким-то соображениям издательство решило прекратить его существование.

Объяснить это решение можно было только тем, что журнал не вполне соответствовал принятому тогда трафаретному образцу пионерских журналов, хоть и был подлинно пионерским по своему духу и направлению.

Я хорошо помню, как мы работали над последним номером «Нового Робинзона», сыгравшего немалую роль в истории нашей детской литературы. Мы решили готовить этот номер так заботливо, тщательно и весело, как будто бы он был первым номером начинающегося журнала.

Мы чувствовали, что дело, которому было отдано столько времени и сил, не кончится с последней страницей «Нового Робинзона».

Так оно и случилось.

---

И вот наконец мы обосновались на шестом этаже здания, увенчанного глобусом, на углу Невского проспекта и канала Грибоедова.

Детской и юношеской книгой до нашего прихода занимался в Ленгосиздате всего лишь один человек, далекий от художественной литературы и ставивший перед собой только узко педагогические задачи. Во всяком случае он не выпустил за время своей работы ни одной сколько-нибудь заметной и запомнившейся книги.

Чтобы разбудить это сонное царство, именовавшееся Отделом детской и юношеской литературы, Ленгосиздат решил привлечь к делу меня. Но я уже ясно понимал, что без дружного и хорошо подобранного коллектива перестроить до основания всю работу отдела будет невозможно. Я согласился принять предложение издательства только при условии, что со мною вместе будут приглашены на работу Борис Житков и один из талантливейших наших художников Владимир Васильевич Лебедев. Руководители издательства долго не соглашались на мое условие, но в конце концов приняли его.

Надо было приступить к делу, а между тем в портфеле, оставленном нам прежней редакцией (вернее сказать, редактором), не оказалось ни одной сколько-нибудь пригодной рукописи. Но зато мы получили другое наследство — те повести, рассказы, очерки, которые печатались в «Новом Робинзоне». Этому журналу мы были обязаны тем, что уже на первых порах могли сдать в печать совершенно готовые книги — Н. С. Тихонова, Бориса Житкова, Виталия Бианки, В. А. Каверина, шлиссельбуржца М. В. Новорусского и других.

Но не только литературным материалом помог нам «Новый Робинзон». Он оставил нам в наследство и основное ядро сотрудников, и немалый редакторский опыт, и самую атмосферу нашей прежней журнальной редакции, где острая шутка или даже целая занимательная история, рассказанная кем-нибудь между делом, ничуть не мешала самой напряженной работе. Так же, как и в «Новом Робинзоне», на шестом этаже «Дома книги» встречалось и знакомилось между собой множество разнообразного народа. Правда, в отличие от журнальной редакции, ютившейся в одной комнате, здесь была особая комната, куда не проникал шум. Ее так и называли «тихой», потому что в ней шла работа, требовавшая особой сосредоточенности.

Но я думаю, что, если бы и вся наша редакция была столь же тихой, она бы далеко не уехала.

---

Вскоре мы поняли, что издавать книги куда труднее, чем выпускать тонкий ежемесячный журнал. Больше затрат, риска, ответственности. Да и круг авторов был у нас еще слишком узок для того, чтобы мы могли хоть в какой-то мере охватить многообразные интересы наших читателей. В сущности, Отдел детской и юношеской литературы с первых дней своего существования уже заключал в себе несколько издательств. Это был и детский Гослитиздат — Издательство художест-

венной литературы,— и Детское научно-техническое издательство, и даже Госполитиздат. А при этом еще мы должны были выпускать книги не на одном, а на трех языках, ибо книга для самых маленьких ребят существенно отличается по языку от книги для младших школьников, а та в свою очередь от книги для подростков. И, пожалуй, труднее всего писать стихи и прозу для детей самых младших возрастов.

К такому выводу пришел когда-то и Лев Толстой, когда писал своего «Кавказского пленника» и другие рассказы для детей. Вот что он сам говорит по этому поводу: «Работа над языком ужасная — надо, чтоб все было красиво, коротко, просто и, главное, ясно...» «Я изменил приемы своего писания и язык... «Кавказский пленник»... это образец тех приемов и языка, которым я пишу и буду писать для больших...»

В высшей степени примечательно это свидетельство Льва Толстого. Он, в то время уже прославленный автор «Севастопольских рассказов», «Казаков», «Детства», «Отрочества» и «Войны и мира», как бы заново учился писать, работая над книгой для детей. Да при этом еще утверждал, что так же, теми же «приемами языка», будет писать и для взрослых.

Вот как много значит работа над детской книгой для писателя, если он относится к делу так ревностно и серьезно, как Толстой. Эта работа как бы дисциплинирует автора, приучает его добиваться предельной ясности языка и обходиться без ложных украшений, о которых говорил Пушкин в одной из своих заметок: «...Прелесть нагой простоты так еще для нас непонятна, что даже и в прозе мы гоняемся за обветшалыми украшениями...»

И не только «нагой» и благородной простоте учится писатель, создавая детскую книгу. К нему как бы возвращается первоначальная свежесть впечатлений. Заново, по-детски, вслушивается он в слова, давно уже ставшие для нас привычными. Будто участвуя в затейливой детской игре, он и сам становится таким же мечтателем, фантазером и даже озорником, как его маленькие читатели.

В этом мы убедились на многих примерах в первые годы нашей редакционной работы, когда послереволюционная детская литература только создавалась и вербовала авторов либо из среды писателей для взрослых, либо из новых людей, начинавших свой литературный путь с детской книги.

Неизвестно, стал ли бы профессиональным писателем Борис Житков, если бы этого моряка не прибило волнами к берегам детской литературы. И уж во всяком случае он не создал бы ни «Морских историй», ни рассказа «Про слона», ни приключений «Пуди», который был всего-навсего хвостиком от меховой шубы.

В своих повестях для детей впервые проявил себя как прозаик известный поэт Николай Тихонов. Участник гражданской войны, которую он провел в кавалерийском седле, альпинист и страстный любитель географии, он был желанным гостем в детской литературе, хоть и не сразу принял мое предложение писать для детей. Стихи у него были в это время сложные, густо насыщенные образами. Впоследствии он достиг зрелой простоты, но еще раньше добился ее в прозе, предназначенной для детей, особенно в превосходном цикле рассказов «Военные кони». Любопытна история «Приключений Буратино» Алексея Николаевича Толстого.

Он принес в редакцию перевод итальянской повести Коллоди «Приключения Пинокио». Эта повесть, впервые вышедшая в русском переводе еще до революции, почему-то не пользовалась у нас таким успехом, как на Западе.

Не знаю, завоевала ли бы она любовь читателей в этом новом переводе, но мне казалось, что такой мастер слова, как Алексей Толстой, мог бы проявить себя гораздо ярче и полнее в свободном пересказе повести, чем в переводе. Он помнил эту повесть еще со времен своего детства и с трудом отличал отдельные ее эпизоды от тех причудливых вымыслов, которыми дополнило и разукрасило их детское воображение. Вольный пересказ, не связывающий фантазии рассказчика, давал ему возможность сохранить и эти домыслы.

А. Н. Толстой взялся за работу с большим аппетитом. Он как бы играл с читателем в какую-то веселую игру, доставлявшую удовольствие прежде всего ему самому.

Разумеется, рядом с этим пересказом итальянской повести возможен, а может быть, даже и нужен более точный ее перевод (какой, например, недавно осуществил Эм. Казакевич). Но все же Буратино и Карабас-Барабас Алексея Толстого стали, и, вероятно, надолго останутся, любимыми героями наших ребят.

Новая детская литература оказалась своеобразной школой, не знающей возрастных ограничений.

Писательница Татьяна Александровна Богданович написала свою первую повесть для детей, когда ей было лет шестьдесят, а то и за шестьдесят. До того я знал ее как автора книги для взрослых «Любовь людей шестидесятих годов». Она была другом семьи В. Г. Короленко и близкой родственницей Анненских — известного публициста Николая Федоровича и поэта Иннокентия Федоровича. Замечательный историк Е. В. Тарле рекомендовал ее нашей редакции как человека, обладающего глубокими познаниями в области русской истории.

Исторических книг для детей и юношества было в это время очень мало. Прежние устарели, а школа давала учащимся самые скудные, поверхностные, обесцвеченные схемой сведения. У ребят не было никакой исторической перспективы. Они путали между собой всех Иоаннов и Александров, и вся русская история до революции сливалась в их представлении в какое-то мутное и расплывчатое пятно, которое называлось «эпохой царизма». Дать им живые и надолго запоминающиеся образы прошлого могла только художественная книга — рассказ, повесть или роман.

Но если специально детская литература предреволюционного времени почти не оставила нам традиций, которым мы могли следовать, то в исторической беллетристике для детей и юношества дело обстоит, пожалуй, еще хуже. В своем большинстве повести и рассказы «доброго старого времени» были в высшей степени примитивны и больше всего напоминали дешевые олеографии. Писали главным образом о князьях и боярах, о царях, царицах и полководцах и — только изредка — о «серых героях» типа матроса Кушки.

И в этой области литературы нужны были новые темы и новые люди.

Т. А. Богданович взялась за повесть о крупнейших русских промышленниках Строгановых и о рабочих людях, занятых на промыслах («Соль Вычегодская»).

Труднее всего было старой писательнице преодолеть декоративно-оперный стиль, в который неизменно впадали авторы исторических книг для детей. А между тем наше время, да и самый материал «Соли Вычегодской» требовали не бутафорского, а подлинного изображения старого быта.

Во время работы над книгой писательница то и дело возвращалась к поискам материала, собирала по крупинкам мелкие бытовые подробности, без которых невозможно представить себе отдаленную эпоху. А к тому же ей пришлось основательно поработать над языком и над композицией повести. Нужно было найти в самом материале контуры сюжета, который так необходим в детской повести.

Труд, потраченный на «Соль Вычегодскую», не пропал для писательницы даром. Если проследить весь литературный путь Т. А. Богданович от первой ее детской повести до последней — «Ученик наборного художества», — написанной по материалам, найденным в архивах одной из старейших петербургских типографий, нельзя не увидеть, насколько живее, свободнее и современнее становился с каждой новой книгой ее стиль, как все больше и больше удавалось ей сочетать строгую документальность со свободным развитием беллетристического сюжета.

Можно с уверенностью сказать, что за последний десяток лет своей жизни Т. А. Богданович успела сделать больше, чем за все предшествующие годы. Она как бы пережила вторую молодость, работая рука об руку с людьми другого поколения.

И всем этим она была обязана детской литературе.



Впоследствии наша редакция, уже обогащенная кое-каким опытом, не раз возвращалась к историческим повестям и рассказам. Мы даже мечтали о создании целой библиотеки книг на темы русской и мировой истории.

При всем практическом характере нашей редакционной работы, она неизбежно приводила к некоторым обобщающим, теоретическим выводам и заставляла задумываться над довольно сложными и трудными проблемами.

Одной из таких проблем был язык, стиль, жанр детской исторической книги.

Когда-то к первым попыткам в этой области отнесся с живейшим интересом Пушкин. Как известно, последнее из его писем, написанное накануне дуэли, было адресовано А. О. Ишимовой — автору исторических рассказов для детей. Конечно, внимание Пушкина привлекли не литературные достоинства книги Ишимовой — довольно бледной и наивной, — а сама идея создания детских рассказов на исторические темы.

В свои четыре «Книги для чтения» включил несколько коротких исторических очерков и рассказов Лев Толстой.

Но из всех лучших образцов этого рода нельзя было составить даже самую скромную библиотеку.

Кого же привлечь к этому делу? Писателей? Но немногочисленные тогда авторы исторических романов — как, например, Алексей Чапыгин — писали очень сложным, стилизованным языком. А тут нужна была толстовская простота и ясность.

Привлечь историков? Но среди них было еще труднее отыскать таких, которые умели бы писать для детей.

Нелегко говорить о прошлом с читателем, у которого нет никакого запаса исторических знаний.

Выступая на Первом съезде писателей, я как-то сказал, что сведения по истории у наших ребят похожи на лестницу-стремянку, у которой недостает очень многих ступенек, а гораздо больше зияющих провалов между ступеньками.

Как же быть? Нельзя же снабжать каждую книгу длиннейшим предисловием и множеством примечаний, чтобы дать читателю хоть какое-нибудь представление о том, что предшествовало эпохе, о которой идет речь в книге, и как далека она от нашего времени.

Правда, подлинно художественная повесть — «Капитанская дочка» или «Кавказский пленник» Толстого — не слишком нуждается в комментариях.

Но ведь таких повестей, доступных школьнику, было очень мало.

Значит, наряду с новыми рассказами и повестями, которых мы могли ждать от писателей, надо было все же рассчитывать и на историков.

Но для того, чтобы писать для детей, они должны были проделать ту «ужасную работу» над языком и стилем, о которой говорил Лев Толстой. Только при этом условии написанные ими книги могли увлечь юных читателей в той же мере, что и сюжетная беллетристика

На одном из таких опытов, пожалуй, стоит здесь остановиться.

Талантливый и авторитетный ученый, специалист по истории античного мира профессор С. Я. Лурье предложил редакции книгу, в основу которой был положен подлинный документ — письмо греческого мальчика, который жил в Александрии около двух тысяч лет тому назад.

Профессор написал свою книгу в форме повести, хоть и не был беллетристом.

«Беллетризация» материала ради придачи ему большей занимательности — это старый, испытанный прием, которым нередко пользовались в детской литературе популяризаторы научных знаний.

Редакция полагала, что особая ценность книги С. Я. Лурье заключалась в ее документальности. Она могла стать настоящим событием в детской литературе и вызвать к жизни еще много книг того же жанра, если бы профессор выступил не в качестве беллетриста, а в более свойственной ему роли ученого, исследователя.

На глазах у читателя и при его самом живом участии можно было провести очень увлекательную и в то же время строгую исследовательскую работу, начав с наиболее простых и элементарных вопросов.

Письмо написано в египетском городе Александрии. Почему же по-гречески? Чем писал мальчик и на чем? По письму видно, что его отец находился в путешествии. Чем же он мог заниматься? Какая обстановка окружала мальчика, когда он писал письмо? Какая примерно была в это время погода (в письме указан месяц)?

На все эти и еще многие другие вопросы можно было бы найти довольно точные ответы, показав при этом, какими богатыми ресурсами и какой замечательной методикой исследования располагает современная наука.

Такая книга, шаг за шагом восстанавливающая далекую эпоху, воспитывала бы и в читателе исследователя.

Отказ от привычных форм исторической беллетристики отнюдь не лишил бы ее ни художественной ценности, ни занимательности.

Блестящим примером такого рода исследования (или расследования) может служить «Золотой жук» Эдгара Аллана По.

Автор «Письма греческого мальчика» только отчасти воспользовался советами редакции, но в основном сохранил форму повести.

И все же мы должны быть благодарны ему за то, что его книга наряду с книгами М. Ильина, Б. Житкова и других подсказала нам новые возможности и приемы детской и юношеской научно-художественной литературы.

Книг на исторические темы с течением времени стало у нас гораздо больше, круг их авторов значительно расширился. В Москве и в Ленинграде появились повести Юрия Тынянова («Кюхля»), Степана Злобина, Георгия Шторма, С. Голубова, Георгия Блока, Елены Данько, В. Каверина («Осада дворца» и другие).

Однако наша детская литература до сих пор еще в неоплатном долгу перед младшими читателями, которым так нужны исторические рассказы, непревзойденным образцом которых до сих пор остается «Кавказский пленник» Толстого.

---

Беседуя однажды с ребятами на Кировском заводе в Ленинграде, я задал им довольно щекотливый вопрос: пропускают ли они, читая книги, те страницы или строчки, которые кажутся им скучными? Ну, например, описание природы.

— Нет! — ответили ребята хором.

— А я, признаться, иной раз пропускал слишком длинные описания, когда был в вашем возрасте, хоть это, конечно, очень нехорошо.

— И мы тоже пропускаем! — весело откликнулись ребята.

Так удалось мне вызвать своих собеседников на откровенность.

Дети любят в рассказе действие, события. Всякое отступление от фабулы задерживает, как бы откладывает в долгий ящик прямой ответ на прямой и нетерпеливый вопрос: что же было (или будет) дальше?

И надо быть искусным рассказчиком, настоящим художником, чтобы, не отвлекаясь от сюжета, не прерывая действия, создавать по пути и образы героев, и окружающую их обстановку, даже картины природы.

Это отлично умели делать безымянные авторы народных сказок и такие писатели-сказочники, как Андерсен.

Безошибочным чутьем разгадали этот секрет и Пушкин в своих сказках, и Ершов в «Коньке-Горбунке», и Лермонтов в чудесной прозаической сказке «Ашик-Кериб».

Для ребенка сказка — та же действительность. Он не только читатель или слушатель, а непосредственный участник всего, что происходит в рассказе. У него «руки чешутся» и ноги не стоят на месте — он готов сейчас же, сию же минуту мчаться в бой, воевать за справедливость, спасать гибнущих, разоблачать злодеев, восстанавливать поправленную правду.

Недаром же мы знали так много юных героев в годы войны и в мирное время.

Эти герои — дети и подростки — те же читатели наших книг, зрители наших спектаклей. Мы не раз видели их с разгоревшимися щеками и ушами за столом библиотеки-читальни, не раз слышали их одобрительные или негодующие возгласы в зрительном зале театра.

Но и самое пристальное изучение классических образцов литературы, и самое глубокое знание психологии ребенка, конечно, не может подсказать ни детскому писателю, ни редактору, что именно нужно для того, чтобы создать хорошую сказку, повесть приключений, исторический рассказ или очерк о явлениях природы.

Тут не обойтись без поисков, без «разведки боем».

Каждый из этих жанров требует от автора и от редакции особого подхода. Каждый опыт индивидуален, хотя и позволяет иной раз делать обобщающие выводы...

## ДВЕ БЕСЕДЫ С. Я. МАРШАКА С Л. К. ЧУКОВСКОЙ<sup>1</sup>

### I

3 июля 1957.

...Что вам сказать о вашей будущей книге? Критик должен делать вывод вместе с читателем. Эмоциональная подготовка важна. Про это у нас забыли. Критик думает, что он может декретировать. А он должен подготовить читателя к своему выводу. Без читателя он не может делать вывода, как актер на сцене не может смеяться, если не смеется зритель.

С Гайдаром было так. Я ему сказал, встретившись в Москве:

— Вы человек талантливый, пишете хорошо, но не всегда убеждаете. Убедительные детали у вас не всегда. Логика действий должна быть безупречной, даже если действия эксцентрические.

— Ладно, — сказал он, — я приеду в Ленинград.

Приехал, мы засели в гостинице. Работали над «Голубой чашкой». Мы всё переписали вместе, и во время работы он восхищался каждым найденным вместе словом. И вдруг позвонил мне:

— Я все порвал. Это не мой почерк. Я все сделал заново.

И принес. Я был очень доволен. У него появилась забота об убедительных деталях. Сравните «Голубую чашку» с этим отвратительным Мальчишем... Там — все недостоверно.

Лядова<sup>2</sup> сразу приревновала Гайдара к нам и отозвала его.

Всякая работа в искусстве бывает успешна только тогда, когда она — движение. Вспомните МХАТ. Не было еще ни театра, ни актеров, ни пьес, а два человека уже знали, за что и против чего они хотят бороться. Их ночные разговоры все предвосхитили. Пушкин шел против архаизма с развернутыми знаменами. Не только в искусстве — и в медицине так. Если клиника — стоячее болото, — ничего нет. И в педагогике так. Ушинскому работать было интересно, Макаренко было интересно, а учителю твердить зады очень скучно.

Я никогда не забуду, как делался последний номер «Робинзона». Так, словно ему жить да жить, а не умирать. (Так вообще человек должен жить до последнего дня.)

<sup>1</sup> В 1957 году Лидия Чуковская, приступая к работе над книгой «В лаборатории редактора», попросила С. Маршака поделиться с ней мыслями о редакторском искусстве и воспоминаниями о ленинградской редакции. Обе записи сделаны ею стенографически и нередко цитируются в книге, в главе «Маршак-редактор».

Мы печатаем записи с сокращениями; в частности, удалено все то, что более полно и отчетливо высказано С. Маршаком в воспоминаниях, публикуемых выше.

<sup>2</sup> Лядова Вера Натановна — в ту пору главный редактор московского Детгиза.

Все, накопленное нами еще до начала работы, просило выхода, и естественно, что, когда мы начали, работа пошла горячо, успешно, а не просто стол, человек, кресло, портфель.

Нас увлекало то, что читатель — демократический, массовый, связанный с деревней, с заводом, а не белоручка. В этом была пленительная новизна. Пленительно было и то, что многое рухнуло. Ведь предреволюционная детская литература в противоположность взрослой была монархична, реакционна. Гимназия, а с ней и литература для детей, была изгажена Дмитрием Толстым, Деляновым. Вольф для детей издавал Чарскую.

Нас увлекало то, что можно было строить новое, и то, что можно было убрать старую рухлядь и из беллетристики, и из популярщины, где все было переродно, дидактично, без художественного замысла.

---

В сторону: я вообще уверен в том, что совесть и художественный вкус совпадают. Пушкин сам по себе мог гордиться тем, что он происходит из аристократической семьи, а писатель он был демократический, потому что этого требовал художественный вкус, этого требовала настоящая гражданская совесть... В наше время и вкус и совесть должны запрещать брать героя, выходящего из ванной с махровым полотенцем на плече, потому что не у всех есть ванны...

Нас радовало и увлекало, что детская литература стала литературой демократической, — мы радовались переписке Горького с детьми, которая показала, как талантлив и требователен новый читатель.

Нас увлекало и то, что в детской литературе элементы художественный и познавательный идут рука об руку, не разделяясь, как разделились они во взрослой литературе.

---

Житков был хороший рассказчик. Это важный признак. Беллетрист должен быть хорошим рассказчиком. Горький, А. Н. Толстой, Куприн — все были рассказчики. Поэт — это тот, у кого есть чувство лирического потока, а беллетрист — это повествователь, тот, кто умеет рассказывать.

---

Мы исходили из того, что читатель-ребенок мыслит образами, а не отвлеченными понятиями, и книга должна обращаться к его воображению, вместо того чтобы быть дидактической. Все это было ново, увлекало людей, вызывало поиски. Вот почему сотрудники целыми ночами сидели в редакции «Робинзона»... Вот хотя бы Житков — он в штате не состоял, а, домой не уходя, ночами читал чужие рукописи. Обычно это такое скучное дело, а тут он читал с увлечением чужое и рассказывал свое. Все были увлечены новизной, новым движением...

---

Когда мы встретились с Корнеем Ивановичем, мы сразу заговорили не прикладным образом. Стали читать стихи, и не свои только, а Фета, Полонского, англичан, выясняя, что мы оба в них любим. Мы затевали журнал, он потом не вышел. Для него я делал «Деток в клетке», «Индийские притчи». И «Радугу» я написал для него, потому что журнал должен был так называться. Корней Иванович тоже многое для журнала придумал. Его должен был издавать Клячко. Человек он был благородный и талантливый, но безалаберный. (Я когда-нибудь о нем напишу.)

---

Когда стали меня звать в «Воробей», я не пошел сразу: я его побаивался. Там сотрудничали мало талантливые люди. И название мне не нравилось. Сначала я только со стороны помогал. Там сотрудничал почтенный человек, чистый, очень уважаемый, шлиссельбуржец Новорусский. Писать он не умел, писал нейтральным языком и пр. Но мне пришла в голову такая вещь: что, если пока-

зять, что люди в крепости были в худших условиях, чем Робинзон Крузо? Беда была в том, что у Новорусского не было тонового письма, а только штриховое, он не умел давать фон, а писал либо тюремный быт, либо людей. Тем не менее это было первое интересное, что печаталось там. Мы понимали, что детская литература должна находить свежий материал и должна быть интересной и ребенку и взрослому. Постепенно я сблизился с журналом. Но когда вышел один из первых номеров с моим участием, где были и «Тюремные Робинзоны», и пересказ Корнея Ивановича одной американской вещи, «Золотой Айры», и рассказ М. Слонимского, — у меня явилось странное ощущение: а почему это вышло теперь, сегодня, в этом году? Никаких элементов времени не было. Когда ко второму номеру явился Житков — поэтому его так приветствовали. Было ощущение, что вот наконец не книжное, а живое.

У искусства всегда должно быть два источника: жизнь и литература. Если один источник закроешь, нет искусства. Если закрыть жизнь, это будет форточка, открытая в коридор. Расцвет литературы наступает там, где жизненный материал встречается с великой культурной традицией. Так было с Пушкиным, Гоголем. Гоголь ближе встретился с великой культурой, чем, скажем, Квитна-Основьяненко.

Когда пришел Житков, он оказался как нельзя более кстати. Началась связь с временем. Страна переходила к строительству, к индустриализации. Мы стали придумывать в журнале окна в мир, например, отдел «Бродячий фотограф». То давали корабль на стапелях, то интервью с кондуктором. Подписи делали М. Ильин, Житков, Н. Н. Никитин.

---

Мы делали книги на самые передовые темы — «Рассказ о великом плане», «Штурм Зимнего», — и все-таки нас всегда упрекали в том, что мы недостаточно передовые.

---

Бескультурие страшное. Недавно ко мне пришел художник N, принес мне какую-то поднадсоновскую лирику. Не понимает, что так нельзя писать. Приходит инженер, приносит стихи на разные технические темы. Я спрашиваю: почему вы это не изложите в прозе? Было бы интересно!

— Я умею писать только стихами...

Белинский и другие были великие строители дорог в болоте бескультурия, своей кровью цементировавшие дороги среди бездорожья.

---

Конкретность, образность, простота толстовского «Кавказского пленника» — вот что мы считали образцом. Надо было восстановить силу слова, утерянную в будничной речи, в газете — помните, у Чехова в одном рассказе «снег, ничем не испорченный»? — вот такой снег мы искали. Иностранных слов мы старались избегать. Они холодны, они связаны со слишком немногими ассоциациями... У нас было стремление к чистому языку. Мы понимали свою ответственность: тем, что мы делаем, мы учим людей мыслить и говорить. Что может быть ответственным?

Требования: язык живой, конкретный, русский, а не переводный; материал живой, свежий.

---

Я прощаю схематизм Жюльо Верну и неправдоподобность Куперу. Прощаю потому, что у Жюльо Верна это было увлечение техникой и в технике он много предвидел. Купер... Недаром Белинский стоял за Купера, против Вальтера Скотта. Купер рожден американской и французской революцией, а Вальтер Скотт — замки, рыцари — реакционен... То, что делается впервые, заново, то, что возникает на идейной основе, то хорошо, а не рецидивы, когда крас-

нокожими и пиратами пользуются просто потому, что их уже до нас кто-то выдумал. Написал Эдгар По «Убийство на улице Морг» — источником была жизнь, а потом стали писать убийства для сюжета, для детективщины.

---

Приходит Савельев, приносит книгу «Пионерский устав» в стихах. Попытка изложить в стихах пункты пионерского устава. У нас ощущение, что это не то, что он может сказать. Книжку мы принимаем, печатаем, она не плоха и не очень хороша, но при нас остается человек, за которым мы чувствуем и мысль, и умение учиться, и интерес к жизни. Человек остается<sup>1</sup>.

---

В работе с Бронштейном мне дорого одно воспоминание. Полная неудача в работе с Дорфманом, который был не только физик, но и профессиональный журналист, и полная удача с Бронштейном<sup>2</sup>. То, что делал Бронштейн, гораздо ближе к художественной литературе, чем журналистика Дорфмана, у которого одна глава якобы беллетристическая — салон мадам Лавуазье, — а другая совершенная сушь.

---

Лебеденко пришел к нам с перелетом в Китай. По тем временам это было дело героическое. Он описывал подробно, как наши самолеты летели. Однако получилась всего лишь хроника — сегодня интересный день, а завтра очень скучный. Никакого нарастания, скучно. Я его спросил:

— А какой самолет был хуже всех?

Оказалось, «Латышский стрелок». Он был технически менее совершенен.

— Долетел все-таки? — спрашиваю.

— Долетел!

Почему же его не взять в центр рассказа, чтобы читатель все время беспокоился: а что «Латышский стрелок»? Догоняет? Подсознательно это у меня родилось из мысли о сказке об Иванушке-дурачке. Так иногда знание фольклора помогает работе над самыми реалистическими вещами. Это и есть пути культуры. То, что Гоголь бывал у Трощинского и видел комедия дель арте, помогло ему создать Бобчинского и Добчинского, а не просто смешные фигурки.

---

Тихонов писал стихи. Материал путешествий в его стихи не входил. Мы ему сказали: почему не попробовать писать прозу? В Ленинграде найти много писателей было трудно. Только то, что мы вели интенсивное хозяйство, дало нам возможность привлечь много людей. Для «Нового Робинзона» Тихонов написал «Вамбери» и «От моря до моря», а потом написал для нас прекрасную книжку «Военные кони» и «Симон-большевик». Написал, и написал прекрасно, потому что был увлечен.

---

Чарушин приставал ко всем, просил сделать подписи к его рисункам. Мы ему сказали:

— Ведь вы прекрасно рассказываете, попробуйте писать.

И он написал «Волчишку» и потом великолепные «Семь рассказов»... Лесник (Дубровский) тоже был человек талантливый. Он журналист, да еще из «Нового времени», но он знал природу и знал язык.

---

Каждый, кто приходил в редакцию, повышался в своей квалификации. Безбородов... Он был газетчик. Тут он шагнул на высшую ступень<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Савельев (Липавский) Леонид Савельевич — автор «Охоты на царя» и других талантливых детских книг.

<sup>2</sup> Речь идет о книге М. Бронштейна «Солнечное вещество».

<sup>3</sup> Речь идет о книге С. Безбородова «На краю света».

Богданович благодаря нашей редакции пережила несколько счастливых лет, радуясь своей работе. Ее было трудно отучить от «Князя Серебряного». Сколько было на нее истрачено сил! На пожилого поэта тратить силы не стоит, потому что поэзия — дело раннее, как балет, в зрелые годы начинать писать стихи поздно. А вот с пожилым, бывалым человеком или много знающим работать стоит. И у Богданович был свой путь к интересным вещам. Я боялся, чтобы она не подавала жареных лебедей на серебряном блюде, я гнал ее к прозаическим сюжетам, к архивам, к истории Строгановых и пр... Нами владело убеждение, что мы можем передать детям весь опыт человечества от ремесла до высоких и сложных научных дисциплин, и огромное количество людей может участвовать в этой передаче либо на ролях очеркистов, либо корреспондентов, либо художников — за исключением людей, лишенных вдохновения, наблюдательности, подходящих к делу, как спекулянты.

(Пока мы были свободны в планировании наших книг, мы могли жить находками, Житковым, Бронштейном и пр. Когда же мы вынуждены были в короткие сроки в обязательном порядке выпускать книги на такую-то тему, мы, чтобы не уронить престижа, должны были работать неправильно, переписывать, жертвовать своею кровью. Это было неправильно, но это были вынужденные исключения, а не метод.)

## II

12 июля 1957.

...Было такое дело: в Академии наук собирается небольшая группа людей — году в тридцатом, — которая мечтала о научно-художественной литературе. Это были: С. Ф. Ольденбург, знаток буддизма; Борисяк, крупный геолог; это был Ферсман; это был Келлер (отец замечательного критика Владимира Александрова)... И вот эта группа людей стала обдумывать программу научно-художественной литературы. Тогда же возникла идея журнала. Я этим был увлечен и увлек других, в частности Н. С. Тихонова, у которого есть интерес к географии, альпинизму, а более всего к отделу «Смесь» журнала «Вокруг света»... (Что ж, ведь «Вокруг света» был когда-то делом идейным, там был замечательный человек, основатель журнала Скворцов; это было тоже рождено идей, энтузиазмом...)

Журнал нами затевался такой: транспорт, трамвай в мир науки. Кто знает, например, что такое гистология? Предполагалось, что журнал будет подвозить к воротам наук, не вторгаясь в то, для чего требуются особые знания; сделает так, чтобы у человека был цельный мир, а не разрозненные сведения о мире. Задуман был отдел «Почта экспедиций». Я думаю, этот отдел тоже мог бы быть самостоятельным журналом. Сотни — если не тысячи — экспедиций бродят по лицу земли, изучают недра, почву, растения, животных, людей и пр. Они привозят сухие отчеты, а ведь среди участников есть люди живые, интересные, которые могли бы рассказать гораздо больше. Особенно поразительный народ геологи. Это подвижники. Они необычайно увлечены своим делом, и, кроме того, между ними существует настоящая дружба — в трудностях дружба необходима. Я встречал целые гнезда геологов — кавказских, уральских и т. д. У них замечательный материал, они столько могли бы рассказать о стране!

Тихонов для этого журнала написал повесть «Война». Про немца, изобретателя отравляющих газов. Довольно хорошую. Интересные вещи были написаны людьми, находящимися на границе наук. Например, Глеб Франк — он работает на границе физики и биологии. Эти пограничные области очень интересны — например, между физикой и химией. Интересно написал Ильин. А Зошенко написал пародию на научно-фантастический роман. Великолепную! Но какой-то дурак, стоявший во главе этого дела в ГИХЛе (это был журнал для взрослых), уперся, нашел, что люди недостаточно авторитетны, и все загубил.

До революции все издательства чрезвычайно жаждали получить хорошую детскую книжку, потому что она приносила большой доход. Но странное дело: то, что давали литераторы, успеха не имело, а всякая полулубочная поэзия имела успех. Например, скверный перевод немецкой вещи «Степка-растрепка», сделанный немцем, который плохо говорил по-русски. (Я был знаком с его сыном, даже он еще плохо говорил — представьте же себе, как говорил отец!)

Он чесать себе волос  
И ногтей стричь больше год  
Не давал и стал урод.

По-русски, не правда ли?.. Тем не менее этот «Степка» имел сумасшедший успех. Это была первая детская книжка, которую я прочел. Трогательно вспоминает о ней Блок. «Бабушка Забавушка» тоже имела успех. Это был ужасный перевод английской сказки, сделанный Висковатовым.

У бабушки Забавушки собачка Бум жила..

Успех чрезвычайный... Почему? Это были вещи хорошей традиции. Фольклорной. Проверенной временем. У них была органическая основа. В них сказало понимание ребенка. Это были веселые книжки, несмотря на навязчивую мораль... А стихи, которые печатались в детской литературе того времени, били мимо. Ребенку интереснее было читать:

...ногтей стричь больше год,

чем брусковское:

Любо василечки видеть вдоль межи...

Первый, кто слил литературную линию с лубочной, был Корней Иванович. В «Крокодиле» впервые литература заговорила этим языком. Надо было быть человеком высокой культуры, чтобы уловить эту простодушную и плодотворную линию. Особенно вольно и полно вылилось у него начало. «Крокодил», особенно начало,— это первые русские *Rhymes*. Перед революцией появлялись стихи Саши Черного, но они были пародийные, камерные. «Спи, мой зайчик, спи, мой чиж...» Были и милые вещи:

Слоник очень заболел,  
Сливу с косточкой он съел...

Но такого было мало... Были еще жеманные стишки Марии Моравской, неплохие стихи Венгрова:

Я спою вам песенку  
Про мышат и лесенку —

это было не бесталанно, но существенный поворот совершил «Крокодил».

---

Я пришел к детской литературе через театр. Интерес к детям был у меня всегда. До революции я много бывал в приютах, в Англии сблизился с лесной школой. Но по-настоящему я узнал детей, когда в Краснодаре группа энтузиастов устроила театр: Елизавета Ивановна Васильева, я и художник Воинов. Замечательный был у нас актер Дмитрий Орлов — он потом работал в Москве у Мейерхольда. Прекрасно читал стихи Некрасова, а впоследствии «Василия Теркина».

В голодные годы я организовал «Детский городок». Нам отдали бывшее помещение Кубанской рады — целый дворец, — и мы там устроили читальню,



библиотеку, детский сад. А главное наше дело было — детский театр. Первые мои вещи в стихах для театра — «Кошкин дом» (маленький) и «Сказка про козла». Начинали мы собственными силами, потом приехала труппа — Орлов, Богданова и еще несколько человек. Они играли для взрослых, но мы условились с режиссером так: мы будем писать прологи для его большого театра, а он за это будет ставить пьесы у нас и даст нам своих актеров... Так и пошло наше дело. Там был чудесный художник, он придумал легкие раздвижные ширмы: получался то базар, то замок... Много было выдумки. Сидят зрители, вдруг выходит автор и говорит директору, что пьесы-то нет, он не успел написать, что делать? Кто-то, сидящий в зале, предлагает свою — и начинается представление. Или так — выходит наивный автор и говорит: «У меня по пьесе гром... А у вас есть гром?» Было необыкновенно весело, дети театр обожали.

Но наш режиссер — В. — стал постепенно тяготиться театром. Администратор он был гениальный, а режиссер неважный. Он решил от детского театра избавиться. Я-то числился там всего только членом репертуарного совета, хотя все делал: стулья таскал, рояли двигал... Вмешиваться я не имел права, но не мог не вмешаться. Собрались дети, уселись, а рабочие, вижу, декораций не ставят. Я успокаиваю публику; сказать детям: «Идите домой, ничего не будет!» — просто невозможно. Рабочие без приказа режиссера отказываются ставить декорации (время было голодное, а им приходилось работать в детском театре без дополнительного пайка), а режиссер опаздывает. Наконец он является — этаким барин в перчатках. Я ему кричу:

— Что вы делаете?

А он мне:

— Не вмешивайтесь, это вас не касается!

Я размахнулся и дал ему по физиономии. Он кинулся меня душить. Нас разняли. Потом судили в Союзе работников искусств. Председателем суда была жена Орлова, она выступила в роли настоящей шекспировской Порции. Суду стало ясно, что драка произошла не на личной, а на принципиальной почве и что В. дело развалил. Решение было таково: меня лишить избирательных прав по Союзу Рабис на шесть месяцев, а его на три. Он собирался ехать в Москву на съезд делегатом — и вдруг лишен избирательных прав... В. вывесил объявление о том, что он из театра уходит. Актеры могут по желанию — оставаться или уходить. Ожидали, что те актеры, которых он привез с собой, уйдут. И вдруг оказалось, что они ушли из взрослого театра и остались у нас. Мы им почти не платили... У нас был меценат в совнархозе по фамилии Свирский; он нам выдавал штыб (угольную пыль) на топливо. Я писал о нем что-то такое:

...Свирскому спасибо,  
Он фунт хлеба нам дает  
И полпуда штыба...

Позднее, уже через несколько лет, я встретил В. в поезде. Меня мучила совесть — идет за ним следом репутация битого человека, это ведь нелегко. Но он разговаривал со мной как ни в чем не бывало, вспоминал, как мы хорошо работали вместе, и т. д.

Орлов потом говорил про себя и про других актеров, что мы подготовили их к столице — и вкус и понимание искусства.

Я с детства страстно любил те фольклорные песенки, где человек приказывает: дождю, улитке, грому, огню. Все в повелительном наклонении:

Гори, гори ясно,  
Чтобы не погасло!

Или:

Дождик, дождик, перестань!

Или:

Божья коровка, улети на небо!

Тут всюду воля, всюду приказ, маленький человек повелевает стихией. Это куда лучше, чем

«Золото, золото падает с неба!» —  
Дети кричат и бегут за дождем.

Плещеев под конец жизни — просто недоразумение какое-то.

Вскоре после того, как мы начали работать, у меня явилась мысль, что надо бы привлечь поэтов-заумников. Хармс писал в это время такие вещи, как

Пейте кашу и сундук.

Но мне казалось, что эти люди могут внести причуду в детскую поэзию, создать считалки, припевы, прибаутки и пр. Их работа для детей оказалась не только на литературу полезное действие, но и на них самих. Они ведь работали как: отчасти шли от Хлебникова — и притом не лучшего, — отчасти желали эпатировать. Я высоко ценю Хлебникова, он сделал для русской поэзии много. Но они шли беззаконно, произвольно, без дисциплины.

Хармс великолепно понимал стихи. Он читал их так, что это было их лучшей критикой. Все мелкое, негодное, становилось в его чтении явным. Постепенно он понял главное в детской литературе. Что такое считалка, что такое счет — это ведь колоссально важное дело. Хармс понимал ту чистую линию в детской поэзии, которая держится не на хохмах, не скатывается в дешевую эстраду... Работа в детской литературе дала им дисциплину и какую-то почву. Работать с ними мне приходилось поначалу очень много. Ранние вещи Хармса — например, «Иван Иванович Самовар», «Шел по улице отряд» — делались вместе, как же, как и «Кто?» Введенского. Требовалось их дисциплинировать, чтобы причуды приняли определенную форму. Дальше — например, «А вы знаете, что ПА» и т. д. — Хармс уже работал самостоятельно... Пришел к нам и Юрий Владимиров, вдохновенный мальчишка.

Интересны пути фольклора и литературы. Возьмем Запад, Англию. В сущности, у них не было своей сказки, они брали чужие сказки и переделывали. Но зато у них был гениальный детский фольклор, куда входили дразнилки, шутки и т. д. Это вещи такойстройной, такой виртуозной формы, что современные поэты даже подделывать их не умеют. Там есть насмешка надо всем — над королем Артуром, над праздником 5 ноября, над Робинзоном Крузо. Этот детский английский фольклор откликнулся на все на свете — вся жизнь, история в него входили. Есть вещи большого ума, большой тонкости.

В России сначала фольклора не признавали совсем (Белинский не одобрял сказки Пушкина). Потом признали поддельный, псевдонародный. Потом, наконец, стали признавать подлинный, но только крестьянский, а городского не признавали. Никто не думал, что стишки:

Кто возьмет его без спросу,  
Тот останется без носу —

это тоже фольклор... Позже признали частушку.

В Шотландии до Бернса был псевдонародный Оссиан, созданный Макферсоном. Первые баллады были очень олитературены... Никто не понимал ни там, ни у нас, что народ — это мы все; считалось, что к уличным песенкам надлежит относиться презрительно.

Мещанские песни... «Маруся отравилась». По существу говоря, это классическая баллада — эти повторения:

Пришел ее папаша,  
Хотел он навестить,  
А доктор отвечает:  
«Без памяти лежит».

Пришла ее мамаша,  
Хотела навестить,  
А фельдшер отвечает:  
«При смерти лежит».

Пришел ее миленок,  
Желает навестить,  
А сторож отвечает:  
«В покойницкой лежит».

Это гораздо более культурная вещь, чем все стихи Брюсова. По форме это виртуозно, а по существу — очень трогательная история.

В России сначала признали былины, потом сказки и песни, но только крестьянские. Литература питалась цыганской песней начиная с Пушкина, но официально цыганская песня признавалась низкой. Артист императорских театров Петров отказывался выступать на концертах вместе с исполнительницами цыганских песен. А ведь вся литература — Пушкин, Денис Давыдов, Фет, Аполлон Григорьев, Блок, даже Некрасов — все были связаны с цыганской песней. Что касается детской поэзии, то тут народная основа была разрушена, отторгнута тем, что это якобы лубок — у нас это считалось ругательством, — между тем как лубок-то хорош, плох псевдолубок... Сколько пропало новелл, из которых мог создаться наш Декамерон! (Большие возможности были у Н., но он дал себя изнасиловать, стал сочинять всякие: «Ох ты гой еси, подавай такси», — а мог бы сделать многое.) Из собирателей у одного только Бессонова собраны со вкусом детские песенки. Шенин много знал, но вкуса был лишен...

---

И ласточки спят,  
И соколы спят... и т. д.—

это гениальная вещь, я цитирую ее в статье о рифмах. Рифмы вынесены в начало, а потом и совсем без них...

Или «Вятская свадьба»:

Рыжий я да рыжу взял,  
Рыжий поп меня венчал.  
Рыжий поп меня венчал, рыжий дьякон обручал.  
Рыжий дьякон обручал, рыжка до дому домчал.  
Рыжий кот меня встречал,  
Рыжий пес облаивал.

В глазах становится рыжо. Это такой великий аккумулятор радости, необходимой для жизни.

Вот что было для нас камертоном, когда мы создавали новый детский стих. Смысл не дешевый, не мелкий, а большой и в то же время по форме — почти считалка.

Когда я был в Италии и слышал гениальные народные песенки: «Быки, быки, куда вы идете, все ворота заперты на замок, на ключ и на острие ножа» — или другие — венецианские, — в которых живет отзвук похода крестоносцев, я думал: почему не находится поэт, который мог бы на этой, на народной, основе что-то

построить? Таким оказался Родари. У нас его очень полюбили. В Италии его очень любят дети, а поэты мало ценят. И напрасно. В его стихах та же свежесть, что и в новых итальянских фильмах. И политическая тема подана естественно, без навязчивости.

В Англии, кроме народной линии детской поэзии, существует классическая литературная: Лир, Кэрролл, Мильн, затем «Книги для дурных детей» Беллока. Все эти вещи — пародийные, проповедующие мораль навыворот. В Англии получилось так, что всерьез писали для детей только синие чулки, а талантливые литературные люди к серьезному не приходили и писали пародии. Я ничего не имею против пародии, она всегда присутствует в литературе.

Пою приятеля младого  
И множество его причуд —

это тоже пародия; литература с литературой всегда перекликается, и это не худо; но когда пишут про принцессу: «Она была так уродлива, что, глядя на нее, приходилось брать в рот кусочек сахара», а про дракона: «Он питается туалетным мылом» — то это, в сущности, есть обструкция против народной сказки, уничтожение ее. Дальше — больше. Англичане соревнуются в сочинении жестоких «лимериков»<sup>1</sup>... Я бы сказал, что чрезмерная пародийность не очень-то близка детям по самому своему существу.

Если бы мы имели возможность строить дальше, мы, вероятно, нашли бы много поэтов, которые подхватили бы чистую линию поэзии, не мелко рассудочное, а богатое ее звучание.

Когда я прикоснулся к «Калевале», я был ошеломлен.

Поле, где мой брат работал  
Под окном избы отцовской...

Тут такой душевный надрыв... У моря она садится ночью, и тут такие замечательные слова:

Мать, утратившая дочку,  
Не должна кукушку слушать.

Кругом все такое узорное в стихе — река, три березы, кукушка. Узорные, причудливые строчки — но это не мешает открытой, потрясающей скорби:

Мать, утратившая дочку,  
Не должна кукушку слушать.

Все в «Калевале» весомо, зримо — и люди, и звери, и вещи, и чувства, — это не стертая монета. Ее создал тот народ, который занимал когда-то пол-России. Это произведение великого народа.

Мы верили, что детское издательство передаст детям все драгоценные элементы культуры в новом виде, что приближается некий ренессанс, мы вели поиски в разных областях, на разных путях.

Как мародеры следуют за армией, так торгаши и спекулянты следуют за искусством... Эдгар По написал когда-то «Убийство на улице Морг». Открытие По стало добычей мародеров, выродилось в детектив. Говорят — «приключенческая литература». Что такое наша приключенческая литература? В лаборатории Павлова условными звуками вызывали у собак желудочный сок, а потом не кор-

<sup>1</sup> Лимерик — особая форма пятистишия, принятая в английском и ирландском фольклоре: название произошло от имени ирландского города, родины этих стихов.

мили их... «Приключенцы»!.. Без языка, без мысли, без материала. Научились условными звуками вызывать у читателя желудочный сок, вызовут — и не накормят ничем.

---

Когда-то, когда я работал в редакции, Пастернак написал мне письмо: «Научите, как избежать шаблона, и укажите традицию».

Это очень хорошая формула. Вопрос поставлен очень точно.

---

Маяковский написал прекрасную детскую книжку «Что такое хорошо и что такое плохо». Тут серьезная, живая интонация... NN написать детскую книгу не мог. Надо быть личностью для этого. NN — человек, способный намагничиваться другими. И только. Сначала его намагничивал Гумилев, потом Хлебников, потом Маяковский.

У нас тоже были такие люди.

Один раз я у себя на столе нашел записку: «Прочтите прилагаемые стихи, если понравятся, я скажу, кто я». Стихи были хорошие, очень вольно и сильно изображен Питер. Оказалось, это художник С. Больше он хороших стихов не писал. Потом ему дали иллюстрировать Житкова. Он стал писать хорошие рассказы. Житков намагнитил его. Но ненадолго... Это очень типический случай. NN способный человек, но то, что он безличен, погубило его и в жизни и в искусстве. В С. тоже хранились самые неожиданные богатейшие залежи...

---

С дивной повестью пришла к нам Будогоская.

Повесть для взрослых.

Девушка, окончившая гимназию, поступает сестрой в санитарный поезд. Ее все любят, она молода, добра. Рядом с ней спит санитар из мужиков, Бородин. Один раз от нечего делать она шутя погладила его по голове. До этого он относился к ней, как к барышне, а тут стал ее преследовать. Он ей неприятен, потный, грубый деревенский человек. Но вот она заболевает сыпным тифом. Ее оставляют на какой-то маленькой станции одну, она в отчаянии. И вдруг оказывается, что из-за нее и Бородин остался, и он ее выхаживает. Она во время болезни думает: если жива останусь, отблагодарю его. Выздоровев, она сходится с ним. Это написано очень убедительно. Но вскоре после этого в поезде появляется молодой врач, коммунист, красивый, энергичный, молодой. Все его любят — и она. Бородин ее преследует, ревнует, он ей противен, она стесняется отношений с ним. Она просит доктора, чтобы ее отправили на другой участок, на холеру. Ее отправляют. Тут же стоит матросский поезд. Матросы хорошо относятся к ней. И вдруг однажды она видит: идет Бородин. За ней приехал! Он запирает ее где-то и снова насилует. Матросы видят, что он ей не по нутру, и предлагают: хочешь, сестренка, мы его налево отправим? Ей его жаль, она не соглашается. Скоро она чувствует, что беременна. Говорит ему. Он рад: «Я тебя в деревню повезу, будешь молоко пить, будешь жить барыней». А она начинает думать об аборте. Идет к главному врачу. Он отпускает ее в Витебск. Там она идет к врачам, те говорят: поздно! Она к бабке. Та надевает ей какой-то страшный снаряд, который должен убить плод. Она сидит рано утром на станции и вдруг чувствует боли. Думает — это выкидыш. Ее берут в больницу, и оказывается, что это дизентерия. Она при смерти. Написано это с огромной силой, особенно палата, где живут смертники... Но и тут она выздоравливает и снова начинает молить сделать ей аборт. И вдруг врачи соглашаются. После операции она страшно слаба. Поселяется в подвале у сапожника-еврея, доброго человека. Тут большая дружная семья, ее приютили. Она живет тут спойноно и вдруг однажды слышит на лестнице топот сапог — оказывается, знакомый санитар принес сюда сапоги чинить. Она счастлива, понимает, как сильно она привязана к санитарному поезду, и тот ее ведет обратно в поезд. Они при-

ходят — поезд должен тронуться, и вдруг она видит, что ее заметил Бородин. Он стоит возле ларька и пьет для храбрости. Поезд трогается — Бородин вскакивает на подножку и бежит за ней, а она от него, из вагона в вагон. Он гонится за ней — попадает в промежуток — под колеса — и погибает.

Читая, делаешь очень важный вывод. Самые ужасные вещи в жизни совершаются в минуты равнодушия, а не подъема. Зачем она погладила его по голове? Не было бы всех последующих страданий... И Бородин не виноват.

Эту трагическую историю я читал с замираньем сердца. Я всем показывал, никто не хотел печатать. Я повез повесть Горькому. Думал, он оценит. Он сказал: «Ух, как натуралистично». Да какой же натурализм, это настоящее искусство. История человеческой жизни, которая для многих была бы поучительна.

Над детскими вещами Будогоской нам поначалу много приходилось работать. Ее проза держится на своеобразной интонации. Но фраза написанная не всегда эту интонацию хранит. Читая сама, она ее туда вкладывает; нам же, работая над ее вещами, приходилось искать способ запечатлеть эту интонацию, выразить, сделать внятной для всех... Зато у Будогоской есть чувство сюжета, которым редко обладают русские писательницы. Первая ее вещь для детей<sup>1</sup> построена замечательно.

---

Какая огромная разница между стихом груженным и тем, который идет порожняком. Страшно подумать, что

Льются песни над лугами...

формально написаны тем же размером, что и

Жил на свете рыцарь бедный...

Один состав идет порожняком, другой — груженный.

---

Страшные люди в поэзии — фальшивомонетчики. Неумелые не опасны. Опасны искусные. Рославлев писал почти как Блок, а Бенедиктов почти как Пушкин. Обезьяны совсем похожи на людей: двигаются, как люди, а попугаи и говорят, как люди. Все, как у людей, но не люди. Вот это страшно.

---

<sup>1</sup> «Повесть о рыжей девочке».



---

---

# В МИРЕ ИСКУССТВА

В. ЛАКШИН

★

## ПОСЕВ И ЖАТВА

*(Трилогия о революции в театре «Современник»)*

1

**К**огда в газетной хронике появилось сообщение, что театр «Современник» намерен к Октябрьской годовщине поставить трилогию о русском революционном движении, искусственные театралы пожимали плечами — замысел отважный, что и говорить, но насколько осуществима и посильна для театра эта работа? Известна ленинская периодизация трех этапов русского революционно-освободительного движения — она вошла в учебники, хрестоматии, лекционные курсы. Но представить это на сцене в виде трех пьес «Декабристы», «Народовольцы», «Большевики»? Воля ваша, тут трудно верить в успех! Или нам мало было помпезных исторических пьес, поверхностных «театрализаций» прошлого?

Для такого скептицизма были свои основания: театр подстерегало немало опасностей. Первая из них — иллюстративность. Другая — схематизм, упрощение на театральных подмостках сложных процессов истории или (что, пожалуй, не лучше) поспешная их модернизация. А кроме того, вокруг знаменитых дат 14 декабря, 1 марта и 30 августа, казалось, все так знакомо и исхожено, что трудно найти новые слова и положения, чтобы увлечь зрителя. Исторические лица как бы навечно застыли в своих хрестоматийных позах, так что вообразить себе живыми людьми Пестеля или Перовскую, Желябова или Свердлова было не очень просто.

Тем похвальнее дерзкая попытка театра найти свой, современный поворот исторической темы и попробовать на языке сцены

внятно рассказать об идеях и проблемах, завещанных нам революционным прошлым, и о людях этого прошлого. Пусть кое-что еще сыро в этой работе, пусть есть в ней очевидные промахи или такие подробности трактовки, о которых будут толковать разное, все равно главное чувство, с каким зритель покидает театр, — чувство уважения к большому, умному и честному труду коллектива. Спектакли о декабристах, народовольцах и большевиках заставляют вспомнить о тех классических определениях общественной роли театра, которые редко припоминались последнее время — едва ли не потому, что казались скучно добродетельными и устаревшими: театр — школа, театр — это кафедра, с которой много доброго можно сказать людям.

В последних спектаклях «Современника» зрелище, как таковое, занимает весьма скромное место — никаких «цирков и фейерверков». Зато высоко поднято значение мысли на сцене, воспитательной и просветительной роли театра. Это театр думающий, заставляющий нас думать и допрашивающий самих себя и свое время.

В трилогии, поставленной «Современником», подкупает серьезное, уважительное отношение к истории: не как к преданию и книжной традиции, а как к сгустку мыслей и страданий людей, не безразличных нам сегодня. Рассказывая об этих людях, театр ставит перед зрителем множество вопросов — больших и малых, политических и моральных, психологических и философских, — заставляет размышлять об истории, о минувшем и предстоящем. Здесь продолжают

ся те же споры, те же поиски мысли, что и в литературе, критике, философии, журналах наших дней.

Действие редко прерывается взрывами смеха, аплодисментами, и после конца хлопают дружно, но недолго, а на лестнице, в очереди за пальто стоят молча и выходят из дверей театра, тихо переговариваясь. Разумеется, зрители не одинаковы, и тот, кто пришел в театр развлечься, возможно, проскучал в своих креслах, но на многих лицах я ловил выражение сосредоточенности и раздумья.

Конечно, не все вопросы решены театром. Более того, не все даже удовлетворительно поставлены — но и ожидать иного было бы наивно. Театр живет не сам по себе, искусство отражает меру осознанности тех или иных проблем обществом. Важно, что зритель уходит из театра не пустой, спорит со своими знакомыми и с самим собой, вспоминает об этих спектаклях — на другой день, и через три дня, и, совсем неожиданно, спустя месяц. Вдруг, когда, казалось бы, впечатление сгладилося и увяло, возникает в памяти спор Никиты Муравьева с Пестелем, и мы спрашиваем себя так, как будто это необходимо немедленно знать нам самим, кто же из них оказался прав? Или в иной связи и по другому поводу начинаем перебирать аргументы, какие выдвигают народные комиссары в пьесе «Большевики», обсуждая вопрос о терроре, как если бы его решение немного зависело и от нас лично.

Все эти «вопросы» и «проблемы» не носят головного, отвлеченного характера. Сколько прекрасных лиц — подвижников, героев, рыцарей революции и ее святых — прошло перед нами за эти три театральные вечера! Мы тоскуем о положительном герое в современной литературе и на сцене — и вдруг оказываемся окружены густой толпой необыкновенных по чистоте, цельности, по масштабу своей личности людей. Таких всегда выносит наверх на гребне истории в решающие минуты народной жизни.

Пестель, Каховский, Рылеев, Бестужев, Муравьев-Апостол...

Перовская, Желябов, Фигнер, Михайлов, Кибальчич...

Свердлов, Цюрупа, Луначарский, Ногин, Коллонтай...

Первые — люди рыцарской чести, благородные, прямые, наивные, жертвенные. Вторые — железо кованое, мученики, самоож-

женцы, герои и фанатики своей идеи. Третьи — самые близкие нам по времени, в почти современных по покрою пиджаках, совсем обычные и тем не менее уже легендарные люди, бойцы ленинской гвардии первого призыва, горячие, убежденные, деятельные.

Хорошо, когда напоминают об этих знакомых со школьной парты, но не открытых для большинства в своем реальном человеческом значении людях.

Вероятно, правы те, кто говорит, что спектакли трилогии не равноценны по своим достоинствам. Правда, и тут в публике нет единодушия: одним больше нравятся «Большевики», другим «Народовольцы»... Мы не будем вмешиваться в этот спор, зато отметим другое: существуя каждый вполне самостоятельно и обособленно, спектакли эти бросают друг на друга какие-то дополнительные отсветы, так что значение проблем, поставленных в одном из них, вполне понимаешь, лишь посмотрев остальные два. И в этом смысле, при всех жанровых, сюжетных и иных различиях, они не формально, а по существу составляют сценическую трилогию.

## 2

Полосагая, серая с черным, как будка времен николаевской империи, — суконная рама, окаймляющая место действия. А над сценой парит и давит золотая царская корона... В этом символически очерченном и неподвижном пространстве стремительной чередой проходят события и годы — 1816, 1817, 1820, 1824, 1825, балы, пирушки, сходки, споры, апофеоз заговора, поражение, допросы и казематы Петропавловской крепости. Два музыкальных мотива — легкий, изящный вальс и визгливая флейта, вызывающая дрожь омерзения, как будто вас сквозь шпицрутены проведут, — возникают время от времени за сценой, определяя контрапункт эпохи, которую с равным правом можно назвать и «пушкинской» и «аракчеевской».

Театр ведет спектакль не как развлечение, а как урок: спектакль без любовной интриги, почти без женских ролей, без юмористических дивертисментов. Зритель не сразу и с грудом входит в эпоху, в споры будущих декабристов «между лафитом и клико» — о конституции, монархии и республике, освобождении крестьян с землей или без нее. Нужно некоторое напряжение



уха и памяти, чтобы привыкнуть к возвышенной риторике и быстрому остроумию их речей, а потом припомнить события, предшествовавшие и сопутствовавшие 14 декабря. Вполне понять то, что происходит на сцене, можно лишь вспоминая, думая, связывая воедино нити исторического действия.

Тут дорого чувство размещенности во времени: отголоски Великой французской революции, патриотизм 1812 года, еще яснее обнаживший позор крепостного права, поверженный Париж и возможность лицезреть въявь европейские формы жизни — вот что питает настроения молодого поколения русских дворян, вольномыслящих офицеров, их энтузиазм, их веру, что после войны Россия станет жить иначе. Разочарование приводит их к бунту против самодержавия. А дальше, за границей спектакля, за другим порогом сценического времени, — холодная пустыня николаевской эпохи, о которой театр напоминает в финале: уцелевшие декабристы были возвращены из ссылки лишь в 1856 году, и какая страшная, мертвая полоса истории легла между этими датами!

Стремление к исторической полноте неизбежно влечет к иллюстративности, и во всей трилогии «Декабристы», пожалуй, беззащитнее всего перед таким упреком. Однако чувство истории есть в спектакле, хотя достоверность и терпит некоторый ущерб оттого, что молодые актеры, играющие князей и графов, неважно говорят по-французски и плохо носят свои фраки.

Пьеса Леонида Зорина названа трагедией. Это оправдано. И не только потому, что в зрительном зале ни смешка, ни улыбки, что трагичен конец — пять петель, свешивающихся над сценой, разгром, казнь... Трагично все — начиная с раздоров и споров в тайном обществе.

Люди зла соединяются удивительно легко и просто, потому что цели их просты: круговая порука в личных видах, а для этого вполне достаточно поддерживать господствующий порядок вещей и помогать друг другу взбираться по лестнице карьерного успеха. Люди добра сходятся горячо, а соединяются туго, потому что даже если цели их едины — а об этом еще надо подумать, — то различные способы их достижения. Они вечно спорят, расходятся, думают врозь и поступают всяк по-своему. Декабристам трудно сговориться, ибо обществен-

ный идеал их созрел не вполне, а понятия о методах его достижения — совсем различны. Один стоит за царя, но с ограничением его власти, другой — за республику с народным вече, один думает об освобождении крестьян, другой уже понимает, что освобождать нужно с землей, а это значит ущемить интересы помещиков. Эти различия трагичны. Трагичны колебания и слабость первых русских революционеров. Трагично, что здесь, как и в истории едва ли не любого заговора, находится свой предатель, да, кажется, и не один. Но трагичнее всего, что мало кто из них остается верным себе до конца: пылкий Каховский обманут царем, Трубецкой малодушно вымаливает себе жизнь, храбрый Поджио выдает Пестеля...

Есть романтическое представление о декабристах, оглитое в чеканную форму Герценом: «Это какие-то богатыри, кованные из чистой стали с головы до ног, воинсподвижники, вышедшие сознательно на явную гибель...» В самом деле, «фаланга героев» 14 декабря, в большинстве своем молодых, юных, безусых («Мы не дети — мне двадцать один», — говорит Никита Муравьев в пьесе), представляет собой совсем особую и очень привлекательную генерацию людей, лишь однажды явившихся в таком качестве в русской истории. Рыцарское достоинство, душевная чистота и благородство — отличительные черты этой молодежи. «Высокость души» была даже прямым требованием устава «Союза благоденствия».

Все они разные, декабристы. Но по величности их идеалов, бескорыстности, отсутствию мелких побуждений — все они удивительные, святые люди. И все-таки театр «Современник» был прав, когда романтическому ореолу предпочел более близкий ему и созвучный духу времени реалистический анализ, помогающий изобразить исторических героев, по известным словам Маркса и Энгельса, «суровыми рембрандтовскими красками, во всей своей жизненной правде».

Добросовестный исследователь эпохи среди многих иных проблем декабристского движения непременно отметит два наиболее сложных и деликатных для объяснения момента: трагические междоусобицы, расколы и споры в среде декабристов в пору подготовки восстания — и их неожиданно легкие признания в следственной комиссии Николая I. В геронческой истории декабри-

стов — это как две кровоточащие раны, два болезненных нервных узла. Для художника и психолога они составляют интерес не меньший, чем для историка. И именно они должны были оказаться в центре пьесы и спектакля, зачинающего во всей трилогии основную ее тему — тему революционной нравственности.

Едва войдя в атмосферу действия, мы выделяем для себя в пестрой суতোлке лиц — двух, за встречами, спорами, внутренним поединком которых будем теперь неотрывно следить до конца действия. Это — Пестель и Никита Муравьев.

И. Кваша играет Пестеля человеком волевым, гордым, решительным, знающим себе цену. Он часто поворачивается к нам в профиль — мы видим эти крепко сжатые губы, острый угол лица, чуть вздернутый подбородок и вспоминаем, что современники уверяли, будто Пестель смахивал на Наполеона и сам хорошо знал об этом сходстве.

Перед нами революционер по натуре, бесстрашный и умный, последовательный республиканец, враг социального неравенства и «аристократии богатств», автор «Русской Правды», во многих частях своей общественной программы опередивший своих товарищей. В сравнении с ним Никита Муравьев — пылкий сторонник общего блага, но умеренный конституционалист, не решавшийся на крайние меры и готовый сохранить за дворянами важные привилегии, — заметно проигрывает в мнении потомков. Демократизм Пестеля куда более радикален.

Но есть другая сторона их спора, в которой зрителю труднее прийти к однозначному решению. Никиту Муравьева отталкивает желание Пестеля сделать слепое повиновение законом жизни тайного общества. Конечно, строгое подчинение и централизация удобны в целях конспирации и подготовки восстания. Но не доставит ли это повод проявиться честолюбивым склонностям, не позволит ли одному навязывать свою волю другим, внося тем самым неравенство в среду самоотверженных товарищей? Вопрос не праздный, тем более что «узок круг этих революционеров. Страшно далеки они от народа» (Ленин), а в узком, замкнутом кругу такая опасность вдвойне сильна.

Мягкий, гуманный Никита Муравьев не может помириться с тем, чтобы вести лю-

дей ко благу не убеждением, а силой. Всякое чрезмерное насилие и кровопролитие представляется ему губительным для благодородных целей движения. Смирившись с идеей царубийства как с необходимостью, он никак не может принять спокойной решимости Пестеля истребить всю царскую фамилию. «Там ведь и женщины, там дети почти...» — восклицает он.

Мы не поймем, почему так болезненно остро, с такими внутренними кризисами и потрясениями обсуждали декабристы такой, казалось бы, бесспорный для революционера вопрос, как убийство царя, если не обратим внимания на нравственную его сторону. Для декабристов внове было не только само покушение на монархическую власть, но и то, что для этого нужно убить человека, будь он хотя бы жестокий, несправедливый властитель. Якушкин в своих воспоминаниях рассказывает, как в 1818 году он собирался подстеречь царя на выходе у Успенского собора, имея в руках два пистолета: из одного он хотел выстрелить в царя, из другого — убить себя. В таком поступке он видел «не убийство, а только поединок на смерть обоих». Лишь так в представлении многих декабристов могла быть спасена дворянская честь, а заодно и человеческое достоинство заговорщика. Понятно теперь, как должна была ужаснуть мягкосердого Никиту Муравьева хладнокровная решимость Пестеля уничтожить всю царскую семью, тринадцать человек, пересчитанных им по пальцам, в том числе детей, повинных лишь тем, что они родились в дворцовых покоях.

Да, революция — жестокая вещь, и революционеру приходится идти через кровь. Но где та черта, через которую нельзя переступить, не замавав саму идею высокого дела?

В спектакле есть сцена, где спор Муравьева с Пестелем достигает высшего накала. Никита Муравьев говорит Пестелю, что люди, обогранные кровью царской семьи, будут посрамлены в общем мнении и не смогут стать у власти после переворота. Но, оказывается, это уже предусмотрено Пестелем: Бярятинский приведет двенадцать молодцов, которые исполнят это дело, а потом... И Пестель шепчет на ухо Муравьеву слова, которые заставляют его в ужасе отшатнуться. Неужели? Трудно поверить... А между тем трактовка театра и драматурга не расходится с историческими источниками:

Пестель предлагает их убить, так сказать, пожертвовать ими для пользы общего дела<sup>1</sup>. Какой тяжелый упрек совести мужественного героя!

Мы не найдем здесь для Пестеля оправданий. Похоже, что средства кровавого насилия он готов обратить даже против своих же союзников и единомышленников. Но всеобщая справедливость, к которой стремится герой, вряд ли может быть завоевана таким кровавым и морально сомнительным путем. А поскольку антагонист Пестеля в спектакле — Никита Муравьев, мы были бы готовы отдать ему свои симпатии, если бы... если бы благородные речи самого этого героя так жестоко не компрометировала его умеренная общественная программа и его личная житейская практика.

Как бы там ни было, но Пестель не изменяет себе и своему делу до конца, он умирает гордо и честно. А Никита Муравьев приходит в итоге к пассивному созерцанию событий и малодушно уклоняется от исполнения долга: декабрьские дни застают его в саратовской деревне у тещи.

С ним происходит давно знакомая и вполне обыкновенная история. Старый закон Ньютона гласит: действие равно про-

<sup>1</sup> Ужасную достоверность этого обстоятельства подтверждают многие исторические свидетельства, в том числе воспоминания декабриста А. С. Гангеблова, встретившего в Петропавловской крепости своего товарища Аврамова: «Аврамов негодовал на Пестеля. «Каков Пестель! — сказал он. — Каков Пестель! Он меня имел в виду как очистительную жертву для своей безопасности. Ежели бы покушение на жизнь царской фамилии удалось вполне и ежели бы народ, как следовало ожидать, пришел бы оттого в крайнее раздражение, то господин Пестель думал меня выдать на растерзание народу, как главного и единственного виновника этой меры, и тем рассчитывал успокоить народ и расположить его в свою пользу» («Воспоминания А. С. Гангеблова». М. 1888, стр. 105).

Можно было бы, пожалуй, усомниться в точности рассказа Гангеблова, но о том же говорят и показания Рылеева на следствии. Рылеев так передавал суть интересующего нас вопроса: «...Муравьев заметил, что люди, обгаренные кровью, будут посрамлены в общем мнении, которое не даст им после того пользоваться похищенной ими властью. Но Пестель возразил ему, что избранные на сие должны находиться вне общества, которое после удачи своей пожертвует ими и объявит, что оно мстит за императорскую фамилию» («Восстание декабристов. Материалы». М.—Л. 1927, т. IV, стр. 219).

тивдействию... Это верно и для нравственной жизни, отношений людей, обстоятельств социальной борьбы. Пока бездействуешь и мечтаешь, обдумываешь свой идеал — ничто не может помешать тебе. Смело реформируя этот несовершенный мир в чистых грезах, ты незапятнан, целен и можешь гордиться собой. Но как только от мечтаний и теорий, сладких снов души, благородный мыслитель спускается в практику, его окружают со всех сторон миллионы не учтенных им прежде условий и обстоятельств; каждый шаг дается ему с трудом, он встречает противодействие, отвечающее действию, — и вынужден считаться с этим. Тогда он уже не пробует идти напролом, выбирает тактику, идет на компромиссы, жертвует менее важным в своих убеждениях ради более важного. С недоумением и отвращением начинает он замечать, что к нему липнет грязь жизни, желанное не идет в руки само, а история выставляет за достижение идеала такую цену, о которой еще надо подумать.

Нравственный максимализм слишком часто бьет в таких случаях отбой и, чтобы сохранить свою незапятнанность и цельность, спешит вернуться к себе в чистую обитель. В какой-то миг истории это противоречие идеала и практики может показаться фатально неразрешимым. Но кто сказал, что люди обречены выбирать между аполитичной нравственностью и безнравственной политикой? Если человек высоких гражданских убеждений пришел к мысли о необходимости общественного действия, он неизбежно вступает в политическую борьбу со всеми ее требованиями. Личный нравственный ригоризм, любые попытки переменить жизнь проповедью индивидуального самосовершенствования доказали в ходе истории свое бессилие. Но и политика, освободившая себя от нравственности, поставившая своим девизом Маккиавеллиево правило: «цель оправдывает средства», — такая политика неизбежно губит самую себя, извращает свои цели и рано или поздно приходит к краху.

Долгий исторический опыт, включая сюда и опыт декабристского движения, внятно свидетельствует, что политика и нравственность не должны и не могут быть противопоставлены друг другу.

Театр пощадил Никиту Муравьева — на сцене он большей частью философствует, благородно рассуждает, и в спорах с Пе-

стелем мы держим нередко его сторону. Его отход от движения скорее назван, чем показан. Но когда руководивший подобной же логикой Сергей Трубецкой испытывает накануне восстания приступ малодушия и ищет себе успокоения в объятиях любящей жены, он вызывает у зрителя откровенную неприязнь.

В минуты восстания наши симпатии на стороне таких людей, как Пестель, мы страстно желаем им победы и готовы отвернуться от Муравьева с его сомнениями и предостережениями. Но пока оба эти героя идут рядом в своей борьбе и дружески спорят между собою, как бы заглядывая порою в будущее, зритель не может безраздельно отдать свои симпатии лишь одному из них.

Что и говорить, Никита Муравьев — и не он один — спасовал перед необходимостью решительного действия. Понимать ли это как заурядную трусость, незрелость политика или бессильный либерализм? Вряд ли можно упрекнуть в трусости человека, в шестнадцать лет бежавшего из родительского дома в армию и заслужившего славу храбрейшего офицера. Может быть, просто любви к человечеству, как говорится в спектакле, в нем оказалось больше, чем злобы к его мучителям?

Муравьев разделяет слабость, непоследовательность, иллюзии, присущие движению декабристов в целом и приведшие его к гибели. Это тема трагедии, общей трагедии страны, впервые посягнувшей на власть самодержавия, и личной трагедии многих декабристов, трагедии рыцарского идеализма. Придя к мысли о необходимости революционной борьбы, они хотят вести ее средствами, напоминающими дворянскую дуэль.

Пестель принадлежит к числу тех, кто уже начинает понимать, что история так не делается, что необходима решительная борьба, когда кровавого насилия не избежать. Он готов идти до конца, но хочет действовать наверняка, пренебрегая излишней щепетильностью, не стесняя себя в средствах, — это трезвость искушенного политика. Однако над ним, и это хорошо передано со сцены, уже витает тень будущих «трудных» вопросов исторической практики: несоответствие средств — цели, злоупотребление насилием, соблазн единоличной власти. Конечно, Пестель не всегда сознает возможные последствия своих идей и

поступков, а его честолюбие лишено привкуса личной корысти. Но объективно в его суждениях есть достаточно такого, что должно насторожить зрителя, знающего имена Нечаева и Бланки и помнящего о всем долгом опыте борьбы революционного сознания с бонапартизмом, поклонением личности, эксцессами левизны и террора.

Скорее, чем Пестель, и с большим правом, чем Муравьев, в центре спектакля о декабристах мог бы оказаться, пожалуй, Рылеев. Жаль, что этого не случилось. Рылеев в исполнении обычно такого обаятельного на сцене О. Табакова не взят глубоко. Возможно, это недостаток глубины и художественной рельефности роли. Во всяком случае его Рылеев, с застывшим красивым лицом, глазами чуть навывкате, с риторическим одушевлением, мало что говорит уму и сердцу. А между тем именно Рылеев — характернейшая фигура декабризма, воплотившая его пафос, его трагедию.

В самом деле, он не сробел перед решительным порогом революционного действия, как Никита Муравьев или Сергей Трубецкой. Но и не питался хотя бы в малой мере, подобно Пестелю, честолюбивыми намерениями и планами. Рылеев предчувствовал неизбежную гибель движения, не поддержанного народом, и свою личную гибель, но это не заставило его отшатнуться или застыть в бездействии. Тут мужество самоотвержения, гражданская честь в наиболее чистом ее виде, где нет, как у Пестеля, надежд на собственную выдающуюся роль в будущей республике, планов десятилетнего временного правления с неограниченной властью и т. п. У него одно лишь желание — исполнить свой общественный, а значит, и личный нравственный долг. Рылеев много, слишком много сознает, чтобы бездействовать. Ему достаточно однажды понять неизбежность борьбы с самодержавием — и он должен принять участие в восстании, даже если оно обречено. Он умирает с одной надеждой — что их пример, их героическая гибель послужит будущему, разбудит новые поколения борцов.

В этом самое существо веры декабристов, квинтэссенция их психологии и нравственности, и вот почему хочется пожалеть, что Рылеев не стал более значительной фигурой в спектакле. Случись это, и спор Муравьева с Пестелем мы, пожалуй, осознали бы вернее и глубже, потому что изображенная во весь рост трагическая личность Ры-

лева бросала бы на все дело декабристов особый ответ.

И все же — идейный и нравственный одинокий Муравьева с Пестелем интересно, остро задуман драматургом и театром. Своеобразно, наперекор своему обычному амплу и внешним данным, играет актер В. Сергачев «беспокойного Никиту». По настоящему интересен и образ Пестеля, созданный И. Квашой. Ему можно было бы сделать, пожалуй, лишь один упрек, относящийся в равной мере и к драматургу. Временами начинает казаться, что перед нами скорее тщеславный себялюбец, чем человек, умом которого восхищался Пушкин.

Особенно заметно это в той сцене, когда Пестель с удовольствием внимает словам Поджо, желающего видеть его одним из будущих правителей России, и как бы уже заранее вдыхает сладкий аромат власти. А спустя несколько минут уверяет Муравьева-Апостола, встревоженного его честолюбием, что, дожив до часа победы, он уйдет в монастырь, замкнется в частной жизни. И тут же, как подачку, как откуп за подозрение в тщеславии, бросает Муравьеву-Апостолу обещание включить его в директорию.

Здесь уже тень личных видов и самолюбивого интриганства падает на образ Пестеля. Я думаю, это несправедливо. Верно, что Пестель был честолюбив и предназначал себе не последнюю роль в будущем правительстве. Правда и то, что он говорил порой о своем желании после переворота уехать за границу, уединиться в монастыре. Но будучи сведены воедино, эти разные по времени и обстоятельствам высказывания Пестеля выставляют его едва ли не Тартюфом, а с этим уже нельзя согласиться.

Ключ к психологии Пестеля справедливее искать в том, что, при своем незаурядном уме и сильном характере, он слишком теоретическая и прямолинейная натура. Пестель не только приближает к себе предателя Майбороду, но, по воле автора пьесы, говорит ему, будущему своему Иуде, трагикомическую фразу: «Я в людях редко ошибаюсь». Вот безупречно верная психологически черта! То, что он однажды себе придумал, становится для него неоспоримой истиной. Раз намеченную в уме линию он доводит до логического конца. Это служит порой и добрую службу, так как толкает к действию энергичный характер. Но та же самоуверенность теоретического рас-

судка, легко отвлекающегося от непосредственной реальности, влечет к трагическим заблуждениям, крайностям и ошибкам.

Будем же справедливы к герою, а значит, не обойдем своим вниманием ни исторических его заслуг, ни его объективных слабостей. Разве что сухой, догматический ум углядит в этом противоречие. Привычка к однозначным оценкам исторических лиц закрепляет в памяти лишь результат, некий «общий знаменатель» их деятельности. Искусство же, верное диалектике жизни, воскрешает движение характера, противоборство идей и страстей, деяний и намерений, в чем тоже ведь заключен некий исторический «урок».

Правдивый рассказ о сильных и слабых сторонах Пестеля — человека и политика не помешает зрителю отдать должное героической фигуре декабриста, встающей во весь рост в ореоле его последнего подвига, его трагической гибели.

Да, можно лишь восхищаться мужеством и стойкостью этого человека перед лицом его тюремщиков.

Именно здесь, когда декабристы непосредственно сталкиваются с Николаем, с безжалостной машиной дознания и суда, проблема революционной нравственности поворачивается к нам с другого боку. Почему так неожиданно слабы и откровенны оказались в своем большинстве эти люди, почему так легко удалось Николаю вырвать у них признания и заставить назвать своих сообщников? Ведь причиной тому не могли быть одни физические лишения и пытки, которые, по свидетельству Поджо, заключались в наручных цепях, сажании на хлеб и на воду и помещении в темные, сырые казематы... С тем ли приходилось сталкиваться будущим поколениям революционеров! Но в таком случае еще безотраднее узнать, что декабристы выдают самих себя и друг друга, теряются перед императором, подписывают бумаги, уличающие их товарищей.

Быть может, вовсе не надо было этого касаться? Быть может, театру следовало опустить занавес над этими сценами, способными внушить зрителю чувство недоумения или даже досады на недавних героев? Но это значило бы искусственно облегчить задачу.

Ошибки и иллюзии также входят в революционный опыт, как и все остальное, и, не пытаясь их оправдывать, театр берется их объяснить.

Декабристы — трижды люди чести: как дворяне, как офицеры и просто как искренние молодые люди, которым жить хочется по совести, в согласии с убеждениями. Но эти вот представления о чести, искренность, прямота и подводят их на следствии.

Сила Николая в том, что он легко способен лгать, притворяться и лицемерить, пренебрегая теми моральными нормами, которые считают для себя обязательными его жертвы. В постановке «Современника» роль царя исполняет Олег Ефремов, и это настоящая удача спектакля. Когда мы видим его брезгливо опущенную челюсть, рыжеватые височки, его неискренний и выпытывающий взгляд, страшно становится за людей, готовых безрассудно довериться ему.

Когда-то в пьесе А. Р. Кугеля «Николай I и декабристы» В. И. Качалов поразил публику новой трактовкой роли царя. «Из всех характеристик Николая,— писал тогда критик Н. Д. Волков,— артист избрал самую трудную — характеристику царя-актера, сентиментального и лживого, скрывающего то за той, то за другой маской жестокость капрала на троне»<sup>1</sup>. Говорят, это был замечательный Николай. Но нашему поколению уже не пришлось видеть Качалова в этой роли, и как любопытно, что О. Ефремов, идя своим путем, пришел к сходной трактовке образа.

Николай — Ефремов ведет допросы декабристов, как спектакль с хорошо разученными, эффектными выходами: вот он внезапно появляется из-за ширмы, притворно здоровается с Чернышевым, с коим только что расстался, и вперяет испытующий взор в допрашиваемого, которого он сейчас будет искушать притворной ласковостью или, по заранее обдуманному сценарию, грубо запугивать. С фальшивым удивлением он встретит Гангеблова («Что вы, батюшка, наделали? Что это вы голько наделали?»), укорит Булатова его солдатской честностью, разыграет приступ ярости с Трубецким...

Николай у Ефремова, при всей его отвратительности, не лишен известного обаяния — и это верно, потому что должен же был он чем-то взять декабристов. Это обаяние могущественной власти, будто не гнушающейся человеческим, частным, домашним — детьми, женой, личной честью арестованного. Вот он вытирает капли пота со

лба: он замучен, устал от этого лицедейства, в которое ушел с головой. Сначала обманывает других, потом так входит в роль, что начинает, пожалуй, обманывать и себя. «Твои дети — будут мои дети», — со слезами в голосе, тронутый собственным благородством, говорит он Штейнгелю. И доверительно беседует с Каховским, выслушивает его исповедь, целует его, как брата... и выдает на страшную смерть.

Декабристы с их понятиями о чести безоружны перед такой моральной беззащитностью. Они не научились лгать, и простой апелляции к честному слову достаточно, чтобы заставить их говорить. Недаром царь срывается и вскипает, когда Якушкин начинает слишком уж надоедать ему своим «мерзким честным словом» — не хочет ли этот бунтовщик уколоть его своей безупречностью?

Декабристы шли с царем на открытый дворянский поединок. Они невольно выдавали себя и друг друга, потому что не умели скрывать правду, даже в благородных, «высших» целях. Николай же и его приближенные смеялись над этим рыцарством, уверенные, что в борьбе с крамолой все средства хороши. Даже Рылеев оказался в эти тяжкие дни обманутым.

Один лишь Пестель не питает в отношении власти никаких иллюзий. Он видит перед собой врагов и не может чувствовать перед ними никаких моральных обязательств — он отпирается, обманывает, хитрит, издевается над своими следователями. Уж он не даст себя провести, и, сочувствуя его ловким ответам, мы видим здесь в нем, как в зародыше, тип особого рода революционера-политика. Он сам называет себя «охотником» и оправдывает своих товарищей тем, что люди всегда поначалу теряются, когда оказываются среди хищников.

Спектакль дает возможность объяснить и то, почему лично бесстрашные люди, такие, как Сергей Трубецкой, герой Бородина, четырнадцать часов стоявший под ядрами, проявляют в решающие минуты восстания постыдную слабость и склоняют голову перед Николаем Павловичем. Одно дело сражаться в общем воинском строю, в открытом поединке, ощущая за своей спиной поддержку всей армии, страны и государства, и совсем другое — выступить против этого государства в кучке заговорщиков. Тут другая природа страха, когда человек может показаться себе ничтожной, одинокой пы-

<sup>1</sup> Газета «Труд», 30 декабря 1923 года.

линкой. Царь еще во многом свой для них, его власть освящена церковью и обычаями отцов, так что потребна могучая сила духа, чтобы преодолеть это гипнотическое внушение традиции и авторитета.

Среди иного, значение 14 декабря и в покушении на идею царской власти. Государственный переворот не удался, но покушение на идею состоялось. Следующие поколения революционеров воспользуются этим опытом и будут чувствовать себя свободнее. А революционность декабристов подвергнется еще раз страшному испытанию в казематах Петропавловской крепости и следственных кабинетах Зимнего дворца.

Прежде чем человек вступит на революционный путь, он должен не раз победить страх, миновать множество порогов в своем сознании. Декабристы осознали, что надо восстановить общественную справедливость, освободить крестьян, дать обществу свободу слова и совести — через эти рубежи мысль их прошла сравнительно легко. Труднее было решиться на то, чтобы пролить кровь, убить царя, а для успеха дела — вести тайную жизнь заговорщиков, конспирировать, подчиняться единому центру и т. п. И когда после разгрома восстания они очутились в тюремных одиночках, казалось — легче еще раз обмануться, поверить новому царю.

Искренность, честь и другие черты человеческой цельности поразительно сочетаются у декабристов с наивностью легковерия. В самом деле, как ловко проводит их эта заводная кукла, этот лицедей Николай Павлович! Якубович, Штейнгель, Бестужев, Трубецкой — все они, ободренные Николаем, пишут у себя в камерах Алексеевского рavelина записки, проекты, трактаты о том, как исправить Россию, наладить ее торговлю и финансы, экономику и суды, пресечь злоупотребления и воровство и т. п. И несется, нарастая, из разных концов сцены этот шепот, ропот, вопль, умело придуманный режиссером: «Ваше величество... Ваше величество... Ваше величество... Ваше...» Но это не голос слепого рабства — это вера, возможная лишь с отчаяния, последняя попытка воззвать к разуму самодержца, его совести и мирным путем совершить то, что не удалось им на площади.

Одни из них поймут потом, как наивны были их иллюзии. Другие найдут здесь путь для примирения с самодержавием и приобретут душевное спокойствие, подчинив бла-

гонамеренности свою личную совесть, как то уже ранее успел сделать Блудов с его болезненным и цинически равнодушным лицом (его хорошо играет В. Никулин).

Один из предателей декабристов — Яков Ростовцев, показанный в спектакле смешным, розовощеким дурачком, впоследствии остепенившись и совершив хорошую карьеру, сочинит на склоне лет целую теорию о двух видах совести: личной совести, которой люди руководятся в своем личном быту и осуждают с ее помощью свои злые помыслы и дела, — и общественной совести, которая заменяет, по его словам, личную совесть в жизни общественной и представляет собою верховную власть, карающую за нарушение законов и порядка и награждающую за гражданские или военные доблести. Какая «удобная» теория!

Впрочем, все это уже остается за границами спектакля, посвященного как раз органическому единству личной и общественной совести, обязательному для всякого революционного деятеля. И, возвращаясь к главной теме спектакля «Декабристы», можно сказать, что гуманизм Никиты Муравьева должен еще многое испытать и многому научиться, чтобы бросить остатки иллюзий в отношении царя, возможностей бескровного переворота и т. п. Но и диктаторские замашки Пестеля, его легкое отношение к крови и насилию должны пройти суровую проверку в школе исторического опыта.

А пока — драматический, сильный конец спектакля: праздник на Елагинном острове в честь императрицы, веселый вальс. в котором безмятежно кружатся пары, молодые лица офицеров, будто и ведать не ведающих о трагической судьбе, постигшей их товарищей, и под звуки этого зажигательного вальса — скорбный мартиролог казненных и скупое, но полное сарказма извещение о судьбе их предателей: Блудов вскоре станет графом, потом президентом Академии наук, членом Государственного совета; Ростовцев получит чин генерала и будет назначен заведующим военными учебными заведениями; капитан Майборода будет произведен в майоры, потом в подполковники, пока не покончит жизнь самоубийством в Темир-Хан-Шуре.

Ледяным холодом несет, когда заглянешь в эти грядущие николаевские годы. Над Россией опустится долгая ночь, и подлость будет торжествовать свою победу.

Но нерешительность декабристов будет искуплена народовольцами. Новый царь станет дрожать перед революционерами, запираясь от их пуль и бомб в своем дворце. Невозможны станут иллюзии ранней весны русского революционного движения. Но не канет в Лету героический пример декабристов, потому что беззаветная преданность революции не пропадает, как скажет Ленин, даже тогда, «когда целые десятилетия отделяют посев от жатвы».

## 3

В ожидании, пока в зале погаснет верхняя люстра и начнется спектакль «Народовольцы», вы можете разглядеть заранее выстроенную на сцене превосходную декорацию: выбегающая на зрителя пустынная улица, мощенная булыжником, неподалеку от Семеновского плаца, где нынче состоится казнь; серая, однообразная линия домов с узкими мертвыми глазницами окон, покосившиеся фонари и полосатая будка. Эта будка да еще российский двуглавый орел над сценой как бы подчеркивают в самом оформлении преемственность со спектаклем «Декабристы», а вместе с тем все здесь иное. Перед нами прозаический, скучный Петербург, город Некрасова и Достоевского, Петербург канцелярий и доходных домов, пестрой толпы чиновников, студентов, ремесленников, мещан. Не блестят мундиры и эполеты, не слышно бальной музыки и французского говора. И не рыцарский турнир с самодержавием, а сумрачную, беспощадную, кровавую борьбу с царем ведет новое поколение революционеров — герои «Народной воли».

Надо сказать, что к восприятию пьесы о народовольцах (автор ее — А. Свободин) публика меньше подготовлена, чем к спектаклю о декабристах. Многие годы подвиг героев «Народной воли» был у нас забытой и едва ли не запретной темой. Их деятельность, их борьба расценивались, вопреки известным высказываниям Ленина, исключительно с отрицательной стороны. «Избранный народниками путь борьбы с царизмом посредством отдельных убийств, посредством индивидуального террора был ошибочным и вредным для революции»; «Народники отвлекали внимание трудящихся от борьбы с классом угнетателей бесполезными для революции убийствами отдельных представителей этого класса» — так писали долгое время о народовольцах.

В последние годы советская наука много сделала для восстановления объективной исторической оценки деятельности революционных народников, и театру было на что опереться в его работе.

Я не скажу, чтобы автор пьесы о народовольцах распахивал эту ниву очень глубоко, но труд его интересен, современен и безусловно заслуживает сочувствия. Чтобы верно его оценить, не запрашивая лишку, надо иметь в виду, что это не пьеса в собственном смысле слова, а хроника, скорее даже публицистический монтаж, построенный изобретательно и остро. Он не обладает, быть может, достоинством открытия характеров, но в форме живых картин, основанных на воспоминаниях и документах, обращает наше внимание к некоторым из таких вопросов, которые не могут оставить безучастным современного зрителя.

Последовательность событий в спектакле сдвинута, смещена. Действие, начатое ранним утром 3 апреля, когда должны казнить народовольцев, возвращается вспять, и мы видим, как накануне суда прокурор обдумывает обвинительную речь, а один из главных обвиняемых готовится в своей камере к защите революционной партии и ее дела. То, что для Желябова составляет его жизнь, дорогие ему воспоминания о товарищах, об этапах совместной борьбы за свободу народа, то для его обвинителя — разоблачительный материал созревания чудовищного, бесчеловечного заговора преступников-террористов. И как тени, вызванные заклинаниями двух враждебных сторон, перед нами проходят события и лица, отмечающие вехи краткой истории народовольчества: Липецкая встреча, Воронежский съезд, неудача в Александровске, московский подкуп и, наконец, взрыв на Екатерининском канале...

Привыкнув к лицам актеров, мы начинаем различать среди яростно спорящих молодых людей долговязого, простодушного в своем радикализме Николая Морозова (Р. Суховерко), волевого, с нервным, подвижным лицом Веру Фигнер (Л. Толмачева), маленького, собранного в комок энергии Александра Михайлова (А. Мягков)... А впереди других — две фигуры, которые естественно выходят в центр спектакля: Андрей Желябов и Софья Перовская, главные герои «Народной воли», по праву привлекающие к себе наибольшее внимание зрителей.



Но сами народовольцы — лишь часть действующих лиц пьесы. Автор и режиссер смело ввели в спектакль то, что можно назвать голосами эпохи, живым историческим фоном: пестроту сословий и лиц, говор улицы, крики толпы. Замысел интересен и важными своими сторонами входит в общую концепцию спектакля, хотя должная мера, кажется, не везде была соблюдена. К чему, например, появляются на сцене три канканирующие девицы, или крестьянка, качающаяся люльку, подвешенную на проволоке, вдруг спустившейся с потолка, или шарманщик, предсказывающий судьбу? Рискую получить упрек в консервативности вкуса, я должен признаться, что во время действия скучал порой от сумятицы на сцене, избытка пестрого и лишнего «фона», передающего социальные «функции» или бытовые «приметы». Не лучше ли было больше внимания отдать личным характеристам основных участников этой исторической драмы — их побуждениям, мотивам, противоречиям, страстям?

К тому же постановщик, то и дело перенося место действия из комнаты на улицу, а с улицы — в здание суда, не дал воображению зрителя ровно никаких подпорок, хотя бы в виде условных выгородок. Спору нет, быть может, это и смело и современно, но поскольку перед глазами все время одна хоть и превосходная, но связывающая воображение декорация, порой возникало чувство неловкости оттого, что заговорщики едва ли не кричат друг другу через улицу о своих тайных замыслах царевбийства, в то время как рядом прогуливаются обыватели, офицеры, журналисты и жандармы. Народовольцы ведут себя так неосторожно, что их главный конспиратор Михайлов гораздо чаще, чем он это делает в спектакле, должен был бы восклицать: «Несчастная русская революция!»

И, однако, спектакль несет важную мысль, заставляет зрителя задуматься, связать концы и начала. По отношению к народо-вольцам в куда большей остроте, чем по отношению к декабристам, возникает вопрос: признает ли современный зритель их историческую правоту, оправдывает ли их методы борьбы?

Народовольцев обвиняет товарищ прокурора Муравьев (Г. Фролов) — в барском халате с белыми отверстиями, играющий карандашиком у губ и с профессиональным самодовольством обдумывающий, как бы похлестче заклеить царевбийц. И надо ли

говорить, что все наше сочувствие обращено в эти минуты к сидящему у другого края сцены в тюремном долгополом одеянии Андрею Желябову.

Желябов, каким его играет О. Ефремов, высокий, благообразный, с открытым лбом и по-мужички подстриженными сзади под горшок волосами, — это новый тип интеллигента из народа, из крестьянской среды. Демократические инстинкты соединились в нем с широкой образованностью. В нем угадываешь богатую внутреннюю жизнь, силу характера и природную одаренность. Он верит в социализм, ему близки и нравственные начала христианства, но он знает и то, что «вера без дела мертва есть», и бросается в омут практической революционной работы. Во внушительной фигуре Ефремова — Желябова есть благородная значительность, и жаль, что по ходу пьесы он так статичен.

Перед царским судом Желябов с товарищами сумеют отстоять себя и с гордо поднятой головой взойдут на эшафот. Но ведь есть еще и другой суд, куда более важный самому Желябову, — суд истории, суд потомков, который в скромном своем отражении совершается и сегодня в маленьком зрительном зале на площади Маяковского. Сочтет ли он, этот суд, его самого и его товарищей напрасной жертвой и, сожалея о погибших зря силах, отвернется от них или, даже споря с ними, признает их заслугу перед будущим?

Да, мы готовы склонить головы перед нравственной чистотой, самоотверженностью и верностью революционному долгу борцов «Народной воли». Этот редкостный тип людей, может быть, с наибольшей полнотой и законченностью воплотился в Софье Перовской, горящей сухим пламенем самоотречения и преданности своему делу. Худенькая, скромная женщина в черном платье с глухим воротом (ее играет в спектакле А. Покровская), с нежной и беззащитной улыбкой, пробивающейся временами на суровом, скорбном лице, — она была оплотом стоической верности долгу и нерассуждающего героизма. А вместе с тем какой тонкий и гибкий ум, какая преданность товарищам, выдающая всю глубину и страстность ее натуры!

В решительную минуту у народовольцев уже нет и не может быть никаких колебаний, никакой жалости к царю и слугам самодержавия — жертвам революционного террора. Кровь, которую так боялись про-

лить декабристы, не пугает народовольцев. За царем организуется настоящая охота. Восемь раз кончается неудачей покушение на его жизнь: его стерегут в Москве, Петербурге, за городом, на железной дороге и убивают наконец, как затравленного зверя.

Нет ли, однако, во всем этом черт бессмысленного и упорного фанатизма, когда кровопролитие не оправдывается исторической нуждой? Спектакль «Современника» допускает как будто и такую возможность трактовки, тем более что Александр II в исполнении Е. Евстигнеева выглядит не столько страшным деспотом, сколько жалким, сломленным стариком, готовым по доброй воле согласиться на конституцию. Не будем, впрочем, спешить с выводом, ибо театр, верный и на этот раз принципам художественного исследования, реалистического анализа, оставляет нам и другие возможности объяснений, которыми грешно пренебречь.

Первые же сцены спектакля — споры в Липецком курзале и в Воронеже, под перезвон колоколов Епифаньевского монастыря, создание «тайного общества в тайном обществе», когда группа недавних мирных пропагандистов социализма в деревне решает перейти к политической борьбе с помощью бомбы и кинжала, — неожиданно остро обнажают перед зрителем неизбежность такого хода вещей. Ведь жестокое преследование правительством агитаторов, пошедших «в народ», невозможность распространять свои идеи мирным путем, жестокая кара, павшая на головы их товарищей, — все это с неизбежностью вело недавних деятелей мирной «Земли и воли» к той реальной форме борьбы, которая еще была для них возможна, — к индивидуальному террору.

Они решают прибегнуть к террору как к самозащите, как к вынужденному средству борьбы. «Нас довели до этого», — говорит Желябов на суде. Еще прежде, чем холодный рассудок заставит народовольцев думать о политических последствиях их решения, непосредственный взрыв чувств, жажда немедленного действия и протеста убедит их в своей правоте. «Не до теорий, жить нечем, дышать нечем!» — воскликнет Перовская. Они должны отомстить за кровь своих товарищей. Это почти как защитная реакция человека против наглости угнетателя: он едва успел осознать, что его оскорбили, унизили, а эмоциональный порыв

определил его мысль и он отвечает ударом на удар. Такое душевное движение, такой порыв, вызывает только уважение и не может идти в ущерб нравственности.

В одной из важных сцен спектакля пылкий Гольденберг (его прекрасно играет В. Никулин) с надрывом, с отчаянием убеждает Плеханова в необходимости борьбы, выкрикивая одно за другим имена убитых, повешенных, затравленных самодержавием товарищей. Так думает в эти минуты не он один. Он лишь особенно бурно, яростно выражает то, что чувствуют и другие. А вместе с тем как раз в Гольденберге с его безумным взглядом, спутанными на лбу волосами, в том доходящем до истерии тоне, каким он оглашает свой мартиролог, мы узнаем революционера чувства, фанатика мести, поглотившей в нем все остальное. И недаром именно Гольденберг, падкий на чувство и фразу, не выдержит погломанных ему судьбою испытаний.

Чувство мести не может само по себе стать двигателем революции. Вспышка чувств грозит рано или поздно угаснуть, а раз начатая борьба неизбежно должна получить и более общее оправдание. Из революционной мести террор превращается в средство агитации, подает урок мужества запуганному обществу, расшатывает правящую власть. Наиболее дерзкие умы хранят еще и надежду после убийства царя силой вырвать демократические свободы и привести общество к народоправству. Но все эти рисующиеся смутно теории и программы имеют в конечном счете своей подкладкой все то же возмущенное и бунтующее революционное чувство. В этом смысле народовольцы, как и декабристы, остаются романтиками революции.

Члены партии «Народной воли», объявившие войну правительству, как бы заранее отрекаются от себя, чувствуют себя людьми, принесшими свою жизнь в жертву родине и свободе и готовыми, если ничего иного не остается, бесстрашно взойти на эшафот. «Для меня мораль дела важнее его успеха», — говорит в спектакле Софья Перовская. И можно поверить, что она не способна перешагнуть через недостойные способы и сомнительные в ее понимании средства, хотя бы они сулили революционеру немедленную удачу.

Но почти религиозная самоотреченность и жертвенность, превращающая народовольцев в подобие монашеского ордена,

жестоко отзывается на них самих. Готовые без колебаний отдать революции свою жизнь, они переступают через себя, безжалостно подавляют в себе все личные симпатии, стремления и надежды, кроме тех, что непосредственно связаны с террористической деятельностью исполнительного комитета. И недаром Кибальнич так мечтает вернуться к своей науке, к неусуществленной мечте о воздухоплавательном аппарате, а Перовская, готовя очередное покушение, всякий раз дает себе слово, что оно будет для нее последним и она вернется в деревню просвещать и лечить крестьян. «Скорлупы боюсь, узости...» — с тревогой говорит она. Но когда волна террора подхватывает, закручивает ее, она уже не считает себя вправе думать о чем-либо ином, кроме убийства царя, и стоически выполняет свой долг.

Отречение от себя идет в среде народовольцев так далеко, что они и любят как-то мучительно, с пароксизмами, надрывом: простые человеческие чувства кажутся им чем-то недозволенным. «Стыдись, — говорит Перовская полюбившему ее Желябову. — Наше дело не цветами, а динамитом пахнет». А потом, не выдержав борьбы со своим чувством, сама первой приходит к нему. Это голос живой жизни, не выдерживающей пригнетения суровой моралью.

Прирожденный конспиратор Александр Михайлов мечтает о создании такой организации, «которая станет для своих членов всем — религией, молитвой, станет действовать, как шестеренки часов». «Мы должны контролировать друг друга, — развивает он свою любимую мысль, — все слабости наши, вплоть до интимных, должны знать. Что у каждого в кармане, в бумажнике. Надо выработать привычку к взаимному контролю, чтобы контроль вошел в сознание». А. Мягков, играющий Михайлова, произносит эти слова с искренней убежденностью, и мы лишь потом начинаем раздумывать, что это — хорошо или дурно?

Нет сомнения, что основанная на таких началах организация заговорщиков будет действовать по-своему эффективно. Но где гарантия, что возведение революционного дела в почти религиозный послуг, граничащая с фанатизмом подозрительность и контроль друг за другом не подействуют губительно на личность заговорщика, не сдавят, не обузят его человеческие чувства?

А ведь это в конце концов может наложить печать и на характер самого движения.

Театр показывает, как сильно переживают герои-народовольцы свою трагическую замкнутость, как часто возвращаются к надеждам на временность террора и возобновление социалистической пропаганды в народе, как чувствуют внутреннюю опасность тактики, втягивающей их в колесо все новых и новых покушений и убийств.

Это мучительное внутреннее состояние особенно сильно передано О. Ефремовым в сцене неудавшегося подкупа у Александровска. Ефремов — Желябов вваливается ночью на конспиративную квартиру с комьями грязи на сапогах, измученный бессонницей и непосильной земляной работой, ничего не видящий в двух шагах из-за куриной слепоты. Он устало падает на стул, и мы вдруг понимаем, что этот человек на пределе. В какую-то минуту он словно бы ослаб, надорвался и в лихорадочном жару начинает горько мечтать, как о недостижимом счастье, о непрочитанных книгах, о разговорах с крестьянами. «Мне в кружки надо, в общество, пропагандировать, движение создавать...» — как бы спохватывается он. Правдиво, с мужественной сдержанностью передана актером эта смертная усталость — до отчаяния, эта мука человека, добровольно оторвавшего себя от всего, что было ему по сердцу, и с маниакальным упорством добивающегося своей цели, упершегося в одну точку, сосредоточившего все силы души на одном — убить царя, и готового в случае неудачи начать все сызнова.

Почему же так сильно действует эта коротенькая сцена? Почему такой горькой самоиронией звучит в устах Желябова — Ефремова его словцо — «затерроризировались»? Потому что здесь наблюдаешь упор и кожей, что называется, начинаешь ощущать сам психологический механизм незаметного перерождения средств в цель: каждый следующий террористический акт выглядит уже не свободным по выбору, но навязанным беспощадной логикой террора.

Было бы недостойно упрекнуть Желябова за его упорство, и театр заставляет зрителя восхищаться силой духа этого человека. Но та внутренняя неудовлетворенность, те нравственные утраты, о которых тоже напоминает спектакль, входят составной частью в драматизм его характера и судьбы.

Слов нет, чистота идейных побуждений народовольцев, их нравственная прямота и цельность ставят их исключительно высоко в нашей памяти как людей, безраздельно преданных делу освобождения народа. Они не только не ждали какой-либо корысти для себя, будь то хотя бы посмертная слава и признание, но, напротив, сознательно приносили себя в жертву, шли против своих личных интересов и желаний, освищенные по пути на эшафот тем самым народом, за благо которого они готовились умереть.

Можно ли, однако, рассматривать нравственные побуждения революционера изолированно от практических итогов, политических результатов его деятельности? Правы ли оказались народовольцы по отношению к своему времени и к более дальней исторической перспективе? Наивно было бы ждать от театра ответа на все эти огромной сложности вопросы, но материал для правильного их решения спектакль «Современника» безусловно дает. Он приковывает наше внимание к спору с народовольцами молодого Георгия Плеханова и заставляет зрителя напряженно думать, прежде чем он безусловно примет одну или другую сторону.

Плеханов (Ю. Рашкин) рассуждает, обращаясь к энтузиастам террора, горячо и резко, давая повод заподозрить себя даже в некоторой амбиции. В своей европейской одежде, светлой, с иголки тройке и сэлангантной шляпой в руках, он уже внешне выделяется в толпе мужчин в смазных сапогах и поддевках, ношенных пиджаках и студенческих тужурках и женщин в темных платьях курсисток. Народовольцы рвутся к решительному действию, а их товарищ выливает ушаты холодной воды на разгоряченные головы, замечая, что на кончике кинжала парламента не утвердишь, а убийство царя поведет разве лишь к тому, что вместо двух палочек рядом с его именем появятся три.

Сам переход народовольцев к политической борьбе, когда мирная пропаганда социализма стала невозможной,— важная их заслуга, недостаточно оцененная Плехановым. Однако существенно и другое.

В сцене разрыва с народовольцами Плеханов ставит перед ними вопросы, на которые ему по существу никто не отвечает. Он тщетно пытается обратить своих товарищей к мысли о том, что станут они делать в случае успешного переворота, после захва-

та власти. Народовольцы не хотят думать об этом раньше времени; пока надо отомстить за погибших товарищей, показать царю, что он не безнаказан,— об остальном думать рано, пусть это станет уделом будущего. А между тем здесь коренной вопрос для революционного деятеля — вопрос не о ближайших и кажущихся несомненными, а о более отдаленных целях, в свете которых и средства могут быть избраны иные, чем те, что как будто лежат под рукой.

Народовольцы — люди безупречной личной нравственности и отваги. Но в понятие революционной нравственности входят не только непосредственные душевные импульсы: честность, совестливость, готовность к самопожертвованию. Ведь революционер хлопочет не о себе лично. А стало быть, мало знать, что твой непосредственный порыв был благороден и ты не можешь ни в чем упрекнуть свою совесть. Надо еще испытывать чувство ответственности перед будущим, сознавать последствия, к каким поведет твой поступок. Словом, одно революционное чувство и даже самый искренний энтузиазм тут не выручат. Нужна и благородная, человечная, заглядывающая вперед мысль — в этом фундамент новой революционной этики.

Плеханов в спектакле говорит о том, что, даже захватив власть, Желябов с товарищами могут оказаться в драматическом положении: в России нет пока организованного рабочего класса, нет таких общественных сил и социальных учреждений, которые помогли бы заговорщикам удерживать власть и не дали бы ей переродиться. Горстке революционеров придется по необходимости навязывать свою волю большинству, вводить социализм теми же привычными для них методами геррора. «Кто мне даст гарантию, что мы не увлечемся всем этим?» — спрашивает Плеханов в пьесе А. Свободина, и это верно передает взгляды автора книги «Наши разногласия» в ту пору, когда его особенно высоко ценил Ленин.

Его предостережения имеют в виду то, что принято называть в марксистской литературе «иронией истории». Видя впереди некую цель и бескорыстно стремясь к ней, исторический деятель с недоумением обнаруживает, что плоды его усилей не соответствуют порой тому, чего он сам ожидал. Верно говорится: «Что посеешь, то и пожнешь», но жатва может порой разительно мало напоминать посев, в чем, однако, не

склонен сознаться себе ни один сеятель. Исторический поток сносит даже опытных плывцов, если они пытаются плыть наперекор течению, а их утешения себе, что они держат прежний курс, начинают выглядеть комически. Политическая реальность способна до неузнаваемости видоизменить первоначальный идеал и цель, приспособляя их к своим нуждам и являя как бы насмешку практики над субъективными намерениями и декларациями.

Вспоминая пример якобинцев, опыт Великой французской революции, Плеханов говорит о том, что даже незаурядные исторические деятели легко становятся в иных условиях диктаторами и узурпаторами власти.

Тень Робеспьера и Комитета общественной безопасности, лишь однажды, если не ошибаюсь, мелькнувшая в спектакле о декабристах — в диалоге Пестеля с Никитой Муравьевым, — служит в 1879 году предметом глубокого и напряженного спора. Театр еще вернется к этой теме в последней части трилогии — и тогда окончательно прояснятся многие важные ее стороны. Пока же отметим, что если в «Декабристах» гуманность натуры Муравьева и наполеоновские замашки Пестеля заключали в себе прежде всего психологическое противостояние двух характеров, то в «Народовольцах» личные характеры оказались не так важны, зато с отчетливой публицистичностью выступило столкновение двух взглядов, двух тенденций в русском освободительном движении.

В спектакле «Народовольцы» самым сильным аргументом Плеханова против Желябова и его друзей звучат, пожалуй, слова Лаврова, «вашего бога, теоретика Лаврова», о том, что всякая неограниченная власть портит самых лучших людей и что даже гениальные люди, думая облагодетельствовать народы декретами, не смогли этого сделать. Однако эти слова, сильно звучащие со сцены театра, мы не должны считать ответом, сметающим все недоуменные вопросы.

Вспомним, что сам Плеханов спустя пять лет после раскола в Воронеже писал в работе «Наши разногласия», что он выступает против захвата власти путем террора не потому, что «всякая диктатура портит людей», как считал Лавров. Этот вопрос, говорил он, едва ли окончательно разрешен историей и психологией. Важно другое —

какие существуют гарантии, что народ завоеует победу и сможет удержать ее? Именно здесь, в вопросе о гарантиях, Плеханов видит коренное различие между марксистами и теоретиками террора. «Первые требуют объективных гарантий успеха своего дела, гарантий, которые заключаются для них в развитии сознания, самостоятельности и организации в среде рабочего класса; вторые довольствуются гарантиями чисто субъективного свойства, отдают дело рабочего класса в руки отдельных лиц и комитетов. приурочивают торжество дорогой им идеи к вере в личные свойства тех или иных участников заговора»<sup>1</sup>. Так все трудности, сомнения и противоречия революционного движения сходятся в конечном счете, как к главному узлу, — к проблеме народа, народного самосознания.

В спектакле «Современника» народ то и дело появляется в разных своих обликах: он торгует, нищенствует, молится, плачет, поет, кощунствует и мечтает. В согласии с замыслом публицистического спектакля и народ в нем представлен условно, тенденциозно. На липецком курорте пробегающий мимо источника мужик (О. Табаков) отказывается от воды, которую господа тянут из поильников, — он предпочитает «свою, простую», то есть взятую у шинкаря. И тот же мужик первым бросается на интеллигента «в очках», увлекая за собой толпу, готовую освистать, затюкать, затравить его до смерти.

Трагедия Желябова и его партии заключается в том, что общество революционеров, принявшее имя «Народной воли», менее всего может надеяться представлять в собственном смысле слова народ. Народовольцы хотят отстаивать народные интересы, как они их понимают, нередко при безразличии, а то и при прямом сопротивлении народной среды.

Народовольцев на их крестном пути неизменно сопровождает в спектакле «Современника» народ-стадо, народ-толпа, народ-чернь. Эта толпа изображена декоративно, ярко, даже с некоторым избытком театральной экзотики. На сцене мы видим, пожалуй, не столько народ, сколько городской «люмпен», голь перекаатную, кособокою нищенку, торговку пирожками, беспризорника,

<sup>1</sup> Г. В. Плеханов. Сочинения. т. II. стр. 300.

как будто взятого взаймы из постановки «Кремлевских курантов». Вероятно, чувствуя неполную «репрезентативность» такого народа, режиссер пригласил еще на сцену и крестьянку с льюлкой, напевающую заунывные русские песни. Эта крестьянка вряд ли могла бы оказаться в день казни на Семеновском плацу. Зато в толпе, которая оплевывает своих защитников и, как в шедринской сказке, готова взвзывать, поймав «нигилиста»: «А мы его судом народны-и-им», — не хватает другой характерной фигуры.

Вера Фигнер, возвращаясь в вагоне конки в день казни первоапрельцев, разглядывала своих попутчиков. «Многие лица были возбужденные, — пишет она в воспоминаниях, — но не было ни раздумья, ни грусти. Как раз против меня сидел в синей свитке красавец-мещанин, резкий брюнет с курчавой бородой и огненными глазами. Прекрасное лицо было искажено страстью — настоящий опричник, готовый рубить головы»<sup>1</sup>. Вот этого мещанина, лавочника, охотничья, всегда стоящего в первом ряду охранителей и являющегося в толпе заводилой ненависти к «образованным», студентам, революционерам, явственно не хватает в спектакле. Мужик, показанный театром, менее типичен в этой роли, а мещанин в изображении И. Кваша остается слишком «прородной» фигурой.

Да, народ забит, темен и безразличен к своим защитникам, но не потому, что между интеллигенцией и народом легла роковая, непроходимая пропасть взаимонепонимания и вражды. Конечно, еще не только крестьянина, но и рабочего Окладского легко убедить, что интеллигенты хотят на его загривке «в атаманы въехать». И разве что в розовом сне Гольденберга мужик будет просить его: «Ты ко мне приезжай, ты мое все возьми, мне не жалко... Ты меня научи...» Всякие иллюзии на этот счет досадны и смешны. Но это вовсе не должно заставить нас забыть, что, по словам Щедрина, именно в народе «заклывается начало и конец всякой индивидуальной деятельности». Народ — это и рабочий Тимофей Михайлов, и крестьянский сын Желябов, а не только шарманщик, торговка пирожками или кособокая нищенка.

Но даже желая видеть более точным и

полным изображение народа в спектакле, мы должны отдать должное убедительности его финала. Народ, только что с воодушевлением ожидавший зрелища казни, смаковавший ее подробности, проклинавший царевубийц, вдруг примолк и заплакал, когда дело было сделано и сорвавшихся со своих петель, вопреки старому обычаю и робким возгласам толпы, повесили вновь. «Что же это с людьми делают?» — неожиданно для себя закричал мужик. И вдруг колебнулись на наших глазах весы народного сочувствия, и та чаша, что несла сожаление об убитом царе, пошла влево, а та, что переполнилась скорбью о повешенных царевубийцах, потянула вниз. И кто знает, может быть, из этого простого чувства жалостливости, обычного в народе, родилось в эту минуту зерно сомнения в справедливости власти, казнившей революционеров.

В спектакле «Народовольцы» еще громче, чем в «Декабристах», звучит тема, которую можно было бы определить словами старого изречения: «Не надейтесь на князи, сыны человеческие». Исторический опыт не прошел даром, и народовольцы в своем подавляющем большинстве лишены тех иллюзий в отношении самодержавной власти, какие сыграли такую трагическую роль в судьбе декабристов. Борьба, шедшая с мрачным ожесточением, выработала свой суровый кодекс чести. Известно, что народовольцы, приговоренные к казни, в большинстве случаев отказывались просить о помиловании, пренебрегая последней надеждой смертника; они не хотели унижить себя обращением к царю. И если твердый и стойкий Пестель был исключением между готовыми к раскаянию и питающими самые детские иллюзии декабристами, то среди народовольцев, напротив, исключением стали малодушный Рысаков и истерический Гольденберг.

Рассказывают, что декабристы, собранные для «экзекуции» на площади в Петропавловской крепости, братски обнимались: обманутые царем и легко обманувшиеся, они прощали друг другу невольные признания на допросах. Перовская не пошеловала Рысакова перед казнью. Предательство Гольденберга, его признания жандармам казались его товарищам по партии столь странными, что в среде народовольцев, по воспоминаниям Н. А. Морозова, предполагали даже, что тут действовал какой-то гипногизер.

<sup>1</sup> В е р а Ф и г н е р Запечатленный труд. Воспоминания в двух томах «Мысль». М. 1964, т. 1, стр. 272.

Вера в царя, в то, что он может прислушаться к заговорщикам, к их пожеланиям блага своему отечеству, окончательно поприана и убита. Театр подчеркивает невозможность прежних обольщений еще и тем, что сам царь в трактовке Е. Евстигнеева (везет «Современнику» на талантливое изображение самодержцев!) — равнодушный и безвольный рамоли на полусогнутых коленях и в расшитом серебром мундире. Престарелый шеголь, по-стариковски юлящий вокруг княгини Юрьевской, он мечтает лишь об одном — чтобы его оставили в покое.

Вот почему так важна в спектакле саркастическая сцена розового сна, навеянного следователем несчастному Гольденбергу. Решенная с острой театральностью, она представляет собой одну из смелых и изобретательных находок постановщика. Под прельстительный шепоток следователя («комитет заседал... готовность вести переговоры... амнистия решена») в воспаленном воображении Гольденберга возникают счастливые видения. Радостной толпой высыпаят на сцену генералы, придворные, народолюбцы, фрейлины, крестьяне с праздничными лентами и бутоньерками в петлицах, знаменуя картину гражданского мира и благоденствия. Обнявшись, идут старая лиса Лорис-Меликов (его играет М. Козаков) и конспиратор Михайлов, кружатся в общем хороводе судьи и их жертвы, и сам царь в венке из полевых цветов поддерживает под руку Желябова, то и дело любезно наклоняясь к нему за подтверждением и советом. Перебивая друг друга, они спешат поделиться соображениями о том, как разумнее устроить общественный порядок: наделить крестьян землей, провести всеобщие выборы, дать свободу печати и т. п. И весь этот разгул фантазии озорно венчает танец «каравай», исполненный вокруг августейшей особы. Иллюзии, которые могли выглядеть трагически у декабристов, оборачиваются фарсом.

И чем очевиднее тщетность надежд на перемены «сверху», как бы обольстительно ни рисовались они уставшему от крови и насилия воображению, миражи Гольденберга лишь сильнее подтверждают нравственную правоту народолюбцев. Можно ли сказать, что, прибегнув к жестоким средствам борьбы и не добившись с их помощью коренных перемен, они лишь понапрасну сложили головы? Нет, даже сознавая весь гра-

гизм их исторической судьбы, мы не станем отвечать так.

Существует едкий афоризм: одна из особенностей истории та, что она ничему не учит. Он рожден печальным зрелищем повторяющихся трагедий и возобновляемых ошибок. А все же это не так. Человечество умнеет, хотя и не столь быстро, как нам хотелось бы, и революционная мысль тоже идет к зрелости через блуждания и ошибки. Люди, лишенные историзма, глядящие чисто эмоционально и с точки зрения своего понимания прогресса, темпы которого всегда кажутся им слишком медленными, склонны обычно считать, что слишком многое в истории совершалось напрасно: декабристы погибли зря, народолюбцы — тоже зря. Ведь результаты их борьбы несопоставимы с их задачами, с тем, о чем они сами мечтали и за что готовы были погибнуть. Но это не так. История впитывает опыт поколений, а в героические эпохи революции опыт этот входит в нее в сто крат концентрированном виде.

«Совесь моя чиста» — этими словами прощается с нами, выходя на авансцену театра, Андрей Желябов. И вслед за ним те же слова произносят, глядя прямо в зрительный зал, Кибальчич, Тимофей Михайлов, Софья Перовская. Их совесь чиста и в личном, нравственном, и в историческом смысле. В те годы, когда все онемело в России и никто ничего не только не мог, но и не пытался сделать, эти несгибаемые люди сделали все, что могли. Гордой смертью своей они завещали потомкам свято хранить их память и не повторить их ошибок.

Если ж погибнуть придется  
В тюрьмах и шахтах сырых,  
Дело, друзья, отзовется  
На поколениях иных, —

поется в удивительно простой и молитвенно суровой народолюбческой песне, мотив которой провожает нас, когда мы уходим из театра.

#### 4

То, что пьеса о большевиках встала в один ряд с пьесами о народолюбцах и декабристах, обвело неожиданно резкой чертой исторический масштаб этих явлений. Еще не слишком далекое от нас по годам время большевиков ленинского круга предстает перед нами как история, как легендар-

ная страница революционной летописи, запечатлевшая облик неповторимого поколения. Само слово «большевики» несет на себе цвет времени. Мы смотрим на них, людей 1918 года, уже издавека, спустя столетия, и восхищаемся ими: их мужеством, благородством, идейностью, бескорыстием — чертами деятелей народной революции. Мы пристально вглядываемся в их лица, чтобы допросить их о чем-то насущном, разузнать и понять нечто важное для нас и для нашего времени. Театр и тут преследовал, стало быть, задачу реалистическую, смотрел на события революционного прошлого зрением современного художника.

Потому-то «Большевики» и смогли оказаться не только завершающим, но и лучшим спектаклем трилогии. Надо ли говорить, как важно это для общего впечатления от всей задуманной театром работы. Было бы куда досаднее, если бы интерес не нарастал, а падал от первой постановки к последней. К счастью, этого не случилось.

Успеху «Большевиков» у зрителей немало способствовала и пьеса М. Шатрова, лучшее, пожалуй, что им написано на ленинскую тему. Лучшее не только по зрелости и остроте мысли, но и по собранности драматического действия, экономай выразительности сценического письма. Перед вами настоящий театр, где вам не лекцию, написанную по ролям, читают, а бушуют страсти, сталкиваются умы, проявляются сокровенным своим нутром люди, хотя вся конфликтность действия создается не внешним движением (большой частью они разговаривают сидя или ходят по комнате), а лишь напряжением мысли и чувства.

Внешняя, постановочная сторона спектаклей от «Декабристов» к «Большевикам» становится все непритязательней и строже. В последней части трилогии — уже ровно никаких декорационных эффектов: лишь широкая темно-красная рама, окаймляющая сцену, скромный интерьер зала заседаний Совнаркома и сменяющийся караул кремлевских курсантов в нынешней форме, о которых зритель гадает: то ли это актеры, так хорошо и точно усвоившие ружейные артикулы и парадный шаг, то ли и впрямь курсанты, приглашенные театром. Эта подробность придает зрелищу небудничную торжественность, но ее можно принять разве как условно-символическую. (Известно, что приглашенный к Ленину на прием не-

мецкий посол Мирбах был поражен тем, что дежуривший у его кабинета красноармеец сидел на стуле и читал книгу...)

Итак, оформление строгое, даже аскетическое. Музыка в спектакле нет. Пьеса — документальна. Едва ли не каждую реплику можно подтвердить то ли стенограммой, то ли архивными документами, письмами Ленина или воспоминаниями его современников. Единственное, что позволяет себе автор, — додумать в некоторых отношениях характеры действующих лиц да «уплотнить», совмещая даты, хронологию событий.

И — редкий случай — сценическое время в пьесе почти равновелико реальному, историческому: один вечер, всего несколько часов в Кремле 30 августа 1918 года. Но каких часов!

Это часы, когда в Москву пришла весть об убийстве Урицкого в Петрограде. Часы, когда на заводе Михельсона Каплан стреляла в Ленина. Когда телеграф принес сообщение о кулацком мятеже в Ливнах и других актах белого террора. Часы, когда рядом с комнатой, где лежит гяжею раненый Ленин и врачи еще не дают надежды на добрый исход, Совет Народных Комиссаров под председательством Свердлова принимает решение о красном терроре.

7.30 вечера. В пустой зал заседаний по одному собираются наркомы. Прежде чем мы станем свидетелями драматических событий и напряженного спора в этом зале, театр вводит нас в обычную атмосферу совнаркомовских заседаний на первом году революции, знакомит с людьми, которые не торопясь рассаживаются за длинным столом, — с их взглядами, привычками, интересами. В костюмах и гримах соблюден стиль эпохи: длинные темные юбки и скромные блузки женщин; жилетки и галстуки наркомов, какие носили присяжные поверенные прошлых лет, вперемежку с кожаной курткой и рабочим пиджачком нараспашку. Но главное — стиль людей эпохи: простота, искренность, убежденность, оптимизм.

Героев спектакля «Большевики» мы видим, конечно, не в их личном быту, не в домашнем окружении, да это и не нужно. Куда важнее, интереснее то, что, встретившись в официальном месте и будучи, что называется, при исполнении служебных обязанностей, они ведут себя как живые люди — со своими страстями и пристрастиями, сильными и смешными сторонами, увлечениями и порывами.



Театр идет на сцены рискованные, необычные: короткая время в ожидании Ленина, который вот-вот должен вернуться с митинга, народные комиссары перекидываются репликами, спорят, подшучивают друг над другом, обмениваются новостями. Возникает общий — свободный и беспорядочный — разговор. Они говорят о том, что Петросовет не дает рабочих на фронт, и о том, что некто Коган, посланный наркомпродом в Курск, форменный идиот и что Суханов в «Новой жизни» не выпускает из-под своего влияния Горького. «А собственно говоря, что хочет этот «Буревестник»?» — насмешливо бросает Енукидзе. И тут же Петровский с Луначарским горячо вступаются за Горького. Кто-то напоминает к случаю старый анекдот про турка, другой цитирует на память Буонаротти — и все это среди самых острых политических тем и забот дня. Все подтрунивают над Луначарским за его терпимость к кубизму и футуризму и за неудачи с монументальной пропагандой, но делают это как-то легко, беззлобно, дружески. А с каким веселым азартом изображают они отсутствующего Ленина и как сговариваются наказать его за непривычное опоздание!

Словом, ничто человеческое им не чуждо и всякая претензия самодовольной чопорности, неискренность или чиновничьи должны разлетаться, как дым, в этой здоровой, насмешливой и откровенной среде.

Прекрасно писала об этом поколении революционеров в своем очерке «Удивительные люди» бывший секретарь Свердлова Е. Драбкина. «Они были веселые, сильные, озорные. Бурно спорили, много курили, пили много чая». И еще: «Они любили шутку, смех, забавные истории. Любили подмечать даже в самом серьезном деле смешную сторону». И, наконец: «Да, были они веселые, были они храбрые, были они мужественные, были негибкие. Но сколько горького и трудного выпало на их долю» («Новый мир», № 7, 1963). Такими сохранились они в памяти современников, такими же видим мы их сегодня со сцены театра.

Этот групповой обобщенный портрет, к счастью, не заслонил в спектакле индивидуальных характеров, и они где более, где менее отчетливо вырисовываются перед зрителем. Немногословный Стучка (Р. Суховерко), что-то бурчащий себе в усы, но упорный в своих убеждениях и, кажется, органически неспособный на какие-либо

сделки с совестью. Наркомпрод Цюрупа (В. Сергачев), на первый взгляд спокойный, методичный, даже скучноватый, но способный на бешеные взрывы темперамента, когда затронуты интересы дела, как в споре с Загорским о «полуторапудничестве». Свердлов (И. Кваша) — воплощенное самообладание, сгусток нервной энергии, умелый организатор, легко покрывающий разногласный шум своим зычным голосом. Загорский (О. Табаков) — с простецкой физиономией заводского парня, обаятельной, открытой улыбкой и с красным бантом на груди; молодой, комсомольского возраста, человек, который не находит себе места, переживая ранение Ленина, и всем говорит, что предупреждал его не ездить на митинг. (Говорят, в жизни внешние черты Загорского были несколько иными, но теперь нам трудно представить его другим, чем сыграл его Табаков...) Наконец Луначарский — с его энергией мысли и блеском аргументации, заставляющий всех примолкнуть, когда он начинает говорить: авторитет наркома просвещения, основанный на его уме и редкой образованности, стоит в этой среде очень высоко.

О Луначарском в исполнении Е. Евстигнеева я хотел бы сказать особо, ибо он, едва появившись на сцене, притягивает к себе симпатии зрителей, становясь заметнейшей фигурой спектакля. Для опытного актера не составляет, должно быть, труда сыграть человека доброго или жадного, простодушного или жестокого. Но как сыграть на сцене человека талантливого? Не знаю, не могу представить себе как, но Евстигнееву это удалось.

Его чуть сутулый, в знакомом пенсне Луначарский, с изящными движениями красивых рук в белых манжетах, с неожиданными выпадами ораторских жестов, все время живет на сцене своей внутренней жизнью. Человек острой революционной мысли, он в то же время сугубый интеллигент, гуманный и мягкий, сильный и непосредственно откликающийся на всякую несправедливость и почти беззащитный в своем чувстве любви к Ленину. Даже в общем угаре беды он как-то особенно лично и горестно переживает его ранение. Когда Енукидзе спеша сделать практические выводы из факта покушения, говорит о необходимости усиления охраны Совнаркома, с каким горьким сарказмом отзывается на его слова Луначарский: «О чем вы говорите,

Авель? Будет ли завтра кого охранять?» Поникий и еще сильнее ссутулившийся, он не способен скрывать свое горе, да думает, что это и не нужно. Он боится потерять в Ленине не только близкого товарища, но вождя партии, значение которого для будущего революции он сознает как-то особенно остро («Без него мы наделаем столько глупостей... Это невозможно...»).

Пока Евстигнеев—Луначарский на сцене, хочется неотрывно следовать за ним глазами: как он сидит вполоборота, опершись на спинку стула и прислушиваясь к спору, чтобы внезапно ворваться в него неожиданным соображением, меткой репликой; как расхаживает по комнате, погруженный в свои мысли, сцепивши руки за спиной. Вот он первым бросается за тряпкой, чтобы вытереть лужу от разбитой у постели Ленина склянки с нашатырем. А вот растерянно вертит полученным от Загорского браунингом, не зная, как с ним обходиться, и, наконец, движением сугубо штатского человека бросает его в портфель... Бытовая, житейская непосредственность Луначарского, каким его сыграл Евстигнеев, как бы усиливает обаяние и авторитет его мысли.

Но — довольно о Луначарском. Среди собравшихся в этот вечер в зале Совнаркома есть люди и более и менее образованные и более и менее умные, живущие одним текущим моментом или заглядывающие в будущее, — и споры, сомнения, разногласия среди них неизбежны. Да и сами характеры их различны: тут есть и более широкие, всеобъемлющие человеческие натуры, и более узкие, однотонные, люди увлекающиеся и сдержанные, пылкие и холодные. Но всех их объединяет революционное товарищество, общность дела и цели. И потому самой страшной опасностью грозит раскол, против которого не устает предупреждать Ленин.

Самого Ленина на сцене мы не увидим, и, я думаю, в этом проявился такт и ум драматурга и театра. Сценические воплощения вождя революции стали заметно штамповаться в последнее время. Его картавость, руки, заложенные за жилет, голова чуть набок, прищуренный глаз — театральная периферия вслед за столицей пускает в серию этот внешний образ, снижая его и губя. Бережность, уважение, такт продиктовали театру иное решение, в чем-то сходное с замыслом «Последних дней» Булгакова — спектакля с Пушкине без Пушкина.

Так и Ленин, которого мы не увидим, есть в спектакле о большевиках, и более того, он составляет его центр, ядро. Мысль о нем и его мысль, его понимание жизни все время присутствуют на сцене.

Не только потому, что непрестанно стучит в кремлевском коридоре старенький телеграфный аппарат ЮЗ, по которому идут бесконечной лентой ленинские телеграммы, призывающие к революционной бдительности и обуздывающие головопатов, касающиеся вопросов государственных — и совсем как будто «личных», частных, не достойных внимания государственного деятеля такого масштаба, а между тем спасающие людей от клеветы, волокиты, псевдо-революционного произвола. Ощущение такое, что революционная воля Ленина неусыпно обуздывает огромную стихию, где нерешительность приводит к беспечности, а «революционность» окрашена мелкобуржуазной левизной, желанием выслужиться перед революцией, а то и просто глупостью.

Но Ленин присутствует и в спорах своих товарищей, собравшихся без него в зале Совнаркома, в их аргументах, способе мысли, характере отношений друг к другу. И все это, вместе с их любовью, уважением и горячим сочувствием к нему в эти тяжелые часы, точнее, лучше рисует его облик, чем обаяние даже очень хорошего актера в очень похожем гриме и костюме Ленина.

Как и для Луначарского, для большинства своих соратников Ленин не только признанный вождь пролетариата, но старший товарищ, близкий друг. Решительно во всем театр старается отметить и подчеркнуть человеческие отношения и чувства, связывающие этих людей, и первое среди всех иных — чувство товарищества. В разговоре о погибшем Урицком Крестинский вдруг вспоминает: «Помните его любимое: «Не пылит дорога, не дрожат листы...» И мы внезапно осознаем, что эти люди соединены не только общей работой и борьбой, они и во всем остальном друзья, товарищи друг другу. Вот и с Лениным так же: в те минуты, когда он находится на краю смерти, каждый из них, говоря вслух с самим собой, напоминает что-то простое, частное, житейское, человеческое, что связывает с Лениным его лично.

Театр исключает возможность понимать дело так, что речь идет о некоем культе вождя, поскольку это понятие связано с культом силы и власти. Авторитет лично-

сти Ленина — это авторитет мысли и убеждения, исключая слепое повиновение и бездумную исполнительность. Потому-то горше всех переживающий ранение Ленина Луначарский с особенной нежностью, хоть и не без укора себе, вспоминает, как «непарламентски» бранился он с Ильичем.

Чувство живой боли и беспокойства за тяжело раненного Ленина так внушено театром зрительному залу, так велика тревога за человека, умирающего в соседней комнате, что зритель, как мне пришлось наблюдать, реагирует на это с удивительной непосредственностью, а порой и наивной верой в подлинность происходящего.

Что мне, зрителю, до того, что я отлично знаю наперед из истории, чем и как все это кончится? Но сегодня и здесь я живу в вечер 30 августа 1918 года, и бьюсь за жизнь Ленина, и не знаю, выживет ли он, и вместе с другими решаю тяжелый вопрос о красном терроре.

В пьесах с нашим революционным прошлым такое чувство сопричастности было не очень обычным, ибо пьесы эти большей частью развивались как бы «под знаком итога». Зритель ни на минуту не должен был забывать, что все кончится благополучно, советская власть незыблема и неодолима, а актеры только так, «для разгулки времени», как говорил у Толстого один мужик, разыгрывают драму. Даже в самых острых эпизодах не было ощущения, что возможны самые разные и неожиданные повороты истории, что в решающие минуты борьбы за советскую власть революция стоит на кону, что можно поступить правильно и умно, а можно ошибочно и глупо — и от этого в конце концов зависит вся дальнейшая судьба страны. Спектакль, поставленный «под знаком итога», заранее предупреждал в каждой своей сцене: не волнуйтесь, ничего плохого не случится.

В спектакле «Большевики» — все иначе. Даже о Ленине в эти минуты нельзя как будто заранее сказать — выживет он или нет. Действие развивается не «под знаком итога», а под знаком трудной правды жизни, под знаком поисков мысли, ответственного решения в смертельно опасный для судьбы революции час.

Не слишком обычный случай в театре: большую часть второго действия занимает спор на политические темы с многочисленными отступлениями в прошлое, социально-философскими реминисценциями, историче-

скими примерами, аргументами и контраргументами, а зрительный зал слушает его в сосредоточенной тишине.

То, что лишь брезжило в «Декабристах» и «Народовольцах» как отдаленная догадка, как прогноз, как попытка предусмотреть проблемы, которые неизбежно встанут перед революционерами после захвата власти, в «Большевиках» становится злобой дня, насущной политической задачей. Народная революция, возглавленная большевиками и захватившая власть в стране, натолкнулась на отчаянное сопротивление свергнутых классов. Так что вопрос о прерогативах власти, о методах насилия и террора после государственного переворота, который был лишь умозрительной гипотезой для декабристов, шел самым отдаленным фоном деятельности народовольцев, встает здесь с совсем иной мерой неотложности и остроты.

И тут главная трудность, главная забота — не повторить ошибок революционеров прошлого: защитить революцию, отбить атаки врагов и сделать это так, чтобы не дать увлечь себя жестокостью, репрессивными мерами. Ленин говорил Горькому: «...мы, в идеале, против всякого насилия над людьми» — и объяснял, что революционное насилие, жестокость — вынужденный способ борьбы с сопротивлением эксплуататоров. Казалось бы, какое значение имеет эта оговорка «в идеале», если ход событий все равно приводит к кровавой борьбе, заставляет прибегнуть к методам подавления и насилия? А между тем смысл этого напоминания очень важен.

Для революционера, исходящего из того, что в идеале он против всякого насилия над людьми, террор не может стать привычным инструментом действия, универсальным способом решения жизненных проблем. При первой же возможности он ограничит сферу его действия, а затем и вовсе откажется от него. Другое дело — когда насилие, террор из средства вынужденной защиты становятся обычным орудием действия, легким способом воспитания и управления, и то, что казалось временным средством, незаметно вытесняет сам идеал и извращает цель.

Вот почему такую остроту приобретает обсуждение в пьесе «Большевики» вопроса о красном терроре. Прямые акты белого террора: мятеж в Ливнах, убийство Урицкого, ранение Ленина, тяжелое положение

на фронтах — все это ставит вопрос так: победа или смерть, и не оставляет иного выбора защитникам революции. Но то, как поступят они в этих крайних обстоятельствах, с какой мерой сознания и ответственности примут свое решение, важно для настоящего и в не меньшей мере для будущего. Здесь на самом острие решается не только злободневный политический вопрос, но и вопрос о нравственной силе новой власти.

Трудность, ответственность такого решения состоит еще в том, что террор не может ограничиться расстрелами тех, кто непосредственно виновен в мягечах и вооруженной борьбе с советской властью. Это, как напоминает в спектакле Коллонтай, атмосфера ужаса, страха, которая должна парализовать колеблющуюся, втайне сочувствующую контрреволюции, но еще не захваченную ею массу. И тут легко соскользнуть к тому, что академически называют «издержками» террора, к попустительству нарушениям революционной законности, к развязыванию стихии арестов и расстрелов.

Надо иметь трезвую голову на плечах, чтобы не поддаться напору стихийных чувств ярости и мести, несущимся с митингов призывам расстреливать заподозренных во враждебности к советской власти без суда и даже без трибунала. Красный террор, говорит Свердлов, не должен напоминать «мести за вождей». А ведь так не раз бывало в истории революционного движения; достаточно вспомнить, как выродился опыт народовольцев в террористической практике эсеров. Разум, сознательное отношение к будущему должны контролировать чувства революционера и инстинктивные движения масс. И не зря в этой обстановке тревоги и возмущения, когда революция в опасности, под угрозой жизнь Ленина и жажда немедленной мести врагам кружит голову, народным комиссары разъезжаются по московским районам, на рабочие митинги, чтобы уговорить людей сохранять революционный правопорядок и не поддаться стихийному чувству ненависти.

Нельзя сказать, чтобы революционная сознательность одерживала верх в суждениях самих наркомов без внутренней борьбы, колебаний и полемики. Одним из ярых сторонников красного террора, не связанного никакими гарантиями от крайностей и «издержек», выступает в спектакле «Современника» М. Н. Покровский (А. Мягков).

Быть может, кого-нибудь и смутит такая трактовка образа видного историка-марксиста, но социально-психологически она безусловно правдоподобна. Интеллигент, пугающийся самих слов «террор» и «насилие», и интеллигент, готовый забыть всякие опасения, пренебречь всеми уроками истории и зовущий к нерассуждающему и мстительному насилию, — это в конце концов родственные явления. В поспешных призывах к мести есть своя нервная неустойчивость. Покровский, каким мы его видим в пьесе, пытается уйти от спора о якобинском терроре, уверяя других, что этот разговор «нас размагнитит». Историк, разделяющий взгляд, что история ничему не учит, и отрицающий тем самым свой предмет, — весьма парадоксальная, но жизненная фигура.

Нет, совсем не академический интерес имеет в спектакле долгий и страстный спор о Великой французской революции. Сколько напоминаний, контрастов, вопросов, ассоциаций неизбежно рождает он. В чем были правы якобинцы и в чем они заблуждались? Как случилось, что террор 1793 года «выродился в резню»? Что привело к этому — честолюбие Робеспьера или объективная логика, сила вещей? Почему политика устрашения сменилась у якобинцев политикой истребления? Как случилось, что Робеспьер и его друзья погибли от руки своих же сторонников? Какие классовые, социальные причины привели к перерождению аппарата власти?

Само по себе обращение к историческому прошлому как к аккумулятору политического опыта — черта духовной культуры, вызывающая уважение. Но в обсуждении декрета о красном терроре эти вопросы звучат по-особому злободневно, так как выражают озабоченность большевиков, их чувство ответственности, их нежелание стать жертвой «иронии истории». Они не хотят допустить того, чтобы, как это уже не раз случилось в прошлом, жатва принесла иной результат, чем тот, на какой рассчитывали при посеве.

Именно потому их внимание приковано к своеобразию тех политических и социальных условий, в которых совершается наша революция, и похожая и очень непохожая на все предыдущие. Народная революция, возглавленная большевиками, давала возможность перейти к социализму куда менее кровавым путем. На первом году советской власти, напоминает спектакль, была отмене-

на смертная казнь, прощены и отправлены на фронт участники первого покушения на Ленина, отпущены под честное слово Краснов и другие белые генералы. Гражданская война и интервенция не дали истории и на этот раз «перепрыгнуть через террор», но сама эта гуманная попытка, как говорит в пьесе Луначарский, делала честь большевикам.

Теперь же, когда террор становится неизбежным, важнее всего решить вопрос о его интенсивности, о том, что может служить гарантией против его крайностей и эксцессов. Почему так занимает большевиков-наркомов эта тема? Потому что трезвый классовый анализ заставляет марксиста видеть многое из того, что скрыто от глаз либерального политика или «левого» революционера. «Слепая ярость массы, которую, как правило, очень удачно используют самые реакционные элементы, нам не нужна», — говорит в спектакле Свердлов. Стихийное развязывание террора потому-то особенно и опасно, что накопившая бездну революционной энергии, злобы и ненависти к эксплуататорам народная масса в значительной своей части бескультурна, проникнута мелкобуржуазными страстями и предрассудками.

Еще в самом начале пьесы, в разговоре о том, что Петросовет неохотно дает питерских рабочих на фронт, Луначарский замечает, что трагическое противоречие нашей, и не только нашей, революции состоит в том, что в условиях царизма ее готовит сравнительно тонкий слой передовых, политически воспитанных рабочих и революционная интеллигенция. Они же первыми и сложат головы в борьбе за новую власть. Именно потому опасность мелкобуржуазного поглощения в такой крестьянской стране, как Россия, очень велика. К революции охотно примыкают люди, ей чуждые. «всякая нечисть» часто с красной петличкой или партийным билетом в кармане А из их рядов как раз и приходят главные любители террора. «наши уездные Дантоны и Робеспьеры», которые делают «стенку» основным методом решения всех противоречий. Это и заставляет большевиков-наркомов так долго и терпеливо взвешивать все последствия, казалось бы, неизбежного решения.

Мертвая тишина воцаряется в зале, когда, опрашиваемые Свердловым, они один за другим поднимают руку, голосуя за красный террор. Вот голосуют Чичерин, Кре-

стинский, Коллонтай. Поднимают руку Луначарский и Стучка... Поднимают, беря на себя личную ответственность, без торопливости и легкой готовности, выполняя трудный долг революционера.

Их дискуссия или, вернее, живой и беспорядочный, но страстный человеческий спор призван от многого предостеречь. Они с ответственностью думают о будущем, о своей стране, и, как говорится в спектакле, уже это может служить одной из гарантий против «издержек» террора.

Однако даже самое ясное сознание грозящей опасности еще не избавляет от нее. Вспомним, как еще в споре с «Народной волей» Плеханов говорил, что вера в личные свойства даже самых хороших и честных революционеров не может считаться надежной гарантией. Марксизм всегда полагал, что субъективные намерения тех или иных лиц — дело в конце концов переходящее, и не в них следует искать опору здорового и правильного развития революции. Куда важнее те объективные гарантии демократического контроля, о которых также говорит Свердлов в спектакле: «Гласность действия карательных органов. Публикация всех имен арестованных, всех имен заложников, всех смертных приговоров. Классовый подбор аппарата. Неуклонное соблюдение основного принципа красного террора: это террор класса против класса руками класса во имя класса... Нам не нужны профессиональные каратели».

Но и здесь еще остается недоговоренным кое-что из того, что принадлежит к азбуке марксизма. Объективные гарантии против ошибок и заблуждений может дать лишь развитие знания, самостоятельности и организации трудящихся масс. Надо, чтобы не только сами законы предоставляли возможность демократического контроля, но чтобы люди умели ими пользоваться, получили вкус к осуществлению своих гражданских прав. Широкий народный контроль, демократический правопорядок, социалистическая законность обретают свою реальность по мере просвещения и воспитания гражданского, социалистического правосознания народных масс. И оттого так уместна в пьесе, казалось бы, неожиданно «просветительская» реплика Луначарского: «Да, я согласен, что в истории бывают моменты, когда насилие необходимо. Но все-таки истинный социализм может быть насажден в мире не

винтовкой и штыком, а только наукой и широким просвещением трудящихся».

Спор о терроре и гарантиях против его «издержек» мало кого оставляет равнодушным в зале. Театр не стремился искусственно «современить» историю, а спектакль оказался современным. Быть может, при общей исторической достоверности, кое-что и предстало здесь художественно сгущенным и заостренным; быть может, 30 августа 1918 года в зале Совнаркома не спорили так страстно о красном терроре; быть может, то, о чем задумывались многие революционеры, еще не вылилось в слова, а иные и вовсе не заглядывали так далеко вперед, и лишь исторический опыт так рельефно проявил все эти проблемы. Но то, что они рождались уже тогда, то, что жизнь была чревата ими,— это несомненно, и театр поступил умно и мужественно, поставив их в центр внимания и заставив нас оглянуться на тот далекий день с высоты опыта прошедших десятилетий.

...Я вспоминаю одну из последних сцен спектакля. Четвертый час ночи, а никто из комиссаров не идет домой. Усталые, с воспаленными веками, они беспорядочно, кто как, расположились вокруг длинного стола. Глубокая ночь, и зябко от пережитых волнений и усталости, и Луначарский полусогнут на стульях, протянув ноги в штиблетах, а Загорский присел прямо на пол и тихо переговаривается с Петровским. Кто уронил голову на стол, кто дремлет, опершись на локоть,— но никто не спешит уйти.

И глядя на эту тесную группу, живописную, как на старых дагерротипах, потому что фоном ей служат резные спинки белых стульев с красной обивкой, думаешь об этих людях, перебираешь в памяти их судьбы. Вот они тревожатся о Ленине, боятся за его жизнь. А ведь не все даже переживут его. Умрет спустя полгода Свердлов, погибнет от эсеровской бомбы Загорский. Позже станет жертвой беззакония Крестинский и Стеклов, и другие незаметно сойдут в тень по одному... Так мало людей этого поколения доживет до старости. Они погибнут, по

слову поэта, «от штыков, от каторг и от пуль — и почти никто от долгих лет».

Удивительные люди, скажут о них младшие современники. Революция не была для них внешним событием, так или иначе задевшим их лично. Она была растворена в их крови, они были ее создателями, ее участниками и сыновьями, и все ее боли и трудности были для них своими. Думая о ее судьбе, они всякий раз решали вопрос своей совести, своей судьбы. Личная нравственность была слита для них с революционным долгом, а сам долг выступал не как навязанная извне сила, а как создание их собственных чувств и разума. В этом смысле они были вправе считать себя счастливыми людьми.

Алым полыханием революции окрашен патетический финал спектакля — надежда на выздоровление Ленина и бессмертная песня Эжена Потье, не пропетая в голос — ведь нельзя шуметь рядом с комнатой, где больной Ленин,— а рассказанная его товарищами почти шепотом, но внятно и в такт, как единый вздох радости, облегчения и упрямой веры.

Эти три театральные вечера многое напомнили нам, об ином заставили задуматься. Театр, рассказавший о борьбе и поисках мысли нескольких поколений русской революционной интеллигенции, выступил как театр высокой гражданской темы, и само название его — «Современник» — засветилось вдруг новым смыслом, получило новое оправдание. У коллектива и прежде были прекрасные работы, доставившие ему известность. Но трилогия о русской революции должна, кажется, стать особой вехой в судьбе театра.

Не надо быть знакомым с актерами, бывать за кулисами или говорить с режиссером, чтобы понять — артисты поглощены, увлечены этой работой, она заново спаяла их в жизнеспособный коллектив, перевела театр на иную ступень интересов и, думаю, открыла перед ним новые горизонты.



---

---

# ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Э. СОЛОВЬЕВ

★

## ЦВЕТ ТРАГЕДИИ

(О творчестве Э. Хемингуэя)

Сегодня, когда несколько умерился сенсационный интерес к жизненной судьбе Хемингуэя (и соответственно — интерес к ряду сугубо внешних особенностей его героя), стало легче разглядеть самый важный смысловой слой хемингуэевского творчества — глубоко продуманную постановку проблемы личной ответственности и нравственной стойкости человека.

Хемингуэя никак не причислишь к разряду «моралистов». И он сам, и его герои испытывают глубокую неприязнь к моральной рефлексии и моральному нападению. По справедливому замечанию И. Кашкина, человек, которого мы находим в произведениях Хемингуэя, не пытается освоить мир посредством этического размышления, а ощущает его сразу и как бы телесно.

И вместе с тем в западной литературе двадцатого века едва ли найдется другой персонаж, у которого это почти телесное ощущение окружающего мира и непосредственная реакция на него так походила бы на свернутое в эмоцию нравственное суждение о действительности, так глубоко коренились бы во всеобщих моральных коллизиях определенной исторической эпохи.

Основная тема Хемингуэя сформировалась в тот период, когда европейский и американский капитализм переживал один из самых глубоких своих кризисов. Никогда прежде на протяжении жизни одного-двух поколений люди не сталкивались с таким количеством насильственных смертей, с такими резкими переходами от благоденствия к голоду, с таким разгулом демагогии, с таким откровенным подстрекательством к безответственности и безнравственности.

Хемингуэй — и это позволяет поставить его в один ряд со многими философами-гуманистами нашего века — пытался понять этот кризис как тягчайшее испытание, ниспосланное человеку историей, как вызов его достоинству и мужеству.

В произведениях Хемингуэя мы находим картину деморализации западного общества — душевных увечий и страхов, порожденных эпохой политических и экономических потрясений. Но прежде всего он писал о тех, кто оказался способным вынести невыносимое. Писатель жил восторженным удивлением перед чудом человеческой стойкости, желанием понять и выразить всю немыслимость этого чуда и вместе с тем невозможность устранить его из истории.

Хемингуэй хорошо знал психологию нигилиста, понимал основательность и оправданность человеческого отчаяния. Однако лучшие его произведения — так же, например, как многие философские работы А. Камю — это документы напряженной и длительной полемики с теми, для кого самоубийство стало единственным последовательным способом решения личных проблем. Писатель возражал нигилисту с позиций стойко-трагического восприятия мира.

Показать, почему трагическое сознание героев Хемингуэя является просветленным сознанием, каким образом они оказываются непримиримыми противника-

ми равнодушия, отчаяния и цинизма, — в этом, если говорить коротко, состоит наш основной замысел.

Настоящая статья не претендует на анализ всего творчества Хемингуэя. Мы ограничиваемся произведениями, написанными в период между двумя мировыми войнами, когда писатель нашел своего героя и свой особый образ мысли. Мы не сообщаем ничего нового о жизненной судьбе художника и не пытаемся разобрать вопросы, увлекающие литературоведов (о языке, об искусстве сюжетного построения, о творческом методе). Нас интересует нравственно-философская тема Хемингуэя — тема человека, отстаивающего свое достоинство в условиях, которые, казалось бы, полностью исключают его.

## 1. ПОСПЕШНО ЗАБЫТАЯ ВОЙНА

Западногерманский философ Г. Вайнштокк заметил как-то, что двадцатый век — если иметь в виду реальное, переживаемое людьми историческое время, а не условности григорианского календаря — следует исчислять вовсе не с 1 января 1900 года. Новое столетие началось 1 августа 1914 года, то есть с того дня, когда разразилась первая мировая война.

Г. Вайнштокк ссылается на ощущение, действительно испытанное миллионами не искушенных в политике людей, — ощущение внезапного перелома, «геологического сброса» в истории, когда рушатся иллюзии и обнажается жестокая истина о существующем обществе.

Еще вчера рядовым участникам событий могло казаться, что историческое движение находится под контролем разума и имеет благую цель. И вот в течение месяцев и даже дней они убеждаются в том, что существующее общество не содержит никаких гарантий разумности, а высокие слова, провозглашаемые от лица «нации», «прогресса», «цивилизации», представляют собой лицемерный язык правящих классов, в интересах которых и была затеяна мировая бойня. Последующий ход событий заставляет осознать еще более обескураживающую истину: те, кто развязал войну в целях наживы, едва ли сумеют нажиться на ней, так как не сегодня-завтра наступит истощение экономики, разруха, гибель огромной части производительного населения. Война имеет экономические причины, но, начиная с известного момента, она уже не содержит в себе ни экономического, ни какого-либо иного «смысла». Исторический процесс вышел из-под контроля разума во всех его проявлениях — вплоть до циничной рациональности дельца. Правящие круги европейских наций сумели начать войну и привести в действие огромные армии, но они (и вся общественная система, обеспечивающая их господство) уже не могут остановить кровавого потока событий. Если не произойдет революции, общество в своем слепом движении может прийти к разрушению цивилизации.

Ужас перед невиданными масштабами бедствий слился с ужасом перед бессмысленностью, нелепостью, стихийной принудительностью всего происходящего. Давно уже не было ненависти к противнику, зависти к героям, презрения к дезертирству — ничего, что могло бы поддержать дух сражающегося воинства, а размах военных действий все возрастал, как будто их участники фанатически жаждали «борьбы до победного конца». Как никогда остро, осознавалось единство «рода человеческого» — то простое обстоятельство, что люди в окопах рядом и люди в окопах противника в равной степени являются существами, заслуживающими сострадания. И в то же время с неизвестной прежней истории сосредоточенностью и деловитостью творилось массовое убийство...

Война была ужасна, но, может быть, еще более непонятной и жуткой, чем сама война, была легкость, с которой ее забыли, — беззаботно-циничный стиль жизни, установившийся в странах Запада уже к концу двадцатых годов. Люди вели себя так, словно им было нестерпимо больно от однажды обретенного знания. Они пытались уютно и комфортабельно устроиться на склоне только что потухше-



го вулкана, хотя не произошло ничего, убеждающего в том, что вулкан через неделю, завтра, сегодня же не начнет действовать вновь.

В этих условиях огромное значение приобрела работа исторического напoминания: выявление и разъяснение жестоких уроков войны.

Одно из первых мест в ряду западных художников и публицистов, посвятивших себя этой работе, как раз и принадлежало Э. Хемингуэю, попытавшемуся раскрыть двойную правду войны: разоблачительную правду о существующем обществе и обнадеживающую правду о самом человеке.

В книге «Смерть после полудня» (1932) автор предлагает вниманию своей собеседницы — старой леди — очерк, озаглавленный «Мертвые. Глава из естественной истории». Вот что в нем говорится: «Мне всегда казалось, что естествоиспытатели напрасно пренебрегают войной как полем для наблюдений... На войне мертвые человеческой породы обычно самцы, но это не вполне верно в отношении животных вообще, и среди мертвых лошадей я нередко встречал кобыл. Интересно отметить, что только на войне естествоиспытатель имеет возможность наблюдать мертвых мулов. За двадцать лет наблюдений над жизнью в мирное время я ни разу не видел мертвого мула и уже стал было сомневаться в том, что эти животные смертны... Внешний вид мертвых, до их погребения, с каждым днем несколько меняется. Цвет кожи у мертвых кавказской расы превращается из белого в желтый, в желто-зеленый и черный. Если оставить их на продолжительный срок под солнцем, то мясо приобретает вид каменноугольной смолы, особенно в местах переломов и разрывов, и отчетливо обнаруживается присущая смоле радужность»<sup>1</sup>.

Откуда эта остраненность взгляда, этот цинизм моргов и почему Хемингуэй настаивает на нем? Почему описание полей сражений признается делом естествоиспытателя, а не делом историка, исполненного благородного морального негодования?

Благородное негодование уместно там, где изобличается человек и его умысел. Но то, что оставалось на полях сражений в войне 1914—1918 годов, просто невозможно было принять за последствие человеческого умысла. Результаты действий людей, объединенных в общество, ничем не отличались от результатов естественных катастроф.

В своей работе убийства общество как бы слилось в одно целое с жарой, изнуряющей на походе, с солнцем, обезображивающим трупы, со снегом, засыпающим в горах колонны беженцев («Снега Килиманджаро»), с болезнями и «ловушками физиологии» («Прошай, оружие!»). Было уже просто неприлично верить в то, что общество есть соединенная сила людей, защищающая каждого из них от разрушительных и смертоносных природных процессов. Куда более убедительным казался противоположный вывод: общество вступило в сговор со всеми силами, разрушающими жизнь человека и других крупных млекопитающих. На одной стороне оказались люди, лошади, мулы, на другой — холода, зной, грязь, болезнетворные бактерии, пулеметы, гаубицы, войсковые соединения разных размеров и многочисленные институты, поддерживающие «естественный ход событий».

Не было сомнения в том, что все орудия войны приводятся в действие людьми, но не было сомнения и в том, что миллионы солдат, которые образуют войсковые соединения и заставляют действовать пулеметы и гаубицы, вовсе не имеют желания убивать. Участники первой мировой войны, как никогда остро, переживали ощущение, испытанное, по-видимому, свидетелями некоторых прошлых войн и точно переданное Толстым: «Одна мысль за все это время была в голове Пьера... Кто же это наконец казнил, убивал, лишал жизни... И Пьер чувствовал, что это был никто. Это был порядок, сдал обстоятельство».

Представление об обществе, неожиданно и внезапно возникшее в голове Пьера, когда он увидел, как мнимые законоблудители, сами нимало того не желая,

<sup>1</sup> Э. Хемингуэй. Избранные произведения в двух томах, т. II, М. 1959, стр. 177—180.

расстреливают мнимых поджигателей, находилось в непримиримом противоречии с тем, что понимал под обществом господствовавший в буржуазной философии девятнадцатого и начала двадцатого столетия моральный идеализм. Его предшественники пытались изобразить общество как своего рода моральное существо («духовное единство», «культурное единство»), которому человек может спокойно довериться.

Непосредственные переживания хемингуэевского героя противоречили этой благодушной идеологии в еще большей степени, чем мимолетное впечатление Пьера. Они скрывали под собой невысказанное, но цельное, философски значимое суждение: общество, каким оно вообще известно из прошедшей истории, не дает оснований относиться к нему с доверием; общество же, которое допустило мировую войну и выдает участие в массовом убийстве за «гражданский долг каждого», делает позицию доверия безумной и преступной.

Нетрудно убедиться, что эти настроения не только исключали моральный идеализм, но и в корне подрывали само моральное сознание.

Основу морального сознания составляет убеждение в том, что служение обществу и его институтам есть служение людям. К обычным нравственным обязанностям перед ближними мораль добавляет долг по отношению к существующей социальной организации и входящим в нее общностям и учреждениям (долг по отношению к «государству», «отечеству», «армии» и т. д.).

Тот вид, который общественная жизнь приняла для человека, заброшенного в окопы в 1914—1918 годах, делал это убеждение невозможным. Окопные солдаты, уже повидавшие, что такое война и руководство войной, слишком хорошо знали истинную цену абстрактных понятий, рассчитанных на моральную аффектацию. Герой романа «Прощай, оружие!» Генри Фредерик достаточно точно передает их реакцию, когда говорит: «Меня всегда приводят в смущение слова «священный, славный, жертва» и выражение «совершилось». Мы слышали их иногда, стоя под дождем, на таком расстоянии, что только отдельные выкрики долетали до нас, и читали их на плакатах, которые расклеивали, бывало, наклеивали поверх других плакатов; но ничего священного я не видел, и то, что считалось славным, не заслуживало славы, и жертвы очень напоминали чикагские боины, только мясо здесь просто зарывали в землю. Было много таких слов, которые уже противно было слушать, и в конце концов только названия мест сохранили достоинство. Некоторые номера тоже сохранили его, и некоторые даты, и только их и названия мест можно было еще признать с каким-то значением. Абстрактные слова, такие, как «слава, подвиг, доблесть» или «святыня», были непристойны рядом с конкретными названиями деревень, номерами дорог, названиями рек, номерами полков и датами»<sup>1</sup>.

Высокие понятия, не имеющие за собой реальности, достойной доверия и уважения, опасны не просто потому, что они есть семантическая бессмыслица, а потому, что всегда находят фанатические почитатели, которые служат им делом, или фарисеи, готовые выдать себя за таких почитателей, когда это выгодно.

Генри Фредерику — как, вероятно, и тысячам других людей — довелось своими глазами увидеть, как «высокая мораль» перестает быть пустой болтовней и превращается в кровавую фискальную действительность. Это произошло во время осеннего отступления на итальянском фронте.

Отступление это было типичным для первой мировой войны, стихийным, как оползни, событием. Оно представляло собой неизвестно где и как начавшееся роевое движение армии, сопровождавшееся неожиданными смешениями частей, массовой сдачей в плен, убийством офицеров и повальным дезертирством. Когда разрозненные, перепутавшиеся войска подошли к мосту через Тальяменто, их встретили чистенькие и одухотворенные представители полевой жандармерии. Они выхватывали из толпы офицеров и вершили над ними скорый суд чести. Вот язык, на котором говорили судьи:

<sup>1</sup> Э. Хемингуэй. Избранные произведения, т. I, стр. 311—312.

«— Вам известно, что офицер всегда должен находиться при своей части? Ему было известно...

— Из-за вас и подобных вам варвары вторглись в священные пределы отечества.

— Позвольте,— сказал подполковник.

— Предательство, подобное вашему, отняло у нас плоды победы.

— Вам когда-нибудь случалось отступать? — спросил подполковник.

— Итальянцы не должны отступать.

Мы стояли под дождем и слушали все это. Мы стояли против офицеров, а арестованный впереди нас и немного в стороне.

— Если вы намерены расстрелять меня,— сказал подполковник,— прошу вас, расстреливайте сразу, без дальнейшего допроса. Этот допрос нелеп.— Он перекрестился. Офицеры заговорили между собой. Один написал что-то на листке блокнота.

— Бросил свою часть, подлежит расстрелу,— сказал он.

Два карабинера повели подполковника к берегу. Он шел под дождем, старик с непокрытой головой, между двумя карабинерами. Я не смотрел, как его расстреливали, но я слышал залп. Они уже допрашивали следующего... Я представлял себе, как работает их мысль, если у них была мысль и если она работала. Это все были молодые люди, и они спасали родину... Они вели допрос с неподражаемым бесстрашием и законоблудительским рвением людей, распоряжающихся чужой жизнью, в то время как их собственной ничто не угрожает»<sup>1</sup>.

Так выглядели моральный идеализм и сама мораль в 1916 году. Их приверженцами были официально поощряемые и прекрасно устроившиеся в жизни преступники. «Священный язык» перестал быть просто языком, камуфлирующим реальность, он стал языком суда и приговора над теми, кто уже различал ее контуры и осмеливался поступать в соответствии со своим неприятельно-трезвым восприятием. Общественная система, терпевшая крах, поддерживала иллюзию прочности (иллюзию того, что она продолжает оставаться «культурным», «духовным» единством) посредством казни тех, для кого эта иллюзия уже перестала существовать.

Так возникла ситуация, в которой быть моральным означало быть безнравственным. Это оказывалось справедливым в большом и малом: в вопросе о политическом выборе и в вопросе об отношении к элементарным жизненным правилам и условностям.

Вот показательный разговор Генри с его возлюбленной мисс Баркли, сестрой английского госпиталя. Генри не очень уверенно предлагает Кэтрин жениться и узаконить их отношения. Кэтрин уверенно отвечает:

«— Но, милый, ведь мне сейчас же придется уехать отсюда... Меня отправят домой, и мы не увидимся, пока не кончится война.

— Я буду приезжать в отпуск.

— Нельзя успеть в Шотландию и обратно за время отпуска. И потом я от тебя не уеду. Для чего нам жениться сейчас? Мы и так женаты. Уж больше жена-тьми и быть нельзя...

— Нельзя ли нам пожениться как-нибудь тайно?..

— Брак существует только церковный или гражданский. А тайно мы и так женаты..

— Ну, хорошо. Но я женюсь на тебе, как только ты захочешь.

— Ты так говоришь, милый, точно твой долг сделать из меня порядочную женщину. Я вполне порядочная женщина. Не может быть ничего постыдного в том, что дает счастье и гордость»<sup>2</sup>.

Говоря о конкретном, жизненно важном для нее случае, Кэтрин Баркли, сама того не замечая, высказывается по очень общему вопросу— по вопросу об отно-

<sup>1</sup> Э. Хемингуэй. Избранные произведения, т. I, стр. 339—340.

<sup>2</sup> Там же, стр. 264—265.

шения морали и нравственности — и дает удивительно простой и ясный ответ на него.

Мораль требует, чтобы любовь получила санкцию и была закреплена браком. Но по условиям реальной ситуации брак означал бы развод. Моральное поведение Генри и Кэтрин имело бы своим следствием безнравственность: «расторжение супружеских связей, основывающихся на любви». Каков же выход? Конечно, не тот, который предлагает Генри, заикнувшийся о тайном венчании. Нелегальная моральность есть просто путаница, неприемлемая как для легальной морали, так и для непосредственного нравственного чувства. Выход заключается в том, чтобы отбросить всю моральную проблему и положиться на порядочность, уже присутствующую в любви,— остаться при том, «что дает счастье и гордость».

В рассуждениях Кэтрин неявно присутствует общий принцип, которому следуют лучшие представители «потерянного поколения»: быть моральным — безнравственно; безнравственно потому, что в условиях преступного и обезчеловечившегося общества мораль оказывается гарантией безответственности, шкурничества и духовной нечистоплотности. Избежать соблазна этой удобной и выгодной морали есть долг человека и первейшее условие сохранения личного достоинства.

Интересно, что отказ от доверия к существующему обществу и нравственно обоснованный имморализм в ряде случаев прямо рассматриваются Хемингуэем как очищение личности перед революцией. Это очищение глубоко болезненно: психологически оно совпадает с переживанием краха привычного порядка вещей и заходит тем дальше, чем глубже действительный разгром, который принесла война.

В 1934 году в фельетоне «Старый газетчик» Хемингуэй напишет следующее: «...Непосредственно после войны мир (имеются в виду европейские страны.— Э. С.) был гораздо ближе к революции, чем теперь. В те дни мы, верившие в нее, ждали ее с часу на час, призывали ее, возлагали на нее надежды — потому что она была логическим выводом. Но где бы она ни вспыхивала, ее подавляли. Долгое время я не мог понять этого, но наконец, кажется, понял. Изучая историю, видишь, как социальная революция не может рассчитывать на успех в стране, которая перед этим не перенесла полного военного разгрома. Надо самому видеть военный разгром, чтобы понять это. Это настолько полное разочарование в системе, которая привела к краху, такая ломка всех существующих понятий, убеждений и приверженностей, особенно когда воюет мобилизованный народ, — что это необходимый катарсис перед революцией»<sup>1</sup>.

Со всем этим едва ли можно согласиться как с общей формулой исторического процесса. И в то же время горькая реплика Хемингуэя фиксирует действительную нравственно-психологическую зависимость, понимание которой в известном смысле является ключом к пониманию всего его творчества.

Военный разгром отрезвляет, он убивает поверхностный оптимизм, которым вновь могли бы воспользоваться разного рода утешители и сторонники реформ. Он научает распознавать лицемерие и фанатизм, скрывающиеся за моральностью. Обострившееся нравственное чувство гарантирует, что революция не даст с первых же шагов запутать себя риторикой и моральной аффектацией.

Понимание обязанности исключительно как отношению к людям («нравственность товарищества») подготовляло человека к принятию требований революционной солидарности. Еще вчера солдаты могли считать себя «гражданами такой-то республики», «рядовыми такого-то полка» и «такой-то роты». Сегодня, в стихийном водовороте войны, они вступают в короткие, но поучительные соприкосновения с солдатами, причисляющими себя к совсем другим общностям (с рядовыми иных подразделений и иных держав); оказываются вместе с ними в маленьких группах, сформированных бедой, а не полковыми списками; убеждаются, что эти чужие люди достойны симпатии, сострадания и доверия. А на завтра из этого ощущения может родиться сознание того, что существующее об-

<sup>1</sup> Э. Хемингуэй. Избранные произведения, т. II, стр. 643.

щество объединяет и делит людей неправильно, что они должны объединиться по-новому и по-новому определить фронт борьбы...

Война, зашедшая в тупик, придала совершенно особое значение «малым группам», в которые забрасывали людей стихийные обстоятельства.

Когда от батальона, брошенного в атаку, остается два взвода; когда эти два взвода присоединяют десяток-другой случайных людей, бог знает куда приписанных, но, несомненно, братьев по несчастью; когда все эти люди не видят никаких оснований для того, чтобы вернуться под боевые знамена и снова быть брошенными в атаку, — налицо группа, которая не является больше группой общества, ведущего войну. Она откроет огонь, если это необходимо для спасения жизни, но она не откроет огня «ради успеха операции»; она может расстрелять того, кто бежит и оставляет других в опасности, но сама — как слаженная и организованная боевая единица — дезертирует; она может сурово покарать того, кто обокрал товарища, но сама готова ограбить казенный продовольственный склад. Эта группа не признает ни закона, ни морали, но она знает дисциплину и взаимопомощь, для нее не теряет смысл различие между геройством и малодушием, верностью и предательством, подлинностью и позерством. Отношения ее членов основываются на нравственности, которая признает только непосредственные обязанности перед людьми.

Это именно нравственность, а не уголовная мораль клана или шайки. Почему? Да потому, что сама группа отделена от существующего общества, а не от остальных людей. Вор, оставший от шайки, не может уповать на то, что первый же повстречавшийся ему человек тоже окажется вором. Но солдат, отбившийся от полка в Италии где-нибудь в 1916 году, не только надеялся, но и хорошо знал, что, к какому бы подразделению он ни пристал, он встретит в нем ту же ненависть к существующему порядку, ту же склонность к дезертирству, то же сострадание ко всякой живой твари, попавшей в волчью яму войны.

Война привела общество в расплавленное состояние, расшатала кристаллическую решетку существующих социальных институтов. Но сама магма, частицами которой сделались люди, не была абсолютно аморфной. В ней возникали, выпускались и вновь собирались вязкие, полутвердые сгустки. Вихревое движение человеческих масс подчинялось каким-то очень древним требованиям общечеловеческого, неписаным законам «кровного братства».

Особенностью первой мировой войны (ее отличием от войны, которую гитлеровская Германия начала в 1939 году) было то, что капитализм развязал ее, еще не выносив «человека войны», равнодушного насильника и убийцу.

Основную массу солдат составляли крестьяне, уже в силу своей забитости и патриархальной кности не способные испытать героического воодушевления по отношению к «прогрессу», «цивилизации», «отечеству», «правому делу» и другим абстрактным сущностям, состоявшим в те годы на службе у шовинизма. Крестьянин был слишком неразвит для того, чтобы стать жертвой милитаристской пропаганды. Сама бессмысленная жестокость войны не могла его обескуражить и деморализовать, потому что он давно привык считать безумным тот мир, который лежал за пределами размеренной сельской жизни и разрушал эту жизнь. Ощущение краха всех ожиданий, которое для многих стало внутренней достоверностью лишь в последние годы войны (а некоторыми и вообще не было испытано), было пережито крестьянином уже в тот момент, когда его мобилизовали и «социализировали» в роты, батальоны и армии. В «Прощай, оружие!» есть справедливая и меткая реплика на этот счет: крестьяне, пишет Хемингуэй, «были побиты с самого начала. Они были побиты тогда, когда их оторвали от земли и надели на них солдатскую форму. Вот почему крестьянин мудр — потому что он с самого начала потерпел поражение...»<sup>1</sup>.

Хемингуэй обращает внимание на то, что основная масса солдат, сражавшихся на полях первой мировой войны, была воспитана в христианском духе. Война

<sup>1</sup> Э. Хемингуэй. Избранные произведения, т. I, стр. 307—308.

выпарила из их сознания официальную церковную ложь (надежду на благое божье вмешательство) и в то же время высвободила и упрочила из глубин веков идущее представление о неискоренимой трагичности человеческого существования, о крушении мира и необходимости доверять древнейшим достоверностям нравственного чувства — таким, как сострадание, отвращение к убийству, ненависть к фарисейству и т. д. («Я не о христианской религии говорю. Я говорю о христианском духе», — поясняет Генри, обсуждая со священником настроения солдат).

Война расшатала все, на что мог положиться человек, ориентирующийся в мире с рациональной расчетливостью. Она сделала одинаково вероятной и жизнь и смерть; и поражение и победу; и успех революции, и неожиданный захват власти крайней реакцией. Все стало возможным. В «Прощай, оружие!» мы находим удивительную смесь несовместимых друг с другом и тем не менее одинаково правдоподобных ожиданий. Одни надеются на близкий революционный выход из войны, другие на то, что вот-вот наступит всеобщий самовольный «расход по домам», третьи полагают, что им не дожить до конца войны. «...Может быть, войны теперь не кончатся победой, — рассуждает Генри. — Может быть, они вообще не кончатся. Может быть, это новая Столетняя война»<sup>1</sup>. Ни на что нельзя было сделать ставку и выбрать линию поведения так, как ее привыкли выбирать, то есть в надежде на успех. Но именно поэтому совершенно новый смысл приобрели нравственные требования — определения того, чего нельзя делать ни при каких обстоятельствах. Нельзя убивать, нельзя мародерствовать, нельзя содействовать безумию, в котором находится мир. Достоверность и обязательность этих требований не зависела от исторических предположений: они сохраняли свое значение даже в том случае, если будущее мыслилось совершенно беспросветным. Тот, кто еще не отучился полагаться на общество, по большей части впадал в отчаяние. Но тот, кто расстался с надеждами и видел смысл только в нравственных обязанностях, обретал стоическое мужество.

Из ощущения полной неопределенности, крушения исторического смысла и нового значения нравственных обязательств родилась массовая позиция, которая в литературе первых послевоенных лет получила название «тихого окопного героизма». Это был не героизм подвижничества, а стоическое мужество неучастия. Люди оставались людьми с подлинно крестьянской «косностью и непонятливостью». Они были «патриархально упрямы» в своем нежелании идти по пути прогресса, выражавшегося в ежегодном росте числа насильственных смертей. Они жертвовали собой не ради истории, а ради сохранения рода человеческого, защиты его от истории, вступившей на путь безумия. В их солидарности было что-то от сурового, молчаливого единодушия первых христианских общин. Это был повсеместный, рассеянный, кропотливый саботаж войны. Тысячи людей уклонялись от выполнения офицерских приказов, разлагали дисциплину, не сговариваясь, чинили множество препятствий для действия военной машины.

«Тихий окопный герой» не был носителем развитых революционных устремлений, но был подготовлен к принятию революции. Его политические симпатии часто не отличались ясностью, но его уже нельзя было примирить с той утешительной фальшью, полуправдой и прямой ложью, которые являются непременным условием «нормальной жизни» буржуазного общества. Это было устойчивое и цельное предреволюционное сознание, сложившийся тип личности, которая стоит на уровне глубочайшего потрясения буржуазной цивилизации.

Именно это сознание и стало для Хемингуэя универсальной мерой жизненной правды. Описывая любое явление, он как бы снова и снова спрашивает себя, что бы оно значило и как выглядело на взгляд человека из окопов. Этот человек не появится в произведениях Хемингуэя в качестве сквозного персонажа, но он всегда будет присутствовать в них примерно так же, как крестьянин присутствует в толстовских моральных и эстетических трактатах.

<sup>1</sup> Э. Хемингуэй. Избранные произведения. т. I, стр. 266.

На суд «тихих окопных героев» (не только тех, которые выжили, но и тех, которые погибли) Хемингуэй представит всю послевоенную действительность западного общества с его образом жизни, политической борьбой, моралью и искусством. Хемингуэй делает и другое — он испытает это общество судьбой ветерана: подробно проследит, как оно относится к духовному миру людей, сполна переживших его собственный кризис.

## 2. «ПОТЕРЯННОЕ ПОКОЛЕНИЕ»

Хемингуэй не раз говорил, что он выступает от лица «потерянного поколения», от лица людей, которые молодыми ушли на фронт, сполна пережили войну и возвратились домой. Почему же их поколение оказалось «потерянным»?

Иные полагают, будто оно получило это название из-за того, что люди, которые его составляли, были разбитыми, опустошенными, потерявшими себя.

Уже из вышесказанного видно, насколько опрометчивым было бы такое понимание дела.

Верно, что многие из ветеранов войны оказались «неприспособленцами». Они никак не могли включиться в «нормальную мирную жизнь», посвятить себя «общественно полезным делам» и «устройству личного счастья». Однако они не могли сделать этого вовсе не потому, что получили пожизненный шок от вида крови и трупов. Они не могли сделать этого потому, что не в силах были считать нормальной ту «нормальную жизнь», которая сложилась в странах Запада к середине двадцатых годов, не могли заставить себя спокойно хлопотать о колыбелях, зная, что вопрос о детоубийцах остался открытым.

«Потерянное поколение» — это не поколение потерявшихся в жизни людей. Это поколение, которое не умело сжиться с оптимистическими иллюзиями просперити. В своей неуживчивости ветераны были опасны, и буржуазное общество постоянно вело дело к тому, чтобы устроить для них какое-нибудь подобие лепрозория.

В 1935 году Хемингуэй написал свой очерк «Кто убил ветеранов войны во Флориде?». Факты, приведенные в этом очерке, не оставляют сомнения в том, что двусмысленная благотворительность по отношению к ветеранам была на деле политикой гонений. В США эта политика имела своим результатом высылку ветеранов на Флоридские острова в период ураганов и гибель сотен людей. Участники войны были вытолкнуты из общества в природу, и их трупы выглядели совершенно так же, как выглядели трупы солдат на полях сражений.

Не менее страшным было то сентиментальное отвержение, которым встречала ветеранов обывательская и полуобывательская среда. Им сочувствовали, как сочувствуют умалишенным; к ним относились так, как относятся к людям, потрясенным случайной уличной катастрофой. В этой сентиментальной снисходительности и крылась, пожалуй, самая страшная ложь.

Люди, видевшие войну, присутствовали не при кровавом происшествии, не при эксцессе. То, что им открылось, было законом и нормой существующего общества.

Так кто же в таком случае был «аномален», не приспособлен к исторической реальности: те ли, кто прозрел в окопах, или те, кто сжился с деловым утаром стабилизации?

Этот вопрос стал основным в произведениях Хемингуэя, посвященных послевоенному периоду. То, что оптимизм, присущий данному периоду, был иллюзорен, писатель видел с самого начала. Но как возникли, как оказались возможными оптимистические иллюзии?

Может быть, миллионы людей просто не ведали о том, что такое война? Или, может быть, в них возобладало ни о чем не спрашивающее безразличие, которое заставляет человека каждый раз начинать сызнова, не оглядываясь на утраты и предоставляя мертвецам хоронить своих мертвых?

Хемингуэй настаивает на том, что эти предположения неправильны.

Воздействие войны испытали все страны, и повсюду (даже в Америке) было известно, что она такое. Источник легковверного оптимизма писатель видит не в незнании войны, а в том неполном и поверхностном соприкосновении с ней, из которого рождается страх, в отсутствии у массы народа исчерпывающего переживания кризиса и поражения, испытанного солдатской массой.

Это переживание, как мы уже видели, резюмировалось вовсе не в отчаянии. «Вы представления не имеете о разгроме, если думаете, что он порождает отчаяние», — справедливо заметит двадцатью годами позже Антуан де Сент-Экзюпери. Те, кто убедился, что война не просто кровавое происшествие, но закономерное кризисное обнаружение существующего общества, открытая возможность полного краха, — уже стояли по ту сторону панического испуга, на позициях стоического или революционного мужества. Но, помимо них, существовала масса людей, которые были просто травмированы и деморализованы войной. И это были как раз те, для кого бедствия войны остались историческим недоразумением, в масштабах общества разразившейся случайностью.

Существует хорошо известный психологический парадокс. Опасность, с которой человек только соприкоснулся, делает его трусом; опасность же, испытанная сполна, рождает решимость.

Эта тема не случайно привлечет внимание Хемингуэя в середине тридцатых годов (в тот же период, когда появился уже цитированный нами фельетон «Старый газетчик», где Хемингуэй говорит о недостатке опыта военного разгрома в странах Европы).

Герой рассказа «Недолгое счастье Фрэнсиса Макомбера» дважды сталкивается с рискованной ситуацией: в первый раз он просто соприкасается с нею и его охватывает страх, во второй раз он переживает ее сполна, как катарсис, и это рождает мужество. В рассказе речь идет об охоте, но вот что думает о Фрэнсисе его проводник Уилсон: «Бедняга, наверно, боялся всю жизнь. Неизвестно, с чего это началось. Но теперь кончено. Буйвола он не успел испугаться. К тому же был зол... Теперь его не удержишь. Точно так же бывало на войне. Посерьезней событие, чем невинность потерять. Страх больше нет, точно его вырезали. Вместо него есть что-то новое. Самое важное в мужчине»<sup>1</sup>.

Слова о войне — не случайность. Сама судьба Фрэнсиса Макомбера (он гибнет, едва успев родиться для мужества) как бы напоминание о ней. Таков был удел многих людей, для которых война стала катарсисом перед безусловной решимостью. Уцелели другие: те, кто знал войну по рассказам, кого она коснулась страхом голода, страхом перед демобилизацией, страхом за тех, кто ушел воевать, в лучшем случае — страхом новичка, участвовавшего в одном-двух последних сражениях. Тот, кто уцелел, чаще всего оказывался человеком, пережившим войну как кошмарное наваждение, в котором ему открылся не крах существующего общества, а его собственная незащитность, уязвимость, смертность. Война оказалась для него опытом собственной незначительности и униженности, и поэтому он старался вытеснить ее из сознания, как невротик пытается вытеснить всякое напоминание об однажды перенесенном жизненном падении. Хемингуэй не верил в то, что быстрое забвение войны в странах Запада было результатом здорового изживания прошлого несчастья. Скорее — это патологическая беспамятность (еще точнее — безответственность памяти): она вытекает из потребности забыться, грезить, избежать самоотчета.

Возродившиеся в двадцатых годах оптимизм и деловитость также не следует путать с наивным жизнелюбием. Они вырастают на почве непреодоленного страха, опустошенности и отчаяния. Это самоаффектация общества, которое пытается не думать о своем унижительном прошлом и спрятаться от этого унижения в текущие дела и заботы. Все, что попадает под руку, это общество превращает в наркотик, усыпляющий историческое сознание, и если прежде был известен

<sup>1</sup> Э. Хемингуэй. Избранные произведения, т. II, стр. 283.



один вид духовного дурмана — утешительная ложь религии, то теперь для одурманивания годится все: экономическая пропаганда, реклама новых форм правления, алкоголь, игра, эротика и, конечно, — экономические подачки. Они — лучшая пища для мирской невротической мечтательности.

В 1933 году Хемингуэй написал редко вспоминаемый, но достойный самого пристального внимания рассказ «Дайте рецепт, доктор». Герой рассказа — некий мистер Фрэзер, находящийся на излечении в мексиканском госпитале, — приходит к следующему заключению, которое после всего вышесказанного едва ли покажется удивительным: «Религия — опиум для народа... А теперь экономика — опиум для народа; так же как патриотизм — опиум для народа в Италии и Германии. А как с половыми сношениями? Это тоже опиум для народа. Для части народа. Для некоторых из лучшей части народа. Но пьянство — высший опиум для народа, о, изумительный опиум! Хотя некоторые предпочитают радио... Наряду с этим идет игра в карты, тоже опиум для народа, и самый древний. Честолюбие тоже опиум для народа, наравне с верой в любую новую форму правления... Liberty, Свобода, в которую мы верили, стала теперь названием журнала Макфэддена. Мы верим в нее, хотя не нашли еще для нее нового имени. Но где же настоящий? В чем же настоящий подлинный опиум для народа? Он знал это очень хорошо. Это только пряталось в каком-то уголке мозга, который проявлялся по вечерам после двух-трех рюмок... Ну, конечно, хлеб — опиум для народа...»<sup>1</sup>.

Эти размышления доктора Фрэзера достаточно ясно выражают взгляд Хемингуэя на послевоенный буржуазный мир. Общество, рекламирующее свой жизнеутверждающий реализм, трезвость, деловитость, политическое и религиозное одушевление, в действительности находится в сомнамбулическом состоянии. Зоркому наблюдателю оно преподносит самые неожиданные сюрпризы: делатели карьеры на поверку оказываются «несчастливыми идеалистами» (в рассказе «Дайте рецепт, доктор» это игрок Каэтано), а набожные люди — жертвами мирской мечтательности (сестра Цецилия).

Сознание типичного представителя послевоенного периода оказывается, иными словами, не только ложным, но и лживым, не только ограниченным, но и большим. И трагическое мироощущение очевидцев войны противостоит этому сознанию не только как горькая правда, но и как внутренняя правдивость, цельность, духовное здоровье.

Этот факт был ясен Хемингуэю задолго до написания фельетона «Старый газетчик» и рассказа «Дайте рецепт, доктор».

В 1926 году вышел в свет его первый роман «И восходит солнце» («Фиеста») — книга, поразительная по господствующему в ней мироощущению: в послевоенную западную культуру, мечущуюся между пошлой удовлетворенностью и нигилизмом, эйфорией и отчаянием, опьянением и похмельем, неожиданно вливается струя ясности, свежести, незамутненности. Кто же был носителем этого уже немислимого, казалось бы, мироощущения? — ветеран, калека, типичный духовный представитель «потерянного поколения».

«Фиеста» — это как бы развернутый ответ на официальные и обывательские упреки по адресу людей, переживших войну, — упреки в опустошенности, черствости и отсутствии вкуса к жизни.

Хемингуэй показывает, что в тех случаях, когда очевидцам войны удалось избежать нищеты или унижительной полуголодной благотворительности, они оказывались теми единственными, кто сохранил подлинное жизнелюбие и сумел противостоять повсеместному соблазну наркоза.

Мы не случайно делаем оговорку насчет нищеты и полуголодной благотворительности. Судьба ветерана войны рассматривается в «Фиесте» в сильном отвлечении от действительно массового и типичного случая. Герои романа — люди состоятельные, трудоспособные и не обремененные семьей. Им легче, чем другим, остаться верными однажды выстраданной истине, ощущать себя навсегда демо-

<sup>1</sup> Э. Хемингуэй. Избранные произведения, т. II, стр. 227.

билизовавшимися из общества. Их не гонит обратно жестокая плеть нужды, отупляющая забота о хлебе насущном.

Неподверженность другим видам опиума — это уже дело их собственного выбора и сознательно принятой позиции.

Показательно, что ни один из героев «Фиесты» не испытывает делового и карьеристского одушевления, характерного для западного общества двадцатых годов, не участвует в погоне за синей птицей успеха. Это способные и умелые люди, но они слишком хорошо понимают, чего на деле стоит лозунг «удача посредством труда».

Очень интересно отношение к работе, которое демонстрирует главный герой романа Джейк Барнс.

Джейк — сотрудник одной из американских газет в Париже. Он хороший репортер и любит свою профессию. Однако Джейк всегда занят делом между делом, он работает примерно так, как застилают постель или моют посуду. Трудятся голова и руки, но сознание остается где-то в стороне: оно не принадлежит тому миру, которому по содержанию принадлежит работа. На всякого рода идейное воодушевление в вопросах дела Джейк смотрит с иронией и подозрительностью. Самое большее, чего оно может потребовать от человека, — это честность в критической ситуации: решительный отказ, если тебя пытаются заставить лгать, выдумывать или притворяться.

Еще меньше одушевления вызывает у героев «Фиесты» освещаемая в газетах политика и так называемые «социальные проблемы». Для Джейка и его друга Билла — это тема шуточных пикировок за завтраком.

Герои Хемингуэя ясно ощущают эфемерность послевоенной стабилизации. Увлечись ее проблемами, посвятить свои силы и интересы мышинной возне, прикрываемой лозунгами политического действия, значило бы для них предать однажды выстраданную истину.

Герои «Фиесты» более всего напоминают солдат, находящихся в отпуску. Они никогда не причисляют себя к тем группам, в которые включены по своим служебным обязанностям в мирное время. Их совместность — это общая память о войне, а еще чаще — молчаливое присутствие войны во всяком разговоре и размышлении. И заняты они тем, чем обычно заняты солдаты в отпуску — времяпрепровождением.

Мистер Фрэзер из рассказа «Дайте рецепт, доктор» обнаружил, как мы уже упоминали, что и времяпрепровождение знает свои разновидности опиума. «Пьянство — высший опиум для народа, о, изумительный опиум», — говорил он. Не пристрастны ли герои «Фиесты» к этой разновидности опиума?

И Джейк, и Брет, и Билл, и Майкл пьют; случается, пьют так, что, по словам Брета, их «нельзя уже догнать». И все-таки выражение «пьянство» к ним неприменимо, потому что вино для них — не наркотик. Никто из этих людей не пьет для того, чтобы забыться, получить алиби невменяемости и делать то, что он не мог бы позволить себе, будучи трезвым.

В тех случаях, когда они, как говорит Барнс, «просто попивают винцо», дело вообще не в винце, а в застолье и выпивка есть только обряд, означающий, что всем собравшимся приятно видеть друг друга и быть открытыми. «Попивая винцо», герои «Фиесты» острее ощущают свое родство в обособленности от остального мира и прошлое, которое связывает их и остается с ними как общий знак отличия.

В тех же случаях, когда эти люди «перебирают», с ними происходят удивительные вещи. Вместо того, чтобы забыться, они опминаются, и в их голову лезут самые важные и ясные мысли. (Вспомним, кстати, что сам мистер Фрэзер сказал в наиболее меткой и трезвой из своих реплик: «Он знал это очень хорошо. Это только пряталось в каком-то уголке мозга, который прояснялся по вечерам после двух-трех рюмок...»)

Джейк Барнс еще острее ощущает это состояние. Именно тогда, когда кровать ходуном ходит под ним, для Джейка наступает момент изречения неиз-

реченных мыслей, возвращения к тем коренным вопросам, которые заслонялись суетой дня. Именно тогда Джейк находит формулы, которые впервые выражают его целиком. Вот одна из них: «Мне все равно, что такое мир. Все, что я хочу знать, это — как в нем жить. Пожалуй, если додуматься, как в нем жить, тем самым поймешь, каков он»<sup>1</sup>. Это уже известная нам идея безусловной первичности нравственной позиции. Непосредственное нравственное чувство обосновывает все другие отношения к действительности, само же в своей абсолютной простоте оно не нуждается ни в каких обоснованиях и опирается на прямые свидетельства совести: «Это и есть нравственность: если после противно...»<sup>2</sup>. Опыение оказывается для Джейка моментом экзистенциального отрезвления, напряженным бодрствованием сознания.

«А как с половыми сношениями? Это тоже опиум для народа. Для части народа. Для некоторых из лучшей части народа». Так говорил мистер Фрэзер. Действительно, а как у героев «Фиесты» с половыми сношениями?

Прежде чем ответить на этот вопрос, мы постараемся разобраться в другом: почему Хемингуэй считает половые сношения разновидностью опиума, и такой разновидностью, которая предпочитается лучшими?

Хемингуэй — писатель, который дал, возможно, самое прекрасное и чистое в двадцатом столетии изображение любви. Любовь есть единство выбранного мира, духовное принуждение к физической близости. В пику ханжам можно было бы сказать, что любить и избегать близости не только трудно, но еще и безнравственно. Но также безнравственно сохранять близость, когда единый мир уже отсутствует или когда его уже перестали выбирать (рассказ «Что-то кончилось»). Еще хуже превратить саму близость в мир, то есть укрыться друг в друга от реальности. Здесь-то половые сношения и превращаются в опиум.

Это, несомненно, наиболее рафинированный из всех видов дурмана, потому что в качестве наркотика используется сам человек. Такой наркотик годится для удовлетворения всех видов мирской мечтательности: грезы о признании, грезы о достоинстве, об успехе, о физической полноценности. Это самое красивое из всех опьянений, но и похмелье после него бывает самым безобразным. Вот что бросает Элен Гордон в лицо своему мужу в минуту семейной ссоры (роман «Иметь и не иметь»): «...Любовь — это пилюли эргопиола, потому что ты боялся иметь ребенка. Любовь — это хинин, и хинин, и хинин до звона в ушах. Любовь — это гнусность аборт, на которые ты меня посылал. Любовь — это мои искромсанные внутренности. Это катетеры вперемежку со спринцеваниями. Я знаю, что такое любовь. Любовь всегда висит в ванной за дверью. Она пахнет лизолем. К черту любовь. Любовь — это когда ты, дав мне счастье, засыпаешь с открытым ртом, а я лежу всю ночь без сна и боюсь даже молиться, потому что я знаю, что больше не имею на это права. Любовь — это все гнусные фокусы, которыми ты меня обучал и которые ты, наверное, вычитал из книг»<sup>3</sup>.

А через пять минут после того, как была произнесена эта тирада, Элен Гордон снова смотрит на мужа теми глазами, какими смотрит на бутылку алкоголя, только что проклявший вино.

«— Господи,— сказала она.— Как бы я хотела, чтоб этого не случилось... Если б еще я не наговорила столько всего или если б ты меня не ударил, может, и можно было еще все уладить.

— Нет, все было кончено еще до этого...

— Мне жаль, что я сказала, будто ты плохой любовник. Я в этом ничего не понимаю. Ты, наверно, замечательный.

— Думаешь, ты — совершенство? — ответил он.

Она опять заплакала»<sup>4</sup>.

Настоящая любовь — а сама любовь не есть опиум — появляется в романах

<sup>1</sup> Э. Хемингуэй. Избранные произведения, т. II, стр. 102.

<sup>2</sup> Там же.

<sup>3</sup> Там же, стр. 405.

<sup>4</sup> Там же, стр. 408.

Хемингуэя на вершине трагедии, когда уже нет надежды и в то же время ясно, что жизнь стоит того, чтобы быть прожитой. Не случайно высочайшее изображение любви мы находим в самой трагической из трагедий Хемингуэя — романе «По ком звонит колокол».

Всего семьдесят часов смогут любить друг друга Джордан и Мария. Их героическая борьба без надежды на успех продлится столько же. Но соединение одного с другим спрессовывает время, вызывает ощущение мгновения, превратившегося в вечность. «Если для меня,— говорит Джордан,— не существует того, что называется очень долго, или до конца дней, или отныне и навсегда, а есть только сейчас, что ж, значит, надо ценить то, что сейчас, и я этим счастлив».

Любовь ничего не замещает, она просто есть, она сама жизнь, которая принесится в жертву, и ее нельзя сравнить ни с чем другим, а только с целью, ради которой жертвуется жизнь: «Я люблю тебя, как люблю все то, за что мы боремся. Я люблю тебя так, как люблю свободу и человеческое достоинство и право каждого работать и не голодать. Я люблю тебя так, как люблю Мадрид, который мы защищали, и как я люблю всех моих товарищей, которые погибли в эту войну...»

В романах и рассказах, посвященных послевоенной стабилизации, которая требует от людей, чтобы они не жили, а копошились, полноценной любви вообще нет. Многие из этих рассказов справедливо объединяются И. Кашкиным в серию повествований о «крушении семейных и любовных идиллий».

Там, где любовь становится последней ставкой, последней надеждой, последним прибежищем человеческой цельности, искренности и гордости, она обречена и нередко превращается в ловушку.

Если бы Хемингуэй сделал любовь целиком доступной для героя «Фиесты», он, вероятно, потерял бы его в этом омуте. Представитель «потерянного поколения» мог пить и не стать пьяницей, но он не мог любить и не наркотизировать себя любовью, потому что в окружающем мире не было ни задач, ни символов, ни обязанностей, которые могли бы помешать ему забыться в другом человеке.

Итак, от опиума половых сношений, самого утонченного и благородного из всех опиумов, хемингуэевский герой не свободен. Этим, на наш взгляд, и объясняется удивительное решение вопроса в «Фиесте».

Джейк Барнс любит Брет и тем не менее сохраняет бодрственную ясность сознания; каждую минуту он лицом к лицу с реальностью. Бодрствование Джейка сторожит увечье.

Война сделала Барнса самым неуязвимым для иллюзий: она ослепила его. Печать этого ослепления лежит на всем романе: на его сюжете, на переданном в нем ощущении времени и вещей.

Увечье Джейка Барнса — это сама война. Мы уже говорили, что она никогда не была для Хемингуэя воплощением романтической жестокости, кровожадности, мести, достойных высокой трагедии. Война была кровавым фарсом, и жестокость шла в ней рука об руку с нелепостью, стихийной слепотой и невероятностью обстоятельств. Потерять руку или сделаться человеком с благородным шрамом на лице — это больше соответствовало эпохе Наполеона и Нельсона. А в 1918 году люди возвращались такими, словно их специально отделявали для маскарада уродов: и жутко, и смешно, и стыдно, и нелепо, и удивительно. Джейк Барнс коротко и ясно выражает все это, когда говорит: «Да, глупо было получить такое ранение, да еще во время бегства на таком липовом фронте, как итальянский»<sup>1</sup>.

В какое же отношение к миру ставит Джейка его увечье? Казалось бы, он больше, чем кто бы то ни было, имеет основание оказаться человеком ущербным, анемичным, бесчувственным. Но в «Фиесте» мы видим нечто совершенно иное.

<sup>1</sup> Э. Хемингуэй. Избранные произведения, т. II, стр. 22.

Мы видим, например, что из всех героев романа Джейк Барнс едва ли не единственный, способный любить до самозабвения. Брет ни на секунду не перестает существовать для него: она — вечно наличествующее мучение, недостижимость, неосуществимость. Оскопление избавило Джейка не от любви, а от возможности жить любовью, не от чувства, а от тех надежд, которые обычно возлагаются на него. Действительное страдание Барнса в том, что он лишен возможности утвердиться в самой пленительной и полнокровной из мирских иллюзий. Он не может уповать на наслаждение близостью, на вечное одиночество вдвоем и тем более — на закрепление этого одиночества браком, уютом, детьми и заботой всех, кто будет со стороны смотреть на его счастье.

В любви Джейка Барнса нет сексуального и семейного «жизненного проекта», который сплошь и рядом остается последней нитью, связывающей честного человека с миром честолюбия, приобретательства и личной карьеры.

Завышенные ожидания в отношении любви и брака есть вариант потребительски-приобретательской идеологии «для части народа, для некоторых из лучшей части народа». Тех, кого нельзя наркотизировать мечтой об автомобиле, о тряпках, о новейшем стандарте мебели, наркотизируют мечтой о новейшем стандарте женщины, в который уже заранее включены и автомобиль, и тряпки, и мебель.

Не удивительно, что эротизация культуры вообще оказывается одной из важнейших особенностей потребительского общества. Эрос — это специфичный для него мирской спиритуализм. Двадцатые годы, когда начали формироваться потребительски-приобретательские установки, были временем бурной эротизации рекламы, прессы, массового искусства, временем широкого проникновения сексуальных толкований в теорию личности, психологию масс, в этнографию и даже политическую историю.

Вот как передает один из героев «Фиесты», Билл Гортон, популярные в двадцатых годах изображения американской революции: «Авраам Линкольн был гомосексуалист. Он был влюблен в генерала Гранта. Так же как Джефферсон Дэвис. Линкольн освободил рабов просто на пари. Судебное дело о Дреде Скоте было подстроено Лигой Сухого Закона. Все это — половой вопрос»<sup>1</sup>. Этот шарж (а Билл, конечно, шаржирует то, что он читал и слышал) — часть разговора, в котором неожиданно оказался затронутым физический дефект Джейка. Ирония Билла относится к эротическому безумию, в котором Барнс никогда не сможет участвовать. Она есть форма извинения, утешения и осторожного разъяснения тех преимуществ, которыми обладает Джейк.

Джейк Барнс не выхолощен, он просто огражден от вездесущей сексуальной мечтательности, и огражден не бесчувственностью, которую можно было бы приписать скопцу, а трагической любовью без надежды на близость.

Мир перестал существовать для его либидо, но тем полноценнее он стал для глаза, для уха, для языка и руки. О Барнсе можно сказать то, что Хемингуэй сказал об одном из любимых своих художников — Гойе. Гойя верил «в то, что он видел, чувствовал, осязал, держал в руках, обонял, ел, пил, подчинял, терпел, выблевывал, брал, угадывал, подмечал»<sup>2</sup>. В восприятии Джейка и в его описаниях (Барнс не только главный герой «Фиесты», но и рассказчик) отсутствует лирико-метафорическое отношение к вещам. Мир выступает для него с той же прямоотой и свежестью, с какой он открывается ребенку. Это реальность в ее первозданности, в простом наличии красочного, вязкого, тягучего, студеного, терпкого.

Рассказ Барнса — это всегда прямые описания. Вот одно из них: «Ее (плотину) соорудили, чтобы сделать реку пригодной для сплава леса. Творило было поднято, и я сел на одно из обтесанных бревен и смотрел, как спокойная

<sup>1</sup> Э. Хемингуэй. Избранные произведения, т. II, стр. 79.

<sup>2</sup> Там же, стр. 191.

перед запрудой река бурно устремляется в водоскат. Под плотиной, там, где вода пенилась, было глубокое место. Когда я стал наживлять, из белой пены на водоскат прыгнула форель, и ее унесло вниз. Я еще не успел наживить, как вторая форель, описав такую же красивую дугу, прыгнула на водоскат и скрылась в грохочущем потоке»<sup>1</sup>.

Вот другое: «Впереди, за красным барьером, желтел укатанный песок арены. В тени он казался немного отяжелевшим от дождя, но на солнце он был сухой, твердый и гладкий. Служители и личные слуги матадоров шли по проходу, неся на плечах ивовые корзины. В корзинах были плотно уложены... запачканные кровью плащи и мулеты. Слуги матадоров открыли тяжелые кожаные футляры, прислонив их к барьеру, так что видны были обернутые красным рукоятки шпаг. Они развертывали красные, в темных пятнах мулеты и вставляли в них палки, чтобы ткань натягивалась и чтобы матадору было за что держать ее»<sup>2</sup>.

Обычно человек воспринимает и описывает окружающую реальность в свете определенной цели, которой он одушевлен: смотрит на нее идеологически, утилитарно, лирически, эротически — сообразно тому, что диктует ему его жизненная конъюнктура. И коль скоро эта конъюнктура существует, о «непредвзятости», «незаинтересованности» не может быть речи.

Но у Джейка Барнса нет жизненной конъюнктуры: он ничем не воодушевлен и ни на что не рассчитывает. Значит ли это, что его дух выжжен, а глаз мертв?

Оказывается, нет. Оказывается, именно потому, что Джейк наиболее типичный представитель «потерянных людей», реальность выступает для него в простом богатстве существования, которое скрыто для других. В описаниях Барнса каждая вещь сразу и целиком раскрывает себя. Это непреложная наглядность мира и бескорыстная устремленность в мир: та непреложная наглядность, с которой трава, деревья, небо открываются смертельно раненному («вот все, больше ничего не будет»), и та бескорыстная устремленность, которая оживает в нем, возвращая к раннему детству, где все было одинаково интересным, важным, пленительным и таинственным.

Восприятие Джейка Барнса постоянно остается на уровне катарсиса, который обеспечивала война. Каждую вещь и каждое событие он умеет видеть так, как увидел бы ее солдат, находящийся на грани гибели. Джейк живет в сознании незаместимой ценности мгновения: в любую минуту мир существует для него «в первый и последний раз» — так, словно он поставил перед собой задачу удерживать каждое переживание для вечности и умереть с ним.

Но Джейк Барнс — не только хранитель восприятия окопных героев, он еще и наследник их исторического сознания. Он прекрасно понимает, что это сознание, удостоверенное величайшим кризисом, через который прошла буржуазная цивилизация, имеет древние и подлинно народные истоки.

«И восходит солнце» — роман о путешествии в Испанию на фиесту. Случаен ли этот сюжет и случайно ли воодушевление, которое вызывает фиеста у Джейка Барнса?

### 3. И ВОСХОДИТ СОЛНЦЕ

В двадцатых — тридцатых годах жизненный опыт ветерана и его взгляд на послевоенную жизнь нашел определенный отклик в западной культуре. Можно назвать ряд появившихся в этот период философских и социологических работ, авторы которых прямо говорили о ценности мировосприятия «тихого окопного героя», о том, что мир после Версаля — это только передышка между двумя войнами, что реальным состоянием буржуазного общества является неизжитый, лишь временно закамуфлированный кризис, обнаруживший себя в войне, в сложном предреволюционном брожении человеческих масс.

<sup>1</sup> Э. Хемингуэй. Избранные произведения. т. II. стр. 81.

<sup>2</sup> Там же, стр. 145—146.

Западноевропейская «философия кризиса» была далека от тех выводов, к которым приводил марксистский анализ капитализма. И в то же время она решительно порывала с рядом представлений, типичных для благодушного либерального историцизма, по-новому ставила вопрос о разрыве постепенности в историческом процессе, об ответственности личности в условиях неопределенности, о «предельных ситуациях в истории» и т. д.

У людей, размышлявших над всем этим, естественно возникали и вопросы философско-исторического характера, которых, как можно судить по книге «Смерть после полудня», по фельетону «Старый газетчик» и ряду корреспонденций, был не чужд и Хемингуэй.

Не является ли вся человеческая история (по крайней мере прежде прожитая история) таким процессом, где периоды стабилизации были лишь паузами и передышками? Не совершалось ли основное историческое действие именно в моменты глубоких надломов, когда делался возможным любой исход и все зависело от человеческой стойкости и мужества? И не существовало ли уже в далеком прошлом представления о том, что состояние неопределенности, открытой борьбы, незащищенности от насильственной смерти является постоянно возвращающейся исторической реальностью?

Если бы Хемингуэй был историком, он имел бы возможность обнаружить следы такого понимания почти повсеместно. Прежде всего он встретил бы это понимание у самых истоков европейской цивилизации — в античности, где народной формой переживания истории были мистерии.

Мистерии представляли собой народное средство против забывчивости и успокоенности, против иллюзии абсолютной прочности и надежности политических учреждений. С помощью мистерий народ напоминал себе о существовании беспощадной реальности, «первой природы», которая может неожиданно вторгнуться в упорядоченный социальный мир и потребовать от человека решимости, экстатического одушевления, умения доверять самым древним (в строгом смысле слова «досоциальным») нормам человеческого общения.

Близким родственником мистерий является старый (еще в дохристианскую эпоху возникший) испанский народный праздник — фиеста.

В книге «Смерть после полудня» (произведении, которое формально является трактатом о бое быков) Хемингуэй достаточно ясно излагает причины своего интереса и любви к этому празднику, который на время займет важное место в его творчестве. «Войны кончились,— пишет Хемингуэй,— и единственное место, где можно было видеть жизнь и смерть... была арена боя быков, и мне очень хотелось побывать в Испании, чтобы увидеть это своими глазами»<sup>1</sup>. Еще раньше: «Два условия требуются для того, чтобы страна увлеклась боем быков. Во-первых, быки должны быть выращены в этой стране, и, во-вторых, народ ее должен интересоваться смертью. Англичане и французы живут для жизни. У французов создан культ почитания усопших, но самое главное для них — повседневные житейские дела, семейный очаг, покой, прочное положение и деньги. Англичане тоже живут для мира сего и не склонны вспоминать о смерти, размышлять и говорить о ней, искать ее или подвергать себя смертельной опасности, иначе как на службе отечеству, либо ради спорта или за надлежащее вознаграждение. А в общем — это неприятная тема, которую лучше обходить, в крайнем случае можно сказать несколько душевспасительных слов, но уж никак не следует вникать в нее...»<sup>2</sup>.

Нетрудно понять, как эти рассуждения Хемингуэя связаны с его взглядами на войну и послевоенный мир.

События 1914—1918 годов показали, как легко допускается массовая насильственная смерть, как мало защищены от этой опасности тысячи людей, живущих в условиях развитой буржуазной цивилизации. Тот, кто забывал об этом,

<sup>1</sup> Э. Хемингуэй. Избранные произведения. т. II, стр. 174.

<sup>2</sup> Там же, стр. 173.

начинал верить в то, что угрозы насильственной смерти больше не существует — по сути дела терял ощущение подлинной исторической реальности.

Фиеста как бы возвращала Джейку Барнсу и его друзьям это ощущение, поскольку опиралась на серьезность народного отношения к риску и смерти, на ясное понимание того, что человек время от времени должен испытывать негарантированность жизни.

Для испанского крестьянина фиеста не потеха. Он испытывает потребность в ней, потребность в каком-то реальном, крайне существенном для него опыте. Доказательством этого являются экономические лишения, на которые идет крестьянин ради фиесты и на которые он никогда не рискнул бы, если бы речь шла просто о развлечении. Крестьяне, пишет Хемингуэй, «не могли сразу решиться на цены в дорогих кафе... Деньги еще представляли определенную ценность, измеряемую рабочими часами и бушелями проданного хлеба. В разгаре фиесты им уже будет все равно, сколько платить и где покупать...»<sup>1</sup>. Экономическое безрассудство самого бережливого общественного слоя — внушительное свидетельство нешуточности фиесты и значимости ощущения, которое она доставляет.

Фиеста — одна из немногих сохранившихся (в прошлом весьма многочисленных) массовых имитаций крушения, кризиса, обесценивания морали, переживания «конца времен».

Не удивительно, что только в толпе, празднующей фиесту, Джейк Барнс чувствует себя как дома. За ее шутками и вакханалиями, за масками смеющихся скелетов и венками из чеснока он ощущает серьезность, одушевленность и стремительность народного мятежа.

«В воскресенье, шестого июля, ровно в полдень, — рассказывает он, — фиеста взорвалась. Иначе этого назвать нельзя... Когда взвилась вторая ракета, под колоннами, где минуту назад было пусто, толпилось уже столько народу, что официант едва пробрался к нашему столику, держа бутылку в высоко поднятой руке. Люди со всех сторон устремлялись на площадь, и слышно было, как по улице приближаются дудки, флейты и барабаны»<sup>2</sup>.

Наступает резкий пролом повседневного, упорядоченного существования. Из-под твердого слоя норм и узаконений изливается людская магма, происходит повсеместный взрыв доверия и общительности, люди отказываются от взвешивания своих поступков и обрегают новое ощущение исторического времени. «Она продолжалась день и ночь в течение семи суток. Пляска продолжалась, пьянство продолжалось, шум не прекращался. Все, что случилось, могло случиться только во время фиесты. Под конец все стало нереальным, и казалось, что ничто не может иметь последствий. Казалось неуместным думать о последствиях во время фиесты. Все время, даже когда кругом не шумели, было такое чувство, что нужно кричать во весь голос, если хочешь, чтобы тебя услышали. И такое же чувство было при каждом поступке»<sup>3</sup>.

В центре фиесты находится коррида — сложный ритуал, обеспечивающий правильный ход смертельной схватки матадора с быком.

Матадора не раз упрекали в том, что он выбирает бессмысленный и безрассудный риск. По мнению же Джейка Барнса, «никто никогда не живет полной жизнью, кроме матадоров»<sup>4</sup>, и рискованное ремесло матадора не бессмысленно. Он занимается им не ради потехи публики и не ради того, чтобы получить вознаграждение. Матадор вступает в смертельную схватку, чтобы удовлетворить одну из серьезнейших человеческих потребностей — потребность в ощущении, адекватном той реальной исторической ситуации, которая скрыта будничной суетой и простое размышление о которой вызывает чувство растерянности и страха. До той поры, пока эта потребность существует, матадор — не смертник-фигляр.

<sup>1</sup> Э. Хемингуэй. Избранные произведения, т. II, стр. 104.

<sup>2</sup> Там же, стр. 104—105.

<sup>3</sup> Там же, стр. 105—106.

<sup>4</sup> Там же, стр. 8.



Что касается «безрассудности риска», то любой из хемингуэевских героев мог бы продемонстрировать бессмысленность этого выражения.

Лезть быку на рога — безрассудство. А что не безрассудство?

Вот отрывок из рассказа «В чужой стране»:

«— Человек не должен жениться,— сказал майор.

— Почему, синьор маджоре?..

— Нельзя ему жениться, нельзя! — сказал он сердито. — Если уж человеку суждено все терять, он не должен еще и это ставить на карту»<sup>1</sup>.

Это типичный разговор времен войны, но и для двадцатых годов он не превратился в нелепость. Если рассудительным считать такое поведение, которое обещивает счастье и жизненную удачу, то в обществе, несущем в себе постоянную угрозу массовой насильственной смерти, рассудительное поведение оказывается попросту невозможным. И тот, кто бережет жизнь, и тот, кто рискует ею, рискуют в одинаковой степени. Разница лишь в том, что житейски осмотрительного человека беда застигает врасплох, ошеломляет, парализует и втоптывает в грязь, а рискованному человеку оставляет наслаждение борьбы. Нет выбора между удачей и несчастьем — есть только выбор между фарсом и трагедией, между риском ловушки и риском смертельной схватки. Безрассудство безропотности и безрассудство отваги — такова частая и единственно реальная противоположность в ситуации, где «все делается возможным».

Это одна из фундаментальных истин, извлеченных людьми «потерянного поколения» из опыта мировой войны.

В расстреле солдата, который саботировал войну, отважился обратить оружие против тех, кто принуждал к ней, отказывался выполнять приказы, не было ничего, что могло бы его опозорить или унизить. Это была трагическая смерть — смерть в истине, которую человек выбрал сам.

В случайной же смерти солдата, который не хотел воевать и все-таки воевал, боялся, цеплялся за жизнь и все-таки поднимался в атаку, когда его гнали, был унижающий человека фарс, позор, беспомощность. Это была смерть во лжи.

Хемингуэй, оглядывавшийся на недавнюю историю западноевропейских наций, видел, что для их солдат, желавших остаться верными той истине, которую они поняли на войне, оказался возможным только трагический выход из ее кошмара: выход в безутешную героинку подавленных революций, в стоическое мужество неучастия. История не позволяла квалифицировать это поведение как рассудительное, но она не отняла достоинства у тех, кто выбрал его.

Трагическая судьба представляется чем-то мрачным и бессмысленным, когда ее видят из уютного угла, в свете коротенькой жизненной перспективы, где завтра похоже на сегодня, послезавтра на завтра и лишь где-то в отдалении маячит ни к чему не обязывающая смерть в постели. Но гот, кто видел, как вчерашних обитателей уютных углов одевали в шинели, выстраивали в шеренги и как потом они коченели во рвах, а на их лицах застыла растерянность и недоумение, — различал в трагической судьбе свет разума. Просветлен тот, кто не боялся смерти и именно поэтому не дал убить себя так, как скот убивают на бойне.

Обычно считается, что подходящая для трагедии обстановка — это ночь, темнота, пугающая таинственность и призрачность. На самом деле темнота есть прибежище убийства, предательства, трусости и путаницы, а таинственность — дешевый интерьер мелодрамы. Трагедия совершается открыто, при ясном свете дня. Цвет трагедии — белый.

Народ, придумавший корриду, прекрасно понимал это. Трагическая фигура матадора всегда на свету, и ничто из того, что он делает, не остается скрытым.

«Теория, практика и зрелище боя быков,— пишет Хемингуэй в книге «Смерть после полудня», — создавались в расчете на солнце, и когда солнце не светит, коррида испорчена»<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Э. Хемингуэй. Избранные произведения, т. I, стр. 414.

<sup>2</sup> Там же, т. II, стр. 172.

Что же открывается участникам фиесты в корриде и мастерстве матадора, что является самым существенным и важным? Главное в мастерстве матадора — это искусство в каждое мгновение добиваться максимального риска. Настоящего aficionado («Afición значит страсть. Aficionado — это тот, кто страстно увлекается боем быков»<sup>1</sup>) воодушевляет в матадоре не эстетика и пластика, с которой он ведет бой, а его нравственная исключительность — постоянное трагическое мужество. Техниккой матадора в совершенстве владеют многие испанцы. Один из них — официант в рассказе «Рог быка» (1936) — достаточно точно объясняет, почему тем не менее матадоры редки: «Все боятся. Только матадоры умеют подавлять свой страх, и он не мешает им работать с быком... Если бы не этот страх, в Испании каждый чистильщик сапог был бы матадором»<sup>2</sup>.

Главная задача квадрильи, поддерживающей нормальный ход корриды, состоит в исключении случайностей, в предотвращении всего, что могло бы превратить смерть матадора или смерть быка в стихийное бедствие. Надо сделать так, чтобы борьба нигде не перешла в нелепость убийства и чтобы все убедились, что в мире нет ничего более упорядоченного и строгого, чем открытая смертельная схватка (Джейк Барнс, настоящий aficionado, учит Брет видеть «в бое быков последовательное действие, ведущее к предначертанной развязке»<sup>3</sup>).

На грани смерти матадор демонстрирует полную власть над жизнью, над страхом, над телом. На арене корриды он дан в постоянном сопоставлении с животным, в единоборстве с ним. Здесь он доказывает, что является высшим из созданий, недостижимым во всем: в своей пронизательности, интуиции, сообразительности, в своих эмоциях и рефлексах. Он ощущает себя принадлежащим природе вместе с быком, но высшим в этом единстве и потому способным одержать верх. Он ощущает это тем полнее, чем лучше бык, который ему попался. «Мануэль поглядел на чучело быка, — читаем мы в рассказе «Непобежденный». — Он не раз видел его и раньше. Он питал к нему что-то похожее на родственные чувства»<sup>4</sup>.

Людям, прошедшим через катарсис фиесты, ощутившим незначимость последствий, неисчислимость возможностей, неопределенность и зыбкость всего уставленного и известного, коррида открывает непреложность трагического мужества, ясность и красоту борьбы, безусловное совершенство человеческого существа перед лицом смерти.

И еще один глубокий символ раскрывается перед ними.

Действия матадора ритуальны. Каждое его движение соответствует заранее известным, из древности пришедшим требованиям.

Матадор — это тот, кто свободно решился на риск открытой борьбы, но именно поэтому неукоснительно следует ее правилам и дисциплине. Все эти из поколения в поколение передаваемые паса натурале, паса печо, вероники, ките и рекорте суть для него не просто условности зрелища, а императивы, выполняющие которые он ощущает свободу однажды сделанного выбора. Пусть публика окажется чужой, перестанет понимать действие и потребует чего-то другого (индивидуальной независимости, раскованности, картинности), пусть станет очевидным, что строгое исполнение ритуала означает смерть, пусть после не будет никого, кто мог бы понять, зачем матадор делал то, что он делал, — он останется верным свободно взятому обету.

<sup>1</sup> Э. Хемингуэй. Избранные произведения, т. II, стр. 90.

<sup>2</sup> Там же, стр. 469.

<sup>3</sup> Там же, стр. 115.

<sup>4</sup> Там же, т. I, стр. 464—465. С исключительной силой и красотой это переживание передается старым Сантьяго в повести «Старик и море»: «Рыба — она тоже мне друг... Я никогда не видел такой рыбы и не слышал, что такие бывают. Но я должен ее убить. Как хорошо, что нам не приходится убивать звезды! Представь себе: человек что ни день пытается убить луну! А луна от него убегает. Ну, а если человеку пришлось бы каждый день охотиться за солнцем? Нет что ни говори, нам еще повезло... Достаточно того, что мы вымогаем пищу у моря и убиваем своих братьев» (Избранные произведения, т. II, стр. 608—609).

Поведение матадора позволяет лучше понять связь, которая вообще существует между трагическим мужеством и нравственной стойкостью.

Прямые нравственные обязанности, которым удается уцелеть в огне социального кризиса, сохраняются в качестве непосредственной достоверности чувства, в качестве требования совести. Однако человек, прошедший через катарсис и исполненный трагической решимости, следует этим нормам вовсе не по чувственной склонности и не потому, что он боится раскаяний совести как психического состояния. Он выбирает их в качестве идеала, обязывающего к самопожертвованию, и именно благодаря этому перестает быть покорной жертвой существующего общества — пушечным мясом, тем, кого ведут убивать.

Трагический герой ощущает свою свободу как раз в том, что следует нравственным нормам ригористически, не обращая внимания ни на угрозы, ни на обескураживающие сюрпризы ситуации, ни на собственные настроения и склонности. Это высокий формализм долга, о котором говорил Кант и в котором он видел главное отличие свободной нравственности от легальной моральности.

Этот формализм, почти ритуальную дисциплину свободы, которой человек следует перед лицом неотвратимой смерти, перед опасностью забвения, непонимания и искажения исторической истины, мы находим в лучшей из трагедий Хемингуэя — романе «По ком звонит колокол». Герой романа уже демонстрирует тот тип личностного поведения, над воплощением которого пять лет спустя будут биться писатели и философы французского Сопротивления<sup>1</sup>.

Мы видим таким образом, что испанская фиеста и коррида, находящаяся в центре фиесты, являются для Хемингуэя огромными по значению философско-историческими символами. Обращаясь к этим символам, представитель «потерянного поколения» утверждает в той истине, которую обнажила война, глубже осознает и аналитически проясняет ее. Для Джейка Барнса поездка в Испанию вовсе не путешествие в экзотику. Это его паломничество к «святым местам», к чистому источнику, воды которого укрепляют силы и веру.

Однако уже в начале тридцатых годов Хемингуэй обнаруживает, что этот источник замутнен и загажен. Фиеста стала средством развлечения и средством наживы. коррида — одним из видов опиума («зрелищем ужасов»), опасных быков вытеснили «быки, страшные на вид»: матадоры стали работать на эффект; на скамьях для публики оказывалось все меньше испанских крестьян и все больше туристов. Само здание корриды было расшатано: она перестала быть строгой ритуальной организацией смертельной схватки и то и дело оборачивалась нелепостью убийства. Стойкость настоящего матадора выражалась уже не в том, как он принимает трагедию боя, а в том, как он выдерживает фарс мышеловки: мертвый свет прожекторов, издевательства публики, усталость и изнервленность никуда не годного быка.

В целях развлечения и наживы эксплуатируются и другие облюбанные Хемингуэем оазисы трагического действия: охота в Африке, ловля крупной морской рыбы и спорт. Все, на что еще мог опереться представитель «потерянного поколения» в своем неприятии послевоенной стабилизации, все рудименты древнего, просветленного понимания трагедии и борьбы разрушались и подвергались искажению.

И вот в 1934 году тема получает неожиданный и новый поворот. После кризиса 1929—1933 годов было просто невозможно рассматривать условную арену корриды как единственную арену, на которой испытывается человеческое мужество. Хемингуэй задается вопросом: а не порождаются ли решимость и мужество повседневной ситуацией, в которой находятся тысячи простых людей? Не является ли самой массовой и самой естественной из всех трагедий их борьба за насущный хлеб?

<sup>1</sup> См. об этом подробнее в нашей статье «Экзистенциализм» — «Вопросы философии», № 12 за 1966 и № 1 за 1967 год.

#### 4. ГАРРИ МОРГАН

В 1934—1936 годах Хемингуэй пишет свой роман «Иметь и не иметь» — первое крупное произведение, в центре которого находится герой из народа. Гарри Морган — мелкий собственник на грани разорения, владелец лодки (в конце романа — владелец арестованной лодки). Действие романа происходит на Кубе, в одном из тех голодных районов земного шара, на ограблении которых строилось благосостояние развитых капиталистических стран.

Исходным мотивом всех действий Гарри Моргана является экономический интерес, забота о средствах существования.

Одним из наиболее устойчивых предрассудков морального идеализма была уверенность в том, что экономические побуждения принадлежат к числу наиболее примитивных мотивов (обычно их подводили под уничижительную категорию «вожделения»). Предполагалось, что побуждения эти не могут формировать личность, что основывающееся на них поведение мало чем отличается от поведения животного, что сознание долга, обязанностей и ответственности появляется где-то этажом выше. В двадцатых—тридцатых годах этот предрассудок был подхвачен социологией и отлился в концепцию «экономического человека», который ориентируется в мире чисто утилитарно и представления не имеет о безусловном нравственном выборе.

Посмотрим теперь, как представлен «экономический человек» в романе Хемингуэя.

Гарри Морган — человек семейный. Это от него неотъемлемо, это его непосредственная нравственная действительность. Для Гарри (как и для миллионов простых людей) экономический интерес сразу выступает поэтому в форме долга — долга перед семьей. Гарри свободно выбрал этот долг, когда повел Марию в церковь, и он следует ему неукоснительно. Гарри борется за свой хлеб совсем не так, как борется за пищу голодное животное, которое может сдаться и удрать, если опасность будет слишком велика. Он борется за него, как подвижник борется за идею. Его «экономическое поведение» с самого начала оказывается самопожертвованием, в котором Гарри возвышается над всем, что может быть приписано ему в качестве непосредственного побуждения или склонности.

Обеспеченность семьи — это не только долг Гарри Моргана, это его достоинство и еще — он знает — его право. «Одно могу тебе сказать, — открывается Гарри бедняку Элберту, — я не допущу, чтоб у моих детей подводило животы от голода, и я не стану рыть канавы для правительства за гроши, которых не хватит, чтобы их прокормить... Я не знаю, кто выдумывает законы, но я знаю, что нет такого закона, чтоб человек голодал»<sup>1</sup>.

Если общество не дает возможности заработать на жизнь, преступный путь добывания хлеба становится правом человека, такой формой отступления от закона и морали, которая санкционируется его нравственным чувством.

Но не впадает ли Гарри в противоречие с самим требованием нравственного долга? Ведь вступая на путь беззакония, он рискует оставить семью без кормильца, то есть обречь ее на прозябание, от которого он должен ее спасти.

Гарри с удивительной простотой разбивает этот парадокс: если все продумать до конца, никакой проблемы риска не существует, так как риск голода одинаково велик при любом выборе. Вот его краткое объяснение с Элбертом Трэси перед тем, как они ввязываются в опасное дело (рассказ идет от лица Элберта):

« — Только как бы нам не попасться, Гарри.

— Хуже не попадешься, чем ты попался, — сказал он. — Что может быть хуже, чем умирать с голоду?

— Всея я не умираю с голоду, — сказал я. — Какого черта ты заладил одно и то же.

— Ты, может, и нет, а вот дети твои наверно»<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Э. Хемингуэй. Избранные произведения, т. II, стр. 358.

<sup>2</sup> Там же, стр. 359.

Это уже известный нам поворот темы: то же самое представление о риске, которое имели очевидцы мировой войны, только место войны в нем занял голод.

Возможности выбирать между риском и благоразумием нет, есть только выбор между риском действия и риском ожидания, опасностью попасться и тем самым обречь семью на голод и опасностью обречь семью на голод из-за того, что ты сидел и ждал, когда это случится.

Для Гарри нет проблемы законности или моральности действия, потому что не может быть обязанностей перед законом и моралью, освящающими такой порядок, при котором рабочий человек не в состоянии заработать на жизнь. Существует лишь вопрос о том, как обойти этот закон с умением. Для Гарри, как мы видим, нет и проблемы риска. Существует лишь вопрос о том, как уменьшить риск и не сделаться жертвой глупого просчета.

Единственно, что действительно тревожит Гарри — это вопрос о том, как, совершая противозаконную авантюру, не оказаться сволочью.

Можно ограбить банк, но как быть со сторожем, охраняющим банк, таким же обездоленным и семейным человеком, как и ты сам?

Гарри везет в том, что ему одна за другой подворачиваются двусмысленные ситуации. Социальный строй, который не дает возможности заработать на жизнь, неизбежно легализует воровство. Куба кишит жуликами, авантюристами, людьми, уже прегрешившими не только против закона, но и против элементарных требований нравственности. Дважды обстоятельства складываются так, что именно на этих людях и удается отыгаться Гарри Моргану.

Модель поведения, представленная Хемингуэем в романе «Иметь и не иметь», очень скоро станет штампом западного приключенческого романа и фильма. В них появится преступник, обладающий формальной структурой положительного героя. Эта положительность будет обеспечена тем, что преступник станет обращать свои преступные действия против людей, действительно достойных того, чтобы их приговорили к конфискации имущества или к расстрелу. Он окажется бандитом-рыцарем, который с завидным мужеством приводит в исполнение невынесенные, но справедливые приговоры и обогащается за счет награбленного.

Гарри Моргану удастся действовать примерно так же. Но глубокое отличие Хемингуэя от научившихся у него авторов приключенческих романов и фильмов состоит в том, что он чувствует неподлинность, внутреннюю невозможность такого поведения и заставляет самого Гарри Моргана перед смертью отречься от того, что так долго казалось ему правдой. Разберемся во всем этом подробнее.

Первое противозаконное дело, на которое решается Гарри, обманутый богатым американцем и в результате оказавшийся на грани нищеты, это перевоз «желтого товара» — китайцев, надеявшихся тайно эмигрировать с Кубы.

Вся ситуация построена с редким мастерством.

Бегство организует некто мистер Синг. Он получает с китайцев деньги и обещает достать лодку до Тортугас, куда за ними должна прийти шхуна (в действительности никакая шхуна их не ждет). Гарри должен взять китайцев на лодку и высадить их, где ему будет удобно. На Тортугас Гарри ехать не может, так как там есть маяк и радиостанция. Если он высадит китайцев где-нибудь на берег Кубы и китайцы потребуют мистера Синга к ответу, тот обвинит Моргана в том, что он обманул китайцев, частично возместит им убытки, а о Моргане «кое-что сообщит в консульство». Вероятная расплата — десять лет тюрьмы.

Гарри соглашается на тысячу двести долларов и вот что делает. Он грузит в лодку двенадцать китайцев, получает деньги от мистера Синга и убивает его. Потом подводит лодку к отмели на берегу Кубы и заставляет китайцев высадиться.

Решение оптимальное, как теперь любят говорить.

«— Что он тебе сделал? — спросил меня Эдди.

— Ничего, — сказал я. — Он был самый покладистый человек из всех, с кем мне приходилось иметь дело. Я все время думал, что здесь что-то неладно.

— Зачем ты убил его?

— Чтобы не убивать остальных двенадцать»<sup>1</sup>.

Калькуляция неоспоримо точна. И с нравственной точки зрения вроде бы все в порядке.

В самом деле, перед китайцами у Гарри никакой вины нет: как бы он ни поступил, они с самого начала были обмануты. Что касается мистера Синга, так он, несомненно, заслужил, чтобы его отправили на тот свет.

И все-таки далеко не все в порядке. Гарри убил мистера Синга не из чувства справедливости и не из возмущения. Он просто присвоил себе право человека, который мог бы действовать на основании этих чувств. Он убил мистера Синга из предосторожности, ради определенной личной цели.

В другой раз Гарри везет четверых революционеров-радикалов, ограбивших банк «для нужд организации». Они убили адвоката, который им помогал, и уже без всякой нужды на глазах у Гарри Моргана убили его помощника Элберта. Когда приходит ночь, Гарри неожиданно расстреливает всех четверых из автомата, заранее спрятанного в машинном отделении. Но последнего он не успевает добыть и сам получает пулю в живот.

Поведение Гарри снова выглядит вполне оправданным. «Какое мне дело до его революции, — мысленно обращается Гарри к юноше-кубинцу, только что доверительно рассказывавшему ему о целях своей организации. — Плевать я хотел на его революцию. Чтобы помочь рабочему человеку, он грабит банк и убивает того, кто ему в этом помог, а потом еще и злополучного горемыку Элберта, который никому ничего не сделал дурного. Ведь это же рабочего человека он убил... Да к тому же семейного»<sup>2</sup>.

Гарри точно и правильно формулирует обвинения. Но есть в его рассуждении один очевидный изъян. Юноша-кубинец, которому Гарри мысленно адресует свою речь, не убивал адвоката и не убивал Элберта. Это сделал другой, по имени Роберто. И когда Гарри направляет в затылок юноше дуло своего автомата (он убивает его первым), он вовсе не испытывает одушевления мстителя. Гарри убивает кубинцев из предосторожности (чтобы они не убили его) и для того, чтобы овладеть деньгами, которые они награбили. Рассуждения о виновности убиваемых — просто подачка для совести, подачка, которую позволили обстоятельства.

Гарри Морган является трагическим героем, поскольку предпочитает риск решения бессмысленному уклонению от решения и действия, и вместе с тем он ощущает, что его поступки не терпят дневного света, что ему уготовлен темный путь одиночки.

Уже в агонии, неслушающимся языком Гарри пытается выразить самое главное, что ему наконец открылось. «Человек, — сказал Гарри Морган, глядя на них обоих. — Человек один не может. Нельзя теперь, чтобы человек один. — Он остановился. — Все равно человек один не может ни черта.

Он закрыл глаза. Потребовалось немало времени, чтобы он выговорил это, и потребовалась вся его жизнь, чтобы он понял это»<sup>3</sup>.

В словах Гарри — не просто тоска по совместности и поддержке. В них ответ на основную, мучившую его проблему, на вопрос о нравственной возможности и обоснованности активного противозаконного действия. Нельзя брать за оружие в одиночку, нельзя отвоевывать свое право в одиночку, нельзя в одиночку проводить в жизнь те принципы, которые может осуществить лишь восставший народ.

Значит ли это, что человек вообще ни на что не способен и беспомощен, куда он один?

Нет, не значит. Человек способен на отказ и неповиновение.

Роман «Иметь и не иметь» не случайно включает в себя в качестве отдельного эпизода рассказ о стойческом мужестве капитана Уилли Адамса.

Уилли на своей лодке везет на рыбную ловлю сенатора Фредерика Гаррисо-

<sup>1</sup> Э. Хемингуэй. Избранные произведения, т. II, стр. 338.

<sup>2</sup> Там же, стр. 396.

<sup>3</sup> Там же, стр. 428.

на. В море они встречают лодку с контрабандой (ее капитан Гарри Морган и его подручный-негр ранены). Сенатор догадывается, в чем дело, и требует от Уилли, чтобы тот вернулся, помог взять лодку контрабандистов и передать их полиции. Капитан Уилли отказывается. Тогда Гаррисон и его спутник-секретарь грозят Уилли тюрьмой.

«— Ладно,— сказал капитан Уилли. Он резко потянул на себя руль и повернул лодку, так близко пройдя у берега, что из-под винта взлетело, крутясь, облако мергеля...

— Вы действительно захватите его без посторонней помощи,— восхищенно сказал секретарь.

— И без оружия, прибавьте,— сказал Фредерик Гаррисон... — Подходите вплотную,— сказал он капитану Уилли. Капитан Уилли выключил мотор, и лодку подхватило течением.

— Эй,— окликнул капитан Уилли вторую лодку.— Прячьте головы!

— Это еще что? — сердито сказал Гаррисон.

— Заткнитесь,— сказал капитан Уилли.— Эй! — крикнул он второй лодке.— Слушай. Иди прямо в город и будь спокоен. О лодке не думай. Лодку заберут. Спускай груз на дно и иди прямо в город. Тут у меня на лодке какой-то шпик из Вашингтона. Говорят, он важнее самого президента. Он хочет тебя сцапать. Он думает, что ты буглеггер. Он записал номер твоей лодки. Я тебя в глаза не видал и не знаю, кто ты такой... Этот умник у меня половит рыбку, пока не стемнеет...

— Спасибо, братишка,— донесся голос Гарри.

— Этот человек ваш брат? — спросил Фредерик Гаррисон, весь красный, но по-прежнему снедаемый неумной любознательностью.

— Нет, сэр,— сказал капитан Уилли.— Моряки все называют друг друга «братишками»<sup>1</sup>.

Роман «Иметь и не иметь» был завершен Хемингуэем уже после возвращения из Испании, где он принимал участие в борьбе за республику. Во многих главах книги мы ясно ощущаем, что писатель смотрит на своего героя глазами свидетеля этой борьбы, сравнивает человека, ведущего войну за свой насущный хлеб, с теми, кто вел революционную войну за интересы всех угнетенных. Именно этим объясняется неприязнь писателя к анархистским крайностям, в которые впадает Гарри Морган, осуждение индивидуалистического активизма и новый для хемингуэевского героя пафос рабочей солидарности, во имя которой Уилли Адамс решается на одинокое неповиновение властям<sup>2</sup>.

## 5. БОГАТЫЕ И ИХ ИСКУССТВО

В романе «Иметь и не иметь» мы снова встречаем основное противопоставление Хемингуэя — противопоставление трагического мужества, вырастающего из полноты крушения, и панического страха, возникающего при неполном соприкосновении с опасностью. Но теперь эти противоречащие друг другу настроения рас-

<sup>1</sup> Э. Хемингуэй. Избранные произведения, т. II, стр. 352—353.

<sup>2</sup> Мы не можем в настоящей статье специально рассмотреть вопрос о том, как Хемингуэй и его герой представляют себе революцию, так как основное произведение, в котором поднимается эта тема (роман «По ком звонит колокол», посвященный событиям гражданской войны в Испании), до сих пор неизвестен широкому советскому читателю. Опираясь же в анализе на изложение, которого читатель не в состоянии проверить и сопоставить со своими собственными впечатлениями, мы не считаем возможным. Мы надеемся, что после выхода в свет собрания сочинений Хемингуэя (первые два тома которого уже получили подписчики) у нас будет счастливая возможность написать специально об этой книге.

После выхода в свет романа «По ком звонит колокол» представители левого доктринерства в американской литературной критике и литературной критике некоторых других стран много писали о непонимании Хемингуэем путей и средств коренного преобразования мира и на этом основании иногда вообще отказывали ему в праве назы-

пределены между двумя враждебными классами людей: между имущими и неимущими. Элберт Трэси, Уилли Адамс, Гарри Морган находятся на грани нищеты, и мы видим, как в них рождается решимость. Богатые туристы, приехавшие развлекаться на Кубу, на первый взгляд могут показаться людьми беспечными, наслаждающимися и жизнелюбивыми. В действительности на дне их сознания гнездится тревога. Реальной ситуацией их жизни, скрытой от чужого глаза (а часто и от них самих), является неустойчивость обеспеченности, иррациональная подвижность экономической конъюнктуры, угроза разорения.

В «Иметь и не иметь» Хемингуэй находит отточенную формулу контраста, который вообще лежит в основе его произведений двадцатых—тридцатых годов: «...Генри Карпентер отодвигал свое неизбежное самоубийство если не на месяцы, то во всяком случае на недели. Месячный доход, при котором ему не стоило жить, был на сто семьдесят долларов больше того, на что должен был содержать свою семью рыбак Элберт Трэси, пока его не убили три дня тому назад»<sup>1</sup>.

Тяжелое ощущение тревоги и неуместности жизни подавляется с помощью наркотиков, главными из которых являются путешествия и любовь.

Паноптикум имущих в романе «Иметь и не иметь» открывается колоритной фигурой миссис Лафтон, женщины со сложением борца, которая на всякую предложенную ей проблему отвечает «все мура» и хочет Гарри Моргана, потому что у него переломленный нос. Развернутую трагикомедию в трех частях — фарс измены, фарс ревности и фарс разлуки — разыгрывают супруги Ричард и Элен Гордон. Ненадолго появляется на сцене высокообеспеченная шлюха Helène Брэдли...

В чем же видит свое призвание этот сорт людей?

Немногие занимаются бизнесом, большинство посвящает себя литературе. Пишут все, кому не лень (мы знакомимся с «писателем Гордоном» и «писателем Лафтоном», мы узнаем, что и миссис Лафтон «тоже могла бы писать»). Ни один из этих литераторов не рискует выразить что-либо пережитое, все тяготеет к толкованию того, с чем им никогда не приходилось сталкиваться.

Главное, что пишут писатели типа Ричарда Гордона, — это ложь о народе.

Единственный жизненный опыт, которым они на деле располагают, есть сексуальный опыт. Поэтому их объяснение жизни оказывается сведением жизненных явлений к категориям, схематизирующим опыт полового сожителства, его нормы и его извращения. Любая проблема — будь то загадка творчества, загадка происхождения сознания или загадка массовых движений — становится уютной и понятной, коль скоро ее удастся превратить в «половой вопрос».

Ричард Гордон прямо занимается тем, что превращает рабочий вопрос в вопрос пола. Хемингуэй использует в романе удивительный по силе прием: он заставляет высказаться «писателя Гордона» по поводу того, что уже выявлено и объяснено писателем Хемингуэем.

У Гарри Моргана, как у многих людей трагической судьбы, о которых пишет Хемингуэй, — счастливая любовь. В сорок два года Мария Морган любит своего мужа так же, как любила в двадцать. Ночи — ее радость, и она завидует черепахам, которые, как она слышала, могут жить друг с другом сутками.

ваться большим художником, разбирающимся в окружающем его обществе и в самом человеке (см. об этом подробнее в книге И. Кашкина «Эрнест Хемингуэй». М. 1966).

Не входя в подробное обсуждение этой темы, мы хотели бы подчеркнуть следующее.

Проблема коренного преобразования мира является центральной проблемой нашей эпохи. Но нельзя забывать, что для миллионов людей в капиталистических странах продолжает существовать вопрос о том, как жить в этом, теперешнем обществе, как выстоять, как сохранить человеческое достоинство, когда все принуждает к тому, чтобы потерять его, занять спасительную позицию равнодушия и безответственности. К этому вопросу (а именно он лежит в основе всех размышлений и действий хемингуэевского героя) необходимо относиться с максимальным уважением, помня, в частности, и о том, насколько нелепо упрекать честного человека, в котором, возможно, еще только зреет внутренняя готовность к революции, в неумении быть профессиональным революционером.

<sup>1</sup> Э. Хемингуэй. Избранные произведения, т. II, стр. 430.



И вот сразу после главы, где рассказывается, как ведет бой и как гибнет Гарри Морган (Мария еще не знает об этом, хотя предчувствует трагический исход), Хемингуэй помещает короткую девятнадцатую главу, в которой говорится следующее:

«На другое утро, в Ки Уэст, Ричард Гордон возвращался домой из бара Фредди, куда он ездил на велосипеде расспросить про ограбление банка. По дороге он встретил толстую, громоздкую голубоглазую женщину, с крашеными золотистыми волосами, выбивавшимися из-под старой мужской фетровой шляпы; она горлопливо переходила улицу, и глаза у нее были красны от слез. Посмотреть только на эту коровицу, подумал он. Интересно, о чем может думать такая женщина. Интересно, какая она может быть в постели. Что должен чувствовать муж к жене, которая так безобразно расплылась? С кем, интересно, он путается тут в городе? Просто страх смотреть на такую женщину. Настоящий броненосец. Потрясающе!

Он был уже около дома. Он оставил велосипед у подъезда и вошел в холл, закрыв за собой источенную термитами парадную дверь...

Он уселся за большой стол в первой комнате. Он писал роман о забастовке на текстильной фабрике. В сегодняшней главе он собирался вывести толстую женщину с заплаканными глазами, которую встретил по дороге домой. Муж, возвращаясь по вечерам домой, ненавидит ее, ненавидит ее за то, что она так расплылась и обрюзгла, ему противны ее крашенные волосы. Слишком большие груди, отсутствие интереса к его профсоюзной работе. Глядя на нее, он думает о молодой еврейке с крепкими грудями и полными губами, которая выступала сегодня на митинге. Это будет хорошо. Это будет просто потрясающе, и притом это будет правдиво. В минутной вспышке откровения он увидел всю внутреннюю жизнь женщины подобного типа.

Ее раннее равнодушие к мужним ласкам. Жажда материнства и обеспеченного существования. Отсутствие интереса к стремлениям мужа. Жалкие попытки симулировать наслаждение половым актом, который давно уже вызывает в ней только отвращение. Это будет замечательная глава.

Женщина, которую он встретил, была Мария, жена Гарри Моргана, возвращавшаяся домой от шерифа»<sup>1</sup>.

Этот отрывок уже содержит в себе развернутое изложение того, что понимал Хемингуэй под безнравственностью искусства.

Искусство неизбежно становится безнравственным, если художник, который его создает, не обладает тем, что можно назвать «открытостью» или «способностью к пониманию». Нарциссическая влюбленность художника в непосредственные достоверности своего сознания безнравственна. Она вдвойне безнравственна, если его собственный житейский опыт, так же как и житейский опыт общественного слоя, к которому он принадлежит, заведомо скуден и нечистоплотен.

Изображением «искусства богатых» в романе «Иметь и не иметь» писатель подводит итог сложной и тревожной теме.

«Псевдохудожник» встречается во многих произведениях Хемингуэя и, как правило, рисуется им со страстным сатирическим напряжением — так, словно писатель пытается оторвать от себя что-то плотно к нему прилипшее.

Хемингуэй не случайно заставляет «писателя Гордона» высказываться о том, что он сам изображает.

Дело в том, что искусство двадцатых — тридцатых годов сплошь и рядом оказывалось дешевым пародированием трагической темы, которой посвятил себя Хемингуэй. Оно существовало не в качестве чего-то откровенно чужого и непохожего, а в качестве творений пошлого двойника.

Хемингуэй изображал общество жестоким, невыносимым, искушающим к безответственности, но открывал в нем людей, способных вынести невыносимое и остаться верными требованиям нравственного чувства. Это была трагическая апелляция к человеческому достоинству и мужеству.

<sup>1</sup> Э. Хемингуэй. Избранные произведения, т. II, стр. 400—401.

Пошлый двойник ограничивался первой частью задачи: он предлагал читателю уютную картину вселенского кошмара — уютную, потому что в его изображении кошмар этот ни к чему не обязывал. Описание несправимо ужасного мира оказывалось подачкой для трусливой рассудительности и помогал тем, кому это было выгодно, лишней раз убедиться в суете сует. Это была псевдотрагическая (нигилистическая) апелляция к человеческому малодушию.

Главным врагом Хемингуэя в литературе был шулер от трагедии, художник, пытавшийся спекулировать на том, что сам Хемингуэй лучше других знал и больше других ненавидел, — на смерти, на болезнях, на нищете, на отчаянии.

В книге «Праздник, который всегда с тобой» (1960) есть удивительная по емкости сцена — встреча Хемингуэя с Эрнестом Уолшем, трагиком-мистификатором, автором циничных и мрачных стихов, публикуемых на страницах уважаемого американского журнала «Поэзия». Уолш болен чахоткой и успешно снимает проценты со своей болезни: в ней его право на нигилизм, на наигранную мизантропию, право носить печать смерти на своем лице и с презрительным состраданием судить о тех, на чьем лице этой печати нет.

«— Джойс великий писатель,— сказал Уолш.— Великий. Великий.

— Да, великий,— сказал я.— И хороший товарищ...

— Как жаль, что зрение у него слабеет,— сказал Уолш.

— Ему тоже жаль,— сказал я.

— Это трагедия нашего времени,— сообщил Уолш.

— У всех что-нибудь да не так,— сказал я, пытаюсь оживить застольную беседу.

— Только не у вас,— обрушил он на меня все свое обаяние, и на лице его появилась печать смерти.

— Вы хотите сказать, что я не отмечен печатью смерти? — спросил я, не удержавшись.

— Нет. Вы отмечены печатью Жизни.— Последнее слово он произнес с большой буквы... Я смотрел на него, на его лицо с печатью смерти и думал: «Хочешь одурачить меня своей чахоткой, шулер. Я видел батальон на пыльной дороге, и каждый третий был обречен на смерть или на то, что хуже смерти, и не было на их лицах никаких печатей, а только пыль. Слышишь ты, со своей печатью, ты, шулер, наживающийся на своей смерти»<sup>1</sup>.

Уже в молодости Хемингуэй с тревогой замечает, что шулерам от трагедии очень хорошо платят, что их искусство вполне устраивает тех, кто способен платить. Ссылка на несправимо жестокий и всепобедительный в своей гнусности мир всегда была наилучшим аргументом в пользу прожигания жизни, духовным оружием тех, кто «обжирается и утишает изжогу содой». Эти люди были согласны содержать не только Эрнеста Уолша, но и тех, кому он пришелся по вкусу и кто был способен быстро распознать, где обитает новый, следующий Эрнест Уолш.

В книге «Праздник, который всегда с тобой» Хемингуэй рисует следующую выразительную картину.

Богатые — большая рыба, которой нужен духовный корм. Ее питают те, кто отстаивает право на пир во время чумы и доказывает, будто чем страшнее чума, тем больше оснований пировать.

Впереди большой рыбы движется рыба-лоцман. Это «человек со вкусом», обладающий профессиональным или полупрофессиональным умением вынюхивать тех писателей, которые имеют склонность к производству духовного корма для больших рыб. Рыба-лоцман является писателю то в образе критика, то в образе издателя, то в образе друга дома. Едва переступив порог, этот новый приятель начинает ободрять, хвалить, утешать, обнадеживать, наставлять.

После выхода в свет романа «И восходит солнце», который впервые принес Хемингуэю широкую известность, рыба-лоцман появилась и в его доме, а вслед за ней пришли сами богатые.

<sup>1</sup> Э Хемингуэй. Праздник, который всегда с тобой. М. 1966, стр. 80—81.

Рыба-лоцман обманулась, приняв роман о «потерянном поколении» за роман о бездумной жизни, о рафинированной брутальности, в которую люди прячутся от тяжелых напоминаний войны. Но в первый момент обманул и сам писатель, приняв суждения рыбы-лоцмана за квалифицированную, незаинтересованную и честную оценку своего труда. «В те дни, — пишет Хемингуэй, — я верил рыбе-лоцману так же, как верил «Исправленному изданию навигационных инструкций Гидрографического управления для Средиземного моря»... я стал доверчивым и глупым, как пойнтер, который готов идти за любым человеком с ружьем, или как дрессированная цирковая свинья, которая наконец нашла кого-то, кто ее любит и ценит ради нее самой. То, что каждый день нужно превратить в фиесту, показалось мне чудесным открытием. Я даже прочел вслух отрывок из романа, над которым работал, а ниже этого никакой писатель пасть не может...

Когда они говорили: «Это гениально, Эрнест. Правда, гениально. Вы просто не понимаете, что это такое», — я радостно вилял хвостом и нырял в представление о жизни как непрерывной фиесте, рассчитывая вынести на берег какую-нибудь прелестную палку, вместо того чтобы подумать: «Этим сукиным детям роман нравится — что же в нем плохо?»<sup>1</sup>.

Начиная с 1927 года Хемингуэй пристально следит за тем, чтобы не попасть в ловушку легковерия. Он прибегает к специальным приемам, позволяющим читателю понять глубокое различие между действительным замыслом автора и тем, за что могут выдать этот замысел создатели господствующей литературной моды. Одним из таких приемов и является введение сатирического образа «псевдохудожника», опошляющего и искажающего хемингуэевскую тему.

Чем больше росла известность писателя, тем острее и мучительнее становилось сознание того, что его вульгарный двойник, его непримиримый враг по литературе — это не просто некий другой человек, но сам Хемингуэй, каким изображала его буржуазная критика и пресса. Действительный облик писателя постепенно заслонила пародийной фигурой его дублера-однофамильца, в создание которого внесли свою лепту и биографы, и критики, и сценаристы. В сороковых — пятидесятых годах сомнительные легенды о Хемингуэе уже шли впереди его произведений: лицо писателя стало известно тем, кто никогда не давал себе труда взглянуть в действительное лицо его героя; портрет «изумительного старика» появился на стенах квартир, в которых часто не было ни одной из его книг. Сенсационный интерес к личности Хемингуэя, к тому, о чем он не говорил и не должен был говорить, постепенно притуплял способность к пониманию открытого им мира. Инсценировки и экранизации превращали трагическую тему в материал для мелодрамы и вестерна. Сам хемингуэевский герой мало-помалу был пригнан к мещанскому стандарту «по-настоящему мужественного мужчины». Произведения певца фиесты постигла участь, которая некогда постигла фиесту: картина трагического мужества стала предметом развлечения для тех, кому оно было заведомо непонятно и чуждо.

В конце пятидесятых годов в ход пошла откровенная дешевка. Хемингуэй все чаще фигурировал в массовом сознании то в качестве «неустрасимого охотника на крупную дичь, кажется, погибшего где-то в африканских джунглях», то в качестве «боксера-любителя, который, если потребует, может нокаутировать задешего его критика», то в качестве «беспечного глоб-троттера, изъездившего все уголки земного шара».

Пока Хемингуэй был жив, эти построения неуклюжей фантазии время от времени рушились от звука его собственного голоса. Сегодня, когда этот голос уже не звучит, задача защиты подлинного пафоса хемингуэевских произведений стала особенно ответственной и особенно сложной.

Велика заслуга тех, кто, подобно Лилиан Росс в Америке и Ивану Кашкину в России, попытался рассказать правду о самой личности писателя, о его сложном творческом пути. Но, может быть, еще более насущным делом является кропотливая работа по реставрации основной темы Хемингуэя — освещение удивля-

<sup>1</sup> Э. Хемингуэй. Праздник, который всегда с тобой, стр. 136.

тельной жизненной позиции его героя, который проходит через девять кругов ада и, несмотря на это (а еще точнее, благодаря этому), не опускается до цинизма, до опустошенности, до преступной истины «все позволено».

Если все высказанное свести к одной краткой формуле, она будет следующей: творчество Хемингуэя проникнуто духом трагического оптимизма.

Мы менее всего склонны рассматривать эту позицию в качестве цельной философско-исторической доктрины, законченной теории общества и человека. Во взглядах Хемингуэя много недосказанного, противоречивого, примиренного лишь в личном переживании, но не в систематическом воззрении. Они — живое выражение исторического периода, когда западная интеллигенция болезненно изживала прекраснодушный либеральный историцизм, боролась с нигилистическими соблазнами и училась отыскивать надежду в самой неприукрашенной драме истории.

Хемингуэй был далек от того, чтобы уповать на неизбежное установление на земле совершенного социального строя. И в то же время он был непримиримым врагом апатии и отчаяния. Писатель верил в то, что человека нельзя заставить свыкнуться с насилием, аморализмом, экономической несправедливостью; он надеялся на принципиальную неодолимость нравственного начала — на ту силу и твердость, которой обладает нежная трава, по весне взламывающая асфальт.



В. ОГНЕВ

★

## МЕРАНИ—ВБЛИЗИ И ВДАЛИ

«Но делать нечего — против судьбы  
не пойдешь».

(Из письма Н. Бараташвили)

Я слышу свист и шелест крыл  
Мерани,  
Гул вечности, дыхание судьбы.

(С. Чиковани, «Николозу Бараташвили»)

**Е**сли бы Николоз Бараташвили, стоящий десятилетний юбилей которого празднует сегодня весь мир, написал только одно стихотворение — «Мерани», он все равно заслужил бы право покоиться на Святой горе, обители национальных гениев Грузии. Подобно снежной вершине, возвышается этот шедевр романтической поэзии. Далеко виден его грозный и гордый свет...

И в этом отдалении неразличимы уже ни бытовые черты жизненного уклада чиновника гифлисской «экспедиции суда и расправы», хромого Таго, страдающего от вечной нужды, давно сменившего белую черкеску с серебряным поясом на мышинный сюртук, мучительно гаящего боль неразделенной любви, как неразличимы и поводы его стихов, которые не суждено было ему увидеть чалечатанными при жизни...

Стрелой несется конь мечты моей.  
Вдогонку ворон каркает угрюмо.  
Вперед, мой конь! Мою печаль и думу  
Дыханьем ветра встречного обвей.

Вперед, вперед, не ведая преград,  
Сквозь вихрь, и град, и снег, и непогоду.  
Ты должен сохранить мне дни и годы.  
Вперед, вперед, куда глаза глядят!

Пусть оторвусь я от семейных уз  
Мне все равно. Где ночь в пути нагрянет,

Ночная даль моим ночлегом станет.  
Я к звездам неба в подданство впишусь.

Я вверюсь скачке бешеной твоей,  
Я исповедуюсь морскому шуму.  
Вперед, мой конь! Мою печаль и думу  
Дыханьем ветра встречного обвей.

Пусть я не буду дома погребен  
Пусть не рыдает обо мне супруга.  
Могилу ворон выроет, а вьюга  
Завоет, возвращаясь с похорон.

Крик беркутов заменит певчих хор.  
Роса небесная меня оплачет.  
Вперед! Я слаб, но ничего не значит,  
Вперед, мой конь! Вперед во весь опор!

Я слаб, но я не раб судьбы своей  
Я с ней борюсь и замысел таю мой.  
Вперед, мой конь! Мою печаль и думу  
Дыханьем ветра встречного обвей

Пусть я умру, порыв не пропадет.  
Ты протоптал свой след, мой конь  
крылатый.

И легче будет моему собрату  
Пройти за мной когда-нибудь вперед.

Стрелой несется конь мечты моей  
Вдогонку ворон каркает угрюмо.  
Вперед, мой конь! Мою печаль и думу  
Дыханьем ветра встречного обвей! <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Переход стихов Н. Бараташвили здесь и далее Б. Пастернака.

Илья Чавчавадзе писал: «Бараташвили хочет расторгнуть оковы судьбы, развеять «мрачный рой томящих дум» и осилить беспредельное пространство земли и неба. Байрон избрал Люцифера для Каина, Гёте — Мефистофеля для Фауста, а наш поэт — Мерани, т. е. свой душевный порыв».

Но что значило «расторгнуть оковы судьбы»? Борис Пастернак, видевший на стихах Бараташвили «след гения», считал «Мерани» «символом веры» большой борющейся личности, убежденной в том, что движение человеческой истории отмечено благородной целью и смыслом.

А рядом с «Мерани», хронологически даже после него, стоит другое стихотворение — «Злой дух», страстное проклятие тому самому «мефистофельскому» началу познания, которое убило веру, обольстило несбыточным, иссушило душу, не дав взамен обещанного «рая»:

Будь проклят день, когда твоим обетам  
Пожертвовал я сердца чистотой  
В чаду страстей, тобою подогретом,  
И в вихре выдумки твоей пустой.

Трагическими противоречиями проникнута поэзия Бараташвили. Его короткая и бурная духовная жизнь (он умер двадцати семи лет) меньше всего подходит для академического вывода о Бараташвили как певце «мировой скорби». Но в равной мере далеко от истины и утверждение Бараташвили в звании последовательного провидца, глашатая исторического оптимизма.

Двойственность, мятежная пылкость и стремление в крайностях найти прямые ответы как нельзя более соответствовали и романтическому мироощущению Бараташвили, неприятно им национальной пассивности, в которой очутилась в тридцатые годы прошлого столетия грузинская общественная мысль.

Чтобы реально увидеть масштабы «Мерани» и масштаб поэтического подвига Бараташвили вообще, мы можем и должны восстановить реалии этой трагической судьбы, вблизи увидеть и время, и среду, и условия, и кричащее несоответствие высоких идеалов поэта и окружающей его действительности.

«Романтические мотивы и настроения Бараташвили входят в вещественные соединения с чертами реальной жизни и повседневности... — писал Б. Пастернак, — на этом творчестве лежит печать неповторимости, и

за его отвлеченными значениями вырисовываются особенности времени, исторический фон, сцены, биографии».

Эти общие соображения относительно особенностей романтизма Н. Бараташвили кажутся мне справедливыми и в том еще более расширительном смысле, что всякое большое искусство — непременно производное сложного взаимодействия как больших исторических сил, так и конкретно-неповторимых фактов личной судьбы.

...Ветреной, ливневой ночью 1828 года черный фэзтон нес по петербургской набережной Адама Мицкевича. Молнии разрывали мрак, грохотал гром, гигантские тени казались фантастичными. И голова вороного коня, рвушегося из упряжки, его оскаленная морда и топот копыт по булыжнику, и то особое состояние духа, которым жил Мицкевич эти два страшных года после того, как лучшие из русских его друзей были повешены или сосланы на каторгу, — кто знает, что именно засгавило его именно сейчас вспомнить четыре эти строчки, эти арабские стихи из примечаний к антологии Лагранжа:

Как туча он, мой черный конь ретивый.  
Звезда на лбу его денницею горит;  
Как перья страуса, летит по ветру грива,  
Сверкают молнии из-под копыт.

(Перевод О. Румера)

Но известно, что этой ночью родилось стихотворение «Фарис», в котором арабские строки о коне бедуина постепенно обрастают мотивом бешеной скачки навстречу судьбе, опасностям и року. «Мчись, летун мой белоногий! Лес и горы, прочь с дороги!» Скалы, зной пытаются остановить всадника, но — тщетно. И, подобно ворону «Мерани», за всадником, бросившим вызов судьбе, несется злой вестник:

Поверил коршун им, что я его добыча.  
За мной пустился он, взмахнул крылом.  
И трижды — надо мной ларя я клича —  
Мне черным голову обвил венком.

Но скачка продолжается: «Я все вперед лечу, не слушая угроз». Черный конь победил. Всадник доскакал. Однако...

Вспомним финал «Мерани»:

Пусть я умру, порыв не пропадет.  
Ты протоптал свой след, мой конь  
крылатый,  
И легче будет моему собрату  
Пройти за мной когда-нибудь вперед.

В «Фарисе» иной конец:

Вздохнул свободно я и поднял к небу взор.  
Очами золотыми все сзетила  
Послали мне привет в земной простор,—  
Мне одному: кругом безлюдие царило...

Выжженной пустыней предстает Мицкевичу будущее, несмотря на личную победу духа. Он как бы предвидит краткий, славный, трагичный порыв к свободе 1830 года — польское восстание. Его жестокое поражение. Или грезятся ему заснеженные поля Сибири — финал сенатской трагедии?..

Попытка вырваться из пут времени отозвалась у Бараташвили романтическим вызовом: «Вперед, вперед, куда глаза глядят! Мне все равно. Где ночь в пути нагрет, ночная даль моим ночлегом станет. Я к звездам неба в подданство впишусь». И у Мицкевича читаем: «В безбрежную лазурь несется мысль моя, все выше, в горние незримые края; и вслед за ней душа летит и в небе тонет». Но если для грузинского поэта остается надежда на будущее торжество его дела здесь, на грешной земле, для Мицкевича в «Фарисе» краткий взлет духа означает мистическое растворение в инобытии: «Так, жало утопив, пчела с ним дух хоронит». Это последняя строка «Фариса». Это вывод.

Поводом для написания «Мерани» послужило, как известно, сообщение о пленении Ильи Орбелиани горцами в 1842 году. В письме Григолу Орбелиани Бараташвили пишет: «...Когда я узнал о пленении Ильи, то, по правде говоря, очень расстроился и целых три дня ходил одурманенный тысячью разных странных мыслей и желаний, но если бы меня спросили, чего я хотел, то я не смог бы толком объяснить. Наконец, на третий день я написал эти стихи, и они как будто принесли мне некоторое облегчение» (2 мая 1842 года). Однако это признание поэта о «тысяче странных мыслей и желаний» весьма красноречиво подтверждает, что в «Мерани» таился гораздо больший заряд...

Непрямым ходом мыслей и чувств связаны между собой «Фарис» и «Мерани». Меньше всего тут надо искать прямое влияние. Да, юный Бараташвили знал стихи Мицкевича, как знал и стихи Пушкина, Лермонтова. Он дружил с польским поэтом Лади-Заблочким. Один из его родственников был сослан в Польшу. Но угадывание прямых влияний чаще вводит в заблуждение.

Вряд ли прав, кстати, биограф грузинского поэта А. Гацерелиа, когда в «Кавказской повести» Бараташвили видит подражание кавказским поэмам Лермонтова. «Хаджи Абрек», в котором есть сходные мотивы, первое печатное произведение Лермонтова, появился в «Библиотеке для чтения» только в 1835 году, тогда как Бараташвили написал свои стихи в 1833-м. Скорее тут следует искать общий фольклорный источник. Что же касается общности «Фариса» и «Мерани», она — не в образе коня-судьбы, а в сходстве самих неповторимых, казалось бы, судеб.

Н. Бараташвили — прямой потомок по материнской линии царя Ираклия II, племянник мятежных князей Орбелиани, воспитанник знаменитого идеолога республиканских идей Соломона Додашвили, с детских лет живший в атмосфере оппозиционности к русскому царизму и тесных связей с декабристами и польскими ссыльными, подобно Мицкевичу, испытал двойной гнет насилия — национального и духовного. Три исторических события пережили Мицкевич и Бараташвили: поражение декабризма в 1825 году, разгром польского восстания в 1830-м, глухие тридцатые годы реакции, в Грузии связанные и с поражением надежд на восстание 1832 года (заговор грузинских дворян). Это была цепная реакция свободы. Декабристы разбудили Варшаву. Бурлящая Польша отвлекла царизм от положения на Кавказе. Зеленое знамя первого имама Дагестана, Кази-муллы, затенило приготовления братьев Эристави к делу «национальной пользы»...

В первоначальной редакции пушкинский «Пророк» оканчивался строками: «Восстань, восстань, пророк России, позорной ризой облекись, иди и с вервием вокруг выи к убийце гнусному явись». «Пророком народным» называет Мицкевич в третьей части «Дзядов» Кондратия Рылеева:

О, где вы? Светлый дух Рылеева погас,  
Царь петлю затянул вокруг шеи  
благородной...

А во время ареста дяди Бараташвили Григола Орбелиани у него был найден перевод «Исповеди Наливайки», поэмы Рылеева. Мало что известно о духовной жизни шедрого и необузданного Мелигона Бараташвили, отца поэта, но как не сопоставить факты почти одновременного пребывания при штабе генерала Ермолова переводчика М. Ба-

раташвили и опального В. Кюхельбекера? В 1832 году в Грузию начинают прибывать из Сибири декабристы — сначала А. Корнилович, в 1837-м — В. Лихарев и А. Розен, в 1839-м — А. Беляев и другие. Что ж удивительного в том, что в поэме «Судьба Грузии» канцлер Ираклия II, Соломон Леонидзе, говорит словами другого Соломона — вождя радикального крыла заговорщиков — Додашвили:

Как игральной костью, мы даем,  
Царь, тебе играть своею долей,  
Но не с тем, чтоб отдавать в заем  
В третьи руки нашу жизнь и волю.

В подстрочнике поэмы я нашел опущенные переводчиком слова: «Где же ныне подобные ему люди, почему не радуют нас своими советами?!» Эти строки еще более проясняют адрес: С. Додашвили умер незадолго до написания поэмы, другие потеряли охоту «на троне исправлять порок»...

Можно довольно убедительно проследить «поводы» и любовных стихов Бараташвили. И, конечно, горькое отступление в поэме («Женщины былого, слава вам! Отчего, святые героини, ни одна из женщин больше нам вас напомнить не способна ныне!») звучит как упрек любимой, Екатерине Чавчавадзе, которая именно в этом, 1839 году, когда была написана поэма, предпочла поэту влиятельнейшего мингрельского князя Дадиани. Но одновременно в облике верной жены канцлера «кроткой Софьи, по духу равной ему», прочитываются и характеры Волконской, Трубецкой, Муравьевой, Нарышкиной, этих, перефразируя слова Т. Шевченко об их мужьях, «невольниках святых».

В равной мере нельзя категорически трактовать и некоторые стихи Бараташвили только как политическую аллегория. Так, кажется правдоподобной версия, по которой «Гиацинт и странник» (1842) — это поэтическое иносказание положения Грузии, попавшей в «заточение» после присоединения к России. Но, по-моему, стихотворение это с не меньшим успехом можно считать и типично романтической медитацией на тему предпочтения «приволья» и «неба» «роскошному» плену «теплицы», где аналогия цветка, попавшего в теплицу, с Екатериной Чавчавадзе попросту естественнее, нежели — с Грузией. Разумеется, слова: «Прощай. пойду я тоже, поищу свой цветок, его, как тебя,

оторвали от родимого поля» — можно в конце концов понимать по-разному. На то это и лирика. Б. Пастернак вообще переводит конец стихотворения так: «Тот цветок — мой еще не изведанный жребий», давая свое, третье толкование смысла. По Пастернаку, речь здесь идет о поэте, потерявшем родину. В этой трактовке слова из «Пилигрима» Мицкевича мог бы сказать и Бараташвили:

У ног моих лежит волшебная страна,  
Страна обилия, гостеприимства, мира.  
Но тянется душа, безрадостна и сира.  
В далекие края, в былые времена.

(Перевод В. Левика)

Мицкевич около двадцати лет провел вдали от родины. Бараташвили видел родину распятой и бессловесной. Неизвестно, что больней. В «былые времена» тянулся Бараташвили «Судьбой Грузии». В «далекие края» рванулся его гений — в «Мерани»...

Известно, что поводом к написанию известного стихотворения Лермонтова «Нищий» о камне, положенном в доверчивую руку, послужил действительный случай. Летом 1830 года в Троице-Сергиевой лавре слепой, услышав звук монет о тарелку, стал благодарить кого-то из спутников поэта и рассказал, что ему недавно положили в шутку горсть камней. Вернувшись из церкви, Лермонтов тотчас написал стихотворение, где случай вырос до высокого обобщения, где «обитель святая» — не просто церковь, а храм человеческой надежды, которую нельзя обманывать. «Нищий» — стихотворение об обманутом чувстве («Так я молил твоей любви...»).

В «Одинокой душе» Бараташвили дает образ «непоправимого» одиночества, вызванного обманом веры. «Не только люди — радости земли его обходят осторожно мимо, и прочь бегут, и держатся вдали». Как и в случае с «Нищим», у нас нет никакого повода трактовать «Одинокую душу» узко, ограничительно. Хотя, впрочем, повод-то есть. Вот отрывок из письма к Майко Орбелиани: «...что сказать обо мне, который, ты знаешь, давно уже сир душою... жизнь опостылела от такого одиночества. Представь горечь положения человека... не к кому ему подступиться... он одинок в этом пространстве, полном людьми мире... чья душа представлялась мне сложной — у того не оказалось вовсе души; в чей разум верил я, как в ниспосланный свыше дар,— у того не на-



шел я никакого разума; слезы, что мнилось мне, есть слезы жалости, выражения прекрасной души,— оказались знаками коварства, каплями страшного яда!.. поистине, Маико, никогда еще не имел я суждения столь хладнокровного».

Причин для отчаяния, так называемого «пессимизма», было более чем достаточно. В 1832 году Бараташвили упал с лестницы в гимназии и на всю жизнь остался калекой — были сломаны обе ноги. В результате увечья, а также потому, что семья разорилась, поэт вынужден был отказаться от всех надежд на успех в обществе, на высшее образование — на всю жизнь засел столоначальником. В 1839 году рухнула надежда на взаимную любовь. В 1844 году Бараташвили тяжело заболел и едва не умер. Жизнь гнула его долго и последовательно. Живой и общительный с детства, он больно переживал разочарование в людях. Личность значительная, Бараташвили ощущал одиночество своей судьбы как одиночество идеи, идеи братства людей. Вот почему в лирике его мотивы, имеющие конкретные, частные поводы, вырастали до высоких, далеко порой отстоящих от этих поводов обобщений. Вслушайтесь в философское звучание таких его шедевров, как «Мужское отрезвление — не измена...» или конгениально переведенный Пастернаком «Цвет небесный, синий цвет...». Пантеистическое умиротворение, психологическая пластика, «уйма простора» за этим финалом:

Б этот голубой раствор  
Погружен земной простор.

Это легкий переход  
В неизвестность от забот  
И от плачущих родных  
На похоронах моих.

Это синий, негустой  
Иней над моей плитой  
Это сизый, зимний дым  
Мглы над именем моим.

«...Вчера.. решил я прогуляться в сторону Московской заставы и вдруг очутился на кладбище. Признаюсь. немного смутился, когда взглянул на это онемение... Ни души. Кругом пустота вечная; луна тускло освещает могилы, как догорающая лампада — усопшего. Тихо и медленно течет Кура, будто боясь нарушить покой в этом унылом мире. Ты геперь в раздолье, и я не хочу смущать тебя мрачными думами, которые наваяло на меня это зрелище небесно-зем-

ное. Но скажу, что прекрасное изобретение кладбище. Оно необходимо, чтобы смертный порою читывал бы по нему свою жизнь: утешение несчастного, конец счастью» (из письма к М. Туманишвили, 1838).

«Небесно-земное» зрелище.. Говорят иногда, что Пастернак «неточно» перевел это стихотворение. Смотри что понимать под точностью. Как верно угадан этот «легкий переход» (которого, кстати, нет в подлиннике) от «земного» к «небесному»! В этом и гаился ключ к стихотворению «Цвет небесный, синий цвет...». Изучив и полюбив явление мировой культуры, которое звалось — Бараташвили, Пастернак, по косвенным свидетельствам, по черточкам и пометам на полях исторической и бытовой среды его эпохи воссоздал удивительно точный — в самом глубочайшем смысле этого слова — портрет творчества грузинского романтика. И если, скажем, в наиболее удаленном (в смысле буквальной точности) от подлинника стихотворении «Дяде Григолу» переводчик позволил себе вначале «поднять» Кабахи (родовое именье Орбелиани) до понятия родины (в контексте это так и читается), то в средней строфе («в сердце твоём запечатлены Кабахи места») он пластически конкретизирует общее. Эти «места» предстают как «дедовской рощи откосы, место гуляний, показа невест...». Этим образно подготавливался весьма неожиданный финал — строки о «ровесницах» и «подругах юности», которые должны символизировать «на Севере» родные места. К тому же, тактично восстанавливая атмосферу действия и внося реалии тех мест и лет, Пастернак тем самым одновременно проясляет характерные качества романтизма Бараташвили — обусловленность отвлеченных значений вещественными качествами, приметами повседневности. Эта особенность метода Бараташвили была как нельзя более созвучна личным представлениям русского поэта, который под изобразительностью поэзии понимал, с одной стороны, «высшую степень воплощения», а с другой, «предельную конкретность всего в целом: любой мысли, любой темы, любого чувства, любого наблюдения».

Письма Бараташвили (их около двадцати) представляют для переводчика богатое поле таких находок, такой конкретизации общих идей.

Прямую переключку мыслей и образов находим мы и в сопоставлении писем с другими стихами Бараташвили («Мужское от-

резвление — не измена...», «Ночь в Кабахи», «Таинственный голос»).

Но это свидетельствует только о том, что Бараташвили жил напряженной и целеустремленной жизнью духа, творчество его было выражением насущных потребностей его «я», а поводы не были случайными — факты притягивались по внутренней логике биографии поэта. Он сам как бы шел на факты. И они, уже до стихов, до того, как облекались в художественно законченную форму, приобретали особое свечение обобщающего смысла. Кто из романтиков не писал о тайном откровении, знамении бодрствующего духа. «Ты не рожден для такой участи. Не спи!» — слышал и Бараташвили (см. письмо поэта к Григолу Орбелиани, 1843). И в этой тоске Бараташвили не мог равнодушно погружаться в «заботы суетного мира». «С первых шагов моих, с самой зари... голос какой-то невнятный и странный сопровождает везде, постоянно мысли, шаги и поступки мои: «Путь твой особый. Ищи — и найдешь»...» («Таинственный голос»).

И тут назревает конфликт, накапливаются и собираются в узел противоречия жизни и творчества, пока шедших как бы параллельно. «Но лишь божественный глагол до слуха чуткого коснется, душа поэта встрепется...» — писал Пушкин.

Николаза Бараташвили сравнивали с Байроном (Лейст, Хаузер, Чавчавадзе), Ламартином и де Виньи (А. Хаханашвили), Ленау и Леопарди (Лейст), Новалисом (А. Гацерелиа), Лермонтовым (Деетерс и другие), Баратынским и Тютчевым (Б. Пастернак)... Мы видели, что при желании негрудно найти не только родственные связи, но и прямые переключки у Бараташвили с Пушкиным, Лермонтовым, Мицкевичем.

Но попросту кощунственно предположение о какой-либо вторичности, когда мы соприкасаемся с явлением гения Бараташвили. «Божественным глаголом», на который отзывался «чуткий слух» поэта, было родное грузинское слово... «Песню Песней» поэта была судьба Грузии. В обстановке, когда подавлялось всякое проявление национальной мысли, когда в стране с древнейшей культурой не было ни театра, ни прессы на родном языке, юноша Бараташвили собирает друзей и предлагает им совместно создать историю Грузии. «В то время нелегко было осуществить подобное дело, — вспоминает школьный товарищ поэта

К. Мамацшвили, — наукой мало кто занимался, да и летописи грузинские не были собраны, как и старые церковные гуджары, дворянские и княжеские грамоты. Единственной летописью была тогда «Картлис цховреба» («Жизнь Грузии»). Неизвестно, чем закончилось это начинание, но, кто знает, быть может, тогда и зародилась мысль о поэме «Судьба Грузии»? Свидетельства современников оставили нам упоминания о другой поэме, к сожалению, до сих пор не найденной, — «Иберийцы». Бараташвили с азартом берется за идею организации в Тбилиси общественной библиотеки. «Литература наша, с помощью божьей, приобретает все больше любителей, — с гордостью пишет он в одном из писем, — много молодых людей... в тишине и в одиночестве занимаются... родным языком. Всеобщая любовь к родному языку среди юношества показывает, что грузинская мысль не спит» (Григолу Орбелиани, 1841).

После возвращения из ссылки заговорщиков 1832 года культурная жизнь грузинской столицы несколько оживляется. По свидетельству И. Меунаргона, Бараташвили часто бывает в домах А. Чавчавадзе, Мананы Орбелиани (грузинской Рекамье, о которой упоминает в «Хаджи-Мурате» Л. Н. Толстой), Палавандашвили, Эристави.

К этому времени и была написана единственная дошедшая до нас поэма Бараташвили — «Судьба Грузии», произведение, без которого не все будет понятно и в «Мерани»...

Поэма состоит из короткого посвящения «землякам» маленького Каха (прозвище царя Ираклия II) и двух частей. В первой — повествуется о молитве Ираклия перед Крцанисской битвой с войсками Ага-Магомет-хана в 1795 году, о самой битве, в результате которой престарелый Ираклий вынужден был оставить Тбилиси. Во второй части поэт в форме диалога между Ираклием и его канцлером, Соломоном Леонидзе, а потом между Леонидзе и его супругой решает главную проблему — будущего родины.

Бараташвили в «Судьбе Грузии» наследует традиции другого грузинского поэта-патриота — Давида Гурамишвили (1705—1792). Написанная полуслепым одиноким старцем вдали от родной земли, летопись Грузии и одиссея ее сына («Беды Грузии») посвящена эпохе Вахтанга VI, сделавшего первую попытку сближения с петровской Россией. Расплата за то, что царь Картли

устремил свои взгляды на север, была жестокой. Турки начисто опустошили восточную Грузию. По словам очевидца, в течение четырех лет «не производилось ни посевов, ни пахоты, не зажигалось огня... не было слышно крика петуха». Вахтанг VI бежал в Россию, пытался в 1734 году с помощью русских вернуть престол. Но взятие Шемахи шахом Надиром и возвращение русских войск из-под Дербента в Астрахань заставило его оставить эту надежду. Сам Гурамишвили во время одного из набегов горских племен на Кахетию попал в плен, сидел в яме, бежал, был пойман, избит, снова бежал, перебрался к русским и здесь провел остаток жизни при свите Вахтанга и сына его, Бакара, а затем на Украине.

Поэма Гурамишвили написана в форме народного сказания — просто, непритязательно, с просветительских позиций XVIII века.

После поражения заговора 1832 года вопрос о судьбе Грузии фактически был предрешен. И хотя у Гурамишвили и Бараташвили мы найдем немало общего в исходной ситуации — спор царей с приближенными о целесообразности союза с Россией, — сам характер этого союза со временем неузнаваемо изменился. Для Вахтанга VI «лучше в землю лечь сырую», чем отдать грузин под «чужую» власть. Вахтанг понимал союз с Россией как временный, военный, чисто тактический маневр. И когда убедился в невозможности его осуществления, полностью уединился в Астрахани, передав корону Бакару. «Отец в Москву не хочет возвращаться к россиянам», — говорит Бакар. Иное положение у Ираклия II после Крчаниской битвы 1795 года, означавшей катастрофу. Ее закрепили феодальные междоусобицы, подорвавшие веру в саму идею грузинского единства. У Гурамишвили Петр I предлагает: «Прислонись ко мне спиной...» Так отбиваются рыцари, спина к спине, не сводя глаз с врага. Это еще разговор равных. У Бараташвили место для маленькой Картли находится «только у России под крылом».

Оба царя принимают решение в старости. Оба показаны в обстановке духовного поражения, в усталости и разочаровании.

Вахтанг:

Бился много я, но тщетно,  
Ныне биться — твой удел.

Я сложил свое оружие,  
Изнемог и постарел<sup>1</sup>.

Ираклий:

Как я ни бодрись в свои лета,  
Силы главные мои иссякли.  
Маленькому Каху — не чета  
Твой седой теперешний Ираклий.

Но если у Вахтанга есть еще перспектива, он знает, кому оставить трон, и просто передает права на него, признав свое личное поражение, то у Бараташвили вопрос Ираклия: «Кто страну будет править?» — повисает без ответа.

Дальше будет только тяжелей...

В образе царевича Бакара, продолжающего искать пути спасения родины, Гурамишвили видит олицетворение исторического оптимизма. Ведь это — XVIII век, век веры в разум, еще не спровоцированный «злым духом» сомнения в основных человеческих ценностях.

Для чего тебе напрасно  
Проклинать мгновенный свет?  
Человек обязан вынести  
Не одну, а девять бед.

Эти слова царевича, обращенные к отцу, вполне разделяет Гурамишвили. Ему еще рано понять глубокий смысл предчувствия Бараташвили, вложенного им в уста канцлера Леонидзе:

Сколько пропадет людей в тени  
От разлада с чувствами своими?

В тени забытой богом Грузии, в тени реакции, наступившей после удушения свободы, мучился от разлада «долга» и «заветного желанья» не один Бараташвили. Разлад чувств касался не только национального вопроса, жгучего и первостепенного для каждого думающего грузина той поры.

Как примирить понятия личной и общей свободы? Леонидзе в «Судьбе Грузин», мысленно споря с Ираклием, бросает знаменательную фразу: «Пользуйся свободой для себя...» Вспомним крылатое пушкинское: «Ты для себя лишь хочешь воли!» Противоречие, томящее грузинского поэта, — шире национального самоопределения, дилеммы: может или не должен Ираклий отдать Гру-

<sup>1</sup> Поэму «Веда Грузии» перевел Н. Заболоцкий.

зию «под крыло» России. Может ли один, даже если он царь, подчинить судьбу народа своему выбору? — вот как еще стоит вопрос.

Так тема судьбы, исторической необходимости переносится в иную плоскость, сталкивается с темой свободы и воли. Вопрос, поставленный Бараташвили, не мог не остаться открытым. Романтическое его решение целиком на стороне свободы. Кажется не случайным, что именно женщине доверил поэт завершить спор Ираклия с Соломоном Леонидзе:

Можно ли к немилому житью  
 Душу привязать отделкой редкой?  
 Голая свобода соловью  
 Все ж милей, чем золотая клетка.

Это говорит супруга канцлера, Софья (имя ее — «мудрость» — тоже многозначительно). Женщина в грузинской мифологии и исторической традиции всегда играла главенствующую роль. Авторское отступление не оставляет сомнений в симпатиях Бараташвили к «женщинам былого», а не к нынешним пленницам «золотых клеток».

Итак, в «Судьбе Грузии», ставя проблему выбора между разумными доводами ума и непокорным сердцем, поэт недвусмысленно встал на сторону свободы и воли как естественных прав личности.

Но если Ираклий в поэме несет тему Судьбы в самом настоящем смысле слова, то ни Леонидзе, ни его «твердая духом» супруга, конечно, не поднимаются еще до трагических высот героя «Мерани». Для этого поэт должен был вырваться из железных тисков времени, опередить его, разорвать цепи современных ему иллюзий и мифов.

Историческая проблематика была поднята до уровня философской. В этом и был романтизм Бараташвили, его внутреннее зерно. Если бы XIX век не дал миру романтизма как предчувствия бунта личности, Бараташвили должен был его изобрести. Настолько звеняще натянута была тетива его души. Настолько остры были внутренние противоречия грузинской действительности. Настолько одно было связано с другим. Настолько неразрешимые конфликты бунтующего духа и соглашательского разума нуждались в оптимистической перспективе будущего.

Б. Пастернак справедливо считал, что Бараташвили непредставим в тиши одиночества, что он и общество, с которым поэт всегда на ножах, неотделимы. Да, Бараташвили не только немислим вне общества, более того — он в известной мере и дитя этого общества. Может быть, не так трагична была бы судьба поэта, если бы он не разделял временами противоречивые настроения своего окружения?

Вообще трудно не заметить внутренней противоречивости этих мотивов в творчестве поэта. «Долг» повелевал его герою утверждать, что сыны Картли обрели «гражданский покой» («Могила царя Ираклия»), хотя «исполнение заветного мечтания» гребовало прямо противоположных выводов. Любопытно, что один и тот же образ по-разному освещает роль «севера» в деле национальной жизни. В «Могиле царя Ираклия»: «Они назад с познаниями спешат, льды севера расплавив сердцем юга». В «Судьбе Грузии»: «Ветер севера оледенил в жилах их следы отчизнолюбья. Что им там до братьев, до сестер?» В том же письме, где впервые приводится текст «Мерани» (Григолу Орбелиани, 1842), Бараташвили приветствует приезд царского сатрапа Чернышева и статс-секретаря Позена, которые, по его мнению, должны направить дело по доброму пути. На стихотворении «Поход грузин на Чечню и Дагестан» лежит отсвет коварной пропаганды русского царизма, отвлекавшего прогрессивные устремления грузинской мысли на путь национальной кавказской междоусобицы.

Однако надо сказать, что Бараташвили драматически переживал противоречия как свои, так и чужие. Вынужденный, порою полусознанный компромисс с существующим таил мощнейший взрыв в сфере романтической. В этом отношении такие стихи, как «Моя молитва», «Я храм нашел в песках. Среди тьмы...» и в первую очередь, конечно, «Мерани», воспринимаются также как расплата искреннего и беспощадного духа за вынужденные «умолчания» и заблуждения.

...«Делать нечего — против судьбы не пойдешь». Эти слова написаны чиновником Тато. В душе его готовился еще невидимый пожар, который звался — «Мерани»... Душа встрепенулась не сразу. Но тем сильнее и неподвластнее рассудку был взрыв. Взрыв против т а к о й судьбы.

Бараташвили шел к «Мерани» всю жизнь. В стихотворении «Моей звезде» (1837) он писал:

Как бы ни терялась ты средь мрака,  
Ты мерцанье сущности моей.

Будет время.— ясная погода,  
Тишина, ни ветра, ни дождя.—  
Ты рассыплешь искры с небосвода.  
До предельной яркости дойдя.

В «Наполеоне» (1839) — «пламени ярче и моря безбрежнее этот бушующий ночью пожар». Герой стремится к одному — «управ-

лять потоком времен», оседлать судьбу. В подстрочнике это особенно явно: «Нет, не верю я, чтобы судьба мне изменила: она взрастила меня, и что она может поделаться со мной — ее питомцем?»

Питомцем судьбы (читай: времени!) был и поэт. Ему суждено было исполнить «тайнственный жребий», «скрытый, великий и неотвратимый», — подняться над судьбой, над эпохой безвременья и национального унижения, над человеческой слабостью и горем, над бессилием любви перед лицом зла и насилия.

Он поднялся в «Мерани». И победил.



# КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

## СОДЕРЖАНИЕ

★

### ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

**З. Крахмальникова.** Отцу и отечеству.— **Э. Елигулашвили.** Дорога к вершинам Грузии.— **М. Злобина.** О пользе и неудобствах пешего хождения.— **В. Кардин.** Коварство жанра.— **А. Наревич.** Классик английской литературы.

### ПОЛИТИКА И НАУКА

**А. Грунт.** Октябрь в Петрограде.— **В. Разумовский.** Путь трудный и славный.— **Э. Рабинович.** История мысли — история мужества.— **А. Таланов.** Искусство популяризации.— **О. Знаменский, В. Старцев.** Накануне краха.

## Литература и искусство

### ОТЦУ И ОТЕЧЕСТВУ

**Ааду Хинт.** *Берег ветров. Роман. Книга IV. Перевод с эстонского А. Борщаговского и Ж. Сольба. «Советский писатель». М. 1968. 490 стр.*

Шестнадцать лет разделяют первую и четвертую книги тетралогии Ааду Хинта «Берег ветров»<sup>1</sup>. Это, несомненно, самая крупная работа народного писателя Эстонии, своеобразно отразившая художественные поиски времени.

В первой книге перед читателем развернулись широкие картины, изображающие пробуждение народных масс в 1905 году, в центре второй — события кануна первой мировой войны. Оба романа — произведения многоплановые: они обстоятельно повествуют о судьбах эстонского крестьянства в эпоху первой русской революции; герои их — рыбаки, крестьяне, моряки Каугатомы, революционеры; их судьбы даны на широком историческом фоне.

Однако уже в центре повествования третьей книги оказался один человек — Ионас Тиху со своей личной трагедией.

О первых трех книгах эпопеи Хинта написано множество статей и рецензий на эстонском и русском языках, и каждая из книг расценивалась критикой как серьезное

явление советской литературы. Но если рецензии и статьи о первых двух книгах в основном были восторженными, то уже третья вызвала бурную полемику. Имел ли автор право «отойти» в сторону от широкой народной эпопеи, обратившись к изображению крупным планом судьбы одного человека? Не изменил ли он себе, обратившись «к мутным ручейкам жизни Ионаса Тиху», к «его беде в рамках семейных дрязг»? Думается, что эти опасения неосновательны. Третья книга объединена с предыдущими общей мыслью, сюжетно связана судьбами героев (кстати, такого рода эпопеи в Эстонии имеют прочную традицию, вспомним хотя бы романы А. Х. Таммсааре, составляющие эпопею «Правда и справедливость»); к тому же социально-психологический анализ характера Ионаса Тиху становится в третьей книге «Берега ветров» глубоким исследованием судьбы страны в предреволюционные годы...

Тому же принципу следует автор в четвертой, завершающей книге тетралогии, где в центре его внимания тоже один герой — Энн Тиху.

<sup>1</sup> Первая книга «Берега ветров» на русском языке вышла в 1952 году.

Действие этого романа происходит во времена фашиствующей диктатуры Пятса.

Герой его Энн Тиху — молодой учитель из сааремааской деревушки — приезжает в Тарту, в издательство, для переговоров о напечатании своего романа «Сын прокаженной». С ним заключают договор, и вот он в тесной студенческой комнатке обсуждает с братом-студентом свои дела. «Я все-таки не понимаю,— говорит брат,— почему ты написал о прокаженных? Ну в самом деле, кому охота покупать книгу с таким заглавием! Хотя и дешевая, а жутко. И об авторе можно подумать бог знает что, совсем далекое от жизни: ведь в наших краях этой болезни почти что и не было». — «Как не было! А в Юбьясте...» — «Разве что в Юбьясте». — «А в Оокиви? А в Кюласоо?» — «В Кюласоо? У нас дома? Да ты с ума сошел!»

Перед нами два принципиально отличных друг от друга отношения к жизни. Оказывается, то, что было трагедией для Энна, что превратило в кошмар его детство и юность, что формировало его характер, выработывало нравственные представления — все, что составляло содержание его судьбы,— прошло мимо сознания его родного брата Юлиуса, выросшего рядом с ним, в той же деревне, бегавшего теми же тропинками, встречавшегося с теми же людьми! «От жизни далеко...» — с ужасом вспоминает Энн ошеломившие его слова брата. Он не спорит с ним, не защищает свой роман — что ж, книга должна сама постоять за себя. Он еще и еще раз перебирает свои аргументы, пытается понять и брата, сумевшего «забыть, вернее, заровнять, затоптать в себе память об этой беде», а теперь вот ссылающегося на занятость: он математик, наука развивается чрезвычайно быстро, у него не хватает времени даже на то, чтоб не отстать в своей области от века...

«Техника, математика и прочие премудрости сами по себе не принесут ничего хорошего, если за ними нет души, совести, сердца и разума человека», — убежденно говорит Энн. И в то же время слова брата заставляют его усомниться: быть может, брат все-таки в чем-то и прав? Ведь проказа действительно редкое явление, а людей, страдающих страхом перед этой болезнью, не так уж и много. Может быть, и верно не стоило писать ему свою книгу: ведь пока он писал о прокаженных, мимо него прошли многие события — и перелет Чарльза

Линдберга из Америки в Париж, и развитие радиочуда; он забыл о том, что в Эстонии появился шахматист мирового класса Пауль Керес и великокопный атлет, чемпион Олимпийских игр Кристьян Палу-салу...

Но нет, не так уж далек он от жизни со своим «Сыном прокаженной». «Гитлер убивает евреев и наверняка убил бы и всех прокаженных, если б они стояли у него на пути. Гитлер объявил себя сверхчеловеком и уничтожает слабых, вернее — тех, кого считает слабым. А он, Энн Тиху, защищает слабых, он в своей книге встает на защиту прокаженных и всех тех, кого считают прокаженными, кого сильным мира сего выгодно считать прокаженными и слабыми, и если бы Юлиус вдумался поглубже в его рукопись, он понял бы, что «Сын прокаженной» не так уж далек от жизни...» Позднее, размышляя над новым романом, Энн скажет себе, что обязан был писать, «даже если бы пришлось печатать роман за собственный счет, а затем, со связкой книг за плечами, подобно коробейнику, ходить из деревни в деревню и продавать свою книгу».

Так, где-то в середине четвертой книги «Берега ветров» автор обнажит одну из главных мыслей своего романа — романа, который он, как и его герой, не мог не написать.

Разговор об автобиографическом характере произведений «преследует» Хинта всю его жизнь. Так было с первыми его романами («Проказа» и «Лепрозорий Ватку»), появившимися в буржуазное время в Эстонии, когда писателю, как его герою Энну Тиху, дважды пришлось предстать перед судом. Читатели ищут прототипы героев Хинта и по сей день. Но суть, разумеется, не в этой увлекающей многих «игре в прототипы», а в безусловной и прочной связи писателя с судьбой народа, с годами все более зрелой и глубоко художественным исследованием жизни, которому жанровая «узость обзора», как выяснилось, не может служить помехой.

Тема проказы не случайно занимает такое значительное место в творчестве Хинта. Писатель в раннем детстве столкнулся с этим страшным несчастьем: когда-то проказа была завезена на Сааремаа, видимо, моряками, свила себе на острове прочное гнездо, вырывала десятки людей из круга родной семьи, из жизни — в за-

творничество лепрозория. «Словно проклятье висело над людьми», — писал в одной из своих статей Хинт. Первые романы Хинта и были посвящены этой горестной теме. «Но чем больше я думал над жизнью, чем более зрелым становился мой собственный жизненный опыт, — писал Хинт, — все чаще приходило ко мне понимание того, что облегчение страданий прокаженных, даже средство, излечивающее эту болезнь, — не разрешение проблемы. Проказа из понятия биологического стала для меня понятием общественным, социальным. Я видел ее во всякой несправедливости, эксплуатации, национальном и материальном неравенстве. Она проникала в душу человека, съедала ее язвами корыстолюбия, жадности, чванства, тщеславия... И потому данный мною обет борьбы с проказой не мог кончиться, когда было найдено средство, эту болезнь излечивающее, когда опустел лепрозорий на Сааремаа и заросли травой могилы на кладбище Выйдумэ»<sup>1</sup>.

Герой четвертой книги «Берега ветров» Энн Тиху идет тем же тяжким путем познания. Перед читателем раскрывается процесс духовного созревания героя, мы видим, как растет его сознательное отношение к жизни, и он не может остаться в стороне от беды, пришедшей в соседний дом, — чувство долга становится его органической потребностью... Главы романа — каждая из них как бы законченная новелла — выстраиваются своеобразной «лестницей», каждая ее ступенька — новая грань духовного возмужания героя.

Маленький герой романа спит «так же непробудно, как и любой другой мальчишка с побережья», но вот он просыпается от странного фырканья и криканья, вспоминает страшные рассказы о ночных призраках и, оставив мирно спящих братьев, преодолевая страх, выбирается из дома — он должен выяснить, что это за звуки!

Так, быть может, несколько наивно начинается роман. Хинт вернется к этому начальному эпизоду в самом финале книги, вспомнив на последней странице о том, как это первое преодоление страха помогло его герою в дальнейшем определить свою судьбу.

На душе Энна, проснувшегося на заре, — горе, «непосильное даже для взрослых лю-

дей горе»: он знает и не может не думать о несчастье соседской девочки Айли — ее мать попала в лепрозорий, ей самой грозит та же судьба. Мальчик боится и сам — они поцеловались с Айли. Но еще страшнее, если девочка узнает о его страхе перед ней! Он переворачивает груды литературы, выписывает все, что может быть полезным Айли, поддерживает в ней надежду на возможность благополучного исхода. Но Айли попадает в лепрозорий и уже не верит ни врачу, ни в то, что Энн может чем-либо помочь ей, она ни во что больше не верит, разве только в то, что за ней придет однажды Пээтер из Мерелагеда, который как-то на танцах поднял ее, маленькую девочку, на руки и крикнул: «Вот это девчушка на всю Сырвемаа! Лет за десять подрастет — и я поведу ее к венцу!» Айли погибает, убежав из лепрозория, бросившись в море, — ей показалось, что к берегу в тумане подошло суденышко Пээтера.

Следом за Айли в лепрозорий отправляется мать Энна — Маре, которая обнаружила у себя на плече следы проказы. Ее муж Сандер уже готов поверить в то, что несчастье неотвратимо, и принимает решение: посадить всех детей в лодку и вместе с ними уйти в море — лучше смерть сразу, чем страшное ожидание мучительного конца... Но фельдшер успокаивает Маре — у нее не проказа.

Страницы книги, где рассказано о том, как Маре, отправляясь в лепрозорий, расстается с детьми, не решаясь погладить их по голове, и как всю дорогу до лепрозория вяжет, не зная, сможет ли кто-нибудь из ее детей носить варежки, связанные прокаженной, даже если она убедит Сандера не сажать их в лодку, — эти страницы, насыщенные подлинным драматизмом, пожалуй, лучшие в книге.

Мысль о нравственной ответственности человека за все, что происходит вокруг, возникает уже в самом начале романа Хинта. Тема проказы, страха перед ужасным заболеванием исподволь уходит из области исключительной и медицинской. Вот Энн Тиху, уже учитель, разбирает с детьми в деревенской школе стихи Юхана Лийва «Перевязь цветов». Дети один за другим отвечают урок. Вместе со всеми отвечает и младший брат Энна — его ученик Ионас. А учитель видит в окне, как в школу направляется сгорбленный обжигальщик печей Март Вихерпуу: его сын сидит на од-

<sup>1</sup> А. Хинт. Идея и ее воплощение. «Вопросы литературы», № 9, 1963.



ной парте с Велло Пруулем, отец которого, уважаемый всеми окрестными жителями сапожник, две недели назад был отвезен в лепрозорий. Конечно же, Март Вихерпуу идет в школу с требованием пересадить сына на другую парту. Но кого же тогда посадить к Велло Пруулю? Оставить мальчика одного? Класс станет чуждаться его... Но не сажать же того, у кого совсем нет родителей! А урок между тем продолжается, учитель вызывает учеников, продолжая вы бир ать между ними. «Я братское сердце взял бы и усы родства — пускай они бы в одно связали тебя, мой несчастный край!» — думает Энн Тиху словами Юхана Лийва, и ему приходит в голову единственный возможный выход: «Не вернее ли посадить Ионаса, его родного брата, на парту к Велло Пруулю?»

Я так подробно останавливаюсь на этом эпизоде, чтобы читатель смог почувствовать само направление нравственных поисков автора «Берега ветров».

Но ведь, как мы видели, может быть и иная точка зрения: брат Энна, хотя и моложе его, но выросший вместе с ним, утверждает, что тема проказы в романе Энна «далека от жизни!» Некоторые из критиков «Сына прокаженной» тоже считали так же, более того — что «книга вредна», что читатель ищет в литературных произведениях совсем другое, что «чем меньше будем мы писать о бедах нашего маленького государства и народа, тем лучше!», что роман Энна Тиху представляет собой «злостное преувеличение и раздувание болезненных, но отмирающих и несущественных черт народной жизни». Можно, оказывается, забыть, затоптать в себе воспоминания о беде, с которой пришлось в жизни столкнуться, отодвинуть от себя неприятные встречи и впечатления, ссылаясь на занятость, на случайность и исключительность всякого рода «неприятностей», наконец оглушить самого себя словами о «раздувании болезненных, но отмирающих черт»...

Но Энн Тиху уже выбрал направление для своего таланта: он пишет только о том, о чем не писать не может. И он начинает новый роман о проказе, он никуда не может уйти от себя, от своих прокаженных. «Ты это должен создавать, не заботься о себе», — думает он строками из стихов Анны Хаава.

А между тем жизнь, с которой молодой

писатель сталкивается, уже переселившись в город, оказывается еще более сложной, чем она виделась ему, выросшему на островах. Социальные контрасты выглядят здесь болезнью «более страшной, чем проказа на Сааремаа», — в конце концов проказу хоть как-то пытаются лечить, больных не оставляли без присмотра, а в Тарту «проказу» социальную словно бы и не замечали, особенно те, кто мог что-нибудь сделать для нуждающихся. Обследуя условия жизни своих учеников, Энн Тиху собственными глазами увидел совершенно ошеломившую его нищету. На заседании попечительского совета Энн ставит, казалось бы, элементарный вопрос о необходимости увеличить сумму пособия беднейшим ученикам. Но его никто не поддерживает. Его решение остаться «при особом мнении» расценено как бестактное. Члены совета в ужасе от того, что Энн совершенно серьезно предлагает обратиться к главе государства с просьбой об увеличении пособия. Энн считает, что «глава государства не видит, не может видеть всего, не может знать всей меры бедствия предместий, и если мы обратим на это его внимание, он, может, будет еще и благодарен нам...». Это, конечно, политическая наивность молодого учителя. Но это — и органическая невозможность равнодушно пройти мимо чужой беды или несправедливости.

На этот раз Энну приходится уступить и ограничиться небольшой дополнительной суммой для самых нуждающихся. Эта фальшивая благотворительность, в которой он невольно участвует, собственная слабость (Энн боялся потерять работу при обострении конфликта с попечительским советом) будут для него мучительны. Он попытается писать обо всем этом в газеты, надеясь пробить стену молчания, забыть о том, что в ту пору в Эстонии «одни умалишенные в Сеэвальди могли говорить и писать, что хотели». Его статьи не печатают. «А если попробовать форму романа, повести? Если взять не государство, а семью...» — думает Энн. Теперь Энн Тиху работает над романом «Закрытые двери», пытается решить волнующую его проблему, рассказав о семье, в которой мужа и жену разделяет стена лживого молчания, делающего их несчастными...

В финальной главе романа «Берег ветров» Энна Тиху вызывают в политиче-

скую полицию, где облыжно обвиняют в оскорблении государственного флага, который он будто бы публично назвал «тряпкой». Его обвиняют также в том, что в романе «Закрытые двери» он критикует между строк действующую в Эстонии «дисциплинированную демократию», а в «предыдущем романе» уводит героя в лепрозорий не потому, что он заболел, а потому, что атмосфера лепрозория якобы «человечнее атмосферы окружающей его общественной жизни». Ему предлагают даже отправиться «в царство света, свободы, равенства и братства» — в Советскую Россию, раз уж ему так там нравится; ему заявляют, что он нахватался «коммунистической заразы», что коммунисты используют его «как своего подголоска».

Энну нелегко, его жена ждет ребенка, он боится потерять работу. Но ведь «и на крохи можно прожить, а будь всего много — все равно съедят», — вспоминает он слова матери. Что ж, если его арестуют, жена и одна в конце концов вырастит ребенка. Главное — «чтобы сыну или дочери не пришлось стыдиться своего отца».

Как видим, логика характера, которой герой остается верен, ведет его все дальше, позволяет глубже и пристальнее вглядываться в жизнь. Эволюция его мироощущения, изображенная писателем с большой тщательностью и вниманием, показывает в то же время неизбежность пути, которым идет герой романа: Энн Тиху не мог не вступить в открытое столкновение с фашиствующим режимом тогдашней Эстонии, оставаясь верным всей своей жизни — оставаясь самим собой.

Хинт посвятил четвертую книгу «Берега ветров» — «Отцу и отечеству». Энн Тиху готов отдать жизнь своему отечеству. Читатель понимает всю серьезность, глубину и естественность такого самопожертвования, потому что успел узнать Берега ветров и людей, живущих на нем, прошел вместе с ними почти полувековой путь. Читатель верит автору, рассказавшему о своих героях с любовью и надеждой, и не однажды будет еще возвращаться к тетралогии Ааду Хинта.

### 3. КРАХМАЛЬНИКОВА.

★

## ДОРОГА К ВЕРШИНАМ ГРУЗИИ

М и х. Л у к о н и н. *Корни гор. Стихи о Грузии и переводы. «Литература да хеловнеба».* Тбилиси. 1966. 220 стр.

«Корни гор» — так назван новый сборник стихов и переводов М. Луконина. Эта книга не просто знакомит с Грузией: вся она — словно путь от «корней» гор к их вершинам.

«Есть у меня давний замысел — подняться к сванам. Резо Маргиани, первый, кто познакомил меня с Грузией, обещает мне это «восхождение», я уверен, что мы осуществим его», — писал когда-то Михаил Луконин.

И он совершил свое восхождение — и вполне реальное, и поэтическое.

Читателя ждут в новой книге встречи с Пиросмани и Галактионом Табидзе, может быть, двумя вершинами грузинской культуры нашего столетия (замечу кстати, как удивительно точно найдена поэтом интонация для характеристики Галактиона Табидзе: «Счастливым баловень стиха. Как будто праздничный и праздный...»).

А для поэта «путь наверх» оказался в то же время «дорогой к себе». Ведь непривычный жизненный материал, «грузинская» тематика, сами поэтические традиции Грузии не могли не воздействовать на русского поэта. Но Луконин остался верен себе: мы узнаем его стих — эмоциональный, выразительный и в то же время несколько рационалистический, со свободным, порой едва прощупываемым ритмом, с неточной рифмой, со сложным переплетением образов.

Вот строки из заглавного стихотворения книги:

Вы корни гор — грузины молодые.  
Основа и опора всей гряды.  
Вершины гор —  
Друзья мои седые.  
Товарищи —  
Нетающие льды.  
Грузины молодые — шире плечи.  
Я слышу, наливается Кура...

Даже и в малоудачных стихах, перена-  
сыщенных прозаизмами, вроде следующего:

Крепость эта в нас с тобою  
так живет,  
как и жила —  
Как характер, воплотилась  
в наши души и тела.  
В крепость долга,  
в крепость дружбы,  
В крепость песен и детей...—

даже в них мы видим знакомый почерк  
М. Луконина с его стремлением сблизить  
несхожие понятия.

«Корни гор» больше, чем просто очеред-  
ная книга новых стихов: это свое поэтиче-  
ское открытие Грузии, новый «тематиче-  
ский материк» для поэта. Где же в книге  
это новое?

Вот красноречивый пример — «Гимн  
солнцу». Уже в подзаголовке подчеркнута,  
что это подражание древней грузинской  
песне «Лилео».

Славим восходы твои, закаты,  
солнце.  
Тобою счастливы и богаты,  
солнце.  
Ты завихренье огня и света,  
солнце.  
Твоей улыбкой земля согрета,  
солнце...

Для русского стиха тут многое необыч-  
но — музыка, ритм, рифменная рифма и  
т. д.

Но то новое, что дала русскому поэту  
Грузия, не ограничивалось, разумеется,  
тематикой или неожиданной стилистикой:  
ведь изданная в Тбилиси книга стихов  
включает в себя переводы из грузинских  
поэтов и важно, что между двумя разде-  
лами книги — оригинальным и перевод-  
ным — нет китайской стены. Читая книгу,  
видишь: автор стихов и автор переводов —  
один и тот же поэт:

Все вверх.  
Еще.  
Ни страха и ни боли.  
Ногами помогаю высоте.  
Сейчас принадлежу я в равной доле  
бессмертию  
и смертной суете.  
Они противоборствуют донныне,  
не признавая больше ничего...

Хотя и ритмика, и образная ткань стихов  
заставляют вспомнить луконинское «При-  
знание в любви» — это не Луконин. Это

перевод стихотворения Григола Абашидзе.  
Интонация оригинала и перевода действи-  
тельно точно совпали.

Луноподобный хлеб и сыр, речная рыба —  
все разложил он на столе,  
как и когда-то,  
бокалов захмелевших ряд поставил криво,  
с улыбкой просит осушить.  
И, значит, надо.  
Черна клеенка на столе, белеют скалы —  
Он на клеенке рисовал —  
куда деть силы..

Это, конечно, Карло Каладзе, его веш-  
ный, подробный стихотворный натюрморт,  
красочный и осязаемый. Но в то же время  
это и Луконин, его стиль, его интонация.

Основное качество Луконина-переводчи-  
ка — умение выбирать стихотворение, есте-  
ственно «накладывающееся» на его поэти-  
ческий голос, — прекрасно продемонстриро-  
вано и в переводе «Казахстанской тетради»  
Иосифа Нонешвили, стихов динамичных,  
экспрессивных (правда, это свойство изме-  
нило поэту, когда он взялся переводить  
балладу того же автора «Сказание»).

Прозаичными, заземленными показались  
мне некоторые переводы из С. Чиковани и  
А. Мирцхулавы: в подлиннике стихи ин-  
струментированы музыкальнее, тоньше. Отмечу  
здесь и недостатки ряда переводов, обус-  
ловленные, по-моему, изменой своему, луко-  
нинскому, стилю. Например, очень уж не-  
уместна в переводе «Отдаленности» К. Ка-  
ладзе «романсовая» интонация таких стро-  
чек:

Покачивая плавно стройным станом,  
Почудиться уже успела мне..

Или чуть ниже в этом же стихотворении:

И в шуме вечеряющего платья  
Я отдаленность полюбил твою.

До сих пор мы говорили о том, как вла-  
стно воздействует Луконин-поэт на Луко-  
нина-переводчика. Но необходимо «выслу-  
шать и другую сторону» — посмотреть, что  
происходит с оригиналом, когда он возрож-  
дается как факт иноязычной (в данном  
случае русской) поэзии.

Пожалуй, самым доказательным будет  
обращение к стихотворениям Реваза Мар-  
гиани — и человечески и творчески одного  
из наиболее близких Михаилу Луконину  
грузинских поэтов.

Жить не стоит, страна,  
   если мне на горбу  
 Ярмо перевалов носить не придется,  
 С тобой не делить дорогую судьбу  
 И не видеть вокруг  
 Ни свободы, ни солнца.

Это из стихотворения, озаглавленного в книге «Тур. Антверпен. Зоосад». Заглянув в грузинскую книжку Реваза Маргиани, нахожу там: «Тур», вынесенные же в заголовки «обстоятельства места» — это от переводчика. Правда, подобная конструкция не чужда грузинскому поэту, в его книге есть «Город Брюгге. Старая гостиница» или «Льез. Цитадель. Братская могила». Но самый образ «ярма перевалов» — это из оригинала. Для Р. Маргиани он также отнюдь не проходной, а значительный, опорный, и не только в этом стихотворении.

Отмечаю в переводе потери и добавления. Первое впечатление — некоторого многословия по сравнению с оригиналом — подтверждается довольно легко. Привнесены, например, такие обороты:

...«Ты (тур.— Э. Е.) ведь гордый, я помню —  
   прославлен в веках...  
 ...Почему покорился чужим голосам  
 И стоишь по соседству с прожорливой  
   зеброй...

Сколько скал и расселин осталось в горах,  
 Рассеченных характером нетерпеливым...  
 ...Узник,  
 Ставший зоологическим дивом.

Подобные «вставки» по большей части достаточно мотивированы: они уточняют, конкретизируют первоначальный текст подробностями, может быть, излишними для грузинского читателя, но, по убеждению переводчика, необходимыми для читателя русского (например, утверждение, что тур «прославлен в веках», ничего не добавит в сознании грузинского читателя, но зато для тех, кому это животное и впрямь кажется «зоологическим дивом», такой переводческий комментарий может оказаться

полезным). Но при этом некоторые «экзотические» подробности выбиваются из привычного строя поэзии Маргиани — сдержанной, лаконичной, — разбавляют ее многословием, заслоняют красотой смысловой стержень стиха.

Изменяя оригиналу, переводчик изменяет и самому себе, своему стилю. Я думаю, что это не парадокс, а скорее закономерность. Верность своему в ходе воссоздания чужого для качества перевода значит гораздо больше, чем внешняя «похожесть» тех или иных частностей.

С этой точки зрения большинство переводов, включенных в сборник «Корни гор», едины и многообразны: едины благодаря личности переводчика, многообразны в силу различия индивидуальностей переводимых поэтов.

«Лично, творчески, — писал М. Луконин, — грузинскую поэзию я ощущаю как одного живущего и работающего в наши дни громадного поэта, который очень влияет на поэзию... Это ощущение рождено не тем, что я не отличаю, скажем, Леонидзе от Чиковани, Ираклия от Григола Абашидзе, Карло Каладзе от Нонешвили, Мачавариани от Маргиани, Лебанидзе от Берулавы или Фридона Халваши... Все эти поэты по-разному звучат во мне. И все же они едины для меня своим народом, природой, самой поэзией грузинской земли».

Единство национальных культур в нашей стране — это живой процесс, очевидный, но столь же непостоянный, как процесс кровообращения. Взаимообогащение, обновление — вот его итог. В этом смысле особенно знаменательны слова Михаила Луконина о том, что переводы — «сложный и важный вопрос нашей дружбы». И очень важно, что поэт нашел для себя — а значит, и для читателя — свой путь от «корней» гор к вершинам Грузии.

**Э. ЕЛИГУЛАШВИЛИ.**

Тбилиси.



## О ПОЛЬЗЕ И НЕУДОБСТВАХ ПЕШЕГО ХОЖДЕНИЯ

Семен Бабаевский. Белый свет. Роман. «Октябрь», № 3, 1967; №№ 3, 4, 1968.

Почему роман Бабаевского называется «Белый свет», становится ясно во второй его части, когда герой, Алексей Фомич Холмов, отправляется странствовать по дорогам родного Прикубанья, чтобы добраться таким манером до своей станции Весленевской, а заодно и повидать «белый свет». Желание это, в общем вполне естественное для человека и, пожалуй, даже ставшее модным в наши дни, когда и в обществе и в литературе определенно обозначилась тяга к земле, к «истокам», — желание это подается в романе Бабаевского как необычное, экстравагантное и подозрительное чудачество.

Об этом, во-первых, говорит реакция окружающих. Родные и друзья Холмова потрясены и шокированы его странным решением. «Опомнись!... — взывает его жена Ольга. — Зачем же срамиться?.. Кто нынче ходит пешком?.. Разве что, извини, сумасшедшие!» (Она и впрямь подумывает о том, чтобы обратиться к психиатру, но, к счастью для героя, врачей этой специальности нет в Береговом.) Секретарь обкома Проскуров тоже совершенно ошарашен скандальной выходкой своего друга и решительно заявляет, что это «чистейшее донкихотство», «позор на всю страну» и что Холмов «компрометирует не только себя, а и нас»...

Во-вторых, и сам автор, хоть и не разделяет возмущения всех этих почтенных лиц, не может, однако, не признать, что поступок его героя действительно очень странный, ни с чем не сообразный, просто противоестественный. И чтобы оправдать и оградить его, а заодно и себя, он вынужден прибегнуть к высокому авторитету Н. В. Гоголя, поставив эпиграфом ко второй книге «Белого света» небезызвестное рассуждение о всякого рода несообразностях, допускаемых авторами: «...А все однако же, как поразмыслишь, во всем этом, право, есть что-то. Кто что ни говори, а подобные происшествия бывают на свете; редко, но бывают».

Слова эти, как вы помните, завершают почти самую фантастическую и странную из гоголевских новелл, в которой рассказывается о том, как в один прекрасный день нос майора Ковалева покинул свое

законное место и пошел себе разгуливать по Петербургу, да еще в карете, да еще в мундире статского советника... Впрочем, всем давно известно, как это было. Я, собственно, для того лишь напомнила о приключениях Носа, чтобы сразу же установить те художественные законы, которым следует автор «Белого света», и в соответствии с ними судить его творение. Кто что ни говори, а я вместе с Бабаевским считаю, что он был тысячу раз прав, когда решился смело порвать с традициями, которых до сих пор придерживался, и обратился в соответствии с новыми литературными веяниями к фантастическому сюжету и жанру.

Однако я уже предвижу вопрос читателя, который еще не успел ознакомиться с романом Бабаевского, а торопится делать умозаключения. «Позвольте, — скажет этот самый читатель, — что же тут фантастического или хотя бы странного? Ну, пошел человек пешком по родной земле, захотел повидать белый свет. Лично я тоже недавно совершил туристский поход по Северному Кавказу, врачи рекомендовали...» Иной, может, начнет подсчитывать, сколько в нашей стране туристских маршрутов и бог знает что еще. Но все это, заметьте, предназначено для простых советских людей, обыкновенных и скромных тружеников города или села, и к герою Бабаевского, следовательно, никак не может относиться. Потому что Алексей Фомич Холмов — отнюдь не рядовой (хотя, разумеется, вышел из народа), а «большой человек», ответственный, всеми уважаемый товарищ, привыкший перемещаться по родному краю исключительно на персональной машине.

Иной писатель, не умеющий отличить рожь от пшеницы и секретаря райкома от председателя райисполкома, стал бы, пожалуй, изображать дело таким образом, будто руководящий работник областного масштаба может рассуждать, чувствовать и поступать как обыкновенный, рядовой коммунист или беспартийный. (А ведь были такие произведения, чего греха таить!) Это все от недопонимания законов действительности, ложного демократизма или лицемерия. Надо же считаться с суровой

истиной, которую постигли еще древние римляне или там французы, сказав: «Ноблес облик», что в переводе на русский звучит куда более понятно и благозвучно, а именно: «Тяжела ты, шапка Мономаха». Мне как раз нравится в Бабаевском эта простодушная прямота и трезвость взгляда (удачно сочетающаяся с богатым поэтическим воображением), это тонкое и реалистическое понимание номенклатурной психологии, а также прав и обязанностей, определяющих место каждого человека на работе и на отдыхе, что и позволило писателю создать вокруг холмовского «хождения в народ» атмосферу ошеломления, недоумения и вместе с тем радостного умиления.

Во избежание недоразумений спешу уточнить, что Холмов — бывший и секретарь обкома, а ныне пенсионер: заслуженный, персональный, но — пенсионер. Это очень существенно, и не вноси Бабаевский эту реалистическую поправку в заведомо фантастическую ситуацию романа, пришлось бы признать его просто беспочвенным идеалистом и выдумщиком. Если добавить к этому, что герой путешествует инкогнито и, уйдя от дел, сохраняет былые связи и авторитет, то станет ясно, какие богатые и неожиданные возможности для показа действительности, с одной стороны, и разрешения ее конфликтов, с другой стороны, дает избранный Бабаевским сюжет.

Дорога, дорога!.. А по той дороге идет в обыкновенном лыжном костюме странника большой человек, «тот самый» Холмов... Какой прекрасный, поучительный и поэтический сюжет! Он напоминает бесчисленные легенды и сказки, созданные самим народом и выражающие его заветные мечты; в нем есть что-то исконное и неискоренимое, как надежда на приход Мессии... И посмотрите, как органично вписывается в эту вековую фольклорную традицию рассказанная Бабаевским история о «большом человеке», который покинул дом и, надев простое платье, пошел бродить по родной земле, чтобы узнать, как живет его народ, помочь добрым людям и наказать злых, неправедных. Проходят годы, десятилетия, века, свершаются войны, государственные перевороты и революции, а легенда эта нет-нет да и всплывает то тут, то там, возродится, расцветенная красками и примета-

ми эпохи, и вот опять, как встарь, бредет по пыльной дороге дивный странник<sup>1</sup>...

Не имея возможности упомянуть о всех предшественниках Холмова, я ограничусь лишь некоторыми именами, чтобы отметить те черты нового, которыми отмечен герой Бабаевского. Был, например, могучий и славный правитель Харун-ар-Рашид, который тоже бродил инкогнито среди своих подданных, но, насколько помнится, сей государственный муж думал больше о приключениях, нежели о правде и справедливости. Читали мы также о благородном и безумном испанском рыцаре, прославившемся на весь мир своим донкихотством, то есть жаждой справедливости и полным отсутствием чувства реальности, вследствие чего стал крушить ветряные мельницы, скот, винные бурдюки и прочие полезные для человека предметы. Автор «Белого света» сам несколько раз отсылает читателей к этому достославному рыцарю, но эту аналогию, думается, никак нельзя принять всерьез, потому что в отличие от Дон-Кихота, бессильного бороться с социальным злом, путешествующий герой Бабаевского, напротив, чрезвычайно успешно устраняет подмеченные недостатки и злоупотребления.

Что касается Иисуса Христа, о котором брякнула в простоте душевной и «без всякого умысла» колхозница Анастасия, совершенно потрясенная явлением Холмова народу, то герой с присущей ему скромностью прямо заявляет, что к нему это «не относится». И муж Анастасии, председатель колхоза Работников, тоже подтверждает, что «Холмов в святые не годится». С одной стороны, они, конечно, правы, и не стоит компрометировать героя такими сомнительными в идейном отношении сравнениями, но, с другой стороны, как поразмыслишь, то невольно приходишь к заключению, что в догадке простодушной Анастасии, право, есть что-то. Я, конечно,

<sup>1</sup> Кстати сказать, только в свете этой традиции может получить правильную, научную оценку и тот факт, что герой Бабаевского, как легко заметит читатель, не обременен излишним интеллектом и ученостью: в представлении народа справедливого правителя и вообще героя-заступника отличает не книжная премудрость, не ума палата, а прежде всего — доброта и простосердечие, та простота, которая, с точки зрения вульгарного здравого смысла, воспринимается чуть ли не как глупость (см. многочисленные сказки о Иванушке-дурачке).

не настаиваю и тоже говорю «без всякого умысла», но факты, факты! Если верить старым людям, на которых ссылается Ангеласия, то Иисус Христос как-то накормил пятью хлебами и двумя рыбами пять тысяч человек. Если верить Бабаезскому, в отношении хлеба его герой совершил нечто похожее.

Утром Холмов узнал, что колхозники остались без хлеба: «Авангард» должен, как это уже не раз случалось, выполнить не только свой план, но и «выручить» отстающий соседний колхоз, сдав за него зерно государству. Но уже на следующий день благодаря вмешательству Холмова в «Авангарде» начали выдавать по трудодням хлеб. Как ему это удалось?.. Есть такое простейшее чудо XX века по названию «телефон». Вы берете трубку, вызываете райком и говорите: «Привет, Григорий. Это я...» Попробуйте — просто, удобно и доступно. Конечно, не следует забывать, что телефон совершает чудеса далеко не во всяких руках. Но Холмов обладает исключительной силой убеждения. Да и как, собственно, еще мог бы действовать пенсионер?

Случай с телефоном произошел, впрочем, уже в другом районе, а в этот раз Холмову пришлось лично поехать к секретарю райкома Медянниковой и привезти ее в «Авангард». В конце концов он сумел-таки ее убедить, благо та оказалась женщиной умной, доброй и вообще приятной во всех отношениях, даже не стала советоваться с вышестоящими инстанциями, а все решила на месте, сама, без волокиты. И в приемной у нее, заметьте, никакой секретарши и никакого казенно-бюрократического духа, а в кабинете все так красиво, современно, приятно: низенькие столики модерн, мягкие кресла и кругом цветочки, цветочки, цветочки... Вообще веяние нового времени, чутко уловленное писателем, вносит бодрую, освежающую струю в атмосферу романа. И как это всегда бывает с новым, даже эти невинные, ласкающие взор и душу цветочки встречают сопротивление отсталых и злостных элементов. Некто Мошкарёв, закоренелый кляузник, а вернее, клеветник, всю жизнь беспокоящий вышестоящие инстанции всякими письмами о неполадках, отвратительный тип, весь, словно зверюга, густо заросший шерстью и к тому же с «лицом матерого баптиста» — словом, типичный уголовник, неда-

ром же и в тюрьме сидел (он-то говорит, что «за справедливость», ну да ведь все они нынче так говорят), — так вот, этот самый Мошкарёв написал на Медянникову донос за ее идейно не выдержанные улыбочки, цветочки и прочие штучки...

Но я отвлеклась от истории с хлебом, а надо бы еще сказать, что даже отзывчивая и современная Медянникова не сразу решила отменить распоряжение о сдаче зерна, а сперва весьма бестактно упрекнула Холмова, что раньше, в бытность секретарем обкома, он рассуждал иначе и т. д.

Словом, если вникнуть во все обстоятельства, можно смело сказать, что акция, совершенная Холмовым, ничуть не уступает евангельской. Конечно, всегда найдутся скептики, готовые поставить под сомнение любое решение проблемы, если только оно не поддается научному объяснению или нарушает принятые представления о возможном (или хотя бы указания начальства). На это я могу лишь ответить вместе с автором: см. эпиграф из Н. В. Гоголя.

Между прочим, я не зря снова вспомнила это имя: история, которую мне предстоит поведать, пожалуй, могла бы понравиться автору «Вечеров на хуторе близ Диканьки». Случилась она, как рассказал брат Холмова Кузьма, не так давно на Кубани, в станице Старо-Конюшенской. Был там председатель колхоза Каргин, жил себе припеваючи, грабил колхозников и умел задобрить начальство. А какой у него был прекрасный дом — с телефоном и прочими жизненными удобствами! А какая машина! И когда он разъезжал на ней по колхозным владениям, то никогда, бывало, не остановится, чтобы поговорить по душам с простыми тружениками полей, а все поровил мимо, мимо... И что же? В один прекрасный день он проснулся — ни хором, ни телефончика, ни блестящей «зилы», а жена торопит: скорей мол, в поле на прополку. Сунулся в правление, а в его председательском кабинете сидит простая баба Маруська... Эта самая Маруська, как утверждает молва, и была виновницей всех удивительных происшествий, случившихся в станице: не то чтобы она была ведьма и зналась с нечистым (как считал Каргин), но определенно умела колдовать. Каргин не смог смириться с ролью рядового колхозника — затосковал, закручинился, да и сиганул с обрыва в реку...

Не знаю, кто автор этой легенды: придумал ли ее сам Бабаевский или услышал от своих земляков и обработал, но, как бы то ни было, рассказана она в романе увлекательно, колоритно, живым народным языком и с тем веселым лукавством и простодушной непосредственностью, которые заставляют вспомнить повести, «изданные пасичником Рудым Паньком».

Поучительная и лукавая притча о Каргине, которую Холмов узнает от своего брата табушника Кузьмы (тот приехал к нему в Береговой искать защиты от начальства, постановившего отдать его старого колхозного мерина на колбасу, поскольку конеферма закрывается), — эта притча проходит через весь роман, сопровождая героя в его странствиях. Нетрудно заметить, что между этой легендой и удивительными приключениями самого Холмова есть своеобразная перекличка. И недаром же герой, человек передовых взглядов и меньше всего склонный верить в колдовство, так упорно и серьезно разыскивает сгинувшего Каргина и свидетелей его расцвета и падения. Обыкновенный механизатор Кочергин и тот понимает: «То фольклор! Проще сказать, фантазия, выдумка». И было бы обидной бессмыслицей предположить, что сам Холмов этого не понимает. Нет, апеллировать к здравому смыслу и обычной логике в данном случае просто пошло. В поведении героя есть и своя особая, высшая художественная логика: приключения Холмова, как и сказка о Каргине, принадлежат дивной стране фольклора и разворачиваются, так сказать, в одной эстетической плоскости, в одном и том же художественном измерении, принципиально допускающем смещение и фантастическое остранение реальных контуров действительности — ради постижения ее законов и противоречий.

Я предпочла бы, впрочем, заменить эту чересчур туманную терминологию (остранение и т. д.) простым и милым русским словом «чудо». А что такое чудо? Кратчайшее расстояние между мечтой и ее осуществлением, быстрый, надежный и красивый способ перехода из мира действительного в желаемый. Бабаевский не только смело вводит в свой роман всякого рода чудесные события; мотив чуда, возникающий в разных вариациях и поворотах, в сущности, становится одним из ведущих в произведении. Я не вижу осно-

ваний спорить против подобного решения, освященного вековыми традициями фольклора. Разве что... Видите ли, существует мнение, что концепция чуда возникла или во всяком случае исторически утвердилась в народной поэтике в связи с невозможностью иного, более практического разрешения земных проблем и неурядиц. Впрочем, совершенно ясно, что такое толкование придумано пессимистами, которые даже в счастливом финале сказки найдут повод для мрачных умозаключений. Можно противопоставить этому мнению куда более обоснованную точку зрения, усматривающую в концепции чуда прежде всего свидетельство народной силы, оптимизма и светлой веры в конечное торжество справедливости и добра. Это еще раз подтверждает роман Бабаевского, выдержанный в бодрых, жизнеутверждающих тонах, что насколько не мешает ему быть реалистическим, критическим и даже сатирическим произведением.

Выше уже говорилось, что тема странствия, дороги в сочетании с сюжетным ходом, так удачно найденным Бабаевским, позволяет развернуть широкую панораму действительности — тем более что герой отправляется в путь не ради мотиона, а чтобы «увидеть жизнь такую, какая она есть, услышать то, что раньше... от него под всяческими предлогами скрывалось». Как мы знаем, желание Холмова исполнилось: уже на второй день пути он попал в «Авангард», где и произошла упомянутая история с хлебом. Трудно, правда, представить себе, что, будучи секретарем обкома, Холмов не подозревал о такой практике хлебозаготовок (да и газеты наконец сигнализируют о подобных безобразиях). Но одно дело — абстрактное, кабинетное знание, а другое дело — увидеть своими глазами тех самых людей, которые самоотверженно трудились все лето, чтобы в результате остаться ни с чем. И ночной разговор с председателем колхоза Работниковым (раньше «мы с тобой вот так запросто, как закадычные друзьяки, не беседовали о жизни») тоже многое дал Холмову, да и читателям. А потом дорога привела Холмова в поселок Ветку, и здесь бабы, прослышав о его приходе, бросились к нему за помощью. Он обошел вместе с ними заросшие бурьяном огороды, отрезанные от приусадебных участков, да так и пустовавшие с тех пор; увидел картошку, ко-



тору крестьяне посадили на «ничейной» земле, а председатель станичного Совета Ивахненко запретил выкапывать. И вот, сопровождаемый делегацией казачек, Холмов отправился в Совет...

Если до сих пор, строго говоря, герой видел и узнавал то, что ему и так было известно, но умозрительно, «вообще», то картина, открывшаяся Холмову в Совете, начиная с приемной, забитой бывальыми, терпеливыми просителями, привычными неделями, даже месяцами ожидать приема у «слуги народа», буквально ошеломила его. О том, как встретил его Ивахненко, которому он попытался было толковать о совести («А ежели ее, допустим, нету? Тогда что?»), как нахально и весело куражился председатель Совета над неказистым посетителем, назвавшим себя Холмовым, как едва не вытолкнул его «взашей» (тут-то и пригодился герою телефон), — обо всем этом лучше прочитать у Бабаевского. Сцена в Совете, написанная правдиво, колоритно, со знанием дела и с сатирической хлесткостью, не только одна из лучших в романе, но обнаруживает новые, дотоле молчавшие струны дарования Бабаевского.

Тем более обидно, что он не дает им звучать в полную силу, а, напротив, заглушает, наступает, как сказал поэт, на горло собственной песне. Нет, не следует этого делать, право, не следует. Я лично не знаю ни одного случая, когда бы это приводило к положительным результатам. Ведь что получается: только-только Холмов развернулся и по-настоящему вошел в свою новую роль, только читатель начал вместе с ним постигать «жизнь такую, какая она есть», и «то, что раньше... от него под всяческими предлогами скрывалось», — как вдруг автор, словно чего-то испугавшись, стал принимать экстренные меры, чтобы пресечь пешее хождение героя.

Я сразу почувствовала неладное, когда прочла, что у Холмова поутру ни с того ни с сего разболелся сустав большого пальца правой ноги. Ведь даже ребенку понятно, что нога — первейшее дело для странника. Потом вижу — ничего, порядок: автор посадил героя на коня (того самого старого мерина, которого лишь авторитет Холмова спас от превращения в колбасу), и получилось даже еще эффектнее и донкихотистей. Только недолго я радовалась: сразу после сцены в стансовете Холмова повезли на дом к секретарю райкома и

уложили в постель; очаровательная врачиха Надюша строго-настрого запретила вставать, сказав, что болезнь у него длительная, серьезная, по-научному подагра, а в переводе на русский язык — капкан. Право, как тут еще раз не подивиться, до чего же меткий наш русский язык: ведь и в самом деле — капкан! Если только не заговор... Секретарь обкома Проскуров, встревоженный общественной самодельностью своего предшественника, мигом прилетел на своей «Чайке», привез Холмову приличный костюм, шляпу, туфельки и, кстати, автомашину «Волгу»... А брата Кузьму со старым меринком распорядился срочно переправить на грузовике в станцию Весленевскую, только тот, не будь дурак, сел ночью на своего Росинанта — и был таков...

В общем, заставили-таки Холмова сесть в «Волгу», а из машины, известное дело, какой взгляд на окружающую действительность: беглый. Да, дальше уж все не то, и роман покотился по привычной, наезженной, гладкой дороге, по которой уже столько раз бодро мчались вперед многочисленные литературные коллеги Холмова. И вот что любопытно: едва только герой сел в машину, как его подагра сразу же прошла. Больше уж он вообще не вспоминает о ней, даже когда прыгает вместе с влюбленной Верочкой по камням через протоку... Приходится с сожалением признать, что вся эта история с подагрой — просто фикция, предлог, наспех придуманный автором, чтобы оградить героя от слишком близкого контакта с действительностью. А то обстоятельство, что он даже не считает нужным заботиться о соблюдении самых элементарных правил игры, хорошо известных такому опытному, профессиональному литератору, как Бабаевский, лишний раз показывает, что действует он вопреки своему внутреннему голосу, нехотя.

Спешу, однако, уточнить, что способ передвижения героя не имеет, на мой взгляд, принципиального значения для литературного произведения; усматривать прямую связь между видом транспорта и художественным методом может разве что вульгарный социолог. По мне, пускай себе Холмов разъезжает в машине, только не надо, фигурально выражаясь, вставлять палки в колеса обкомовской «Волги» и мешать герою познавать жизнь. Вот, скажем, заинтересовала его такая проблема: почему

из двух соседних районов один — передовой, а другой — самый отстающий в крае? Холмову очень хочется понять, в чем состоят причины достижений и трудностей. С достижениями он успевает ознакомиться, поговорив с секретарем райкома передового района, но когда дело доходит до трудностей, возникает совершенно непредвиденное препятствие, начисто снимающее возможность беседы. Как ни быстро мчится «Волга», а все-таки приезжает в Камышинскую слишком поздно: секретарь райкома Стрельцов скорострительно скончался. И не старый еще был человек, а вот, поди ж ты, ни с того ни с сего умер. Опять, как видно, «подагра». Нет, как хотите, неубедительно все это, к тому же негуманно, жестоко наконец: нельзя же так расправляться с кадрами. Конечно, Стрельцов был плохой руководитель, но ведь мог бы подтянуться, перестроиться, тем более что и Холмов собирался ему помочь...

В общем, ничего хорошего не получается, когда писатель идет против собственного таланта и начинает ломать себя. Это не могло не отразиться на идейно-художественных достоинствах романа, так интересно и многообещающе задуманного Бабаевским. Кстати, и выводы, вынесенные героем из его встречи с жизнью, недостаточно четко сформулированы автором, который ограничивается скудными и малозначащими намеками. Впрочем, может, оно и к лучшему: зачем навязывать читателям готовые решения, пускай сами разбираются в тех «запутанных узлах и узелках», которые так хитроумно завязала жизнь — и Бабаевский. А я со своей стороны считаю нужным подчеркнуть, что «Белый свет» принадлежит к числу тех замечательных литературных произведений, которые поучительны даже своими недостатками, поэтическими преувеличениями или заблуждениями.

М. ЗЛОБИНА.



## КОВАРСТВО ЖАНРА

Вл. Пименов. Занавес не опущен. Литературные портреты. «Московский рабочий». М. 1968. 173 стр.

Читатель начинает с оглавления. И когда увидит колонку имен: «Николай Погдин», «Борис Лавренев», «Александр Фадеев»... — вряд ли отложит книгу. Тем более что автор, предваряя свой рассказ, обещает: это «не исследование, не научный трактат, но живые, согретые сердцем и памятью чувства». В наши дни воспоминания обладают покоряющей читателя властью. Особенно воспоминания о больших писателях, о людях театра.

В книге В. Пименова о советских драматургах и режиссерах среди прославленных имен значится и едва ли многим знакомое имя Дмитрия Смолина, создателя пьесы «Иван Козырь и Татьяна Русских», которой Малый театр некогда открыл пореволюционный репертуар. Эти границы и впрямь согреты сердцем. В них — доброго, оправданное желание отвоевать у забвения художника не знаменитого, но сделавшего свое дело, в них наконец живой человек — чудакватый, трогательный.

Глава о Д. Смолине отличается не только естественностью тона, но и новизной сообщаемых сведений.

Было бы неверно сказать, будто их нет в остальных портретах. Но доля их досадно мала сравнительно с числом страниц и с тем, что мог, кажется нам, дать В. Пименов. Ведь он лично знал людей, о которых рассказывает, «учился у них энергии, любви к делу, восхищался их талантами, их яркими, самобытными натурами». Но вот перед нами страницы, посвященные А. Таирову, — история закрытия Камерного театра передана здесь явно не слишком точно, даже и в смысле общеизвестных фактов. А ведь автор был, как он говорит, «близким товарищем Таирова», хотя, по его же собственным словам, «уже не встречался» с Таировым, когда тот остался не у дел...

Впрочем, в данном случае наши претензии, может быть, и не во всем оправданы. То, что В. Пименов называет дружбой, чаще всего, как видно из книги, — отношения служебные либо вытекающие из них: по занимаемому в разное время должностям В. Пименов соприкасался с нашими видными драматургами. Но деловые связи не всегда, естественно, сопровождаются близостью, даже если в их пределах и возникают опре-

деленные товарищеские отношения. Преимущественно деловой характер этих отношений. К сожалению, наложил некий специфический, ведомственный что ли, отпечаток и на мемуары. На их стиль («Погодин принимал активное участие в общественной жизни Союза писателей... На обсуждении национальных пьес Погодин часто председательствовал: при этом был хорошо подготовлен, пьесы читал внимательно, выступал с конкретными замечаниями и предложениями»). На специфическую избирательность. На характер привлечения документов.

Воспоминания В. Пименова тяготеют часто к отчету о мероприятиях с указанием принимавших участие (и с поименованием даже постов и званий) лиц. А иной раз создается такое впечатление, будто жизнь писателя и режиссера — это совещания, обсуждения, комиссии, «конкретные замечания и предложения», вовремя проявленная инициатива и решительно поставленный вопрос. Наконец даже беседы с драматургами, о которых вспоминает В. Пименов («в должности начальника Главного управления театров беседы с драматургами проводить приходилось мне»), подразделяются автором, так сказать, на два вида: «творческие» и «интимные». Первые — это по служебным поводам, вторые — выходили за служебно-должностные границы («По служебным обязанностям я каждые две недели приходил к нему для творческих бесед на самые различные темы», «Беседы становились более интимными», «Даже в интимных беседах он не оставался бездеятельным»).

Портит книгу и то, что художники разных манер, разной меры дарований, резко отличного склада вызывают у автора часто почти одинаковую реакцию. И повествует о них тоже как бы в одном ключе, одинаковыми словами. «Лавренев... отлично разбирался и в вопросах финансовых, административно-управленческих». «Таким был Берсенев, отлично знавший финансовую сторону театральной жизни, умевший заниматься хозяйством, экономикой». «Как будто он стоял на капитанском мостике», — сказано о Лавреневе. И о Вахтангове сказано: «На капитанском мостике своего театра до конца стоял Вахтангов». «Берсенев можно назвать... рыцарь сцены». «Рассказы Петрова... о славных биографиях рыцарей сцены».

Излишняя восторженность в отношении к героям своего повествования часто мешает В. Пименову. Любой писатель, вознамерившийся сегодня рассказать о нашей армии, говорится, например, в книге, «обязательно вспомнит о пьесе Погодина «Падь Серебряная», где с присутствующим драматургу глубоким проникновением во внутренний мир человека, умением строить крепкий и увлекательный сюжет, любить и знать героя своей современности уже было рассказано о скромных и мужественных наших бойцах».

Н. Погодину принадлежат классические советские пьесы. Но если рядом с Лениной, «Моим другом», «Поэмой о топоре» и другими удачами ставится «Падь Серебряная» или «Когда ломаются копыя», истинный вклад драматурга смазывается. Относительно «Падь Серебряной» Н. Погодин в автобиографии признавался: «...пьесы у меня не получилось». О «Когда ломаются копыя» с болью говорил: «Я думал так: если уж нельзя писать правильно о людях, если теория бесконфликтности, ставшая на какое-то время почти узаконенной, мешает изображению острых, живых столкновений, то, может быть, можно писать о микробах. И стал писать. Я писал рабски, писал некритически, нехудожественно».

Конечно, мемуарист не обязан соглашаться с драматургом. Но все же следовало бы посчитаться с его мнением, задуматься о его самооценках. Ведь мемуарный елей — отнюдь не свидетельство подлинного уважения и понимания. Он мешает и автору и читателю, глушит голос героя. Точно так же преувеличения — а они тоже нередки у В. Пименова — кажутся непомерными. «Читатели всего мира не забывают Бориса Лавренева». «Образ Бориса Годунова был у Берсенева настолько крупным, масштабным, что невольно приходили мысли о типе, о роли, о позиции государственного деятеля всех времен и эпох». Почему, скажем, капитан Берсенев из «Разлома» находится не иначе, как «на вершине мировой цивилизации», почему «премьеры «Разлома» (любые? — В. К.) по-прежнему остаются флагманами в широком театральном море?».

Причина всего этого, мне кажется, в смещении некоторых представлений, а также в недостаточном порой обеспечении слов смыслом.

«Аккуратность Лавренева,—подмечает, например, В. Пименов,—была в чем-то даже старомодно педантичной». В чем же? Оказывается, «он не мог не предупредить, не прийти, никого не поставив в известность, так, что было бы нужно долго ждать, томиться, звонить по десяткам телефонов и, наконец, распускать собрание. Если Борис Андреевич не мог быть, он сообщал заранее, стремясь к предельной точности и определенности».

Узнаем мы также, что Лавренев был «человеком очень жестких правил»: «попоек не любил и богемы избегал». Кроме того, «работу в комиссии по драматургии он понимал по-своему... Для него типичными были два способа работы: письма товарищам и личные беседы». В письмах и беседах он тоже оставался оригиналом: «Разговаривал он со всяким собеседником одинаково внимательно. Он не прерывал разговора телефонными звонками и не отвлекался в сторону». Более того, «никогда не выходил из себя, когда возникали острые ситуации, говорил тихо».

Что до писем Б. Лавренева, то и эта тема развивается несколько неожиданно: «Ответы товарищам он писал дома. Он хорошо печатал на машинке, но личные письма чаще всего писал от руки — такие письма были теплее, слова оказывались сердечнее,—приносил их в правление Союза писателей и любил читать своим товарищам вслух. Он употреблял в письмах шутку, острое слово, пословицы, поговорки. Читая, и сам смеялся, был доволен, если письмо нравилось и нам».

Словом, обыкновенная вежливость, элементарная обязательность, нормальные взаимоотношения подаются, как видим, в книге В. Пименова словно нечто выдающееся, примечательнейшее. То с каким-то «административным» умилением («Не было случая, чтобы он,—говорится уже о Б. Ромашове,—пропустил занятия, не объяснившись, не попросив своевременно его заметить»), то как признак непрменной «внутренней интеллигентности», «высокой интеллигентности».

Иной раз ставит в тупик и сама стилистика автора. Что, например, означает фраза: «Показав пробуждение к революции широких народных масс, Лавренев своей драмой соединил этот класс с проблемой, волновавшей тогда все наше общество,—проблемой интеллигенции в революции?»

Широкие народные массы — не класс, а минимум два класса — пролетариат и крестьянство. Какой класс — «этот»? Как «соединить» класс с проблемой? Когда «тогда» волновала проблема — в дни, к которым относится пьеса, или в дни написания, премьеры?

А. Фадеев, если верить В. Пименову, считал, что «каждый работник правления Союза должен быть творческим организатором масс». Верить, пожалуй, не надо. Значительная часть служащих правления ведет техническую работу. Им не к чему быть «творческими организаторами». И о каких, собственно, «массах» идет речь на сей раз — о массах писателей?

Таких фраз в сравнительно нетолстой книге, к сожалению, немало. И не только таких. Об искусстве и его людях В. Пименов подчас пишет метафорическим языком: «Задорное ароматное вино жизни бродило в нем постоянно, оно и в эту нашу последнюю встречу билось с той же силой», «Автор (имеется в виду А. Софронов и его комедийная дилогия «Стряпуха» и «Стряпуха замужем») вычерпал до дна все сваренное его стряпухой. Поля колхозов и совхозов на комедийном комбайне своей фантазии он уже проехал. Надо ждать новых творческих всходов».

В таких местах ловишь себя на тоске по редакторскому карандашу. Почему бы действительно работникам издательства не помочь автору убрать бьющие в глаза курьезы, не указать на явные неловкости и противоречия? Если межурист на 74-й странице утверждал: в ВТО (Всероссийском театральном обществе) царил атмосфера «доброй сердечности», ведь странно же узнавать на 75-й, что президент ВТО отказал в помощи старому актеру Догмарову, не так ли? Или: сперва описывается светлая мебель в кабинете Б. Лавренева, а потом сообщается, о «высоком диване красного дерева».

Можно было бы, наверное, избавить книгу и от некоторых слишком уж парадоксальных умозаключений, например: «В годы нашей молодости нам были еще недоступны тонкости театрального дела, не очень понятны теоретические и эстетические споры. Все это еще было отдельно от живых наших театральных вкусов и интересов. Восхищаясь «Страхом» Афиногенова во МХАТе и «Егором Булычовым» в Театре имени Вахтангова, мы с не меньшим удо-

вольствием смотрели «Клопа» и «Лес» в театре Мейерхольда... Разность этих явлений не мешала нашему идейно-художественному созреванию». А почему, спрашивается, должна была мешать? И «Мадам Бовари» с Алисой Коонен не дискредитировала Анну Каренину Аллы Тарасовой». А почему должна была дискредитировать?

Опытный и расположенный редактор мог бы по-товарищески, деликатно указать автору и на те места книги, где он, видимо, не замечая этого, впадает в нескромность. Так, мы узнаем, что В. Пименов и Погодина при случае умел поставить на место: «Ты с кем работаешь, говорю, со мной? Гони шептунов в шею. На доверии работаем». А Погодин, бывает, просил: «Знаешь, я в ВПШ не учился и ГИТИС не заканчивал. Смотри сам», «Смотри свежим глазом. Я уже не замечаю недостатков».

В другом месте В. Пименов вспоминает, как одному из писателей, занимавшему руководящий пост в Союзе писателей, он при

случае «напомнил, кто такой Петрарка и о чем он писал Лауре». Узнаем мы и о том, что знакомство с Лаврениным с самого начала было «взаимно уважительным»; что А. Фадеев сообщал В. Пименову, что Лавренин «очень хорошо пишет» о нем; что И. Берсенев просил о встрече: «Хочу ответить душу»; что Б. Ромашов, поершившись, все-таки следовал редакторским указаниям В. Пименова; что А. Таирову В. Пименов «предлагал... начать работу с молодыми драматургами или взять пьесу из проверенного арсенала двадцатых годов», а И. Попову советовал, о чем надо написать следующую драму.

Не сомневаюсь: в большинстве случаев это — чистая правда. Однако на мемуарных страницах выглядит она не вполне уместно и даже комично. Таков уж жанр — обостренно чувствительный ко всему, что автор сообщает о себе.

В. КАРДИН.

★

## КЛАССИК АНГЛИЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Джейн Остин. Гордость и предубеждение. Перевод И. С. Маршак. Издание подготовили Н. М. Демурова, И. С. Маршак, Б. Б. Томашевский. Серия «Литературные памятники». «Наука». М. 1967. 624 стр.

«Если бы я сомневался в правильности какого-нибудь моего поступка, я не стал бы советоваться с Флорбером или с Достоевским. Мнение Балзака или Диккенса имело бы для меня мало значения, упрек Стендаля только убедил бы меня, что я прав; даже суждение Льва Толстого не могло бы меня полностью убедить. Но я бы долго-долго терзался, если бы навлек на себя неодобрение Джейн Остин».

Человек, которому принадлежат эти слова, выражающие необычайно высокое доверие силе морального авторитета писательницы, жившей в английской провинциальной тиши с 1775 по 1817 год, является крупным современным английским литературоведом. И если кто-нибудь скажет, что, быть может, определенную роль в этом суждении играют классовые симпатии их автора к романистке, описывавшей жизнь английского дворянства начала XIX века (слова эти сказаны лордом Дэвидом Сесилом — не только видным литературоведом, но и пономшенным аристократом),

то можно заметить, что слава Джейн Остин в Англии чрезвычайно велика и высокие оценки ее творчества можно без труда найти у исследователей-марксистов — в недавно переведенном у нас «Введении в историю английского романа» А. Кеттла или у известного критика-марксиста Т. А. Джексона.

Признанный классик английской литературы, писательница, чьей биографии и творчеству посвящено в Англии множество книг и статей, Джейн Остин до сих пор почему-то не привлекала к себе внимание в нашей стране, несмотря на давнюю популярность у нас английской литературы. Переводов ее вовсе не было,истики литературы сохраняли почти абсолютное молчание о ней. Любопытно, что по какой-то странной причине в выпущенной у нас в 1943—1958 годах многотомной «Истории английской литературы» для Джейн Остин нашлось место лишь в подстрочном примечании в главе о В. Скотте.

Раскрывая роман Остин, мы попадаем в безвозвратно отошедший в прошлое, замк-

нутый в себе и не знающий никаких вмешательств извне мирок. Это провинциальные английские дворяне, раболовные пасторы, глупые дочки, желающие поскорее и получше выйти замуж, не менее глупые матери, желающие поскорее и получше выдать дочек замуж. Все они обедают, ездят в гости, сплетничают, играют в давно забытые карточные игры — кадрили и казино, танцуют давно забытые танцы — рил и буланже. В романах Остин нет острого сюжета, драматизма, загадок, тайн. Вальтер Скотт, восхищавшийся творчеством Остин, причислял романы Остин к особому виду литературы, непохожему на все то, что появлялось до сих пор, «возникшему почти что в наше время и заимствующему свои персонажи и события прямо из текущей жизни — в большей мере, чем то было разрешено прежними правилами романа».

Но если нет у нее ложной романтики и фальшивых страстей, то у нее не найти и подлинного романтизма и настоящих страстей. И тому и другому она была чужда, не доверяя бесконтрольному произволу страсти и не желая предоставлять поблажек и потворства ее безответственности.

Главные герои «Гордости и предубеждения» — Элизабет и Дарси — преодолевают — Дарси свою гордость, Элизабет свое предубеждение; они обретают счастье не в порыве слепой страсти и не скитаясь по темным закоулкам сердца, а шаг за шагом, понимая, оценив и полюбив друг друга, руководимые разумом — ошибающимся, заблуждающимся, но в конце концов освобождающимся от своих ошибок и торжествующим разумом.

Великие исторические события, происходившие в годы, описанные в романах Остин, — французская революция и наполеоновские войны — никак не замечаются ее героями. Если она упоминает в «Гордости и предубеждении» в двух словах о заключении мира, то это только потому, что после этого два ее персонажа — глупая Лидия и негодяй Уикхем — получили возможность вернуться на родину.

Почти нет в ее произведениях и пейзажей. И тем не менее, отказываясь, казалось бы, от многих преимуществ, писательница блистательно доказывает, что ее изумительное искусство ни в чем этом не нуждается. Если узок мир романов Остин, то всепроникающ ее интеллект, необыкновенно

остра ее ирония. На мир бедных и богатых сквайров, чванных знатных леди, гарнизонных офицеров она проливает волшебный свет. Виртуозный аналитик, она проникает в затаенные уголки человеческой души, вскрывает под видимостью уютта и благополучия абсурд, уродства и извращения, лицемерие, подчинение всех поступков материальной заинтересованности. Совершается художественное чудо. Перед читателем разворачивается веселый и оживленный спектакль, который Остин ведет твердой и уверенной рукой. Но она не становится суровой и циничной. Роман оставляет впечатление легкости и жизнерадостности. В то же время за легким смехом скрыта глубокая серьезность, писательницу характеризует высокое чувство морального долга. Можно понять, почему именно ее Дэвид Сесил предпочел как морального судию плеяде великих всемирных романистов.

Но не надо при этом представлять себе Остин дидактичной. В ее манере нет ничего от поучения, от проповеди. Если даже согласиться с тем, кто в шутку назвал «Гордость и предубеждение» диссертацией на соискание докторской степени по моральной философии, то Остин написала и защитила ее, смеясь и улыбаясь. «Если бы мне предписано было ни разу не облегчить свою душу смехом над собой или другими, я уверена, что меня повесили бы раньше, чем я успела бы кончить первую главу», — признавалась писательница.

Ее искусство не навязчиво, это четкий и сдержанный рисунок. Лишь один раз в «Гордости и предубеждении» она, создавая образ священника Коллинза, отходит от своего легкого нажима и дает более густой и сочный мазок. В результате получился поразительный образ — помесь раболопия, угодничества и самодовольства, находящегося в состоянии постоянного восхищенного самопоения. Дж. Б. Пристли справедливо включил Коллинза наряду с Фальстафом, Микобером и Уэллерами в галерею самых замечательных английских комических характеров.

Перевод романа Джейн Остин принадлежит не профессиональному переводчику, а физику. В 1945 году он, прочтя в первый раз «Гордость и предубеждение», захотел, чтобы Остин заговорила по-русски. Более двадцати лет заняла его работа, и вот наконец первый роман Остин по-

явился в русском переводе. Хотелось бы, чтобы на этом наше знакомство с английской писательницей не остановилось. Творчество Остин содержит, кроме переведенного, еще пять законченных романов.

Заслуживают большого одобрения составленные Н. Демуровой и Б. Томашевским примечания, раскрывающие разнообразные стороны английского быта того вре-

мени. Они опираются во многом на пятитомное издание Остин под редакцией выдающегося «остиноведа» Р. У. Чэпмена и помогают читателю более полно представить многочисленные бытовые упоминания и намеки в романе. Содержательна статья об Остин, принадлежащая Н. Демуровой.

А. НАРКЕВИЧ.

★

### Политика и наука

## ОКТАБРЬ В ПЕТРОГРАДЕ

**Октябрьское вооруженное восстание. Семнадцатый год в Петрограде. В двух книгах. Под редакцией С. Н. Валка, Р. Ш. Ганелина, Е. Я. Зазерского, Н. Е. Носова, В. И. Старцева, Ю. С. Токарева, А. Л. Фраймана (ответственный редактор). «Наука». Л. 1967.**

Когда перед тобой лежат два тома объемом более восьмидесяти печатных листов, а возможность сказать о них ограничена всего несколькими страничками, не приходится даже и думать о систематическом анализе всех проблем, так или иначе затронутых в книге, о разборе ее сильных и слабых сторон. Настоящие заметки не более чем отклик на выход в свет одного из значительных исследований по истории Октября в ряду многочисленных работ, появившихся в связи с пятидесятилетним юбилеем советской власти.

Что же привлекательно в работе? Что заставляет читать ее с неослабевающим интересом?

На каждом произведении всегда лежит своеобразная печать времени. Есть эта «печать», притом в самом хорошем смысле, и на этой работе.

Первое, что бросается в глаза, это огромный объем фактов, привлеченных авторами для исследования. И ведь никак не скажешь, что весь материал совершенно нов. Скорее наоборот. Фундаментальной основой книги прежде всего являются источники, уже так или иначе вводившиеся в научный оборот,— одни на заре советской историографии, но основательно «забытые», другие в последние годы. Но главное не в соотношении известного и нового материала, не в подсчете числа архивных ссылок. Главное в самой методологии его использования.

Что скрывать, наша историческая литература в не столь уж далеком прошлом

подчас грешила вольным обращением с фактами. Авторский коллектив счастливо избежал этой губительной для науки опасности. Сильной стороной книги как раз и является то, что факты выступают перед нами в совокупности и упрямой доказательности. Одним из показателей объема фактического материала является то, что на страницах книги «живет» около тысячи имен участников событий.

Двухтомный труд является в определенной степени итоговим не только в том смысле, что он опирается на достижения всей нашей историографии за пятьдесят лет, и в частности на работы ленинградских историков, особенно много сделавших за последнее десятилетие в монографической разработке темы Октябрьской революции, но и потому, что он отражает возросший уровень и зрелость советской исторической науки в целом. Указанные обстоятельства определили глубину теоретического анализа, новизну и нешаблонность подходов к ряду сложных, а иногда и спорных проблем. Обратимся лишь к некоторым примерам.

Генеральной темой, проходящей через всю работу, является гема народа в революции. Сама по себе эта тема не нова. В нашей литературе давно и безраздельно господствует марксистский взгляд, признающий за народными массами решающую роль творцов истории, их способность к самостоятельному революционному творчеству. Однако догматические концепции и схемы наложили в свое время определенный

отпечаток не столько, пожалуй, на общую постановку этой проблемы, сколько на ее конкретно-историческое воплощение. Народные массы выступали порой не в качестве самостоятельных творцов истории, а лишь в виде материала, объекта, подлежащего направлению на тот или иной путь. Рецензируемая книга свободна от этого недостатка.

Внимательно и скрупулезно прослеживают авторы развитие движения масс от глухого и неосознанного брожения, вызванного военными невзгодами и лишениями, до февральского революционного взрыва, в котором «элемент стихийности был выражен весьма ярко», а затем и до высокосоциальной революционной деятельности пролетарских и солдатско-матросских масс осенью 1917 года.

В январе 1905 года, в самом начале первой русской революции, В. И. Ленин писал о том, что на политическую сцену выступает в качестве активного борца масса, и «эта масса учится на практике, у всех перед глазами делая пробные шаги, ощупывая путь, намечая задачи, проверяя себя и теории всех своих идеологов. Эта масса делает героические усилия подняться на высоту навязанных ей историей гигантских мировых задач...»<sup>1</sup>. То же самое происходило и в 1917 году. Только практическая проверка себя и всех своих идеологов показала массам правоту большевистских идей и лозунгов. И вот именно потому, что этот многообразный процесс показан во всей его сложности, конкретности и жизненной противоречивости, можно утверждать, что ленинградские историки сделали важный шаг вперед в деле изучения исторического опыта Великого Октября.

В нашей исторической литературе широко распространено мнение, объясняющее мелкобуржуазную настроенность и соглашательскую политику Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов до осени 1917 года преобладанием в нем рабочих с мелких предприятий, искусственно созданным эсеро-меньшевистским руководством Совета. Авторы книги отказываются от этой точки зрения. Факты неопровержимо доказывают, что большинство депутатов представляли крупные и средние предприятия и что именно они оказались под преоб-

ладающим влиянием мелкобуржуазных политиков. Это в значительной мере объяснялось изменением во время войны социального состава питерского пролетариата, численность которого резко возросла за счет крестьян, ремесленников, мелких торговцев и т. д.

Центром книги являются X и XI главы, посвященные подготовке восстания и самому восстанию. Сразу становится заметным, как авторы от сравнительно крупного плана, которым они пользовались раньше, переходят к детальнейшему анализу развития событий, вводя читателя в необычайно сложную обстановку последних недель кануна восстания и, наконец, дней, «которые потрясли мир».

Хорошо известны сентябрьско-октябрьские письма и статьи В. И. Ленина, в которых он, оценивая быстро меняющуюся обстановку, неоднократно критиковал товарищей, не всегда ясно представлявших себе характер и политические последствия этих изменений. Между тем в нашей литературе образовался некий «вакуум» между остротой ленинской критики и анализом фактического материала, касающегося выработки партийной позиции и политики в связи с Демократическим совещанием, созданием Предпарламента, созывом I съезда Советов и т. д. В книге этот «вакуум» весьма удачно заполнен.

В этой связи хотелось бы сказать еще об одной генеральной теме книги. Это — Ленин. И дело не только и даже не столько в том, что имя его часто упоминается, а высказывания неоднократно цитируются. Все это мы найдем и во многих других книгах. Главное в том, что Ленин, его мысль показаны в постоянном движении. Само развитие событий совсем не выглядит как нечто заранее данное, так сказать, «запрограммированное», а как творческие поиски, в которых теоретические представления не просто «прикладывались» к конкретной действительности, а корректировались ею, открывая новые, неизвестные ранее пути к решению поставленных самой историей задач. Вот один из примеров.

Как известно, мысль о переходном характере свершившейся в России революции была сформулирована В. И. Лениным уже в начале марта 1917 года, в первом «письме из далека». В мартовских же работах он указал на Советы как на органы, к которым должна перейти власть. Но, как пра-

<sup>1</sup> В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 9, стр. 208.



вильно отмечают авторы, в этот момент Ленин полагал, что переход власти к Советам должен совершиться путем вооруженного свержения Временного правительства. Прошлый исторический опыт как будто не давал оснований для других предположений. Имевшаяся же в распоряжении Ленина отрывочная и скудная информация не позволяла ему сделать какие-либо другие выводы. И только по возвращении в Россию, о чем он сам говорил, для него стала очевидной иная, объективно существовавшая возможность мирного развития революции и вытекающей отсюда новой тактики, что и было им сформулировано в Апрельских тезисах и других выступлениях и работах этого периода.

День 24 октября начался попыткой Керенского закрыть большевистскую газету «Рабочий путь» (так тогда называлась «Правда») — правительство решило опередить события и нанести удар революционным силам. «Большевики встали перед выбором, — говорится в книге, — или немедленно организовать отпор Временному правительству, или подчиниться и тем поставить под угрозу подготовлявшееся так долго восстание». Однако действия ЦК и Военно-революционного комитета на протяжении этого дня ограничивались скорее оборонительно-мобилизационными мерами, чем организацией решительного наступления. И вот в этих-то условиях было написано знаменитое письмо В. И. Ленина, в котором говорилось: «Яснее ясного, что теперь, уже поистине, промедление в восстании смерти подобно»<sup>1</sup>.

Как правильно заметил в свое время исследователь истории Октябрьской революции Е. Н. Городецкий, этому ленинскому письму долгое время не уделялось должного внимания: если оно и цитировалось, то обычно без анализа его содержа-

ния и причин появления. Когда читаешь книгу, становится совершенно понятным и беспокойство Ленина, и страстный тон его письма: практические руководители восстания колебались и могли упустить близкую победу. И вновь перед нами встает фигура Ленина, мыслителя и бойца, с поразительной ясностью видевшего поле сражения и верный путь к победе на самых крутых поворотах истории.

Как и во всякой работе, не все в книге совершенно бесспорно и доказательно, есть в ней и явные пробелы. Ну вот, скажем, тема Петроград и провинция. Заключает книгу глава «Помощь грядущихся Петрограда в установлении Советской власти на местах». Но разве роль столицы ограничивалась только этим? Проблема взаимодействия и взаимовлияния центра и мест несравненно сложнее.

До сих пор продолжается спор о времени начала Октябрьского восстания. Одни историки утверждают, что восстание началось 24 утром, сразу после налета юнкеров на «Рабочий путь», другие полагают, что это произошло днем, наконец, третьи относят момент начала восстания к вечеру того же дня. Весь материал, приведенный в книге, склоняет читателя к последней точке зрения, но нигде эта точка зрения не сформулирована достаточно определенно.

Впрочем, и эти, и некоторые другие недочеты едва ли можно ставить в серьезную вину авторскому коллективу.

Время и само развитие науки выдвигают и будут выдвигать новые проблемы, связанные с историей Октября и его поистине неисчерпаемым опытом. Эти проблемы, рожденные новым, более глубоким взглядом на прошлое, еще предстоит решать советским историкам.

**А. ГРУНТ,**

*кандидат исторических наук.*



## ПУТЬ ТРУДНЫЙ И СЛАВНЫЙ

**Первые женщины-инженеры. Сборник воспоминаний. Лениздат. 1967. 219 стр.**

«**М**ожет ли женщина быть инженером?» Сама постановка такого вопроса сегодня представляется смехотворной. Однако еще в начале века вопрос этот вызывал

улыбку, так сказать, с обратным знаком. Особенно дикой казалась мысль о женщинах-архитекторах, ибо, как утверждали противники женского равноправия, «взбираться по лестнице при длинных юбках невозможно». Женских высших технических учебных заведений не существовало, а в

<sup>1</sup> В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 34, стр. 435.

мужские, как известно, женщин не принимали. И все же казавшаяся непреодолимой стена преубеждений была разрушена.

В Музее истории Ленинграда недавно торжественно отмечалось столетие со дня рождения Прасковьи Ариян, основательницы первого в мире высшего технического учебного заведения для женщин. Вслед за этим юбилеем Лениздат выпустил сборник волнующих воспоминаний «политехничек» — «Первые женщины-инженеры».

Еще в 1898 году выпускница Бестужевских курсов Прасковья Ариян выступила с предложением об устройстве чертежных курсов для женщин. Но в те годы даже такая скромная мысль показалась несуразной. Несмотря на это, тремя годами позже П. Н. Ариян при участии двух видных профессоров Института инженеров путей сообщения Н. А. Белелюбского и В. И. Курдюмова разрабатывает проект и программу «Технико-графического института для женщин». Русское техническое общество, где она выступила со своим предложением, одобрило создание подобного института, но средств для осуществления проекта предоставить, к сожалению, не смогло.

Тогда П. Н. Ариян организует «Общество по изысканию средств для технического образования женщин». В 1905 году министерство народного просвещения утвердило устав «Общества» и «Положение о СПБ. женских политехнических курсах». Срок обучения в них был предусмотрен пятилетний, а программа полностью совпадала с программой соответствующих мужских высших технических учебных заведений.

П. Н. Ариян удалось собрать необходимые средства. 15 января 1906 года курсы были открыты. Так было создано первое в мире высшее техническое учебное заведение для женщин.

Как известно, уровень любого вуза определяется квалификацией преподавательского состава.

На «Женских политехнических курсах» занятия вели академики Б. Г. Галеркин, Г. П. Передерий, В. Ф. Миткевич, А. А. Байков, А. Е. Порай-Кошиц, академики архитектуры А. И. Гегелло, Л. Н. Бенуа, Ф. И. Лидваль, И. А. Фомин, В. А. Покровский, изобретатель электронного телевидения профессор Б. Л. Розинг, изобретатель метода получения синтетического каучука из нефти профессор Б. В. Бызов, выдающийся мостостроитель профессор Н. А. Бе-

лелюбский и многие другие крупнейшие ученые, оставившие неизгладимый след в истории отечественной науки. Вполне естественно, что студентки «Женских политехнических курсов» получали отличную профессиональную подготовку и повсюду ценились как высококвалифицированные специалисты.

В 1915 году курсы были преобразованы в «Петроградский женский политехнический институт», который в 1924 году вошел в Ленинградский политехнический институт имени М. И. Калинина.

Нет буквально ни одной области народного хозяйства нашей родины, где бы не работали бывшие «политехнички». В сборнике, выпущенном Лениздатом, женщины-инженеры увлекательно рассказывают о своем тернистом трудовом пути в царской России, о славных своих делах в годы первых пятилеток. В их рассказах воссоздаются живые черты рождения первенца ГОЭЛРО — Волховстроя, героические будни крупнейших строек в Средней Азии и Закавказье, на Урале и Дальнем Востоке.

Заметный вклад внесли женщины-инженеры в решение многих важнейших для страны научных и технических проблем. Они участвовали в проектировании и строительстве гидроэлектростанций на Днепре, Волге, Свири и Ангаре, гигантов советской металлургии (Магнитогорск, Тагил, Азов, Запорожье, Кривой Рог, Кузнецк), крупнейших горнорудных предприятий (Чиатурская, Золотушинская, Лениногорская, Каджаранская и другие обогатительные фабрики), химических комбинатов (Березники, Соликамск, Дзержинск), высоковольтных линий и ирригационных систем, портов и мостов, тоннелей и метрополитенов...

Первая в мире женщина-электротехник, кандидат технических наук А. И. Соколова-Маренниа после Октябрьской революции возглавила лабораторию технологии электроизмерительных приборов Главной палаты мер и весов. Под ее руководством были сконструированы новейшие электроизмерительные приборы, необходимые для научно-исследовательских работ. Окончив затем и медицинский институт, Александра Ивановна провела ценные электрометрические исследования нервной системы и потенциалов головного мозга при различных заболеваниях.

Любопытный случай произошел с ней в

самом начале деятельности. Получив диплом, Александра Ивановна поехала в Соединенные Штаты изучать передовую технику. Но там, оказалось, не только не слышали о существовании женщин-инженеров, но даже в мастерские женщин на работу не допускали. Александре Ивановне пришлось переодеться мужчиной: только в этом облике она смогла поступить на завод.

Назовем еще несколько имен.

По проекту и под руководством инженера-архитектора Т. Д. Каценеленбоген выстроен санаторий «Новые Сочи». Инженер-механик Т. А. Колпакова была начальником «Дальверзинстроя» — одной из первых ирригационных строек Средней Азии — и свыше тридцати лет заведует кафедрой в Ташкентском институте инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства. Заслуженный деятель науки Грузинской ССР профессор Н. С. Цицишвили — автор многих ценных работ по органической химии. Много лет возглавляла главную лабораторию «Азнефти» «политехника» первого выпуска — Э. Д. Степанова; инженер В. И. Мылова наладила производство фосфора из хибинских апатитов, а доцент О. Е. Бугаева стала автором проектов ряда важных гидротехнических тоннелей и монографий по их проектированию...

Всего несколько имен из десятков и сотен. К сожалению, в небольшой сборник вошли воспоминания лишь немногих замечательных женщин-инженеров, а большинство из них даже не упоминается на страницах книги.

Крайне скупо рассказано и об основательнице первого в мире женского вуза — П. Н. Ариян, которая, кстати сказать, помимо этого главного дела своей жизни, совершала и немало других добрых дел: в 1906 году основала бесплатные «Вечерние курсы для рабочих за Нарвской заставой», просуществовавшие около двадцати лет; семнадцать лет, с 1899 по 1915 год, составляла и редактировала «первый Женский календарь»; в этом ежегоднике, неоднократно подвергавшемся цензурным преследованиям, печатались А. М. Горький, А. И. Куприн, И. Е. Репин, В. В. Стасов, В. Н. Фигнер, В. М. Бехтерев и другие видные деятели той эпохи; как член подпольного Красного Креста, вела активную работу по оказанию помощи политическим заключенным. В ленинградской газете «Смена» кандидат технических наук В. Узиловский справедливо отмечает: «О Прасковье Ариян должна быть написана отдельная книга, которая в то же время будет книгой о многих выдающихся, известных и безызвестных женщинах России».

О необходимости подобной монографии, а также о важности выпуска нового, расширенного издания уже разошедшегося сборника воспоминаний настойчиво говорилось и на торжественном заседании, посвященном шестидесятилетию основания «Женских политехнических курсов». Хотелось присоединиться к этим полезным пожеланиям.

*Профессор В. РАЗУМОВСКИЙ.*

★

## ИСТОРИЯ МЫСЛИ — ИСТОРИЯ МУЖЕСТВА

**Б. Данэм. Герои и еретики. Политическая история западной мысли. Сокращенный перевод с английского. «Прогресс». М. 1967. 504 стр.**

Перед нами новая книга прогрессивного американского философа Бэрроуза Данэма. В предисловии автор обещает рассказать все, что он знает об истории западной философии. Однако книгу нельзя считать учебным пособием: в ней нет систематического изложения идей и истории их развития. Идеологическую жизнь Данэм рассматривает под одним углом зрения — как постоянную борьбу между ортодоксальностью и ересью (употребляя слово «ересь» для обозначения любых учений,

отколовшихся от официальных доктрин, независимо от того, является ли доктрина религиозной или нет). Подход односторонен, но необычен и интересен, и нам не хочется упрекать автора за него, тем более что в книгах, систематически излагающих историю философии, нет недостатка.

Естественно, что отбор героев определяется взглядом автора на исторический процесс. Мы не всегда можем согласиться с этим отбором. Истории христианства Данэм посвящает больше половины

книги, истории же становления социалистических идей и материалистической философии уделено весьма мало внимания. Одну перечисление имен деятелей церкви, о которых рассказывает Данэм, заняло бы полстраницы, но читатель напрасно будет искать в книге имена Т. Мора, Сен-Симона, Л. Фейербаха, да и марксизму посвящено лишь несколько страниц. Данэм не владеет марксистским методом анализа; будучи в основном материалистом, он все же испытывает сильное влияние идеалистической буржуазной историографии.

Об этом особенно нужно помнить, читая первую главу, посвященную общему рассмотрению проблемы взаимоотношений человека и организации. Данэм основывается, как правило, на материалах прошлого, а вся история человечества от зарождения классов до начала XX века — это история эксплуататорских обществ, закономерности которой неприменимы к обществу, свободному от социального неравенства и несправедливости. Поэтому мы не можем признать универсальную применимость концепции Данэма. Но по отношению к эксплуататорским режимам критические наблюдения американского философа справедливости и представляют для нас несомненный интерес.

По Данэму, основной целью руководителей организации в рассматриваемых им обществах является сохранение единства этой организации. Поэтому руководство часто оказывается перед необходимостью подавления новых идеологических течений, угрожающих единству организации или личной власти ее руководителей. В связи с этим, отмечает Данэм, возникает двойная классификация доктрин: с одной стороны, они могут быть истинными или ложными, с другой — ортодоксальными, то есть способствующими единству, и еретическими, то есть раскольническими. Естественно, что руководители организаций во все времена предпочитали ортодоксальные взгляды, независимо от того, истинные они или ложные, поскольку в противном случае было бы поставлено под угрозу. «Вель если выяснится, что данная организация проповедовала какую-либо ложную доктрину, то вполне можно будет допустить, что она способна провозгласить и другие, столь же неправильные положения». В то же время «наука и философия, которые,

как предполагается, ищут истинных и только истинных принципов, развиваются своим путем и, как правило, резко расходятся с принятыми обществом взглядами».

Возможность существования организаций, «настолько гибких в вопросах единства и с таким искусным руководством, что ошибочные положения могут быть устранены из их идеологии без особого риска для их будущего», является для Данэма пока только теоретической. «В организациях существует ложное мнение, — пишет он, — будто бы иерархическая верхушка всегда состоит из людей, обладающих глубокими познаниями и особыми талантами. Иногда так и бывает; но если бы нам потребовалось выявить один, самый характерный для представителей бюрократической иерархии талант, то мы могли бы сказать, что это «способность прилипнуть». Они попадают в руководство и там застревают... Стремление к знанию у руководителей всегда сковано опасением узнать нечто невыгодное для организации. Такое опасение в меньшей степени присуще рядовым членам организации».

Так обосновывает Данэм неизбежность противоречия между ортодоксальностью и истиной, которое в условиях эксплуататорского общества превращается в резкий конфликт между людьми — защитниками ортодоксальности и открывателями истины, конфликт, обычно выражавшийся в гонениях на прогрессивную интеллигенцию. Власти преследовали не только таких интеллигентов, как Маркс и Ленин, революционность которых была бесспорной, но и Сократа, Декарта и даже Коперника и Галилея, никогда не интересовавшихся политикой. Автор напоминает при этом, что в борьбе с «еретиками» власти, как правило, пытались опереться на широкие массы, эксплуатируя их неразвитость и предрассудки, и что попытки эти, к несчастью, нередко оказывались успешными, поскольку, как пишет Данэм, «убедить людей отказаться от традиционных (хотя и ошибочных) идей — это все равно, что уговорить их подвергнуться хирургической операции». Хотя в этом высказывании и чувствуется недооценка народных масс, все же несомненно, что если бы новые идеи сразу получали их поддержку, то не было бы и самой борьбы идей: новое побеждало бы, едва появившись на свет.

Глава «Человек и организация», где

развернуты все эти мысли, служит фактически вступлением к теме «героев и еретиков», многие из которых пали жертвами «людей, не желавших видеть народ свободным». Один из первых примеров, который приводит Данэм,— судьба греческого материалиста Анаксагора (V век до н. э.), которого за его взгляды судили и изгнали из Афин, причем его обвиняли не только в безбожии, но и в «медизме» — сочувствии врагу Афин Персии. Такого типа обвинения, замечает Данэм по этому поводу, уже стали классическими. «Политическое преследование оппозиционно настроенных лиц при малейшем подозрении, что они создают раскол и становятся поэтому опасными, начинается обычно с обвинения, резко выделяющего их из среды остальных граждан. Это обвинение всегда связано с вопросами морали. Намеченного в качестве жертвы человека надо изобразить так, как будто он говорит и действует вразрез с общепринятой моралью и его поведение создает серьезнейшую угрозу для безопасности государства... Он сразу же вынужден защищаться и, вместо того чтобы отстаивать правоту своих подлинных взглядов, тратит силы на то, чтобы доказать, что его взгляды совсем не совпадают с теми, какие приписывает ему правительство».

Наиболее яркое воплощение этот способ расправы нашел в процессе Сократа (399 год до н. э.). Против него были выдвинуты обвинения в подрыве традиционной религии и развращении афинской молодежи. Сократ легко показал нелепость обвинений, но судьи не могли простить ему моральное превосходство и «высокомерие». Сократ держался уверенно, упрекал греков в нежелании бороться со своим невежеством. Если вспомнить, что в дальнейшем христианская церковь считала «гордыню» величайшим из грехов, что сам Данэм во времена маккартизма был обвинен в «интеллектуальном высокомерии» и в 1953 году уволен из университета, то становится ясно, что обвинения такого рода — лишь прием для расправы с инакомыслящими. «Представители властей называют вас «высокомерным», — пишет Данэм, — если вы активно выступаете в поддержку мнения, отличного от их собственного». Обвинение в высокомерии, каким бы вздорным оно ни было, имеет еще ту силу, что резко настраивает общественное мнение против обвиняемого. Эта чисто психологическая

причина и привела Сократа к смертному приговору.

Однако желаемого эффекта такая расправа не достигает, и Сократ отлично понимал это: «...Больше появится у вас обличителей — я до сих пор их сдерживал. Они будут тем тягостней, чем они моложе, и вы будете еще больше негодовать. В самом деле, если вы думаете, что, умерщвляя людей, вы заставите их не порицать вас за то, что вы живете неправильно, — то вы заблуждаетесь. Такой способ самозащиты и не вполне надежен, и нехорош, а вот вам способ и самый хороший, и самый легкий: не затыкать рта другим, а самим стараться быть как можно лучше» (Платон, «Избранные диалоги»). История эксплуататорских обществ постоянно подтверждала это прощательство Сократа.

Тут мы подошли к одной идее, которая, видимо, привлекает Данэма, — к идее смерти во имя спасения человечества. Социальные изменения неизбежны, но они не происходят сами собой: за них надо бороться. Особенно трудно бывает тем, кто первым вступает в борьбу. Еще нет развитой оппозиционной организации, способной обеспечить своим членам если не защиту жизни и свободы, то хотя бы моральную поддержку. В таких условиях еретика часто остается только один выбор — отказ от своих взглядов или смерть (не всегда физическая, иногда гражданская). Отречение резко снижает общественное значение его взглядов. Мученичество же, как предсказывал Сократ, лишь придает еретическим воззрениям моральный вес, убеждает массы в их истинности, вызывает к жизни появлению все большего числа обличителей. Так что можно сказать, что герой, жертвуя собой, искупает один из величайших грехов общества — грех равнодушия и гражданской пассивности — и пробуждает общественное движение. С горечью замечает Данэм, что «с помощью вязанки хвороста и веревки можно выяснить, сколько людей достигло морального совершенства и провозглашало истину».

Нас не может смущать, что Сократ, Жанна д'Арк и многие другие великие еретики действовали именем бога. Во времена великих социальных перемен, пишет Данэм, «люди, совершающие эти перемены, чувствуют, что им помогает, их поддерживает и даже побуждает к действию какая-то неведомая им сила, которая может казаться

им сверхъестественной... На самом деле эта сила представляет собой, конечно, объединенное общими усилиями и общими интересами социальное движение масс; и это движение можно с полным основанием назвать «историей».

В средневековье идеологическая жизнь была весьма тесно связана с религией, и интерес Данэма к истории религиозной идеологии понятен. Однако эту историю он порой излагает не как ученый, а скорее как художник, дающий полную волю своей творческой фантазии. Например, он высказывает оригинальную точку зрения, что Иисус был вождем вооруженного национально-освободительного движения. Столь фантастическое толкование Священного писания заставляет вспомнить замечательное «Евангелие от М. Булгакова» в романе «Мастер и Маргарита». Но что можно писателю, того нельзя ученому. «Евангелие от Данэма» не подтверждается историческими данными. Кстати, Данэм совершенно игнорирует исследования, связанные с одной из крупнейших археологических находок нашего времени — рукописями, обнаруженными в районе Мертвого моря. Между тем любые современные исследования по истории раннего христианства, несомненно, должны учитывать эти работы.

Историю христианства Данэм рассматривает под углом зрения основных идей своей книги. Сначала христиане подвергались гонениям, но затем наступил момент, когда в Римской империи не оказалось иной объединяющей силы, столь же массовой и авторитетной, и это вынудило императора Константина объявить христианство государственной религией. С этого момента началось превращение христианского движения в свою противоположность — переход от демократического учения к авторитарной доктрине со всеми присущими такой доктрине средствами подавления.

Наиболее жутким из этих средств была средневековая инквизиция, сфера интересов которой «охватывала все поле деятельности и все мировоззрение человека» и которая стремилась начисто лишить его способности самостоятельно мыслить. Выразительно описывая жестокий и безнравственный террор инквизиции, когда всячески поощрялись доносы и лжесвидетельство и «когда не властям приходилось доказывать вину привлеченного к суду человека, а, наоборот, он сам должен был доказать свою

невиновность», Данэм замечает, что подобные средневековые методы воздействия на инакомыслящих и до сих пор находят применение — в современной Америке в деятельности сенатских комиссий.

История инквизиции — для Данэма вступление к главе о Жанне д'Арк, одной из самых любимых его героинь. Вообще у него в истории есть любимчики (эта эмоциональная окраска очень привлекает в книге), но Жанну он, видимо, любит больше всех. Удивляясь такому чуду, как спасение Франции неграмотной семнадцатилетней крестьянской девушкой, Данэм все же остается реалистом и понимает, что победу Жанне принесла очень точная оценка политической обстановки и непоколебимая вера в правоту своих идей.

Жанна погибла 30 мая 1431 года, а в 1444 году родился Боттичелли, который, по мнению автора, «не представлял собой все Возрождение, но... как никто другой, в полной мере выражал его сущность» (Микеланджело, Леонардо да Винчи Данэм даже не упоминает). В 1517 году Лютер вывесил свои знаменитые девятнадцать тезисов; началась эпоха Реформации. Философской основой единства эпох Возрождения и Реформации был, по мнению Данэма, «тот факт, что обе они вновь открыли ценность человека как индивидуальной личности... Обе они способствовали подъему класса буржуазии и разложению феодализма». Эти эпохи подготовили развитие и победу новой ереси — науки.

Создателем научного метода познания Данэм считает Декарта, после которого «научный метод как способ определения истины заменил официальные высказывания». (Видимо, именно поэтому спустя три века после смерти Декарта петэновский министр Боннар призывал свергнуть его и «вышвырнуть на свалку».) Вслед за Декартом суверенность человеческого разума, значимость мнений каждого человека отстаивал и Спиноза. «Можно ли выдумать большее зло для государства, — восклицал он, — чем то, что честных людей отправляют как злодеев в изгнание потому, что они иначе думают и не умеют притворяться?» Одним из таких людей, подвергавшихся преследованию за свои взгляды, был сам Спиноза.

Логическим продолжением и наиболее ярким воплощением новой, материалистической философии явился марксизм. Данэм

симпатизирует марксизму. Он понимает, что для капитализма нет более страшной ереси, чем марксизм, и считает, что социализм имеет большое будущее: «Привлекательность социализма для новых стран совершенно очевидна: они не имеют других способов создания независимой экономики». Он желает социализма и для Америки. И все-таки несколько страниц, посвященных марксизму, представляются схематичными, поверхностными. Склонность Данэма к широким обобщениям, столь привлекающая читателя в других частях книги, является, вероятно, причиной недостаточно конкретного подхода к современным проблемам. Может быть, сознавая это, Данэм почти не обращается к современности.

Одно из немногих исключений относится к нашей стране, и здесь поверхностность подхода и просто недостаточность знаний автора особенно чувствуются. Ленинскую идею о возможности построения социализма в одной стране Данэм приписывает Сталину. История нашей революции, изложенная им в трех-четыре абзацах, выглядит как схема, не основанная на серьезном изучении. Советская страна, пишет Данэм, «была окружена врагами, которые грозили ей новым нападением. В нее проникали агенты этих врагов. И среди ее собственных лидеров была самая значительная со времен французской революции группа лиц, несогласная между собой в области идеологии. Возможность и самая практика «чисток» не могут быть поняты, если не

уяснить себе, что в условиях угрожавшей тогда опасности извне и чрезвычайных событий внутри страны раскольников всегда можно было подозревать — независимо от того, виновны они фактически или нет, — в сговоре с реальным и мощным врагом». Столь примитивный анализ большого и трудного пути, пройденного нашей страной, несомненно, удивит советского читателя, который с сожалением отметит, в частности, что здесь автору почему-то изменил присущий ему интерес к судьбам отдельных людей. Если бы американский философ ознакомился с известными всему миру материалами XX и последующих съездов КПСС, он, конечно, лучше бы понял события, о которых пишет. Но Данэм даже не упоминает об этих съездах...

В целом же книга Данэма будет встречена читателями с большим интересом. Помимо свежих мыслей и яркости изложения, этому способствует также оптимизм Данэма. «Вся современная, новая история... — пишет он, — представляет собой летопись катастрофических поражений правополитического курса... Почти пять сотен лет народной борьбы — постоянной, упорной и решительной — дают нам право сделать вывод, что, если человеческая раса не будет уничтожена или искалечена, управлять нашей планетой будут сами народы, и никто не сможет угнетать их или господствовать над ними».

**Э. РАБИНОВИЧ.**



## ИСКУССТВО ПОПУЛЯРИЗАЦИИ

По страницам журнала «Знание — сила»

«Умственным аппетитом» называл К. А. Тимирязев неукротимое стремление людей к знаниям. Удовлетворить этот аппетит с каждым годом становится все труднее.

Запасы «умственной пищи» накапливаются безгранично, грандиозный поток разнообразнейшей и сложнейшей научной информации наводняет и затопляет мир.

Популяризация знаний — один из эффективных способов сделать их достоянием возможно более широкого круга людей. Недаром еще А. И. Герцен задавался вопросом: «Для кого же наука, если люди, ее любящие, стремящиеся к ней, не понимают

ее? Стало быть, она, как алхимия, существует только для адептов, имеющих ключ к ее иероглифическому языку?»

Читательский спрос на научно-популярную литературу огромен. Эта литература составляет более половины названий всех выходящих у нас книг. Особенно важную роль играют научно-популярные журналы. Их немного. Но как раз в них создается стиль советской научно-популярной литературы, в них зарождаются многие лучшие произведения этого жанра.

В последние годы все более видное место среди таких журналов начинает занимать «Знание — сила». Журнал этот немолодой:

он насчитывает уже несколько десятков лет существования. Однако лишь сравнительно недавно он приобрел свое лицо, объединив значительный коллектив авторов, которых сплотила общность взглядов на задачи и особенности научной популяризации. Журнал стремится давать обширную и понятную научную информацию, воспитывать и прививать читателю любовь к знаниям, развивать в нем самостоятельность мышления.

Первым и непосредственным впечатлением от комплекта «Знание — сила» является необыкновенная широта круга вопросов, освещаемых на его страницах. Кажется, нет такой отрасли знания (особенно в мире естественных и точных наук), которая не была бы здесь представлена в виде статьи, заметки или хотя бы короткого сообщения. Правда, иногда создается впечатление, что при отборе материала редакция стремится не к систематическому освещению той или иной области науки, а руководствуется критерием: написано интересно — значит, стоит опубликовать. Ну что ж, грех простительный, тем более что таким важнейшим наукам, как, например, биология, уделяется постоянное, сосредоточенное внимание.

К тому же, листая номер за номером, мы вскоре начинаем понимать, что за внешней свободой и «неорганизованностью» материала стоит тщательно обдуманый план, что редакция сознательно уделяет больше всего внимания именно тем проблемам, которые сейчас являются ключевыми в развитии наук. Из номера в номер в журнале говорится о новейших достижениях науки и техники у нас и за рубежом.

У нас не существует «теории популяризации», наше литературоведение и литературная критика оставляют без внимания вопросы, связанные с этим распространеннейшим родом литературы<sup>1</sup>. А вопросов таких много, и ответы на них часто совершенно полярны. Кто является центральной фигурой в научной популяризации — ученый ли, стремящийся общедоступно изложить открытие, свое или своих коллег, или же литератор, рассказывающий о научном открытии по законам литературы? Что важ-

нее: получение научной информации «из первых рук» или же мастерский перевод с языка науки на язык литературный, понятный всем и каждому?

Проще всего было бы сказать, что каждому читателю свойственно искать ответ на эти вопросы соответственно своим запросам, вкусам, образованию и что должны существовать разные популярные журналы, рассчитанные на разного читателя. Однако среди научно-популярных журналов, издающихся в нашей стране, лишь «Юный техник» может считаться сколько-нибудь приспособленным к определенному типу читателя. Остальные — «Природа», «Наука и жизнь», «Техника—молодежи», как и рассматриваемый нами журнал «Знание—сила», — читаются всеми, кто интересуется наукой, вне зависимости от возраста и профессии.

Из всех научно-популярных журналов «Знание—сила», пожалуй, наиболее литературный. Притом журнал стремится избежать плакатной информационности, той досадной «зазывальности», которая так часто присуща научной популяризации. Авторы «Знание — сила», заглядывая в глубь научного явления, стараются найти емкие образы, яркие сравнения, чтобы передать читателю — без помощи формул и специальной терминологии — достижения новейших наук: бионики, молекулярной биологии, кибернетики, радиоастрономии. Очерки таких литераторов, как Г. Анфилов, Г. Зеленко, Р. Подольный, Л. Католин, К. Левитин, представляют значительное и интересное явление в советской научной популяризации. Недаром на страницах журнала «Знание—сила» родились многие книги, вышедшие впоследствии в лучшей нашей научно-популярной серии «Эврика», выпускаемой издательством «Молодая гвардия».

В то же время журнал привлекает в свой авторский актив не только профессиональных литераторов, но и ученых Большой интерес, в частности, вызывает опубликование мемуаров ученых. Особенно следует отметить воспоминания действительного члена Академии медицинских наук И. А. Кассирского о его участии в первой мировой и в гражданской войнах (№№ 5, 6, 1967), а также члена-корреспондента АН СССР Л. А. Люстерника о «московской математической школе» (№ 9, 1967). Живые и остроумные воспоминания Л. А. Люстер-

<sup>1</sup> Мы можем назвать лишь две книги: Л. Разгона «Волшебство популяризатора» и А. Ивича «Поэзия науки», в которых анализируется литературное мастерство популяризаторов.



ника воссоздают картины университетской жизни в Москве и Петрограде в годы становления советской власти, автор рисует и запоминающиеся портреты В. А. Стеклова, Н. Е. Жуковского, Н. Н. Лузина, И. И. Каблукова и других крупных ученых.

Перевод с языка науки на язык литературы в журнале «Знание—сила» обычно происходит без ущерба научному постижению. Заслуга не малая!

Вот две статьи, темы которых кажутся недоступными живому литературному изложению: «Древесин» в ореоле» и «Ода о сапожнике». Столь «прозаические» темы не обещают как будто завоевать интерес читателя, и, кстати, находясь они в опасном соседстве в одном номере журнала (№ 3, 1968). Ю. Медведев — автор статьи «Древесин» в ореоле» — посвящает читателя в некоторые тайны химической обработки древесины, превращения ее в лигнин и в производные из него продукты. Автор ведет рассказ просто и непосредственно, отчего «тайны» химического процесса совсем не пугают своей сложностью, становятся легко понятными, общедоступными. Автор другой статьи, М. Константиновский, в шутовском тоне касается серьезных вопросов в сфере бытового обслуживания, сообщает о новейших механизированных методах в обувном деле. И опять-таки естественностью и свободой изложения автор умеет расположить к себе читателя, заинтересовать его «скучной» темой. Очерк остро публицистичен, без налета поверхностной «газетности».

Вообще журнал смело вторгается в жизнь. Характерна в этом отношении подборка о развитии туризма. Проблема рассматривается в несколько неожиданном аспекте. Год от года бурно развивающийся туризм — не только положительное явление, но имеет и свою теневую сторону. Журнал приводит факты огромного ущерба, который наносится флоре и фауне в местах, наиболее посещаемых туристами. На дорогах ФРГ жертвами автотуризма в течение года стали 120 тысяч зайцев, 48 тысяч косуль, множество оленей и ланей. Неутешительны данные и у нас. Вот только один пример. Обследование Клязьминского водохранилища в Подмосковье показало, что лишь в субботний вечер на берегах водохранилища горело 12 тысяч костров, зажженных туристами. Сколько

леса было истреблено на эту иллюминацию!

Очерк, в котором события, явления, факты не отрываются от изображения людей, конечно, всегда наиболее привлекателен. Не оттого ли стал удачей журнала и очерк Г. Башкировой «На этой странной олимпиаде» (№ 7, 1967). Кибернетическая филология — тема сложная для популярного изложения. Г. Башкирова свободно, непринужденно вводит читателя в кулуары МГУ, где происходит молодежная олимпиада по языкознанию и математике, естественно и с очевидной пользой для понимания читателем сути дела вплетает в свой рассказ живые сценки.

Литературное направление, взятое журналом, однако вместе с «прибылями» приносит и некоторые «убытки». Одной из причин таких «убытков» является иногда непреодоленное стремление во что бы то ни стало поразить воображение читателя. Авторы журнала порой сбиваются на сенсационность. Тогда существенное содержание научной или технической информации приносится в жертву занимательности. Особенно это относится к так называемой «научной смеси», где можно встретить такие, например, эффектные заголовки: «Цыплята-шахтеры», «Стальные зубы овец», «Ласточкин хвост держит стены» и другие.

Занимательность... В любом научном очерке и статье это оружие обоюдоострое. Статья Вл. Орлова «Среднерусские пейзажи» (№ 10, 1967) насыщена многими сведениями, которые, несомненно, должны захватить внимание читателя. Однако талантливый, эрудированный автор, словно не веря в увлекательность своих сообщений, хотя они действительно интересны, часто их литературно осложняет и чрезмерно украшает. «Мне показывают прекрасный снимок с экрана — мизансцену трагедии стихий. Я воочию вижу плащ, в который закутывается буря, — спиралевидные складки ливней, простирающиеся на многие километры. В центре — черное пятно, словно птичий глаз среди белого оперения. Это «глаз бури» — зона драматического затишья, многократно описанная маринистами разных стран. Ревет буря, ураган завивается гигантской баранкой, в середине же, как дырка в бублике, — зона ясного неба и тишины». Не слишком ли много здесь разнородных метафор и сравнений?

Невольно вспоминаются слова О. Мандельштама в его «Записных книжках» о книге Ч. Дарвина «Происхождение видов» («Вопросы литературы», № 4, 1968): «Свое научное доказательство Дарвин строит объемно. Он протягивает координаты примера в ширину, в глубину, в высоту, воздействуя при этом с помощью подлинной селекции материала». Именно этой «селекции материала» не хватает в содержательном и ярко написанном очерке Вл. Орлова. Тем же грехом страдают и некоторые другие авторы журнала, чрезмерно педалирующие на занимательность.

Кстати, в упомянутых «Записных книжках» О. Мандельштам замечает: «Если мы хотим определить тональность научной речи Дарвина, то лучше всего назвать ее научной беседой. Это не профессорская лекция в обычном смысле и не академический курс. Вообразите ученого садовода, который водит гостей по своему хозяйству и, останавливаясь между грядками и клумбами, дает им объяснение, или зоолога-любителя в питомнике, принимающего добрых гостей».

Меткое замечание! Популяризатору именно так следует вести научную беседу. Вот тогда рождаются точные и образные сравнения, появляется естественная, ненавязчивая поэтичность рассказа.

Раздел критики и библиографии в таком журнале, как «Знание—сила», имеет особое значение. Популяризаторская миссия журнала в этом разделе может быть исполнена с наибольшей эффективностью. Надо признать, журнал нашел удачную форму критического разбора. Однако развернутые рецензии на новые книги занимают изрядную «жилую площадь», тем самым многие книги, о которых стоило бы поговорить, не получают отклика. Жаль

также, что журнал, посвященный популяризации научных знаний, почти не отзывается на произведения, относящиеся к специфике своего жанра. А ведь за последнее время вышло немало заслуживающих внимания работ наших популяризаторов науки, таких, как Б. Кузнецов, Д. Данин, А. Шаров, и других литераторов и ученых.

В заключение хочется сказать об иллюстративной части журнала. Тут много интересных находок, чувствуется хороший вкус, выдумка, нет боязни острой выразительности, гротеска. Стремление иллюстрировать не отдельные частные предметы, а основную мысль автора делает художника комментатором и своего рода соавтором произведения. В этом отношении выделяются иллюстрации А. Брусиловского, Б. Лаврова, В. Бахчаняна, отличающиеся индивидуальной манерой, графической изобретательностью. Работы их хорошо гармонируют с общим стилем журнала.

Мы уже говорили о том, что у журнала «Знание—сила» есть свое лицо, что его невозможно спутать ни с каким другим научно-популярным журналом. Но это ни в какой мере не значит, что журнал отлился в какие-то прочные и неподвижные формы, что в нем постоянны и традиционны приемы оформления, разбивка материала, авторская манера. Нет, в каждом номере появляется новая рубрика, исчезает старая, мы встречаемся с попытками — иногда неудачными, чаще удачными — найти новый прием в подаче материала, привлечь внимание читателя свежим заголовком, интонацией, изобретательным рисунком. Журнал постоянно в поисках, в диалоге с читателем. И это его делает живым, интересным, обещает серьезное и большое будущее.

А. ТАЛАНОВ.

★

## НАКАНУНЕ КРАХА

В. С. Дякин. *Русская буржуазия и царизм в годы первой мировой войны (1914—1917)*. «Наука». Л. 1967. 372 стр.

Эта книга о политической борьбе, которую вели представители русской буржуазии и либеральной интеллигенции с царским правительством за «европеизацию» политического строя страны, за демократизацию общественной и государственной

жизни. Рассматривается период первой мировой войны, когда все пороки и язвы «исторически сложившейся власти» стали особенно кричащими. В. С. Дякин вводит нас в атмосферу перестрелки газетных передовиц, споров на съездах и собраниях,

посвящает в деятельность придворных кружков и политических салонов.

У нас еще очень мало таких книг, которые показывали бы во всей своей конкретности политическую и общественную жизнь нашей страны накануне того всемирно-исторического рубежа, которым стал 1917 год. О временах Радищева или декабристов широкая публика знает сейчас больше, чем о проблемах, волновавших русское образованное общество шестьдесят лет тому назад. В самом деле, для многих читателей имена Гучкова или Милюкова — это лишь символы империализма, подписи под политическими карикатурами, а о Коновалове, Некрасове, Струве даже не все специалисты имеют вполне четкое представление. Одно из достоинств рецензируемой книги как раз и состоит в том, что эти фантомы обретают плоть и кровь, что читатель может составить о них мнение на основе их собственных речей и поступков, а вместе с тем найти и оценку политических взглядов вождей либеральной буржуазии с точки зрения марксистской исторической науки.

Говоря о классовой природе либеральной оппозиции самодержавию, В. С. Дякин справедливо расценивает ее как оппозицию буржуазную и в этом вполне солидарен со своими предшественниками. Однако он далек от стремления подгонять сложные явления общественной жизни под упрощенные социологические схемы. Например, характеризуя ведущую силу либеральной оппозиции — партию кадетов, — В. С. Дякин, опираясь на соответствующие высказывания В. И. Ленина, отмечает, что социальной основой этой партии были не фабриканты и помещики, а интеллигенты, точнее либерально настроенные верхи российской интеллигенции, как технической, так и гуманитарной. Нежелание царя и его окружения согласиться на введение в стране подлинно конституционного режима, стремление отобрать назад даже те куцые права, которые были вырваны у самодержавия революцией 1905 года, объективно создавали почву для оппозиционных настроений не только среди либеральной интеллигенции, но и среди мыслящих представителей буржуазии, оставшихся отстраненными от управления страной.

В. С. Дякин показывает неоднородность либеральной оппозиции, в которую помимо кадетов входили и различные другие пар-

тийные и непартийные группировки: левые октябристы и националисты, часть московской и провинциальной либеральной буржуазии. Это лишало оппозицию внутреннего единства, ослабляло ее силы. Кадеты, в частности, стремились отмежеваться от откровенно грабительских заявлений промышленников и на первый план выдвигали общие требования демократических реформ. Однако все эти слои роднило неприятие революционного пути преобразования российского общества, страх перед революцией, которую они рассматривали как большее зло, нежели сохранение монархии. Этот страх постоянно толкал лидеров буржуазной оппозиции к попыткам столкнуться с властью, найти с нею какой-то компромисс.

Либеральные интеллигенты использовали трибуну Государственной думы, газеты и журналы для оказания давления на правительство, для обработки общественного мнения в пользу мирного, эволюционного пути к «конституционной демократии». В этой борьбе были свои отливы и приливы, периоды надежд и разочарований. В первые месяцы войны либеральная интеллигенция прекратила критику правительства, надеясь взамен получить от него обещания необходимых демократических реформ, но очень скоро наткнулась на привычную стену высокомерия и недоброжелательности. Весна и лето 1915 года, совпавшие с поражениями русской армии на фронте, стали временем первого в этот период политического кризиса и резкого обострения оппозиционных настроений. В. С. Дякин подробно и обстоятельно исследует рост этих настроений, показывает, как накалялась атмосфера борьбы, достигшая в ноябре—декабре 1916 года очень большой остроты.

В. С. Дякин дает интересный обзор попыток левых кадетов и буржуазных деятелей военно-промышленных комитетов распространить свое влияние хотя бы на некоторые слои рабочих и городскую мелкую буржуазию. Отдельные кадеты поговаривали даже о поддержке забастовок и демонстраций. Но все эти попытки были обречены на провал, так как либеральные интеллигенты на практике не шли дальше поддержки исключительно легальных и «конституционных» форм рабочего движения, испытывая отвращение к «выступлениям неорганизованных масс», к «митинговой демократии». В свою очередь широкие массы, особенно рабочие, испытывавшие

растущее влияние революционной агитации большевиков, проявляли невосприимчивость к либеральным лозунгам.

Почему же в таком случае, как пишет автор монографии, «Николай, Александра и их окружение при всем их страхе перед народными массами все же недооценили остроту революционного кризиса, обращая внимание в первую очередь на оппозицию Думы и петроградского великосветского общества»? Было бы проще всего по примеру некоторых историков прошлых лет сослаться на интеллектуальную деградацию царя и его советников. Но В. С. Дякин не пытается упростить свою задачу, он стремится разобраться в переплетении конкретных обстоятельств, обусловивших образ действий Николая II.

Одной из причин непонимания им действительного положения в стране была инспирированная Протопоповым и другими реакционными деятелями кампания верноподданнических писем, адресов и телеграмм от правых и черносотенных организаций. Типичной для царской четы была реакция Александры Федоровны на одну из таких телеграмм, полученную в середине декабря 1916 года. «Одни,— писала она по этому поводу,— гнилое, слабое, безнравственное общество, другие — здоровые, благомыслящие. преданные подданные — их-то и надо слушать, их голос — голос России, а вовсе не голос общества или Думы».

В условиях жестокого полицейского режима, при котором революционные организации были загнаны в глубокое подполье, а свободой слова пользовались только «верноподданные», власти уже и сами готовы были видеть в этих «единодушных заявлениях» голос России. Ему-то и были диссонансом недовольство и упреки либеральной оппозиции, которая имела свои легальные организации и органы печати и с которой царь и его окружение сталкивались непосредственно, а многих ее представителей знали лично.

Во введении к монографии В. С. Дякин выражает несогласие с традиционным изображением политики царского правительства в виде лишенного внутренней логики процесса случайных и противоречивых мероприятий. Правда, он признает, что в последние месяцы своего существования самодержавие уже не контролировало раз-

витие событий не только в «низах», но и в «верхах» общества, проявляло беспомощность и растерянность. Но главная мысль автора, подтвержденная анализом правительственной политики за два с половиной года, заключается в следующем: царь и его правительство последовательно проводили политику, направленную на сохранение существующего строя в полной неприкосновенности. И в этом смысле эта политика имела свою логику. Даже действия министров А. Н. Хвостова и А. Д. Протопопова, создававшие видимость поиска новых решений, основывались на идее неизбежности общественного и политического строя. Между тем этот строй вступил в непримиримое противоречие с полнгиическими и экономическими потребностями общества, и никакое маневрирование, если оно не затрагивало самых основ, не могло предотвратить его крушения.

Книга В. С. Дякина, насыщенная новыми фактами, содержащая нестандартные оценки многих событий и деятельности исторических лиц, не просто заинтересовывает читателя, но и побуждает его к размышлениям. Правда, порою кажется, что, отдавая решительное предпочтение фактам и документам перед выводами, автор проявляет все же излишнюю скромность. Нельзя не упрекнуть его и за увлечение цитатами, особенно заметное в первой и второй главах книги. К тому же его манера цитировать одну-две строки, а подчас всего два или три слова затрудняет верную передачу мыслей цитируемых авторов.

Может быть, чересчур кратким получился точно выполненный обзор политических группировок буржуазии и либеральной интеллигенции, данный в первой главе. Ведь следует считаться с почти полным отсутствием научной, а тем более популярной литературы о политических партиях в России в 1905—1917 годах. Слишком скудными, а потому и не всегда точными представляются характеристики некоторых политических деятелей, которые дает автор.

Так или иначе, еще один пробел нашей науки в значительной мере заполнен, а читатель получил в свое распоряжение нужную и интересную работу.

**О. ЗНАМЕНСКИЙ,  
В. СТАРЦЕВ,**

*кандидаты исторических наук.*

## КОРОТКО О КНИГАХ

★

**И. Т. ЛЕОНОВ. Г. Н. Каминский.** «Медицина». М. 1967. 68 стр.

**АЛЕКСАНДРА ЛОЖЕЧКО.** Григорий Каминский. Документальная повесть. Политиздат. М. 1966. 160 стр.

«Умный большевик, с ним все охотно сотрудничают». Этот отзыв И. П. Павлова о Григории Каминском приводится в книге И. Т. Леонова, посвященной его деятельности на посту народного комиссара здравоохранения СССР. Отзыв немногословный, сдержанный, но он говорит о многом.

Григорий Наумович Каминский (1895—1938) был первым наркомом здравоохранения Советского Союза, уже из одного этого явствует, как много пришлось ему потрудиться для организации столь важной отрасли государственной деятельности. Об этом и рассказывает брошюра И. Т. Леонова. Не забывая о живости стиля, автор излагает факты и документы, многие из которых он впервые сделал достоянием широкого читателя.

Но Каминский — не только деятель здравоохранения. Он один из бойцов ленинской гвардии, один из тех, кто подготавливал и свершал Октябрьскую революцию. В РСДРП(б) он вступил в 1913 году. В 1917—1920 годах возглавил тульскую организацию большевиков, был председателем Тульского губисполкома, затем секретарем ЦК компартии Азербайджана, занимал ряд ответственных постов в ЦК ВКП(б), МК ВКП(б), Мособлсполкоме.

Дело, конечно, не только в постах. Каминский оставил по себе яркую память прежде всего своей принципиальностью, смелостью, эрудицией и организаторским талантом. Не боясь впасть в преувеличение, можно назвать его личность многогранной.

Показать это и взялась Александра Ложечко в документальной повести. Тем самым она поставила перед собой задачу, еще более сложную, чем та, которую выполнял И. Т. Леонов. Кропотливая работа в архивах, встречи с друзьями, соратниками Каминского по революционной борьбе, с его родственниками — все это позволило А. Ложечко проникнуть в атмосферу эпохи и в характер своего героя.

Жаль только, что о многом А. Ложечко упоминает скороговоркой, часто с живого изложения событий переходит на язык газетной статьи. Особенно досадна эта скоро-

говорка в конце: о смерти Каминского мы узнаем лишь, что он трагически погиб, «едва перешагнув свое сорокалетие». Подобным умалчиванием, заставляющим читателя строить разного рода предположения и догадки о причинах и обстоятельствах гибели Каминского, автор по сути дела невольно оскорбил его память.

Хорошо, что о Григории Каминском почти одновременно появились сразу две книжки. Но, по-видимому, нужна и третья, которая, соединив в себе их достоинства, вместе с тем восполнит пробелы в жизнеописании этого замечательного человека.

**С. Норильский.**

Тула.

★

**СТЕПАН БУГОРКОВ.** Лесная девушка. Рассказы. «Советский писатель». М. 1968. 152 стр.

Книга С. Бугоркова открывается рассказом «Художник». В один из дней туристического путешествия на теплоходе «Победа» пожилой художник Николай Трофимович Машенко познакомился с молодой женщиной — врачом Евгенией Ивановной. «Все последующие дни какая-то непонятная, властная сила тянула его к этой женщине». Далее автор рассказа пытается заставить читателя пережить «все перипетии неожиданного и сильного чувства», возникшего у его героев. Но, увы, из-под пера С. Бугоркова выходят лишь банальные фразы и надуманные сентиментальные сцены, написанные удручающе бедным, полным затасканных штампов языком. Видимо, для придания рассказу большей «проникновенности» и «лиричности» автор злоупотребляет такими словами и выражениями, как «беспредельная синева» океана, глаза «с чуть заметной грустинкой», «грустный, как у буттичеллевской мадонны, взгляд», «тревожно и радостно» бьющееся сердце художника «в предчувствии чего-то большого», что предстоит ему совершить в любимом искусстве, и т. д. «Излишняя пылкость чувств» находит достойное воплощение в финале рассказа, где автор «развязывает гордиев узел» отношений своих героев. Евгения Ивановна плакала. Блистающие «золотыми искрами слезы» струились у нее по щекам. А потом... «Милый, дорогой Николай Трофимович,— заговорила она сквозь слезы страстно, горячо,—

я не знаю, что творится со мной в последнее время... Хотите, я вам скажу откровенно: я люблю вас...» Слушал это признание художник и «все больше и больше чувствовал, как какая-то неведомая сила открывает его, зовет вперед». И в этот волнующий момент «в знойном воздухе с музейной колокольни прокатился неожиданный торжествующий колокольный звон». Был ли он случаен? «Кто знает?» — глубокомысленно заключает Степан Бугорков.

Доказывать художественную несостоятельность рассказа «Художник» и других рассказов рецензируемой книги — значит просто ломиться в открытые, даже распахнутые двери. Действительно, вряд ли что может дать читателю, например, банальный по содержанию рассказ «Лесная девушка», героиня которого «вся светится изнутри, излучая мягкое, теплое сияние», а в сердце у героя «жила шемая, холодноватая и в то же время радостная грусть».

Такие «поэтические» находки, как «ласковый светящийся образ», «тонко вырезанные ноздри», «затуманившиеся глаза», «крутые извилистые дороги жизни», — не исключение, а правило, характерное для стиля всего сборника.

В аннотации к сборнику сказано, что автор умеет «тонко передать тот аромат, ту особую атмосферу, которой окружено зарождение большого и светлого чувства любви в душе его героев». Согласиться с этим, на наш взгляд, невозможно. Рассказ «В метель» по замыслу автора посвящен «целомудренной» юношеской любви, любви «странной, непонятной», которая захватила десятиклассника Петьку Мухина — «сельского мечтательного юнца властно, сильно, оглушительно». Художественная бесплотность героев рассказа как бы компенсируется «плотской», дурного вкуса сценой в омете, где застигнутые метелью лежат Петька Мухин и предмет его тайной, никем не подозреваемой любви — солдатка Наталья, и он ощущает «теплую тяжесть ноги Натальи на своей ноге», и «податливые груди Натальи упирались в его грудь», и «здоровое женское тело источало весенние запахи».

Вероятно, и скудость чувства, и заурядность мысли, и отсутствие вкуса можно было бы оставить на совести Степана Бугоркова и попросту умолчать с ним, если бы не был сборник его рассказов издан тиражом в 30 тысяч экземпляров.

«Милый мой юноша... грустить не надо, — говорила лесная девушка своему юному поклоннику. — Не будем грустить, хорошо?» Надо сказать откровенно, что у тех, кто сумеет дочитать до конца книгу Бугоркова, причин для грусти будет более чем достаточно.

В. Енишерлов.

★

**ИРИНА КНОРРИНГ.** Новые стихи. Алма-Ата. «Жазушы». 1967. 48 стр.

Ирина Кнорринг ребенком была увезена на чужбину; попала сначала в Северную

Африку, в Тунис, оттуда — в Париж, училась в русской гимназии, стала поэтессой, автором трех книг: «Стихи о себе» (1931), «Окна на север» (1939), «После всего» (1949). Сейчас издательство «Жазушы» выпустило сборник избранных стихов И. Кнорринг. неудачно озаглавив его «Новые стихи» (было бы точнее: «Неизвестные стихи»).

Ирина Кнорринг разделила судьбу тех из эмигрантских поэтов, которые с тревогой и грустью задавали себе проклятый вопрос: зачем они оказались на чужбине и кому нужны здесь их таланты?

Ее поэзия до края наполнена горечью ностальгии, в ее стихах звучит иногда подлинное отчаяние. Где же выход? Только в возвращении на родину, хотя бы мысленно.

И больно вспоминая марш победный,  
Я поклонюсь вчерашнему врагу,  
И если он мне бросит грошик медный —  
Я этот грош до гроба соберу...

Неутихающие мечты о настоящей жизни воплощаются в слове «Россия», они вплетаются в материнские песни над колыбелью сына:

Расскажу о море темно-синем,  
О большой и путаной судьбе,  
О какой-то сказочной России,  
Никогда неведомой тебе,  
И под гнетом прежних слез и бедствий,  
Опустив на лампе абажур,  
Про свое оборванное детство  
Колыбельной песней расскажу...

Вера в родную страну, в ее будущее, ощущение кровной к ней причастности оказывается основным мотивом, основным настроением творчества И. Кнорринг.

Правда, самой ей не пришлось вернуться домой — она скончалась в Париже во время немецкой оккупации.

После войны на родину вернулись отец поэтессы — историк Н. Н. Кнорринг (ныне покойный), муж — поэт Юрий Софиев — и сын. Благодаря их заботам творчество Ирины Кнорринг стало достоянием советского читателя.

Стихи Ирины Кнорринг не только волнующий документ своего времени, это, по выражению А. Ахматовой, — «простые, хорошие, честные стихи».

Ник. Смирнов.

★

**О. Н. ВИЛКОВ.** Ремесло и торговля Западной Сибири в XVII веке. «Наука». М. 1967. 324 стр.

В работе О. Н. Вилкова использован большой неопубликованный архивный материал по городу Тобольску, который в XVII веке был крупнейшим городом Западной Сибири и в хозяйственной жизни которого отразилось экономическое развитие всего этого края. Автор исходит из указаний В. И. Ленина о складывании начиная с XVII века всероссийского рынка и росте товарного производства.

В Тобольске в XVII веке число ремесленников удвоилось, а в 1720 году составляло 665 человек (вместе с оружейниками, ра-

ботающими на казну). О. Н. Вилков делит их на три группы. В первую входят овчинники, красильщики, котельники, иконописцы. Они работали по заказу городского населения, а также церкви и казенных учреждений. Вторую группу составляли кожевники, шапочники, мыловары, свечники. Изделия этих мастеров уже являлись товаром, здесь были предприятия типа мануфактуры, происходило обогащение одних и обеднение других мастеров, становившихся наемными рабочими. Третья группа — сапожники, портные, дегтяри и другие, работавшие и по заказу и на рынок.

От степени развития местного производства зависел привоз в Западную Сибирь товаров из Европейской части России. В связи с расширением сибирского земледелия прекратился завоз хлеба, преобладал привоз промышленных изделий — дешевого сермяжного сукна, кожаных товаров, холста, металлических изделий. Тобольск был крупным центром торговли с Востоком. Несколько раз в год шли караваны в Среднюю Азию и в Китай. Из Китая поступали преимущественно хлопчатобумажные ткани, русские сбывали китайцам пушнину, кожи, сукно.

Большое место в книге О. Н. Вилкова отведено торговле пушниной. В течение XVII века сокращалось количество продаваемых шкур соболя и возрастала продажа белки. Торг пушниной и меховой одеждой в Тобольске оценивался в 7,5—9,5 тысячи рублей в год по ценам того времени (100—200 тысяч рублей золотом).

Включение Сибири во всероссийский рынок сопровождалось приемами первоначального накопления; сккупщики держали в кабале охотников и мелких товаропроизводителей, наживаясь на разнице цен в местах сккупки и продажи товаров.

Книга О. Н. Вилкова выпущена Сибирским отделением Академии наук СССР, в состав которого входит Институт истории, философии и филологии. Организация этого института будет способствовать дальнейшему углубленному изучению истории Сибири.

**Б. Кафенгауз,**  
*профессор, доктор исторических наук.*



**«ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДСТВО».** Том 79. *Песни, собранные писателями. Новые материалы из архива П. В. Киреевского.* «Наука». М. 1968. 679 стр.

В этом томе «Литературного наследства» напечатано 504 песни, записанные, а потом переданные П. В. Киреевскому литераторами — Пушкиным, Гоголем, Языковым, Далем, Кольцовым и другими. Песни в этой книге расположены не по сюжетным группам, как располагал их П. В. Киреевский, а по отдельным коллекциям, причем некоторые публикуются впервые, как, например, собрания А. Кольцова, А. Востокова, Д. Ознобичина и других. Впервые печатается здесь более пятидесяти песен, записанных Пушкиным, тетрадь украинских «дум», за-

писанных Гоголем. Каждому из собирателей посвящен краткий очерк его собирательской деятельности.

Эти песни и другие (всего более трех тысяч!) обнаружил в архиве Киреевского в конце 1950-х годов П. Д. Ухов, умерший не так давно, не дождавшись выхода в свет этой книги. Кроме песен, том «Литературного наследства» интересен своими статьями (авторы П. Д. Ухов, А. И. Баландин, А. Д. Соймонов, Г. Н. Парилова), в которых освещена вся жизнь Петра Киреевского; много материалов публикуется впервые: письма, дневники, воспоминания, рисунки, фотографии.

Фольклорист П. В. Киреевский, славянофил, «своенародности подвижник просвещенный» (как назвал его в дружеском послании поэт Языков), был одним из тех многознающих и тонких интеллигентов, которые особенно характерны для золотого века русской образованности — пушкинского времени.

М. Гершензон в своем очерке жизни П. В. Киреевского говорит: «На тучной почве крепостного права привольно и вместе закономерно, как дубы, выростали эти роды, корнями незримо коренясь в народной жизни и питаясь ее соками, вершиною достигая европейского просвещения, по крайней мере в лучших семьях — а именно таковы были семьи Киреевских, Кошелевых, Самаринных». Веткой именно такого родового дуба и был П. В. Киреевский, росший в деревне, впитывавший народные песни, все то, из чего сложился быт и характер русского крестьянства, и — одновременно — европейскую образованность самого высокого уровня, к которой его приобщали его мать и друг семьи Киреевских поэт В. А. Жуковский, а потом Московский и Мюнхенский университеты. Петр Васильевич знал семь европейских языков, а читал на девятнадцати, с молодых лет занимался переводом пьес Кальдерона, Шекспира, писал письма так интересно, что некоторые попадали в печать. Он написал за свою жизнь немного, но его писания были глубокими, разнообразными по темам: тут новогреческая литература и современное состояние Испании, жизнь Сен-Симона и рассуждение о крепостном праве.

П. В. Киреевский собирал библиотеку, главным образом книги по истории, хотел писать и издавать краткие истории всех народов, для чего делал выписки из книг по истории, фольклору, из древнерусских летописей. Много лет он собирал и готовил к изданию русские песни (в число которых включал и былины, и духовные стихи), одно время была куплена и бумага для печатания первых томов, но при своей жизни П. В. Киреевский увидел в печати только 71 песню. Мешали то цензура, то бесконечная работа по сравнению вариантов и переписке песен. Собранные им песни до сих пор не были изданы сколько-нибудь удовлетворительно. После его смерти часть собрания пропала, а та, что осталась, попала в руки П. А. Бессонова, который издал и не все и плохо, так что, как писал М. Гершензон, «если бы Ки-

реевский мог, встав из гроба, увидеть, как издал Бессонов его песни, он пожалел бы, может быть, что они не все пропали».

Труд П. В. Киреевского — собрание песен — выходит далеко за рамки фольклористики, он достойные истории нашей художественной литературы.

**Виктор Афанасьев.**

★

**А. П. ДЕНИСОВ.** Леонтий Филиппович Магницкий. 1669—1739. «Просвещение». М. 1967. 144 стр.

До конца своих дней хранил Ломоносов «Арифметику» Магницкого, которая вместе с «Грамматикой» Смотрицкого была первой вехой на пути его к высотам науки.

«Арифметика» попала к Ломоносову в 1725 году от одного из его односельчан — Христофора Дудина. Ее он принес в Москву в котомке, когда шел пешком вместе с обозом. Не будет преувеличением сказать, что большинство образованных людей того времени в России познакомились с элементами математической науки именно из книги Л. Ф. Магницкого. Наряду с «Арифметикой» он составил навигационные и астрономические справочные таблицы, был редактором ряда логарифмических таблиц.

Описывая деятельность Магницкого на разных этапах его жизни, А. П. Денисов подробно останавливается на состоянии математического образования в России в XVII веке и на роли Навигацкой школы в подготовке кадров для отечественного военно-морского флота. Основанная Петром I в 1701 году в Москве, она должна была по замыслу царя стать учебным центром «математических и навигацких, то есть мореходных, наук». В школе наряду с обучением слушателей математике большое внимание уделялось астрономии. При ней была оборудована весьма солидная обсерватория, в которой производились наблюдения за положением и движением небесных светил.

Характер и задачи школы определили и творчество Магницкого. Почти сорок лет своей жизни отдал он Навигацкой школе, где преподавал математику, был заведующим учебной частью и некоторое время начальником школы.

Анализируя постановку учебного дела в Навигацкой школе, А. П. Денисов показывает, с каким «во учении радением» Магницкий относился к ученикам и с каким «безлестным тщанием» стремился к улучшению учебного процесса. Несмотря на материальные затруднения, которые он испытывал (он получал 260 рублей в год, то есть и по тем временам для семейного человека маловато), Магницкий целиком отдавал себя школе. Любопытно отметить, что в «Арифметике» отразились его личные переживания. В разных местах книги проводится мысль, что ученым должно быть обеспечено должное денежное содержание: «Такожде и довольство несть роскошь, но точию довольство нужных; егда же нужных

лишаемся внешних, тогда естественно ослабеваем внутренними».

Посвящая специальную главу описанию и критическому разбору «Арифметики», А. П. Денисов подробно останавливается на ее преимуществах по сравнению с математическими рукописями того времени. Она была составлена по новой методике, почти исключавшей догматические методы изложения, а требовавшей от учащегося логического мышления.

Показывая Магницкого как передового педагога-математика, сыгравшего большую роль в развитии просвещения в России, автор рассказывает и о противоречиях в его взглядах. Прогрессивный просветитель, Магницкий был ревностным приверженцем православия и теологически догматизированной философии Аристотеля.

Книга А. П. Денисова представляет собой не только научную биографию Магницкого, но и полезное исследование по истории просвещения в России.

**Б. Розен.**

★

**Ф. ДЖИНДЖИХАШВИЛИ.** Антимоз Ивериели (Антим Иверяну). Жизнь и творчество. «Литература да хеловнеба». Тбилиси. 1967. 140 стр.

Антим Иверяну. Будучи в Румынии, я убедился, что там трудно найти человека, который не знал бы этого имени. В Бухаресте, знакомясь с культурными ценностями румынского народа, я видел замечательный архитектурный памятник — храм, носящий имя А. Иверяну, ознакомился с экспонатом музея, где любовно хранятся реликвии, рассказывающие о деятельности замечательного просветителя и гуманиста XVII века — грузина по происхождению, обретшего в Румынии вторую родину.

Среди работ, характеризующих жизненный путь А. Иверяну, привлекает богатством фактов недавно выпущенная в Тбилиси книга Ф. Джинджихашвили под названием «Антимоз Ивериели». Это первое подлинное научное исследование его творчества, изданное в нашей стране на русском языке.

Поистине трагична была судьба А. Иверяну. Родом из Грузии, он шестнадцати лет был угнан в рабство турками в Константинополь, а затем на стамбульском невольничьем рынке продан иерусалимскому патриарху.

При дворе патриарха, где А. Иверяну находился двадцать три года, он приобрел разносторонние знания, овладел греческим, турецким и арабским языками. Затем он был привезен в Валахию, где, изучив румынский язык, работал мастером-типографом в Бухаресте, а затем в Снагове, в основанной им монастырской типографии. В Снагове под руководством А. Иверяну было напечатано большое число книг на греческом, румынском и арабском языках. Эта типография стала центром книгопечатания в Валахии.



Выбрав путь священнослужителя, А. Ивериану был сначала избран епископом в Римнике, а затем возведен в сан митрополита. Человек безукоризненной честности и правдивости, сильный волей, А. Ивериану был популярен в румынском народе.

Книга Ф. Джинджихашвили состоит из отдельных очерков, красочно рисующих разностороннюю деятельность А. Ивериану в Румынии как политического и общественного деятеля, активного борца против турецкого ига, писателя, типографа и гравера, художника, зодчего и искусного оратора. В Бухарестской библиотеке Академии наук хранится много его произведений, среди них двенадцать оригинальных трудов, показывающих его литературный талант, двадцать шесть произведений, созданных в соавторстве на румынском, греческом, арабском и славянском языках, и четырнадцать переводов, отредактированных Антимом.

Отдавая все свои силы и знания своей второй родине — Румынии, А. Ивериану не порывал связи с Грузией. Автор высоко оценивает вклад, внесенный этим просветителем в организацию печатного дела в Грузии, — создание в Тбилиси первой типографии, обеспечившей выход в свет первой книги на грузинском языке.

Книгу Ф. Джинджихашвили, мы уверены, с интересом прочтут широкие круги читателей.

**Г. Пицхелаури,**  
профессор.

Тбилиси.

★

**Н. И. ЛЕОНОВ.** Александр Федорович Миддендорф. «Наука». М. 1967. 146 стр.

Эта небольшая книжка посвящена замечательному ученому прошлого века, географу с обширнейшим диапазоном научных интересов, землепроходцу, первооткрывателю А. Ф. Миддендорфу принадлежит к той плеяде русских географов XIX века, воле и энтузиазму которых географическая наука столь многим обязана в изучении безграничных просторов нашей родины.

А. Ф. Миддендорф за время своих путешествий, начатых в 1840 году и продолжавшихся до 1883 года, участвовал в экспедициях на Новую Землю, в таймырскую тундру, на охотское побережье, в Приамурье, в Барабинскую степь, наконец в последние годы жизни совершил путешествие в Ферганскую долину. Экспедиции сопровождались публикацией превосходных исследовательских трудов, из которых «Путешествие на север и восток Сибири» (1848) или «Очерки Ферганской долины» (1882) сохраняют свою свежесть и научный интерес до настоящего времени.

Признание важности исследований А. Ф. Миддендорфа было безусловным и всеобщим. Знаменитый географ-путешественник П. П. Семенов-Тянь-Шанский в очерке, посвященном истории Русского географического общества, писал: «Основание общества находится в ближайшей связи с

достопамятным путешествием академика Миддендорфа в Таймырскую землю и в Приамурский край в начале 40-х годов. Более того: возвращение энтузиаста-землепроходца послужило каким-то решительным толчком к организации научного центра по исследованиям комплексного географического характера тех или иных отдаленных территорий». Тем более удивительно читать в рецензируемой книжке о том, что «до сих пор нет у нас ни обстоятельного очерка о жизни этого замечательного ученого, ни сборника, в котором была бы очерчена и по достоинству оценена многосторонняя научная деятельность». Своей небольшой книжкой профессор Н. И. Леонов не ставит задачи целиком восполнить этот пробел. Его цель, как он пишет, пробудить в читателе интерес к жизни Миддендорфа, к его книгам, к разнообразной общественной и научной деятельности.

Эту задачу книга Н. И. Леонова целиком выполняет. Написанная с большим воодушевлением, она от первой до последней страницы читается с живым интересом.

**А. Беленицкий,**  
доктор исторических наук.

Ленинград.

*Приводим выдержку из другого читательского отзыва на ту же книгу, поступившего в редакцию.*

Не будет преувеличением сказать, что и сегодня нет более полного и более верного описания Таймырского края, чем описание его А. Ф. Миддендорфом, сделанное более ста лет назад. Миддендорф первый из ученых описал Норильские горы и реку Норильскую, первый сообщил миру о полезных ископаемых на 70° северной широты. Его сведения о вечной мерзлоте не устарели и в наши дни.

Мне, как таймырцу (я живу на Таймыре двадцать шесть лет, у моей дочери, родившейся здесь в 1943 году, уже есть своя дочь, родившаяся здесь же), особенно близки те места книги, где Леонов пишет о пребывании Миддендорфа на Таймыре.

Книга написана живо, занимательно. Язык ее — легкий, не перегружен специальными терминами. Все это позволяет считать книгу Н. И. Леонова значительной и удачной работой о замечательном ученом.

**В. Лебединский,**  
заместитель главного механика  
горнометаллургического комбината  
имени А. П. Завенягина.

Норильск.

★

**Н. Н. ПОМЕРАНЦЕВ.** Русская деревянная скульптура. Альбом. «Советский художник». М. 1967. 132 стр.

Разбросанная по деревенским колокольням, рассыпающаяся в подклетях, почерневшая и перекрашенная, русская деревянная скульптура еще несколько лет назад была известна сравнительно немногим. Но

вот в 1964 году в Москве и Ленинграде была устроена «Выставка русской деревянной скульптуры и декоративной резьбы», на которой, расчищенная и возрожденная трудами реставраторов и искусствоведов, собранная воедино из фондов столичных и периферийных коллекций, деревянная скульптура была представлена широкой публике. Такие шедевры, как Людогощенский крест XIV века (Новгородский историко-художественный музей) или Параскева Пятница XV века (Галичский краеведческий музей) не могли оставить равнодушным ни одного ценителя красоты.

Альбом «Русская деревянная скульптура» составлен по материалам выставки одним из ее организаторов—Н. Н. Померанцевым. Крупнейший знаток древнерусского искусства, изучивший архивные и литературные материалы о нем, фонды музеев, Померанцев знакомит читателя с экспонатами таких известных собраний, как коллекции Третьяковской галереи и Русского музея, Исторического и Кремлевского музеев, а также вводит в альбом произведения, хранящиеся на периферии: в Череповце и Рязани, Вологде и Архангельске, Калуге, Пскове, Смоленске.

Большим достоинством альбома является не только его географическая разносторонность, но и разнообразие репродукционного материала, его историзм и внутренняя логичность. Через деревянных языческих идолов, «куриных богов» и другие создания народной фантазии, через бытовую декоративную резьбу — прялки, наличники — Померанцев подводит читателя к восприятию деревянной скульптуры, такой важной для понимания духовного облика народа. Всадники в кольчугах, обороняющие Русь от вражеского нашествия; мудрые старцы с добрыми крестьянскими лицами, исполненными ясности и сердечной проницательности; женщины, величавые в материнстве, горе и самоотвержении,— все эти образы отражают представления русских мастеров об идеале человека, в них воплощены красота и мудрость, нравственная высота и доблесть.

Хочется сказать несколько слов о качестве репродукций (цветная съемка Е. Игнатович и А. Моклецова). Они передают и теплоту некрашеного старого дерева, и блеск золота, и яркость алых, и мягкость голубых тонов. Это очень важно для художественного издания. Совсем недавно из-за низкой культуры типографии было буквально погублено долгожданное переиздание книги Н. Н. Серебрянникова «Пермская деревянная скульптура». (Ее первое издание 1928 года давно стало библиографической редкостью.) Цветные фотографии не только не воссоздавали облика скульптур, но грубо искажали его.

Иллюстрации аннотируемого альбома передают праздничность, богатство и разнообразие форм декоративной резьбы, выразительность характеристик скульптурных персонажей, удивительную силу резца бе-

зымянных мастеров. Автор текста, сообщая точные сведения о каждом экспонате, обобщая и суммируя эти сведения, вписывает еще одну страницу в эту малонисследованную область русского искусства.

О. Воронова.

★

**ЮРИЙ РЮРИКОВ.** Три влечения. Любовь, ее вчера, сегодня и завтра. «Искусство». М. 1967. 208 стр.

Многие, наверное, помнят, как несколько лет назад вышла книга В. Черткова «О любви». Восторженные толпы терпеливо стояли в очередях в подземных переходах, где разбитые бородачи молодцы шумно рекламировали «последние экземпляры трактата о любви известного философа». Вскоре, однако, страсти улеглись, и при ближайшем рассмотрении трактат оказался запоздалым отголоском пресловутого вульгарного социологизма. В книге было изобилие цитат, рецептов, наставлений, но не было человека, а любовь превратилась в один из стимулов социалистического соревнования, выраженный известной частушкой: «Полюблю новатора, брошу консерватора!» В таком же духе и на таком же уровне было написано затем немало других работ.

Книга Юрия Рюрикова также поначалу вызвала известные опасения, хотя и была раскуплена с невероятной быстротой — очень уж велика потребность в литературе о любви. На этот раз обошлось без разочарований книга оказалась стоящей, хотя и содержит некоторые спорные положения. Основной ее тезис выражен в словах А. Блока, вынесенных в эпиграф: «...Только влюбленный имеет право на звание человека». Для кого-то этот вывод покажется обидным, кому-нибудь недостаточно обоснованным, но большинство с ним, несомненно, согласится.

История любви — это история освобождения человеческой личности, потому что любовь «по своей сути враждебна... всякому неравенству, насилию, несвободе — враждебна всему, что подавляет человека, личность». Эту историю автор прослеживает от древнейших времен до сегодняшнего дня, пытается представить и завтрашний день любви. В книге дано довольно четкое представление об эволюции любви и об отражении ее в литературе, искусстве и философии разных времен и народов. Автор анализирует любовную лирику древнего Египта, рассказывает о культах любви Прованса, Аравии и Индии. Если арабский культ хорошо знаком по «Тысяче и одной ночи», то мало кому у нас известна древнеиндийская «Кама Сутра» — «Книга любви», которую Рюриков цитирует по французскому изданию. В книге Рюрикова представлены и старые теории любви — Платона и Фомы Аквинского, и рассуждения по этому вопросу философов XIX века, в том числе Л. Фейербаха, Ф. Ницше, А. Шопенгауэра, излагаются взгляды классиков марксизма.

Здесь интересен и сам материал, зачастую неизвестный широкому читателю, и публицистические выводы автора. Серьезный упрек содержится в книге в адрес современных философов, обходящих в своих работах столь важное проявление человеческого в человеке, как любовь. Этот пробел автор не без оснований связывает с тем отношением к человеку как к «винтику», которое получило у нас распространение в известную пору.

Разумеется, Юрий Рюриков не дает ответов на многие вопросы, которые ставит в своей книге, но хорошо уже то, что он старается привлечь внимание к сложному духовному миру современного человека.

**И. Ярославцев.**

★

**ЕФИМ ДОБИН. «Гамлет» — фильм Козинцева. «Искусство». Л.—М. 1967. 164 стр.**

Книга о фильме — не частый случай в кинолитературе. Тем более книга, следующая за событием: «Гамлет» вышел на экраны четыре года назад. Еще живы в памяти первые отклики на фильм, первые журнальные статьи — и вот уже перед нами монография, серьезное проблемное исследование.

Кто такой Гамлет? В чем существо и смысл его трагедии? Поиски ответа на этот вопрос идут, не прекращаясь, вот уже более четырех столетий. Своим фильмом режиссер Козинцев включился в спор, уникальный по длительности и трудности. И совершенно очевидно, что вне этого спора, вне истории трактовки Гамлета достижение советского режиссера по-настоящему не объяснить.

Двигаясь «вдоль» сюжета, Е. Добин последовательно рассматривает основные аспекты содержания фильма и прежде всего его центрального образа, созданного Иннокентием Смоктуновским. Названия глав книги говорят сами за себя: «Гамлет и Эльсинор», «Гамлет-мыслитель и Гамлет-мститель», «Ненавистники Гамлета-борца» и т. д. И в каждом отдельном случае исследователь совершает своего рода исторический экскурс, напоминая о многих и многих предшественниках Козинцева и Смоктуновского. Диапазон сопоставлений весьма широк — от Гаррика до Качалова, от Гёте до Лоуренса Оливье. Аналогии идут одна за другой, порой выстраиваясь в довольно длинный ряд. Но это не кажется излишеством, ибо из аналогий вырастает у Добина четкая формула своеобразия советского «Гамлета».

Трактовка трагического героя в картине, по мысли Добина, основывается на целостной концепции. Тема мести королю-убийце сливается в ней с темой бунта; поединок с Эльсинором вырастает до вызова всему неправому мироустройству. Действие, оплодотворенное смелой мыслью, — таково зерно образа «принца датского» в фильме Козинцева.

Анализ Е. Добина не только учитывает, но и выявляет сложность, многомотивность экранного сюжета. Гамлет в исполнении

Смоктуновского не подменен «гамлетизмом», но и не избавлен от колебаний, от мрачных дум и тяжелых предчувствий. Герой наделен мужеством духа, «непреклонным моральным чувством» — и вместе с тем ему ведомо отчаяние, гнетущая тоска, в иные минуты он близок к прострации. В том-то и суть, доказывает Е. Добин, что Гамлет выходит на бой, «преодолевая приступы слабости и нерешительности»; чтобы действовать, он должен победить неверие в действие, чтобы бороться, он должен подавить сомнение в целесообразности борьбы без надежды на успех. Идея смертельной схватки в фильме — глубоко выстраданная идея, за нее герою платит кровью сердца, силами души. Но тем убедительнее его нравственная победа.

При соотнесении Смоктуновского с его предшественниками однозначные антитезы (решительность — нерешительность, воля — безволие) малопригодны. Сравнительно с Гамлетами прошлого новый Гамлет — не просто герой наоборот. Одностороннему толкованию шекспировского образа (меланхолик, мечтатель, рефлектер) противостоит стремление воссоздать многосгранный, многомерный характер, но при всем том характер, стержнем которого является сознательно-действенное, осмысленно-активное начало, — таков вывод Е. Добина.

С этим выводом связано и следующее утверждение: Козинцев, не жертвуя историзмом, но и не модернизируя Шекспира, сумел сделать Гамлета близким, нужным и понятным людям наших дней. Разумеется, современный замысел требует современного исполнения — этого Е. Добин не упускает из виду. Но вот здесь голос исследователя как-то приглушен: в разборе игры актера преобладает пересказ. Обобщающая характеристика актерского дарования Смоктуновского в книге только намечена. Между тем уже были попытки подойти к образу и «со стороны» актера: М. Туровская назвала нашего Гамлета «интеллигентным», понимая под этим не только и даже не столько трактовку образа, сколько «неотъемлемое свойство артистической личности Смоктуновского».

Книга Е. Добина в равной мере содержательна и интересна. С первых страниц увлекает логика исследовательской мысли, всегда нацеленной и энергичной, и заражает энтузиазмом исследователя, влюбленного в то, о чем он пишет.

**И. Гурвич.**

Ташкент.

★

**КАРЛ ШТЕЙНБУХ. Автомат и человек. Кибернетические факты и гипотезы. Перевод с немецкого С. А. Бигдаша, Ю. А. Диденко, Р. О. Исаенко. Под редакцией В. И. Мудрова. «Советское радио». М. 1967. 494 стр.**

Популярных книг по кибернетике, рассчитанных на широкие круги читателей, в настоящее время начислено довольно мно-

го. Книга К. Штейнбуха относится к числу тех, где популярность изложения удачно соединяется с научностью.

Первое издание книги «Автомат и человек» было выпущено в свет в Германии в 1961 году. После этого она издавалась там еще два раза — в 1963 и 1965 годах. Книга была издана и в ряде других стран. Можно пожалеть о том, что у нас она появилась лишь тогда, когда споры на интересующую автора тему — может ли машина мыслить? — явно пошли на убыль. И все же выпуск этой книги следует приветствовать. В ней собран обширный материал, затронуто много интересных проблем, приведены результаты исследований самого автора книги — профессора высшей технической школы в городе Карлсруэ (ФРГ).

В отличие от известных книг по кибернетике К. Штейнбух рассматривает с кибернетических позиций некоторые новые вопросы, в частности поведение человека и автомата в космическом пространстве, использование идей кибернетики в издательском деле, юридические проблемы применения автоматов и возникающее в связи с этим новое содержание понятия ответственности и т. д. Многое здесь (особенно в социально-философском осмыслении проблемы) вызывает желание спорить, но это не умаляет того интереса, с каким книга К. Штейнбуха будет встречена нашими читателями — как специалистами, так и неспециалистами.

**А. Черепанов,**  
*кандидат технических наук.*

Пермь.



**МАТИЛЬДА ЮФИТ.** Старая тетрадь в клетку. «Советский писатель». М. 1968. 310 стр.

Недавно в журнале «Знамя» был напечатан рассказ Матильды Юфит «Четыре кофточки». Писательница приезжает в командировку в небольшой город. Останавливается в гостинице в номере, где, кроме нее, еще три женщины. За сутки, которые провела она в номере с соседками, ничего не произошло: просто что-то спрашивали друг у друга, отвечали, уходили-приходили, разговаривали по телефону, показывали покупки, говорили о детях, о работе, о жизни, волновались за девушку из соседнего номера Галку, которая никак не могла разобраться в своей любви. Вот и весь рассказ.

Предвидя упрек иного дотошного читателя: «Ну, хорошо, четыре женщины, не считая Галки, четыре стула, четыре кофточки. Ну и что? О чем это?» — писательница сокрушается: «И что я тогда отвечу, что скажу? Удовлетворит ли их мой ответ, что это просто о жизни?»

Вот так, просто о жизни, и пишет М. Юфит. И язык у нее при этом простой, стиль четкий и скромный, будто неторопли-

во говорит с вами немолодая, слегка утомленная женщина, рассказывает случаи из жизни, вспоминает о людях, с которыми встречалась, кого запомнила и полюбила.

Иногда это рассказ от первого лица: «Телефонная трубка сказала, что это Тихонов, что я его, безусловно, не помню, но это именно тот летчик, который лежал, раненный, в госпитале в Т. Неужели я забыла те времена?» (рассказ «Старая тетрадь в клетку»). Писательница вспоминает, роется в своих записях, которые когда-то заносила в тетрадь. Создается ощущение достоверности, причастности читателя к происходящему.

В рассказе «Троллиус» автор непосредственно в событиях не участвует (рассказ написан в третьем лице), но естественная интонация и в этом случае не нарушается. Сюжет «Троллиуса», как многих других рассказов М. Юфит, непритязателен. Автор описывает несколько дней из жизни учительницы Валентины Васильевны, которая давно уже на пенсии, дней обычных, ничем особным не примечательных.

Валентина Васильевна — одинока, единственный сын погиб во время войны, ученики давно уже выросли и разъехались кто куда. Но она тянется к людям, хочет быть полезной им и боится оказаться назойливой, глубоко страдает, когда чувствует людскую черствость. Ее единственное богатство — душевная щедрость, но другого ей не нужно. Соседи недоумевают: «Неужели ты за все годы ничего не нажила? Не сберегла на старость?» И одни осуждают ее за неумение жить и одновременно пользуются ее бескорыстием, а другие, по своему желая ей добра, толкуют о здравом смысле. «Но здравый смысл этот тяготил и утомлял Валентину Васильевну. Они как будто на разных планетах жили».

Тщательно и бережно выписывает писательница образ учительницы. Она не боится показать ее иногда смешной, иногда по-детски наивной. Но автору дороги в Валентине Васильевне сохраненные до старости щедрость души и человеческое достоинство. Кажется, можно ли говорить о счастье человека, который потерял близких и одинок? Оказывается, можно. «Вы ведь очень счастливый человек. Вы столько хорошего людям делали», — говорит Валентине Васильевне ее бывший ученик. И она, подумав, отвечает: «Может, ты и прав, что я счастливая». Счастье ведь измеряется не тем, что ты получил, а тем, что дал людям.

Было бы преувеличением сказать, что привлекательные черты дарования М. Юфит во всех рассказах раскрываются с одинаковой силой. В лучших вещах, таких, как «Троллиус», «Старая тетрадь в клетку», «Муж и жена», жизненная достоверность происходящего слита с точностью психологического рисунка образа героев, но, бывает, эта достоверность заслоняется неким литературным допущением, и тогда возникает ощущение

искусственности. Таков, на мой взгляд, рассказ «Долгие семнадцать лет» о мытарствах инженера-изобретателя Звягинцева. Искусственность здесь не в том, что целых семнадцать лет он бился за реализацию своего изобретения, встречая все новые и новые препятствия на пути, а в том, что рассказ обо всем этом слишком «перегружен», препятствия повторяются, сюжет как бы идет по кругу, образ героя где-то в середине рассказа становится статичным и малоинтересным.

Рассказ «А в чудеса все-таки надо верить» испортила, как мне кажется, банальность замысла, нарочитость сюжетного построения.

Талант писательницы лучше всего виден в тех вещах (а их большинство в сборнике), где она пишет «просто о жизни», о событиях будничных, порой незаметных, о скромных и совестливых людях, встреча с которыми непременно оставит след в сердце читателя.

Г. Койранская.



# ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

## ОСТОРОЖНО — ИСТОРИЯ!

Писательница Л. Воронкова написала повесть для детей «Огненный след жизни» — о событиях из истории Мидийского и Персидского царств («Пионер», №№ 1, 2, 3, 1968).

Один из героев этой повести, персидский вельможа Гарпаг, выражается следующим образом: «Никогда прежде, царь мой, ты не видел от меня ничего неприятного тебе. И впредь я буду стараться ни в чем не провиниться перед тобою. Теперь, если такова твоя воля, мне необходимо надлежаше выполнить ее». А в повествовании древнегреческого историка V века до н. э. Геродота Гарпаг говорит (следуя старому переводу Ф. Г. Мищенко): «Никогда прежде, царь мой, ты не видел от меня ничего неприятного тебе, и впредь я буду стараться ни в чем не провиниться перед тобою. Теперь, если такова твоя воля, мне необходимо надлежаше выполнить ее». И сам персидский царь Кир, главное действующее лицо повести Л. Воронковой, тоже не пренебрегает переводом Ф. Мищенко: «Я поступил в этом деле совершенно правильно, — ответил Кир с достоинством. — Мальчики той деревни, из которой я родом, затеяли игру и меня поставили царем над ними...» Так у Л. Воронковой. А как у Геродота? «Я поступил в этом деле совершенно правильно, — отвечал Кир (достоинство» внесено писательницей от себя. — А. К.), ибо мальчики той деревни, из которой и я родом, затеяли игру и меня поставили царем над ними...»

Сопоставления легко продолжить. Почти все слова, которыми обмениваются герои повести (во всяком случае на протяжении первых двух номеров журнала), взяты из Геродота. Имя действительного автора, правда, не скрыто — если его нет «на титуле», то оно несколько раз упоминается в тексте. Однажды при этом замечено:

«Так рассказал Геродот историю царя Креза... Не все достоверно в этом рассказе».

И сразустораживаешься: что же перед нами? Неприятательный пересказ преданий Геродота или критически взвешенная («не все достоверно») версия Л. Воронковой, основанная на собственных разысканиях или хотя бы на изучении литературы вопроса?

Третья часть повести на первые две непохожа. Здесь Л. Воронкова, казалось бы, удаляется от Геродота. Появляются имена других древних авторов, например Страбона. Они придают повествованию солидность, впрочем, довольно шаткую. Так, для характеристики живших в Средней Азии кочевников-массагетов привлечен «римский поэт Публий Овидий Насон», хорошо известный у нас под правильным именем Овидия Назона и упоминавший, однако, не массагетов Средней Азии, по скифов Причерноморья. Геродот, который слово за словом пересказывался на протяжении первых двух номеров журнала, тут неожиданно цитируется в кавычках. Используются вавилонские и древнееврейские памятники, хотя представление о них не очень четкое, так, ветхозаветный пророк Исая, живший в VIII веке до н. э. (я оставляю в стороне сложный вопрос о разных слоях в библейской книге Исая), безоговорочно превращен в современника Кира, жившего в VI столетии, два века спустя.

Но использование других источников не заставило Л. Воронкову более критично огнестись к Геродоту. В центре третьей части — Геродотов рассказ о взятии Вавилона благодаря устройству отводного канала, — рассказ, давно уже признанный недостоверным.

Были литераторы, писавшие на исторические темы и не гнушавшиеся по-профессиональному изучать исторический материал.

Можно вспомнить Алексея Толстого и Тынянова, Стефана Цвейга и Фейхтвангера. Знание прошлого не мешало им. Напротив, оно оказывалось предпосылкой глубокого вживания в предмет, оно позволяло видеть героев, помещать их в реальную обстановку, в реальные связи. А здесь, на одной из первых же страниц повести, появляются скифы с медными (!) секирами, с большими кожаными щитами, с головными повязками на длинных, заплетенных в косы волосах. Не знает, видимо, писательница, что сохранился великолепный золотой гребень древнегреческой работы (из кургана Солоха), на ручке которого представлены скифские воины, представлены совсем непохожими на созданных фантазией Л. Воронковой. И щиты у них не большие и не кожаные, а маленькие и плетенные из прутьев. И прочитать об этом можно было бы не в какой-нибудь заморской монографии, а хотя бы в вузовском учебнике А. В. Арциховского «Введение в археологию».

Немало путаницы и в географических наименованиях Л. Воронковой. Река Галис, оказывается, отделяла государство Лидию от царства Кира — исчезло целое государство Фригия, которое лежало между Галисом и Лидией. «Ерифрейское» (то есть Красное) море без колебаний названо Персидским заливом. Лежавшая к востоку от Вавилона область Гутиум (иначе Элам) локализована между Ассирией и Армянскими озерами.

Имена даются в произвольной транскрипции. Гистасп именуется Гистаспесом, Шумер — Сумером. Экбатаны превращены писательницей в Экбатан — впрочем, эту ошибку успели заметить в процессе печатания: в третьем номере название персидской столицы выправлено, но читатель остается в недоумении, какое из двух написаний ему выбрать. Геродотов пастух Митрадат сделан Мигридатом — конечно, это имя лучше знакомо русскому читателю (вспомним понтийского царя Митридата

Евпатора), но только оно не имеет никакого отношения к воспитателю Кира.

Но, может быть, все эти исторические погрешности уравновешиваются идейной, нравственной нагрузкой повести? Главная мысль ее может быть истолкована в том духе, что наряду с дурными царями (таков Астиаг) бывают цари хорошие (таков Кир). «Нет,— думал Кир,— страхом и ненавистью не укрепишь царства. Не о казнях надо думать, а о том, чтобы покоренному народу жилось хорошо и спокойно под твоей рукой. Вот как надо».

Милый, добрый Кир! Наверное, когда он подчинял своей власти государства Малой Азии и Вавилон, когда он задумывал поход на свободных скотоводов-массагетов, он не помышлял ни о чем другом, кроме свободы тех народов, которые он собирался покорить. К тому же он, оказывается, был рационалист и почти атеист. Он осуждал строительство храмов и почитание идолов. «Что могут эти боги?» — вот какие слова (уже не по Геродоту!) вкладывает Л. Воронкова в уста человеку VI века до н. э., о котором, кстати сказать, известно, что он взял под свою защиту вавилонское жречество и в так называемом «манифесте» осуждал вавилонского царя Набонида за пренебрежение традиционными культами.

Спору нет, Геродотова история богата забавными сказаниями, полусказками и сказками и было бы полезно пересказать иные из них для детей, — пересказать, не мудрствуя лукаво, хотя и для этого дела неплохо знать древнюю историю и историческую географию.

Но если хочешь пойти дальше пересказа и разобраться, что достоверно и что нет, как было на самом деле и как не было, — то это наука особого рода, требующая особой подготовки. Она, как всякая наука, не любит профанации.

**А. КАЖДАН,**  
доктор исторических наук.



# КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

## ПОЛИТИЗДАТ

**Бессмертие великих идей.** Сборник материалов, посвященных 150-летию со дня рождения К. Маркса. 280 стр. Цена 71 к.

**А. Бовин, Л. Делюсин.** Политический кризис в Китае. События и причины. 184 стр. Цена 25 к.

**Г. Кржижановский.** Великий Ленин. 128 стр. Цена 15 к.

**О. Лепешинская.** Встречи с Ильичем (Воспоминания старой большевички). Издание 3-е. 56 стр. Цена 6 к.

**Е. Онуфриев** За Невской заставой. Воспоминания старого большевика 176 стр. Цена 25 к.

**Н. Семашко.** Незабываемый образ (Воспоминания о В. И. Ленине). Издание 2-е. 22 стр. Цена 4 к.

## «МЫСЛЬ»

**XXIII съезд КПСС и вопросы государственного строительства.** 284 стр. Цена 1 р. 10 к.

**Н. Гордиенко.** Современное православие. 144 стр. Цена 22 к.

**Ю. Иннов.** Электронная вычислительная техника и капиталистическая экономика. 224 стр. Цена 74 к.

**М. Лаптин, Е. Пономарев.** В. И. Ленин и социалистическое хозяйство. 332 стр. Цена 1 р. 31 к.

**О. Леонтьев.** Дно океана. 320 стр. Цена 1 р. 21 к.

**О. Орлик.** Россия и французская революция 1830 года. 214 стр. Цена 80 к.

**Проблемы научного коммунизма.** Вып. 2. Конкретные социологические исследования и идеологическая деятельность. 328 стр. Цена 1 р. 24 к.

**А. Уледов.** Структура общественного сознания. Теоретико-социологическое исследование. 324 стр. Цена 1 р. 19 к.

**В. Чубинский.** Вильгельм Либкнехт — солдат революции. 214 стр. Цена 42 к.

**А. Шишкин, К. Шварцман.** XX век и моральные ценности человечества. 272 стр. Цена 1 р. 3 к.

**А. Эксневелин.** Пираты Америки. Перевод с голландского. 230 стр. Цена 62 к.

**С. Эфиров.** Итальянская буржуазная философия XX века. 268 стр. Цена 1 р. 13 к.

## «ЭКОНОМИКА»

**С. Днепровский.** Кооператоры 1898—1968. 384 стр. Цена 1 р. 37 к.

**Экономика и организация торговли.** Сборник статей. 168 стр. Цена 59 к.

## «СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

**Ю. Герман.** Подполковник медицинской службы. Начало Буцефал Лапшин. Жмакин. Воспоминания. 656 стр. Цена 1 р. 32 к.

**А. Зак и И. Кузнецов.** Солнечное сплетение. Пьесы. 335 стр. Цена 73 к.

**Матэ Залка — писатель, генерал, человек.** Воспоминания. Сборник. 259 стр. Цена 60 к.

**В. Ляленков.** Ожидание лета. Вторая книга романа «Борис Картавин». 232 стр. Цена 40 к.

**Л. Малюгин.** Три повести для театра (Молодая Россия. — Насмешливое мое счастье. — Жизнь Сент-Экзюпери). 247 стр. Цена 56 к.

**М. Поляков.** «Поэзия критической мысли». О мастерстве Белинского и некоторых вопросах литературной теории. 342 стр. Цена 77 к.

**Пути к художественной правде.** Статьи о современной советской прозе. Составитель А. Урбан. 415 стр. Цена 1 р.

**А. Сирас.** Девушка без имени. Повести, рассказы, легенды. Перевод с армянского. 230 стр. Цена 47 к.

**Г. Холопов.** Невьдуманные рассказы о войне. 288 стр. Цена 39 к.

**В. Шукшин.** Там, вдали. Рассказы, повесть. 344 стр. Цена 49 к.

## «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

**И. Анисимов.** Мастера культуры. Сборник статей. 303 стр. Цена 88 к.

**Б. Варма.** Забытые картины. Роман. Перевод с хинди. 552 стр. Цена 1 р. 70 к.

**С. Великовский.** ...К горизонту всех людей. Путь П. Элюара. Рисунки П. Пикассо. 271 стр. Цена 52 к.

**В. Дудинцев.** Не хлебом единым. Роман. 408 стр. Цена 89 к.

**А. Карпентьер.** Век Просвещения. Роман. Перевод с испанского. 430 стр. Цена 1 р. 43 к.

**Д. Петровский.** Трепетное сердце. Лирика. Вступительная статья Л. Вольпе. 255 стр. Цена 1 р. 1 к.

**М. Радноти.** Стихи. Перевод с венгерского. Предисловие Е. Малыхиной. 199 стр. Цена 57 к.

**Сказки народов Судана.** Составление и послесловие И. Кацнельсона. 343 стр. Цена 52 к.

## «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

**Р. Достян.** Тревога. Повести. 320 стр. Цена 81 к.

**Л. Жаринов.** Все ушли на фронт. Рассказы. 239 стр. Цена 38 к.

**Молодые поэты Болгарии.** Сборник стихов. 192 стр. Цена 72 к.

**Я. Рицос.** Избранная лирика. Перевод с новогреческого. 55 стр. Цена 17 к.

**М. Шолохов.** Избранное. 459 стр. Цена 5 р.

**У. Эш.** Выбор оружия. Роман. Перевод с английского и предисловие С. Майзельс. 270 стр. Цена 89 к.

## «ПРОГРЕСС»

**Б. Божиллов.** Весенняя поэзия. Избранная лирика. Перевод с болгарского. 96 стр. Цена 35 к.

**Ф. Гренье.** Советский Союз в ритме эпохи. Перевод с французского. 184 стр. Цена 57 к.



**Э. Джи.** Дикие животные Индии. Перевод с английского. 170 стр. Цена 1 р. 84 к.  
**С. Попович.** Административное право. Общая часть. Перевод с сербскохорватского. 544 стр. Цена 1 р. 93 к.  
**Пу И.** Первая половина моей жизни. Перевод с китайского. 424 стр. Цена 1 р. 19 к.  
**К. Рэнд.** Кембридж — научно-технический центр США. Перевод с английского. 198 стр. Цена 74 к.

#### «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

**К. Бадин.** Секрет государственной важности. Повесть. 336 стр. Цена 70 к.  
**С. Баруздин.** Тринадцать лет. Повести и рассказы. 270 стр. Цена 61 к.  
**О. Горчаков.** Вызываем огонь на себя. — Лебединая песня. Документальные повести. 384 стр. Цена 1 р. 6 к.  
**Б. Даниельссон.** Капитан Суматоха. Сатирическая повесть. Перевод со шведского. 175 стр. Цена 39 к.  
**Н. Дубов.** Сирота — Огни на реке. — Мальчик у моря. Повести. 560 стр. Цена 1 р. 22 к.  
**А. Штейнгауз.** Инженер и природа. или Что такое бионика. 288 стр. Цена 69 к.

#### «ИСКУССТВО»

**Г. Бояджиев.** Итальянские тетради. 168 стр. Цена 70 к.  
**В. Мейерхольд.** Статьи, письма, речи, беседы. Часть 2 (1917—1939). Составитель А. Февральский. 643 стр. Цена 3 р. 38 к.  
**Семь английских пьес.** Составитель и автор вступительной статьи Д. Шестаков. 623 стр. Цена 1 р. 72 к.  
**У. Учирли.** Прямодушный. Комедия. Перевод с английского К. Чуковского. 77 стр. Цена 17 к.

#### «СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

**С. Антонов.** Разнотравье. Семь повестей. 576 стр. Цена 1 р. 5 к.  
**Л. Афонин, А. Мищенко.** На родине Тургнева. Путеводитель по тургеневским местам. 120 стр. Цена 17 к.  
**А. Гмырев.** Алые песни. Стихи. Письма. Воспоминания. 320 стр. Цена 65 к.  
**Корчагинцы 60-х годов.** Очерки. 208 стр. Цена 30 к.  
**М. Крылова.** Шедство невидимых. Научные поиски по микробиологии. 170 стр. Цена 55 к.  
**Ш. Махмуд-Анан.** Оды мирным вещам. Стихи. 112 стр. Цена 34 к.  
**М. Поляновский.** Остановись, мгновенье. Сборник фотоновелл. 176 стр. Цена 86 к.  
**Е. Серебросная.** Верим, верны. Документальная повесть. 256 стр. Цена 77 к.  
**Л. Соболев.** Свет победы. Дневники и очерки военных лет. 392 стр. Цена 1 р. 17 к.

**Д. Трунов.** Дагестанские встречи. Очерки. 176 стр. Цена 34 к.  
**С. Шуртаков.** Три весны в водном году. Документальная повесть. 224 стр. Цена 54 к.  
**А. Шепелев.** Сельский дом, как его самому построить и благоустроить. Справочник. 368 стр. Цена 65 к.

#### «НАУКА»

**Ф. Веселнов.** Стимулы высоких плановых заданий. 302 стр. Цена 93 к.  
**И. Герасимов.** Рассказы географа о зарубежных странах. 208 стр. Цена 60 к.  
**Нсвейшая история арабских стран (1917—1966)** 657 стр. Цена 3 р. 15 к.  
**В. Пашуто.** Внешняя политика Древней Руси. 472 стр. Цена 1 р. 80 к.  
**А. Перельман.** Александр Евгеньевич Ферман. 296 стр. Цена 98 к.  
**Н. Пиксанов.** Роман Гончарова «Обрыв» в свете социальной истории. 202 стр. Цена 96 к.  
**С. Струмилин.** Избранные произведения. Воспоминания и публицистика. 480 стр. Цена 2 р. 74 к.  
**Г. Терновский.** Военные моряки в битвах за Москву 1812, 1941. 152 стр. Цена 47 к.  
**А. Черепанов.** Северный поход национально-революционной армии Китая (Записки военного советника). 304 стр. Цена 1 р.  
**Т. Якимова.** Некапиталистический путь развития ранее отсталых стран. 100 стр. Цена 33 к.

#### «ЮРИДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

**И. Перлов.** Кассационное производство в советском уголовном процессе. 395 стр. Цена 1 р. 50 к.  
**А. Пиголкин.** Подготовка проектов нормативных актов (Организация и методика). 167 стр. Цена 56 к.  
**Проблемы трудового права.** 224 стр. Цена 93 к.

#### МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

**Н. Воронов.** Человек — эхо. Повесть и рассказы. Тула. Приокское книжное издательство. 175 стр. Цена 30 к.  
**Л. Иванов.** Сибирские встречи Новосибирск Западно-Сибирское книжное издательство. 384 стр. Цена 91 к.  
**А. Огнев.** Сергей Антонов. Критико-биографический очерк. Саратов. Приволжское книжное издательство. 199 стр. Цена 37 к.  
**Н. Почивалин.** Подберезовка слушает... Повесть. Рассказы. Саратов. Приволжское книжное издательство. 248 стр. Цена 42 к.  
**Е. Стюарт.** Лиственница за моим окном. Стихи. Новосибирск. Западно-Сибирское книжное издательство 103 стр. Цена 29 к.  
**Е. Ширман.** Стихи. Ростов-на-Дону. Ростовское книжное издательство. 27 стр. Цена 6 к.

Главный редактор **А. Т. Твардовский**

Редакционная коллегия:

**Ч. Айтматов, И. И. Виноградов, Р. Г. Гамзатов, Е. Я. Дорош, А. И. Кондратович** (зам. главного редактора), **А. А. Кулешов, В. Я. Лакшин, А. М. Марьямов, И. А. Сац, К. А. Федин, М. Н. Хитров** (ответственный секретарь)

Редакция: Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 299-81-77.  
 Почтовый адрес Москва. К-6. пл. Пушкина, д. 5

Сдано в набор 26.VII 1968 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 13/XI 1968 г.  
 Формат бумаги 70×108<sup>1/16</sup>. 27,95 уч.-изд. л. 9 бум. л. (24,66 усл. печ. л.).  
 А 09936 Заказ 2394. Тираж 121.150.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

## «НОВЫЙ МИР» В 1969 ГОДУ

В 1969 году редакция журнала «Новый мир» предполагает опубликовать следующие произведения:

повесть **Ч. Айтматова** «Долгая память»;  
 роман **А. Азольского** «Степан Сергеевич»;  
 роман **Г. Бакланова** «Друзья»;  
 «Мой Дагестан» **Р. Гамзатова** (книга вторая);  
 книгу **Е. Дороша** «Древнее рядом с нами»;  
 книгу о Чехове **С. Залыгина**;  
 автобиографическую прозу **М. Исаковского**;  
 повесть **Ф. Искандера** «Сандро из Чегема»;  
 рассказы **В. Некрасова** «Городские прогулки»;  
 «Из литературного наследия» **К. Паустовского**;  
 повесть **Е. Ржевской** «Февраль — кривые дороги»;  
 роман **Ю. Трифонова** «Исход».

Кроме того, будут опубликованы новые произведения: **Ф. Абрамова**, **В. Астафьева**, **А. Бека**, **В. Белова**, **В. Быкова**, **Г. Владимова**, **В. Войновича**, **Л. Волинского**, **Е. Герасимова**, **Д. Гранина**, **И. Грековой**, **Ю. Домбровского**, **Н. Дубова**, **Н. Ильиной**, **В. Каверина**, **В. Катаева**, **А. Кузнецова**, **В. Лихоносова**, **Н. Мельникова**, **Б. Можая**, **Е. Носова**, **А. Рыбакова**, **В. Семина**, **К. Симонова**, **С. Славича**, **И. Соколова-Микитова**, **Г. Троепольского**, **К. Федина**, **В. Фоменко**, **А. Шарова**, **В. Шукшина**.

В журнале будут также напечатаны воспоминания: Маршала Советского Союза **Н. И. Крылова** об обороне Севастополя; Героя Социалистического Труда, члена-корреспондента АН СССР **В. С. Емельянова** «Студенты 20-х годов»: маршала авиации **А. А. Новикова** «Рассказы о летчиках»; художницы **Вал. Ходасевич** «Портреты словами» (воспоминания о Маяковском, Ал. Толстом, Бабеле); **Цецилии Кин** «Годы тридцатые».

В поэтическом разделе журнала будут опубликованы новые стихи и поэмы: **И. Абашидзе**, **М. Алигер**, **М. Бажана**, **О. Берггольц**, **Д. Вааранди**, **О. Вацетиса**, **Р. Гамзатова**, **Е. Евтушенко**, **А. Жигулина**, **Р. Казаковой**, **М. Карима**, **Вл. Корнилова**, **А. Кулешова**, **Д. Кугультинова**, **К. Кулиева**, **С. Липкина**, **В. Лифшица**, **Ю. Марцинкявичюса**, **Н. Матвеевой**, **Э. Межелайтиса**, **С. Орлова**, **П. Панченко**, **Расула Рзы**, **Д. Самойлова**, **Я. Смелякова**, **М. Танка**, **А. Твардовского**, **В. Шефнера** и других.

### ПОДПИСНАЯ ЦЕНА:

	12 мес.	6 мес.	3 мес.
Без переплета	8 р. 40 к.	4 р. 20 к.	2 р. 10 к.
В переплете	10 р. 80 к.	5 р. 40 к.	2 р. 70 к.

Подписка на «Новый мир» принимается во всех отделах и агентствах «Союзпечати», в отделениях связи и общественными распространителями печати без всяких ограничений.

О всех случаях отказа в оформлении подписки просим сообщать в редакцию журнала.